

Джордж Гордон БАЙРОН

На перепутьях бытия...

Письма.
Воспоминания.
Отклики.



И·З*К·Н·И·Г

МОСКВА «ПРОГРЕСС»

**ЗАРУБЕЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ПУБЛИЦИСТИКА
И ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ
ПРОЗА**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

**Т. В. БАЛАШОВА, Н. И. БАЛАШОВ, Ю. Н. ВЕРЧЕНКО,
Я. Н. ЗАСУРСКИЙ, Д. В. ЗАТОНСКИЙ, А. А. КЛЫШКО,
Н. И. НИКУЛИН, В. Н. СЕДЫХ, П. М. ТОПЕР**

Джордж Гордон БАЙРОН

На перепутьях бытия...

Художественная публицистика

Перевод с английского



Москва «Прогресс» 1989

ББК 84.4Вл
Б18

Составитель, автор предисловия
и комментариев *д.ф.н. А. М. Зверев*

Художник *В. И. Левинсон*

Редактор *А. Н. Панкова*

В работе над сборником принял участие
к.ф.н. А. Л. Зорин

ISBN—5—01—001019—4

© Состав, предисловие, комментарии, перевод на русский язык
произведений, отмеченных в содержании*, художественное
оформление издательство «Прогресс», 1989.

«БЕДЕ И ЗЛУ ПРОТНВОБОРСТВО...»

Люди всегда и всюду лишь слабые и простоватые существа, которых треплет и уродует жизнь. Только самые сильные или самые лучшие восстают против судьбы и лепят ее по собственному усмотрению, не желая играть роль послушной глины в ее взбалмошных руках.

Альфред де Виньи

Облик Байрона двоился в сознании современников, которые отыскивали у него противоречия даже там, где их в действительности не было.

Такое отношение к Байрону проявилось и у величайших умов той эпохи. Легендам о поэте — по большей части порочащим его — они не верили, однако и целостности в нем не чувствовали. Только раздвоенность. Только сочетание гения с беспутством, удивительным в человеке столь крупном и ярком.

Вальтер Скотт, познакомившись с Байроном в 1815 году, когда тот был в зените славы, признается, что никогда еще «не знал человека более благородного». И все-таки попрекает поэта за «неразумное пренебрежение к общественному мнению». Политические взгляды Байрона ему кажутся неким позерством, и дело тут не в том, что взгляды самого Скотта были иными. Скорее сказалась инерция утвердившихся представлений, согласно которым нельзя принимать за чистую монету ни одно байроновское высказывание.

Скотт твердо заявляет, что у Байрона нет искренней приверженности собственным принципам, ибо руководит им лишь тщеславная жажда насмешки над сильными мира сего. Жаль, что об этом заявлении он не вспомнил девять лет спустя, когда Байрон погиб за свои убеждения в Греции.

Гёте следил за литературной деятельностью Байрона с жадным интересом и ценил его поэзию исключительно высоко. Об этом свидетельствует американский историк Джордж Бэнкрофт, посещавший немецкого классика в Веймаре. А

в известной книге Эккермана «Разговоры с Гёте...» имя Байрона упоминается чаще, чем все иные знаменитые имена той поры. И с какими эпитетами! Не зря, убеждая собеседника изучить английский язык, Гёте говорил, что сделать это нужно хотя бы ради знания Байрона, «удивительной личности, никогда ранее не встречавшейся и вряд ли могущей встретиться в будущем»¹.

Гениальная одаренность Байрона для Гёте вне сомнений: «Ни у кого поэтическая сила не проявлялась так мощно». Однако сколь велик урон, который английский поэт понес из-за «необузданности своих чувств»! Он великий талант, но «вдохновение у него подменяло собою рефлексию», и это тягостно сказало не только на поэзии Байрона, но и на самой его жизни: рассеянной, бурной, лишенной сосредоточенности и подверженной неукротимым порывам.

Размышляя о Байроне, Гёте продолжал давний свой спор с романтиками. Выношенный им идеал гармоничного человека не ладил с разорванностью сознания, ощущаемой всеми романтиками, а Байроном выраженной с необыкновенной остротой. Отдавая должное «первопрозрению» Байрона, которое, как вспоминал Гёте, «в такой степени не встречалось мне ни у кого на свете», он тем не менее не мог принять подобных откровений по самому их существу.

Оттого его мысли о Байроне поражают не только своей пронизательностью. Иной раз они поразят и высокомерием. Вот хотя бы: «Он сам себя не понимал и жил сегодняшним днем, не отдавая отчета в том, что делает». Он занял позицию непримиримую, «дал волю собственным уязвленным чувствам», но ведь «постоянное недовольство порождает отрицание, отрицание же ни к чему не ведет».

А вместе с тем причины драмы Байрона Гёте понял неизмеримо глубже, чем подавляющее большинство ее свидетелей. Вчитаемся в запись, сделанную со слов Гёте через десять месяцев после гибели Байрона: «Ему везде было тесно; несмотря на беспредельную личную свободу, он чувствовал себя угнетенным, мир казался ему тюрьмой. Его бегство в Грецию не было добровольно принятым решением — на это подвиг его разлад со всем миром»². Такого проникновения в суть разыгравшейся трагедии не приходилось ожидать ни от кого, включая и самых пламенных приверженцев английского поэта.

Гёте смотрит как бы со стороны — он человек другой эпохи, другого духовного воспитания, да и видется с Байроном ему не

¹ Эккерман И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. М., 1981, с. 77.

² Эккерман И. П. Разговоры с Гёте, с. 151, 153—154.

довелось. Стендаль, быть может наиболее аналитичный писатель той поры, знал Байрона непосредственно: они встречались в Италии осенью 1816 года, самого драматического в байроновской биографии. Суждения Стендаля особенно ценны еще оттого, что будущий автор «Красного и черного» в то время был захвачен романтизмом едва ли не безраздельно. Словно бы судьба позаботилась о том, чтобы потомкам осталось свидетельство о Байроне, обладающее достоверностью совершенно особого рода.

Это достоверность не просто прилежного летописца, но выдающегося человека, который живет теми же идеями, теми же настроениями, что одушевляли самого Байрона. Мимходом оброненное признание Стендаля, что он тогда «сходил с ума от «Лары»», дорогого стоит. Мы помним аналогичное признание Пушкина, касающееся «Кавказского пленника». А главное, тут ключ, без которого сложно понять и страницы о Байроне, написанные Стендалем, и многие другие мемуарные источники.

«Со второго взгляда я уже видел лорда Байрона не таким, каков он был в действительности, но таким, каким, мне казалось, должен был быть автор “Лары”». Вслед Стендалю точно то же могли бы сказать (иной раз и говорили) десятки людей, оставившие записки о творце «Лары», «Корсара», «Чайльд-Гарольда».

Для самого Байрона не было ничего необычного в том, что ему уверенно приписывали черты героев его поэм. Никакие его разъяснения насчет того, что Гарольд — лишь «дитя воображения», не помогали: в пресыщенном юноше, которого гонит по свету «тоски язвительная сила», упорно видели автопортрет поэта. Сходным образом авторскую исповедь видели в «восточных» повестях или в «Ларе» — со всеми их страшными тайнами, роковыми страстями и жестокими укурами совести.

Тут действовал закон романтической лирики, в ту пору непривычной и поражавшей среди многого другого откровенностью исповедания, прежними поэтиками не допущавшейся. Но еще более сказывалась притягательность самого героя, выведенного Байроном на сцену. Он был типичным «сыном века», воспитанным в грозной атмосфере Французской революции и наполеоновских войн, когда, по слову Пушкина, «кровь людей то славы, то свободы, то гордости багрила алтари». Характернейшие свойства такого героя — его неотступные мечты о великом пересвороте в жизни всего человечества, его ненависть к обыденности, развеявшей эти высокие ожидания, его разочарованность, рефлексия, бравада, желчь, тоска — прирастали к Байрону неотторжимо, ибо сам герой был слишком нов и ярок. Подобный строй мыслей и чувств не мог возникнуть в поэтическом воображении. Его можно было только запечатлеть, исходя из соб-

ственного опыта. Этого, кажется, не ставил под сомнение даже Стендаль при всем редком своем даре читать в душах и сердцах.

Поэтому едва заметная подмена происходит и у Стендаля: повествуя о Байроне, он, собственно, раз за разом принимается толковать о байроническом герое. Особенно это чувствуется в книге «Рим, Неаполь, Флоренция», опубликованной осенью 1817 года, всего через год после миланских бесед с Байроном. Тут говорится, что «лорд Байрон, английский Руссо, был поочередно денди, безумцем и великим поэтом»¹ — фраза, которая была бы куда уместнее применительно к Гарольду, хоть тот и не сочинял стихов.

В воспоминаниях, писавшихся двенадцать лет спустя, Стендаль судил о Байроне точнее и справедливее. Никто до него так ясно не сказал о том, что Байрон пал жертвой злобы, которую в английском свете возбудили его свободомыслие, политический радикализм и верность революционным идеалам, беспощадно искоренявшимся во времена Священного союза. Никто так тонко не распознал за байроновской надменностью форму самозащиты «от бесконечной грубости черни». В самом поведении Байрона, в резких сменах беспечности мрачностью, а изысканности аристократа бешенством, забывающим о приличиях, даже в специфических черточках характера Стендаль прочитывал не только свойства натуры, но знаки судьбы, сформированной эпохой.

Эпоха требовала лицемерия во всем, вплоть до мелочей. Избравший бунтарскую позицию должен был во всем оберегать собственную независимость, потому что дух раболепия и молчания растлевал исподволь, но необратимо. Многие странности, поражавшие в Байроне современников, многое, казавшееся им либо непомерной гордыней, либо тщеславием, либо смешной напыщенностью, на самом деле проистекало как раз из вечно обостренного страха хоть в чем-то поддаться неписаной, но всевластной норме, которая на поверку означала жалкий конформизм. Стендаль это почувствовал с необыкновенной прозорливостью — должно быть, и оттого, что сам пережил период романтических увлечений, когда подобное стремление обособиться от установленного порядка вещей овладевает личностью без остатка.

Но при всем том даже Стендаль не разгадал загадку некоторых сторон души его миланского собеседника. Возможно, Стендаль не вполне верно их понял. Он вынес убеждение, что в целом мире Байрона по-настоящему интересует лишь один чело-

¹ Стендаль. Рим, Неаполь, Флоренция. Собр. соч. в 15-ти томах. М., 1959, т. 9, с. 258.

век — сам Байрон. Это выглядело как «дурная привычка», снобизм, самолюбование, впрочем, можно сказать и мягче: как слабость характера. Существенно, что она сказалась на сочинениях Байрона, по выражению Стендаля, «наименее драматического поэта» из всех, каких знала литература. Стендаль убежден, что Байрон «умел изображать только одного человека: самого себя».

В черновом наброске, датированном 1827 годом (т. е. за три года до того, как Стендаль принялся за свои воспоминания), Пушкин выскажется почти слово в слово так же. Речь идет о байроновских драмах — «Манфреде», «Каине»; Пушкин считает их подражательными и слабыми. И вот почему: «Байрон бросил односторонний взгляд в мир и природу человечества, потом отвернулся от них и погрузился в самого себя. Он представил нам призрак себя самого... В конце концов он постиг, создал и описал единый характер (именно свой), все, кроме некоторых сатирических выходов, рассеянных в его творениях, отнес он к сему мрачному, могущественному лицу, столь таинственно пленительному»¹.

Это написано уже после «Бориса Годунова», и может показаться, что суть дела в сугубо литературных расхождениях между Пушкиным и Байроном, но в действительности спор касается материй более значительных. И Пушкин, и вслед ему Стендаль упрекнули английского поэта эгоцентризмом. Имелись в виду не только — и не столько — качества Байрона как личности. «Переболев» романтизмом, изведав состояние, когда, по слову Пушкина, Байрон был «властитель наших дум», оба они — и Пушкин, и Стендаль — полемизировали с определенным умонастроением, которое в английском поэте обрело своего самого талантливую и последовательного выразителя. И оба понимали это умонастроение необыкновенно глубоко: как в сильных его моментах, так и в уязвимых, не выдержавших проверки реальным историческим опытом.

Образ Байрона становился образом целой эпохи в истории европейского самосознания. Ее и назовут по имени поэта — *эпоха байронизма*.

Что он представлял собою по сущности? Байронизм определяли как «мировую скорбь», явившуюся отзвуком несбывшихся надежд, которые пробудила Французская революция. Как рефлексию, вызванную зрелищем торжества реакции в посленаполеоновской Европе. Как бунтарство, способное себя выразить лишь презрением ко всеобщей покорности и ханжескому благополучию. Как культ индивидуализма, или, верней, как апофеоз

¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти томах. Л., 1978, т. VII, с. 37.

безграничной свободы, которой сопутствует бесконечное одиночество.

В каждом из этих определений было схвачено что-то знаменательное и важное, но самым точным из них всех оказалось найденное Пушкиным, назвавшим отличительным свойством молодых людей того века «преждевременную старость души»¹. В «Кавказском пленнике», в «Цыганах» — там, где близость к Байрону ощутима у Пушкина наиболее ясно, — формула эта получила последовательное художественное воплощение. Но тема не была исчерпана. Она не раз отзовется в пушкинской лирике и, конечно, в «Евгении Онегине». А затем, по-новому осмысленная, подскажет один из важнейших поэтических и повествовательных сюжетов Лермонтова.

Принято рассматривать движение этой темы в русской литературе под знаком все более осознанного отхода от Байрона. Действительно, ошеломляющее впечатление, в свое время им произведенное, постепенно притупилось, и на место энтузиазма пришел дух серьезного анализа. В конце концов он заставил воспринять характерные настроения байронического героя как «прихоть», рожденную «безнадежным эгоизмом».

Однако неверно полагать, что тем самым была подведена черта под длительным периодом в истории европейской, да и русской общественной жизни, который ознаменован огромным воздействием Байрона. Как неверно и то, что итогом будто бы стало только отрицание. В 1877 году, когда самого Байрона уже более полувека не было на свете, Достоевский, вспомнив страстные споры, вызывавшиеся самим этим именем и всем, что с ним ассоциировалось, скажет, что «байронизм хоть был и ментальным, но великим, святым и необходимым явлением в жизни европейского человечества, да чуть ли не в жизни и всего человечества». Необходимым же байронизм стал оттого, что «появился в минуту страшной тоски людей, разочарования их и почти отчаяния... И вот в эту-то минуту и явился великий и могучий гений, страстный поэт. В его звуках зазвучала тогдашняя тоска человечества и мрачное разочарование его в своем назначении и в обманувших его идеалах... Это именно был тот могучий крик, в котором соединились и согласились все крики и боли человечества».

Был ли подобный взгляд на мир «односторонним»? Отвлекаясь от реальной ситуации байроновской эпохи — несомненно; в этом смысле безусловно правы и Гёте, и Пушкин. Однако не забудем и о том, как много для них обоих значил Байрон, какую завораживающей силой обладал его «таинственно пленитель-

¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. X, с. 42.

ный» облик. Удивлять это не должно при всех различиях понятий — философских, этических, литературных. И не только масштаб дарования Байрона побуждал так внимательно всматриваться в каждый его поступок, вчитываться в каждое стихотворение. Скорее тут давало себя знать установившееся восприятие Байрона как символа времени, его самой яркой и характерной фигуры.

Само собой такое отношение к нему создаться, конечно, не могло. Оно было завоевано поэтическим гением Байрона. И всей его позицией. И — не это ли главное? — упорством, с каким он вполне осознанно выстраивал собственную биографию, отказываясь покориться судьбе и предпочитая лепить ее по собственному усмотрению, без оглядки на обстоятельства, на воцарившиеся в обществе нормы, на условия и на условности.

На языке поэзии подобное настроение было им выражено в «Прометее», стихах о человеке, который всегда выберет

Мрак отчуждения, непокорство,
Беде и злу противоборство,
Когда, силен одним собой,
Всем черным силам даст он бой.

Строки эти написаны в мрачную пору: Наполсон был низложен и сослан, в Париже вновь воцарились Бурбоны, а реакция справляла свой пышный триумф. При всех своих надломах, при всех изъянах байронизм был прежде всего вызовом общественному омертвлению. Оттого он и сделался едва ли не самым заметным идейным поветрием эпохи.

Романтики возвели в принцип этот, по выражению страстно-го байрониста Альфреда де Виньи, отказ от участи «послушной глины» во «взбалмошных руках» судьбы. Ими владела жажда строить жизнь в согласии с великим идеалом, а не со скучной прозой обыденности. Происходило конструирование собственного бытия взамен, а часто и поверх реального существования; кажется, никто не оказался в подобных усилиях так последователен, как Байрон. И это имело самые многообразные следствия для него самого — как индивидуальности, как поэта, — а тем более для его общественной репутации.

Из писем Байрона, а особенно из воспоминаний и отзывов современников встает образ человека, раздираемого крайностями. Разумеется, они были ему свойственны в высокой степени. Но ничуть не менее свойственна была ему и цельность. Не только цельность образа, становившегося его человеческой сутью и судьбой. Еще и та строгая логика духовного развития, которая сделала этого аристократа и пэра Англии защитником рабочих,

ломавших станки, чтобы не остаться за воротами фабрик. Другом итальянских карбонариев. Непримирым противником Священного союза. Приверженцем революций, где бы они ни вспыхивали — в Неаполе, в Испании, в Южной Америке, в Греции.

Крайности были на виду, цельность оставалась глубоко спрятанной, открываясь лишь самым внимательным из наблюдателей. Стендаль не только определил доминанту характера Байрона — «ненависть и несчастье», но сумел ее объяснить. Ненависть — ко всему, что унижает человека и сковывает свободу духа. Несчастье — оттого, что эта святая ненависть не в силах переменить существующий порядок вещей.

То был симбиоз совершенно особого рода; окружающих он и притягивал, и страшил. В Байроне видели некий демонизм, воспаленную гордость, самомнение непомерное и нетерпимое, и его частная жизнь, привлекая к себе слишком пристальное внимание, давала для этого суждения о нем достаточные поводы. Еще чаще замечали только ненависть или только несчастье, у кого-то возбуждавшие сочувствие, у других — резкую неприязнь. Но лишь очень немногие осознали, что тут не просто свойства характера, а с поразительной рельефностью проступившие в этом характере противоречия времени. Так, как это осознал Вяземский, в 1827 году без колебаний писавший о том, что «нынешнее поколение требует байроновской поэзии не по моде, не по прихоти, но по глубоко в сердце заронившимся потребностям нынешнего века».

Достаточно было не заметить этих потребностей, и байронизм тут же оказывался не более как прихотью, если не хуже — апофеозом своеволия. Выстраивая жизнь по мерке байронического героя, очень многие восторженные поклонники английского поэта были убеждены, что строят ее по образцу самого Байрона. Они, разумеется, заблуждались, но понять такие заблуждения несложно, потому что персонаж, им созданный, не раз подчинял себе и Байрона, требуя от него решений, скорее отвечающих духу байронизма, нежели нормам логики и здравого смысла. Тут была почва многих драм, оказавшихся для поэта безысходными.

Стиль поведения, свойственный байронической личности, диктовал ему поступки, иными причинами не объяснимые. История злополучного брака с мисс Милбэнк, запутанная и травмирующая история отношений со сводной сестрой Августой Ли — далеко не единственные в биографии Байрона случаи, когда им в гораздо большей степени руководили литературные каноны, чем живые человеческие чувства. В подобных ситуациях — не по доброй воле, а словно по обязанности — он

демонстрировал непременные для байрониста гордость одиночки и презрение к общепринятому, подчеркнутую независимость выбора, шокирующее безразличие перед лицом опасностей и гонений. Словом, то, что Тургенев, описывая свою единственную встречу с Лермонтовым, метко назвал напускным «байроническим жанром», за которым не так просто угадать истинное существо человека.

Самому Байрону увлечения этим «жанром» были куда более присущи, чем Лермонтову, и расплачиваться за такие увлечения ему пришлось тяжело. После разрыва с женой он так и не увидит свою дочь Аду, которую — правда, тщетно — пытались воспитать в ненависти к отцу. Августу Ли он тоже не увидит, попрощавшись в нею в ту роковую для него весну 1816 года. А ведь Августа была ему самым близким существом на свете. Покидая Англию, он посвятит ей строки, быть может, самые проникновенные во всей байроновской лирике:

На перепутьях бытия
Ты мне прибежище донине,
И верь, с тобою даже я
Не одинок в людской пустыне.

В действительности «на перепутьях бытия» одиночество оказалось вечным его уделом. Как и зависть ничтожеств, уязвленных его огромной поэтической славой. И год от года усиливавшаяся травля, которой подвергали его реакционеры на родине, а потом в Италии. И всевозможные интриги с единственной целью дискредитировать поэта, раз уж его не удавалось запугать.

«На перепутьях бытия» он встретил куда больше непонимания и озлобленности, чем сочувствия и любви, пережил минуты катастроф, сопровождаемых упадком духа и приступами глубочайшего отчаяния. Но были на этих перекрестках и другие встречи, выпадали звездные часы, когда окружающая тьма словно начинала рассеиваться. Немногочисленные, недолгие, они тем не менее имели в жизни Байрона решающее значение, потому что в конечном счете изменили сам смысл понятия, которому он дал имя.

Байронизм так и останется для восприимчивых аналогом той «преждевременной старости души», которую запечатлел Пушкин в своем Алеко. Изменится время, и это умонастроение — по крайней мере на русской почве — начнет оборачиваться то пошлой патетикой грушницких, то аффектированной демоничностью Николая Ставрогина, который на свой лад тоже драпируется в «Гарольдов плащ».

Но подобный итог вовсе не был обязательным и неотврати-

мым. Судьба самого Байрона, погибшего за свободу Греции, слишком убедительно сказала о том, какие силы дремали в преждевременно состарившихся душах молодых людей посленаполеоновской эпохи, поклонявшихся творцу «Чайльд-Гарольда», как божеству. Печальный эпилог, который разыгрался в греческом городке Миссолонги, стал высшим оправданием байронизма. Его не отменили никакие последующие метаморфозы этой большой идеи.

* * *

Анна Ахматова как-то заметила, что «по сравнению с Пушкиным, Вяземским символисты кажутся мелкими. Те на все смотрели как на свое личное дело — на политику, на светскую жизнь, вообще на жизнь. В их письмах жизнь кажется интересной, а в дневниках Блока и Брюсова она совершенно не нужна»¹.

По отношению хотя бы к Блоку это, думается, не совсем справедливо, зато характер личности, воспитанной романтизмом, схвачен в этом высказывании с безупречной точностью. В Байроне, явившем поистине ярчайший пример человека романтического склада, быть может, более всего поражает как раз неизменная и совершенно для него естественная причастность к треволнениям окружающей действительности — большим и малым, касавшимся его более или менее непосредственно, но еще чаще как бы и не имевшим опознаваемого отзвука в собственной его судьбе. Трудно вообразить поэта, которому были бы настолько чужды настроения избранника, олимпийца, с надмирных высот взирающего на земную суету.

Подавленность, разочарование, тоска — обычное душевное состояние байронического героя, нередко становившееся и состоянием самого Байрона, — были бессильны подавить этот неуемный интерес к свершающейся вокруг жизни. Или умерить жажду воздействия на нее, причем не отвлеченного, но осязаемого, немедленного, достигаемого поступком, который для Байрона был важнее любых деклараций.

Существование могло становиться ему непереносимым, но пустым, ненужным оно не было никогда. Верней всего, в том и заключалась драма его жизни, что он с отчаянным упорством отыскивал дело, достойное щедро ему отпущенных сил и святых идеалов, им исповедуемых, однако в тогдашней атмосфере такого дела не находилось. Надежды, на миг пробужденные то недолговечными успехами итальянских патриотов, то вестями из

¹ Цит. по кн.: Гинзбург Л. Я. О старом и новом. Л., 1982, с. 403.

восставшей, но быстро усмирённой Испании, шли прахом. Со всей серьёзностью обдуманый Байроном план отправиться в Южную Америку на помощь Боливару тоже не удалось осуществить. Греция давала единственный шанс изведать сознание исполненного долга. Байрон предчувствовал, что не вернется оттуда, не строил иллюзий насчет быстрых успехов и побед, но все равно поехал на Кефалонию, а затем в Миссолонги без колёсбаний. Не в поисках ли развязки, пусть трагической, но прекрасной?

Тщетны оказывались старания друзей и доброжелателей его отговорить, напоминая о благоразумии или об обязанностях, которые он несет перед своим поэтическим даром. Во многих байроновских письмах настойчиво повторяется мысль, что занятия литературой — лишь жалкая замена действия, пока оно невозможно. А в «Дон Жуане» есть стихи о «поэзии политики», которая и увлекательнее, и нужнее, чем просто поэзия.

Он настойчиво стремился именно к такой поэзии, и выпало в его жизни несколько захватывающих минут, когда она действительно становилась его музой, отодвигая на второй план и лирику, и драматургию, и поэмы с красочными «восточными» декорациями.

Так было зимой 1812 года, когда, вернувшись из путешествия по Османской империи, Байрон ненадолго занял свое пустовавшее кресло в палате лордов. Обсуждался билль, направленный против разрушителей станков. Проблема к тому времени приобрела исключительную остроту: под Ноттингемом, вблизи Ньюстедского аббатства — байроновского родового гнезда, стояли полки, двинутые против рабочих, ломавших машины, которые означали для них увольнение и голодную смерть. Шла война с Наполеоном; это развязывало руки поборникам суровых мер. Законопроект предусматривал за порчу машин смертную казнь.

В сущности, парламентское обсуждение было чистой формальностью. Различия мнений между лордами, среди которых были люди сравнительно либеральных взглядов, с необходимостью отступали перед факторами несравненно более действенными. Об этих факторах скажет Пушкин в «Путешествии из Москвы в Петербург» — статья, написанной через двадцать один год после тех событий и по цензурным условиям оставшейся ненапечатанной: «Прочтите жалобы английских фабричных работников; волоса встанут дыбом от ужаса. Сколько отвратительных истязаний, непонятных мучений! Какое холодное варварство с одной стороны, с другой — какая страшная бедность! Вы подумаете, что дело идет о строении фараоновых пирамид, о евреях, работающих под бичами египтян. Совсем нет:

дело идет о сукнах г-на Сми́та или об иголках г-на Джексона. И заметьте, что все это есть не злоупотребления, не преступления, но происходит в строгих пределах закона. Кажется, что нет в мире несчастнее английского работника, но посмотрите, что делается там при изобретении новой машины, избавляющей вдруг от каторжной работы тысяч пять или шесть народу и лишаящей их последнего средства к пропитанию...»¹

Нет оснований предполагать, что Пушкину была известна речь Байрона о разрушителях станков; опубликованная лишь в официальном издании, выходившем крохотным тиражом, она вплоть до XX века не включалась ни в одно собрание произведений поэта. Но переключка знаменательна. Подавление луддитов и не могло вызвать иной реакции у тех, в ком современники по праву видели воплощенную гражданскую совесть.

Билль, на который Байрон нападал со страстью и обличительным пафосом, присущими всей его публицистике, разумеется, был принят — правда, во втором чтении. И следующая речь в палате лордов — о притеснениях, которые вынуждены были терпеть ирландские католики, о недопустимости религиозного фанатизма — также не облегчила положение жертв английского карающего благочестия; узел, затягивавшийся в те годы первых столкновений на почве различия исповеданий, как известно, и по сей день не распутан, скорее, наоборот, сделался еще туже. Вряд ли сам Байрон предполагал добиться своими выступлениями реального результата, слишком хорошо зная реальный механизм власти. Но то были акты политического мужества. И в биографии Байрона обе его парламентские речи остались замечательной вехой.

Вторая из них, обращенная к Ирландии, много лет спустя отзовется в «Ирландской аватаре», патетической оде, созданной под тяжким впечатлением от торжеств, которыми сопровождалась поездка в близлежащую колонию только что взошедшего на британский престол Георга IV. Фактически он уже много лет управлял Англией, поскольку предшественник, Георг III, впал в слабоумие. У Байрона был свой счет к обоим Георгам. Он не почитал венценосцев, отечественных — в особенности. Смена монархов и высокопарные вирши, сочиненные по этому случаю отставными вольнодумцами вроде Роберта Саути, дали Байрону желанный повод впрямую высказаться об английской политике. Даже в «Дон Жуане» он был до некоторой степени связан необходимостью хотя бы внешнего соблюдения правил ироикомического повествования. Стихотворная публицистика, какой

¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. VII, с. 199.

явились «Ирландская аватара» и написанный следом памфлет «Видение Суда», избавила от подобных забот. Зазвучала прямая речь.

В «Ирландской аватаре» она наполнена скорбью, в «Видении Суда» — насмешкой и сарказмом, но по сути два этих произведения очень близки друг другу. Оба отмечены немыслимой смелостью разоблачений, идет ли речь о тиранах или об их раболепствующем окружении, вообще о раболепии, подменившем прославленную преданиями гордую независимость ирландцев. Оба определяют точными именами вещи, которые в те времена опасно было даже упомянуть обиняком. И оба подводят итог, достойный царствования Георгов, которое запомнилось разгулом мракобесия, расправами над недовольными, тиранически посягательствами на свободную мысль и на человеческое достоинство:

С тех пор как над людьми монархи правят,
В кровавых списках грязи и греха,
Что всю породу цезарей бесславят,
Другое мне правленье назови,
Столь вымокшее в пролитой крови.

«Ирландскую аватару» Мур напечатал в Париже, «Видение Суда» вышло под псевдонимом и тут же подверглось запрету. Для Байрона были не в новость и такие издательские ухищрения, и барьеры, которые возникали на его пути всякий раз, как он впрямую обращался к «поэзии политики». Стихи о Наполеоне, написанные в те дни, когда лондонские газеты обливали грязью «корсиканского людоеда», который, сбежав с Эльбы, вновь овладел Парижем, пришлось выдавать за перевод с французского. Публикация первых же песен «Дон Жуана», где британский министр иностранных дел Каслри был назван «кузнецом цепей человечества», а о Европе говорилось, что в ней «езде рабы и троны, смрад и грязь», вызвала возмущенные комментарии, напугавшие издателя, который поспешил на время прекратить деловые отношения с поэтом, хотя они и были давними приятелями.

Легко представить себе, каков был общественный резонанс, если в такое раздражение впала консервативная пресса. Но Байрон не испытывал удовлетворения. С годами его вообще все меньше занимали литературные дела. А делом для Байрона была революция.

Разумеется, его политические взгляды принадлежат тогдашней эпохе и далеко не последовательны. Он оказался современником Наполеона — факт, имеющий чрезвычайную важность

для его биографии. Стендаль упоминает о том, как простодушно, почти по-детски радовался Байрон случайному совпадению собственных инициалов с аббревиатурой, которой подписывал приказы низложенный император. Штрих, о многом говорящий: Наполеон томился на Св. Елене, Байрон оставался в Европе и, видимо, ощущал в себе возможность стать для нового европейского поколения тем же кумиром, каким еще несколько лет назад был артиллерийский офицер, сумевший — долгое время в этом были убеждены — подчинить историю своей воле.

Это, однако, лишь часть истины. Байрон обожествлял Наполеона, причем считал долгом чести говорить об этом с вызывающей прямотой, по мере того как все разнужданнее становились в английском обществе нападки на «узурпатора», сопровождаемые славословиями Священному союзу. И Байрон судил Наполеона от имени своих сверстников, для которых тот был титаном, рожденным революцией, но предавшим ее во имя собственных ничтожных амбиций. Так думал о Наполеоне не только Байрон, вспомним хотя бы наполеоновскую тему у Лермонтова. Но все-таки именно Байрон первым высказал упрек всего поколения тому, перед кем оно преклонялось в юности и кого сам он мальчиком, по воспоминаниям однокашника, бросался защищать с кулаками, стояло в его присутствии непочтительно отозваться о герое Тулона и Маренго:

Тебя Судьба рукой кровавой
Вписала в летопись времен.
Лишь бегло озаренный славой,
Твой лик навеки омрачен.

Он первым с такой бескомпромиссностью признал, что Французская революция потерпела крушение из-за собственных слабостей и что эта катастрофа нанесла тяжелейший удар по самым светлым надеждам человечества. «Звезда отважных» закатилась, вновь «побеждает мгла» — так писал Байрон в стихах 1815 года. Это стихи о кризисе идеалов, о порождаемой им глубокой тоске, о том, что «только тлен и прах» воцаряются на обломках прекрасной мечты, которую развеяла история, ничего не предложив на место возвышенной химеры.

После такого опыта само понятие свободы представало исходно противоречивым: ведь из этой идеи в конечном счете выросла тирания Бонапарта, а стало быть, обманчивой оказалась перспектива справедливости, вольности, братства, о котором мечтала штурмовавшая Бастилию толпа. Вся европейская мысль в эпоху Байрона билась над тайной удручающего перерождения республики в диктатуру, а затем в империю, под-

чинявшуюся наполеоновскому «деятельному деспотизму» (Пушкин).

Для Байрона это был отрезвляющий жестокий урок. Но он категорически отказал в оправдании тем, кто, испытав минуты горечи и безверья, хорошо знакомые и ему самому, не смог их преодолеть, отступился от порывов своей юности, предался покаянию или мистицизму, циничному осмеиванию собственной наивности или мрачному философствованию, доказывавшему, что история движется по замкнутому кругу и не оставляет надежд на социальное обновление. Противоборство злу осталось для него высшим этическим принципом, какое бы отчаяние ни доводилось испытывать и как бы ни склоняли к мизантропии реальные обстоятельства жизни. Возможности этого противоборства Байрон упорно искал и в годы после Венского конгресса, когда казалось, что «Европа вся в кровавой вакханалии», а проекты совершенствования общественных порядков и нравов вызывали лишь горький скепсис у всех помнивших, чем подобные затеи кончились во Франции.

Желанную возможность Байрону предоставило итальянское, а затем греческое движение. Зло представляло конкретным и зримым — им было национальное угнетение. И уже не возникало тех тяжелых моральных коллизий, которые для Байрона, как для всех питомцев наполеоновского века, оказались бы неизбежными, посвяти они себя социальной революции. Само время направило бунтарскую энергию Байрона в тот канал, который оставался незамутненным. Италия стала для поэта второй родиной. Греция, где, как писал он еще в «Чайльд-Гарольде», «свободных в прошлом чтут сыны Свободы», стала его последним прибежищем.

Он вовсе не идеализировал ни карбонариев, ни этеристов. Итальянские венты проявляли редкостную неумелость и нерешительность всякий раз, как ситуация благоприятствовала восстанию против австрийцев; в этериях — греческих обществах, созданных еще в конце XVIII века для подготовки освободительной войны, — личные интересы руководителей наподобие Маврокодато вновь и вновь брали верх над потребностями дела. Письма и дневники Байрона, относящиеся к последнему периоду жизни, полны раздражения, вызываемого грубыми просчетами вождей и беспечностью рядовых участников борьбы, конфликтами, порожденными мелким самолюбием, и вообще боязнью решительного шага, которого он страстно ожидал.

Но Байрон, в отличие от Пушкина, никогда не заявил бы, что Греция ему «огадила» при всем желании «освобождения от рабства нестерпимого», и не назвал бы «непростительным ребячеством» ситуацию, когда «просвещенные европейские народы

бредили Грецией»¹ — не без его влияния, конечно. Причем суть тут не в различии темпераментов, скорее в том, что по-разному воспринималось все связанное с греческим вопросом. Для Пушкина, поначалу испытывавшего не меньший энтузиазм при известиях из восставшей Греции, события в Элладе отодвигались на второй план, потому что их заслонили быстро приближавшиеся события на Сенатской площади. Для Байрона греческая революция оставалась единственным проблеском вольности в тогдашней европейской атмосфере. Гёте понял самое главное, сказав, что на Кефалонию Байрон уехал не столько вдохновленный верой в этеристов, сколько движимый разладом со всем миром. Греция давала пусть робкую, но все же надежду, что мир начнет меняться к лучшему. И во имя этой надежды Байрон не пощадил своей жизни.

Поступать по-другому он не мог. Революция всегда была для него личным делом, сколь бы разноречивые мысли ни вызывала в нем сама идея революции. Он не умел оставаться безучастным перед лицом зла, как не умел равнодушно видеть чью-то беду, причиняемую нелепостью общественных установлений или ханжеством, возведенным в добродетель. В собственной жизни он никогда не оглядывался ни на эти установления, ни на третируемую им светскую мораль. И отдавая себе отчет в том, что бунтарство, ставшее принципом поведения, обязательно приведет к жестокому конфликту с обществом, словно торопил эту неотвратимую схватку, а иной раз откровенно ее провоцировал.

Так повелось у Байрона с детских лет, а впоследствии, когда определился круг его настроений, полусознанное побуждение сделалось принципом. Письма Байрона неоценимы и в том смысле, что позволяют ступень за ступенью проследить, как выковывается этот непростой характер, на долгие годы ставший эталоном для бесчисленных подражателей. Сохранилось около трех тысяч писем поэта².

Впрочем, гораздо больше таких байроновских материалов, которые мы пока не знаем. Может быть, эта книга отчасти восполнит подобные пробелы. По замыслу, это документальный портрет Байрона и — в какой-то степени — его эпохи. Поэтому особое внимание уделено документам, характеризующим время, прежде всего публицистике Байрона, прозаической и стихотворной; монтаж мемуарных свидетельств, составляющий особый раздел сборника, даст почувствовать, каким видели поэта его современники; понятно, что нам более всего интересны русские

¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. X, с. 74.

² Часть из них вошла в кн.: Байрон Дж. Г. Дневники, письма. М., 1963.

отзвуки лиры Байрона, и, конечно, вошли в книгу те письма поэта, которые переведены впервые. По ним отчетливо видны решающие минуты жизни Байрона и, думается, еще отчетливее — суть противоречий, которые разделили поэта и английское общество той поры.

Коротко говоря, суть их определялась тем, что в обществе господствовал дух безгласного подчинения предустановленным правилам добродетельности, а Байрону был ненавистен подобный сервизизм, на каждом шагу порождавший лицемерие, которое он считал самым отвратительным из людских пороков. Много лет спустя, размышляя о Байроне, Аполлон Григорьев заметит, что общество, собственно, отвергло поэта, даже не попытавшись вникнуть в мотивы, которыми направлялся его образ действий в тех или иных обстоятельствах. «Довольно того, что он вышел из условных орбит условнейшего существования», — простить ему этого не могли.

Григорьев долго преодолевал, перебарывал в себе байронизм, хотя смолоду он, как едва ли не все в его поколении, был сильно увлечен Байроном. Эпоха требовала иных идей, иных поэтических звуков; прошлое надлежало отринуть. При такой настроенности трудно быть объективным, судя собственное прошлое; этого не смог и Григорьев, оглядываясь — иронично и желчно — на собственный период байроновской тоски, отчаяния и «сатанинского смеха». Но сколько бы ни обличал Григорьев это «постоянное стремление развивать напряженно мрачные стороны души», подобный взгляд на Байрона все-таки не помешал точности многих наблюдений, главное из которых состояло в том, что никакой искусственности не было ни в байроновском протесте «против всего условного в окружавшем его обществе», ни даже в бунте «во имя самого бунта, без всяких других полномочий». Григорьев, строго выговаривая Байрону «за отсутствие в поэзии его идеального созерцания», в то же время прекрасно понимал, что «муза Байрона есть Немезида жизни» и что пробудила ее «неправда» общественных понятий, их «безобразие», их «безнравственность».

Соотечественникам поэта было куда удобнее и успокоительнее обвинить в безнравственности, эгоизме, неправде саму эту музу, постаравшись отыскать аргументы для подобных обвинений прежде всего в частной жизни поэта. Грандиозный успех «Чайльд-Гарольда», где был опознан и назван главный недуг времени — «тоска», порождающая «преждевременную старость души», — в мгновение ока сделал Байрона не только знаменитым поэтом, но личностью, приковавшей к себе все взоры. Отныне он уже не будет принадлежать одному себе: предметом споров, пересудов, а чаще всего сплетен станет каждый его шаг. Ра-

зумеется, он об этом знал, нередко действуя с осознанным намерением углубить, обострить расхождение с лондонским светом, для которого творец Гарольда сам воплощал и разочарованность, и равнодушие к преобладающим этическим понятиям. Григорьев, касаясь поэзии Байрона, писал о «правде казни, обращаемой им на себя как на носящего в себе разложение казнимой жизни», и в этой «искренности» видел высокое художественное достоинство. Очень тонкое наблюдение! Оставалось договорить одно: «правда казни», безусловно, была вызовом лицемерию, которое никогда бы не признало, что подобная жизнь должна быть «казнена», и, значит, сама правдивость, «искренность» Байрона становились залогом преодоления лжи, противоборством беде и злу.

Смелость этого вызова интриговала, завораживала, но на поверку оказывалась для байроновского аристократического окружения неприемлемой. Это четко проявилось уже в наделавшей шуму истории с Каролиной Лэм. Впоследствии эта история под-сказала фабулу мелодраматических повествований, а также фильма, где участие таких звезд экрана, как Сара Майлс и Лоуренс Оливье, все-таки не могло скрыть шаблонности коллизий, которые сводились к роковой страсти, не оглядывающейся на правила этикета. А на самом деле разыгрывался один из тех сюжетов, которыми Байрон наполнит песни «Дон Жуана»: «И часто, стоя бездны на краю, все в невиновность веруем свою». Леди Каролине никто бы не отказал ни в смелости, ни в силе характера, но невиновность в глазах высшего общества для нее была тем не менее обязательной, тогда как существовать рядом с Байроном неизбежно означало перейти грань, за которой об условностях не думают. Порыв, заставивший Каролину Лэм на миг позабыть о собственном высоком положении, был не более чем мимолетным порывом. И она в дальнейшем доказала это, став непримиримой обличительницей «безумств» Байрона, который в сочиненном ею романе «Гленарвон» изображался исчадием ада, погубителем неискuschenных сердец, злым демоном, средоточием аморализма.

Получивший скандальную огласку разрыв с леди Байрон и вынужденный отъезд поэта из Англии весной 1816 года обнаружили такую глубину конфликта со светской чернью, когда ни о каких компромиссах не могло идти речи. По сей день в этом переломном событии биографии Байрона остается много неясного. Версия, согласно которой основная причина разрыва состояла в неподобающе близких отношениях Байрона с Августой Ли, подкреплена достаточно вескими доказательствами, однако и ею объясняется далеко не все. Несомненно, что в судьбе брата Августа сыграла исключительную роль, несомненно и то, что

чувства тут были более чем родственными. Впрочем, недостойно копаться в интимных подробностях, увлекших стольких биографов, которые занимались домысливанием ввиду нехватки прямых свидетельств. А еще менее достойно по их примеру повторять инсинуации против поэта, восходящие главным образом к леди Байрон, с чьих слов Гарриет Бичер-Стоу в свое время написала памфлет, изображающий Байрона чудовищем.

Подоплека той драмы, которая произошла без малого двести лет назад, теперь уже не может быть воссоздана во всей сложности, однако достаточно ясны предопределенность и неотвратимость случившегося. Каковы бы ни были отношения с Августой, они в конечном счете могли послужить лишь поводом. Брак с Аннабеллой Милбэнк, удививший многих друзей Байрона, был изначально обречен на катастрофу уже ввиду того, что трудно представить себе более несхожих людей, чем эта по-своему умная, властная, истово религиозная девушка и питавший отвращение ко всякой ортодоксии поэт, в котором она не без труда распознавала «благородные ростки добра», пробиравшиеся через «ужасные привычки». До конца дней Байрон вину за последствия этого брака возлагал на одного себя, но вина его заключалась главным образом в неверном выборе спутницы, сделанном по соображениям, глубоко чуждым его натуре.

Брак предоставил поэту возможность удостовериться в том, насколько он был прав, находя родственные узы не более чем «предрассудком, а не привязанностью сердца, которое делает свой выбор без принуждений». По крайней мере сам он был не из тех людей, которым такие узы легко нести. Поведение Аннабеллы в тот год, что продержался их союз, оставалось едва ли не безукоризненным, чего не сказать о поведении Байрона, однако существовал в этих отношениях и другой, не обыденный счет. Аннабелла добивалась прочности чувств, скрепленных обетом и в полной мере скорректированных необыкновенно цепкими понятиями о семейном долге; для Байрона подобная прочность означала бы отказ от собственного «я». Конфликт становился неизбежным, а многочисленные враги поэта сделали все, чтобы приблизить его, а затем обострить до предела.

Несколько лет спустя, составляя первую биографию Байрона, Томас Мур напишет: «Он был убежден, что лица, в которых он склонен был видеть источник всех своих бед, питают к нему такую ненависть, что не успокоятся даже после его смерти и будут так же отравлять память о нем, как отравляли его жизнь». Книга Мура основывается на частых и долгих беседах с Байроном, доверившим ему даже заботу о собственных мемуарах (и, как выяснилось, напрасно: под давлением леди Байрон и ее адвокатов Мур из соображений «приличия» сжег эту рукопись). Сви-

детельствам Мура, как правило, нужно верить, но это только свидетельства — не анализ и не оценка. Вяземский, никогда не встречавшийся с Байроном, зато выказавший удивительное понимание и поэзии его, и судьбы, в письме, относящемся к 1821 году, сформулирует суть дела лаконичнее и четче, заметив, что «краски его романтизма сливаются часто с красками политическими»¹.

Афористичнее, пожалуй, не скажешь о доминирующем качестве, которое создавало личность, совершенно уникальную для того времени. Байрон олицетворял романтизм, а его романтизм был больше, чем поэтическим направлением. Он становился позицией. Он приобретал ясно выраженный политический оттенок. Он служил декларацией несмирения и противоборства, а смысл этой декларации отчетливо прочитывался не только в гражданских стихотворениях Байрона, но и в философской лирике «Еврейских мелодий» или в драмах на библейские сюжеты. В парламентских речах. В разящей иронии «Дон Жуана». В нескрываемой поддержке карбонариев и затем этеристов. Во всей логике биографии Байрона, подразумевать ли поэзию, общественную деятельность или сугубо частные стороны жизни.

Простить ему это воинствующее, подчеркнутое презрение к покорности и ханжеству английское общество не могло, оттого и ненависть, которую у него вызывал Байрон, оказалась такой накаленной, такой длительной. Перечитывая газетные комментарии, которыми сопровождался его разрыв с Аннабеллой, трудно избавиться от чувства, что кто-то умело режиссировал эту кампанию самой немыслимой клеветы, развернутую весной 1816 года. Потом, в изгнании, Байрон старался не замечать подозрительных труб, в которые с соседних вилл разглядывали каждый его шаг, и обмороков почтенных дам, когда он появлялся в каком-нибудь швейцарском или итальянском салоне.

Судьба послала ему встречу с Терезой Гвичьоли, которой достало мужества пойти против этикета и католических догм, хотя такой бунт грозил пожизненным заточением в монастыре. Но судьба послала ему и шпионов Меттерниха, к которым впоследствии добавились агенты Нессельроде. В Вене, в Петербурге и, разумеется, в Лондоне были осведомлены обо всех его начинаниях, ставя ему одну ловушку за другой. Писать, тем более публиковаться делалось все труднее, и даже Тереза, напуганная смелостью «Дон Жуана», просила не продолжать этот сатирический обзор века, далеко обогнавший литературу своего времени.

¹ Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. М., 1984, с. 398.

Разлад с миром углублялся. В Греции рядом не было, по сути, уже никого. Байрон был к этому готов. В последнее путешествие он отправился, не питая надежд на триумф. Он ехал защищать справедливость. Он знал, что великого самопожертвования требует идея, которой подчинена его жизнь.

У этой идеи были противники не только среди тех, кто страшился любой оппозиции существующим порядкам и нравам. У нее были очень серьезные критики из числа самых близких Байрону людей. Гёте она не устраивала тем, что была настояна на эгоцентризме, Шелли — своей непоследовательностью, особенно когда дело касалось религии. Суд потомков был еще более требовательным. Но сколько бы аффектации ни находили в байронизме по мере того, как отдалялась во времени эпоха Байрона, для самой этой эпохи байронизм был умонастроением, в котором она обрела свой истинный, неуцеленный голос.

В России это всегда осознавали с необходимой полнотой. О русской судьбе Байрона написано немало, но пока только контурами выступила история русского байрониста во всех, подчас фантастических, модификациях этого человеческого типа от Алеко до чеховского Соленого. В какой-нибудь будущей типологии характеров и героев русской литературы этой богатой теме будет посвящена особая большая глава.

А пока только напомним о том, что в протоколах Следственной комиссии, допрашивавшей декабристов, имя Байрона упоминается множество раз, когда речь заходит об идейных влияниях, испытанных теми, кто вышел на Сенатскую площадь 14 декабря 1825 года. Что Пушкин, получив горестную весть из Миссолонги, заказал поминанье по «боярине Георгии». Что для Вяземского, для Козлова и других литераторов пушкинского круга Байрон был самым близким из современных поэтов. Что Лермонтов пережил исключительно сильное увлечение Байроном, который остался для него духовным спутником до конца дней.

И кроме того, откроем «Былое и думы», где дана, быть может, самая яркая характеристика того, что значил Байрон для русского общества. Герцен вспоминает о Байроне под впечатлением печального финала революции 1848 года, но, в сущности, речь идет о другом историческом завершении — о декабризме и последовавшей за ним реакции. И вот что мы читаем в пятой части книги Герцена: «Разочарование — слово битое, пошлое, дымка, под которой скрывается лень сердца, эгоизм, придающий себе вид любви, звучная пустота самолюбия... Все это совершенно так, а вряд ли нет чего-либо истинного, особенно принадлежащего нашему времени, на дне этих страшных психических болей... Разочарование Байрона больше, нежели каприз, боль-

ше, нежели личное настроение». Потому что выразило оно «сознание бессилия идеи, отсутствия обязательной силы истины над действительным миром»¹.

Прошло без малого полтора столетия с тех пор, как написаны эти герценовские строки, но и сегодня истина лишь в тяжких борениях доказывает свою обязательную силу над действительным миром, а слово Байрона все так же помогает ее нелегкому торжеству — насколько это по силам поэзии.

А. Зверев

¹ Герцен А. И. Собр. соч. в 9-ти томах. М., 1956, т. 5, с. 373.

I. «Европа вся в кровавой вакханалии...»

Куда бы я глаза ни обратил,
Везде я вижу цепи. О Италия!
Ведь даже римский дух твой погасил
Сей ловкий шут, презренная каналая!
Он ранами Ирландию покрыл,
Европа вся в кровавой вакханалии,
Везде рабы и троны, смрад и тьма...

Байрон. «Дон Жуан»

РЕЧЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ В ПАЛАТЕ ЛОРДОВ 27 ФЕВРАЛЯ 1812 ГОДА ВО ВРЕМЯ ОБСУЖДЕНИЯ БИЛЛЯ ПРОТИВ РАЗРУШИТЕЛЕЙ СТАНКОВ

Милорды! Вопрос, который сегодня впервые предлагается на ваше рассмотрение, нов для палаты, но отнюдь не является новостью для страны. Он волновал умы самых различных людей еще задолго до того, как был внесен на обсуждение в законодательные органы, вмешательство коих одно только и может принести в этом деле существенную пользу. Хотя сам я неизвестен ни палате в целом, ни даже кому-либо из отдельных ее членов, на чье внимание я имею смелость рассчитывать, все же я, как человек, в какой-то мере связанный с графством, где имели место эти прискорбные события, вынужден просить вас, милорды, оказать мне снисхождение и выслушать те несколько замечаний, которые я хотел бы сделать по данному вопросу, должен признаться — глубоко меня волнующему.

Входить в какие-либо подробности относительно происшедших беспорядков, мне кажется, нет надобности: палате и без того уже известно, что были совершены всевозможные насильственные действия, за исключением разве только прямого кровопролития, и что владельцы ткацких станков, а также все лица, которых рабочие считали с ними связанными, подверглись насилию и оскорблениям. За то короткое время, что я недавно провел в Ноттингемшире, не проходило и суток без какого-нибудь акта насилия; и в самый день моего отъезда я узнал, что накануне ве-

чером было разбито еще сорок станков, причем и на этот раз, так же как в прошлые разы, действия эти не встретили ни с чьей стороны отпора и виновные так и не были обнаружены.

Таково было тогда положение в Ноттингемском графстве; таким оно остается, насколько мне известно, и в настоящее время. Но если, с одной стороны, приходится согласиться, что беспорядки достигли внушающих тревогу размеров, нельзя, с другой стороны, не признать, что причиной их была несслышанная нужда среди рабочих. Самое упорство, с которым действуют эти несчастные, служит тому доказательством; ибо что, кроме самой крайней нужды, могло бы побудить такое большое количество людей, до тех пор честных и трудолюбивых, к совершению поступков, опасных для них самих, для их семей и для общества? В то время, о котором я говорю, и город [Ноттингем]¹, и все графство были наводнены крупными военными отрядами; полиция была поставлена на ноги, судьи были в сборе; и, однако, все эти меры — и военные и гражданские — не привели ровно ни к чему. Ни один разрушитель станков не был застигнут на месте преступления, ни против кого не удалось собрать улик, достаточных для обвинительного приговора. Но полиция, хотя и бесполезная, отнюдь не бездействовала: было обнаружено большое число отъявленных злоумышленников, подлежащих осуждению на основании неопровержимых данных; людей, уличенных в тяжчайшем из всех преступлений, а именно — в бедности; виновных в том, что они преступно произвели в законном браке по нескольку человек детей, которых они — опять-таки по причине тяжелого положения в стране — не имеют возможности прокормить.

Конечно, владельцы усовершенствованных станков потерпели значительные убытки. Эти машины должны были принести им большую выгоду, ибо каждая заменяла собой нескольких рабочих, — а тем, стало быть, предоставлялось умирать с голоду. Один тип станка был особенно выгоден: на нем один рабочий мог выполнять работу многих — и всех лишних немедленно увольняли. Надо, однако, заметить, что ткань, изготовленная на этих станках, получается более низкого качества; у нас она не имеет сбыта и потому готовится кое-как и наспех, исключительно для вывоза. У рабочих она получила название «паутинки». Уволенные же рабочие по невежеству своему, вместо того чтобы радоваться столь полезным для человечества изобретениям, обижались на то, что их приносят в жертву ради усовершенствования механизмов. В простоте душевной они полагали, что удов-

¹ В квадратных скобках здесь и далее даны примечания английских и американских издателей. (*Прим. издат.*).

летворительный заработок для трудящихся бедняков и их благополучие — дело более важное, чем обогащение кучки фабрикантов путем усовершенствования промышленных орудий, в результате которого рабочий остается без работы, ибо его труд уже не окупает расходов на его оплату. И нельзя не признаться, что если раньше, при том размахе торговли, которым мы некогда гордились, можно было бы ввести эти новые, более мощные машины с пользой для хозяина и без ущерба для рабочего, то при нынешнем положении, когда мануфактура гниет на складах и видов на вывоз никаких нет, когда в равной мере сокращается спрос на товар и спрос на рабочие руки, введение новых станков еще усугубляет нужду и недовольство среди обманутых в своих надеждах рабочих.

Однако истинная причина их нужды и порожденного ею недовольства лежит глубже. Когда нам говорят, что эти люди объединились для того, чтобы не только погубить свое относительное благополучие, но даже уничтожить самые орудия, при помощи которых они снискивали себе пропитание,— когда нам это говорят, можно ли не вспомнить, что благосостояние этих рабочих, ваше благосостояние, благосостояние всей страны было подорвано не чем иным, как нашей непримиримой политикой и затянувшейся на целых восемнадцать лет разорительной войной? Той политикой, которая была начата «великими мужами, коих боле нет», но пережила умерших и стала проклятьем живых до третьего и четвертого колена! Эти рабочие не ломали своих станков, пока станки не стали бесполезными для них — и даже хуже чем бесполезными: пока еще не сделались для них прямым препятствием в их усилиях добыть себе кусок хлеба. Можно ли в таком случае удивляться, что в наше время, когда люди, немногим ниже стоящие на общественной лестнице, чем вы, милорды, оказываются повинными в злостном банкротстве, явном мошенничестве и прямых уголовных преступлениях; можно ли в таком случае удивляться, если люди из низшего класса, составлявшего, однако, еще совсем недавно самую полезную часть населения, в час горькой нужды забывают свой долг и совершают проступки, как-никак все же менее тяжкие, чем те, в которых был уличен один из их представителей в парламенте? Но в то время как высокопоставленный преступник легко может найти способ обойти закон, для несчастных рабочих, которых на преступление толкает голод, мы изобретаем новые неотвратимые кары и расставляем им новые убийственные капканы. Эти люди готовы были копать землю, но лопата находилась в чужих руках; они не постыдились бы просить милостыню, но никто им ее не подавал; свой заработок они потеряли, другой работы найти не могут — и как ни прискорбны и ни достойны осуждения

произведенные ими беспорядки, удивляться этим событиям никак не приходится.

Говорят, что лица, которые работали на этих станках, сами потворствовали их разрушению. Если бы это подтвердилось следствием, естественно было бы требовать, чтобы столь важные пособники преступления понесли наиболее строгое наказание. Но я надеялся, что всякая мера, предложенная правительством его величества на ваше, милорды, утверждение, будет иметь своей основной целью примирение враждующих сторон. Или, если бы подобное примирение оказалось невозможным, что нам будет по крайней мере дана возможность расследовать и всесторонне обсудить этот вопрос. Я никак не ожидал, что от нас потребуют, чтобы мы, вовсе не разобравшись в деле и не имея веских оснований для какого-либо решения, огульно выносили обвинения и вслепую подписывали смертные приговоры. Но допустим даже, что рабочие не имели причин для недовольства, что их претензии, так же как и претензии их хозяев, были равно неосновательны, что они заслужили самое худшее, — как же беспомощно, до какой степени глупо проводились те меры, при помощи которых рассчитывали их усмирить! Если уж вызывать воинские части, то зачем делать из них посмешище? А вся эта экспедиция была проведена так, что превратилась в сущую пародию летней кампании майора Стерджона, только что время года было другое; да и во всех прочих выступлениях, и военных и гражданских, их организаторы как будто взяли себе за образец мэра и городской совет Гаррата. Сплошные марши и контрмарши! Из Ноттингема в Булвел, из Булвела в Бенфорд, из Бенфорда в Менсфилд! А когда наконец воинские части прибыли к месту своего назначения во всем своем воинственном «величии и блеске, под трубный глас победы», они явились как раз вовремя, для того чтобы обнаружить, что преступления уже беспрепятственно совершились и виновные успели благополучно скрыться; после чего солдатам оставалось только собрать богатую добычу в виде изломанных станков и вернуться на свои квартиры под насмешки старух и улюлюканье мальчишек. Разумеется, в свободной стране армия вовсе не должна внушать страх, по крайней мере собственным своим согражданам; но я не вижу также необходимости ставить ее в смешное положение. В споре меч — это наихудший из всех возможных аргументов, почему он и должен быть последним. А тут его пустили в ход первым, к счастью не вынимая из ножен. Но бийль, который мы сегодня обсуждаем, заставит его вынуть. А между тем, если бы в самом начале беспорядков были созданы собрания и жалобы рабочих, а также и хозяев, ибо у тех тоже есть свои жалобы, были взвешены по справедливости и обсуждены без

всякого пристрастия, — если бы все это было своевременно сделано, то можно было бы (я в этом не сомневаюсь!) придумать такие меры, которые вернули бы рабочему его работу, а графству — спокойствие.

В настоящую минуту Ноттингемское графство страдает от двух бедствий: скопления праздной военщины и голода среди населения. Но как же мы, значит, были ко всему этому равнодушны, если только сегодня палата в первый раз получает официальные сведения о происшедших волнениях! Все это совершалось в каких-нибудь ста тридцати милях от Лондона, а мы, «в покое пребывая, мнили, что мощь Британии растет и зреет», и, слепые к страданиям внутри страны, готовились ликовать по случаю побед за рубежом. Но сколько бы чужеземных армий ни отступило перед вашими военачальниками, все это очень слабый повод для самодовольства, когда собственную вашу страну раздирает междоусобие и приходится своих драгун и палачей натравливать на своих же сограждан!

Вы называете этих людей чернью, преступной, опасной и невежественной, и считаете, по-видимому, что единственный способ смирить *bellua multorum capitem*¹ — это отрубить ему несколько лишних голов. Но ведь даже чернь можно образумить сочетанием миролюбия и твердости — разве это не лучше, чем еще добавочно ее раздражать, а затем обрушивать на нее удвоенные кары? А понимаем ли мы, чем мы обязаны черни? Ведь это чернь обрабатывает ваши поля и прислуживает в ваших домах, ведь это из черни набирается ваш флот и вербуются ваша армия, ведь это она дала вам возможность бросить вызов всему миру, — но она бросит вызов вам самим, если нуждой и небрежением будет доведена до отчаяния! Вы можете называть этих людей чернью, но не забывайте, что чернь очень часто выражает чувства всего народа.

И как здесь не отметить, с какой готовностью вы спешите на помощь своим союзникам, когда они в ней нуждаются, но нуждающимся в собственной вашей стране предоставляете возлагать все свои надежды на милость провидения — или милостыню церковного прихода...

Когда Португалия тяжело пострадала во время отступления французских войск, все руки протянулись ей на помощь, развязались все кошельки; щедроты богача и лепта вдовицы — все было послано разоренным португальцам, чтобы они могли вновь отстроить свои деревни и наполнить свои житницы. Вы проявили тогда милосердие к чужим, а сейчас, когда тысячи ваших соотечественников, впавших, правда, в заблуждение, но тем не ме-

¹ Многоголовое чудовище (лат.).

нее глубоко несчастных, терпят жестокую нужду и голод,— сейчас как раз время проявить его к своим. Даже если этих рабочих нельзя вернуть на фабрики (чего я не могу решить без предварительного расследования), то и тогда гораздо меньшей суммой, чем та, что вы послали в Португалию, всего одной десятой этого щедрого дара было бы достаточно, чтобы избавить их от благодеяний штыка и виселицы. Но, очевидно, у наших друзей слишком много забот за границей, так что им некогда оказывать помощь дома, хотя никогда еще и нигде в ней не было столь неотложной необходимости. Я проехал через Пиренейский полуостров в дни, когда там свирепствовала война, я побывал в самых угнетенных провинциях Турции, но даже там, под властью деспотического и нехристианского правительства, я не видал такой ужасающей нищеты, какую по своему возвращении нашел здесь, в самом сердце христианского государства.

Но какие же вы предлагаете средства от этого недуга? После целых месяцев бездействия — или таких действий, которые еще хуже, чем бездействие, — выдвигается на сцену главное и решительное средство, излюбленная мера всех государственных ценителей — со времен Дракона до наших дней. Пошупав пульс больного, покачав головой, прописав сперва общепринятый в таких случаях режим — теплую водицу и кровопускание (теплую водицу вашей никчемной полиции и ланцет армии), — они наконец решают, что прекратить эти конвульсии может только смерть — это неизбежное завершение всех усилий наших политических Санградо. Но, не говоря уже о явной несправедливости и очевидной бесполезности этого билля, неужели в ваших законах еще недостаточно статей, карающих смертной казнью? Мало разве крови на вашем уголовном кодексе, что надо проливать ее еще, чтобы она вопияла к небу и свидетельствовала против вас? И каким образом намерены вы осуществить этот билль? Можно ли засадить целое графство в его собственные тюрьмы? А может быть, вы поставите по виселице на каждом поле и развешаете людей вместо пугал? Или, может быть (это неизбежно, если вы хотите выполнить собственные предписания), — может быть, вы решите казнить каждого десятого? Ввести военное положение во всей стране? Обезлюдить и опустошить все вокруг? Сделать приятный подарок королю, вернув Шервудский лес в его прежнее состояние заповедника для королевской охоты и убежища для объявленных вне закона? Этими ли средствами вы надеетесь умиротворить голодное и доведенное до отчаяния население? Разве изголодавшийся бедняк, не оробевший перед вашими штыками, испугается ваших виселиц? Когда человек в смерти видит облегчение (и это, по-видимому, единственное облегчение, которое вы можете ему предложить), можно ли

угрозами привести его к покорности? Что не удалось вашим гренадерам, удастся ли вашим палачам? И если вы будете действовать судебным порядком, где вы найдете свидетелей, чтобы уличить виновного? Люди, которые отказывались выдавать своих сообщников, когда тем угрожала только ссылка, вряд ли поддадутся искушению свидетельствовать против них теперь, когда им угрожает смертная казнь. При всем моем уважении к благородным лордам, сидящим против меня, я полагаю, что несколько более внимательное рассмотрение вопроса и некоторое предварительное его расследование даже их, пожалуй, побудило бы изменить свое мнение.

Столь излюбленная у нас государственная мера, так часто применявшаяся в последнее время и с таким блестящим результатом — выжидание, — как раз сейчас была бы не совсем бесполезна. Но когда дело идет о том, чтобы даровать свободу или оказать помощь, вы колеблетесь, рассуждаете годами, медлите, стараетесь убедить других, а вот когда требуется санкционировать закон, карающий смертной казнью, вы считаете, что это нужно сделать сейчас же, без минуты промедления и не раздумывая о последствиях. А я твердо убежден на основании всего, что сам видел и слышал, что провести этот билль сейчас, при всех существующих условиях, без изучения вопроса и без размышлений, значило бы несправедливостью и варварской жестокостью еще больше раздражить народ и выказать полное пренебрежение к его нуждам. Составители такого билля могут по праву считать себя достойными преемниками того афинского законодателя, о котором говорили, что его законы писаны не чернилами, а кровью.

Но предположим, что билль прошел; предположим, что одного из этих рабочих, такого, как те, которых я сам видел, изможденного голодом, подавленного отчаянием, не дорожающего больше своей жизнью, которую вы, милорды, кажется, тоже склонны оценить несколько ниже, чем, скажем, стоимость чулочной-вязальной машины, — предположим, что этого человека, оторванного от детей, для которых он больше не в силах добыть кусок хлеба, разлученного с семьей, которую он еще недавно содержал мирным трудом, а теперь — и не по своей вине — больше содержать не может, — предположим, что этого человека (таких, как он, десять тысяч, и выбрать жертву нетрудно), — предположим, что его приводят на суд, чтобы судить по новому закону за поступки, которые до сих пор не были, а теперь стали тяжким преступлением; все-таки для того, чтобы его обвинить и приговорить к смерти, нужны, по-моему, еще две вещи: двенадцать убийц на скамье присяжных и Джеффрис в судейском кресле!

**РЕЧЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ В ПАЛАТЕ ЛОРДОВ
21 АПРЕЛЯ 1812 ГОДА
ПО ПОВОДУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЛОРДА ДОНОМОРА
О НАЗНАЧЕНИИ КОМИССИИ
ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ
КАТОЛИКОВ**

Милорды, вопрос, подлежащий сегодня обсуждению палаты, обсуждался уже столько раз, столь всесторонне и обстоятельно и более чем когда-либо обстоятельно на нашем сегодняшнем заседании, что трудно было бы привести какие-либо новые доводы за или против. Но так или иначе, от одного заседания к другому трудности преодолевались, возражения снимались или отпадали, и кое-кто из прежних противников эмансипации католиков в конце концов уступил необходимости удовлетворить их ходатайства. Однако, проявив такую уступчивость, они выдвигают новое препятствие: сейчас, говорят нам, не время, сейчас неподходящий момент; придет время, мы этим займемся. Я до некоторой степени готов согласиться с теми, кто говорит, что сейчас не самое подходящее время, — это время упущено. Ужели не лучше было бы для страны, если бы католики уже и ныне пользовались надлежащими им привилегиями, а представители их дворянства занимали подобающее им место на наших заседаниях вместо того, чтобы нам с вами собираться столько раз и без конца обсуждать их претензии. Поистине, это было бы лучше.

Non tempore tali
Cogere concilium cum muros obsidet hostis ¹.

Неприятель грозит нашей стране, а страна в бедствии. Не время пререкаться из-за богословских доктрин, когда всем нам должно объединиться для защиты гораздо более важных вещей, чем какие-то там церковные обрядности. Не странно ли, право, что мы собрались здесь беседовать не о боге, которому мы преклоняемся, ибо в этом у нас нет разногласий, не о короле, которому мы подчиняемся, потому что мы все ему преданы, а о том, насколько различие в обряде богослужения, насколько не недостаток, а избыток веры (ибо только это и можно поставить в вину католикам), насколько чересчур ревностное служение богу могут воспрепятствовать нашим соотечественникам усердно служить своему королю.

¹ Не время собирать совет, когда неприятель у стен города (лат.).

Много у нас говорят о церкви и о государстве как в стенах этого здания, так и вне их, но, хотя эти священные слова слишком часто пускают в обиход, преследуя при этом самые грязные цели в интересах той или иной клики, они не могут не задевать нашего слуха, сколько бы мы их ни слушали; все мы, я полагаю, суть приверженцы церкви и государства, церкви Христовой и государства Великобритании, но, конечно, не государства гонения и деспотизма, не нетерпимой церкви, не воинствующей, ибо в таком случае возражения, которые выдвигались здесь против римского вероисповедания, были бы по справедливости заслужены ею в гораздо большей мере, поскольку католическая церковь отказывает нам только в своем духовном благословении (да и то сомнительно), тогда как наша церковь, или, вернее, наши служители церкви отказывают католикам не только в духовной благодати, но и в каких бы то ни было земных благах. Вспомним слова великого лорда Питерборо, произнесенные в стенах этого здания или, быть может, в стенах иного здания, в котором собирались в то время наши лорды: «Я — за парламентского короля и за парламентскую конституцию, но не за парламентского бога или парламентскую церковь». Сто лет прошло с тех пор, но эти слова и поныне не потеряли своей силы. Пора наконец оставить эти мелкие пререкания по пустякам, эти лилипутские мудрствования о том, с какого конца, тупого или острого, следует разбивать яйца.

Противники католиков делятся на две группы: одна утверждает, что католики уже сейчас пользуются слишком большими правами; другие считают, что низшим сословиям, во всяком случае, нечего больше домогаться. Одни говорят нам, что католики все равно никогда не будут довольны; другие — что они и сейчас чересчур благоденствуют. Этот парадокс достаточно убедительно опровергается представленной нам ныне петицией, да и всеми прежними петициями; с таким же успехом можно было бы утверждать, что негры отнюдь не желали получить свободу. Но это сравнение не совсем удачно, потому что вы уже освободили их от рабства, и не только без всякой петиции с их стороны, но даже вопреки всем петициям совершенно обратного характера со стороны их хозяев. Невольно охватывает чувство жалости к католикам за то, что им не посчастливилось родиться чернокожими. Но нам говорят, что католики довольны или что, во всяком случае, они должны быть довольны. В связи с этим я позволю себе остановиться на некоторых обстоятельствах, которые столь удивительно способствуют их довольству. Католикам, состоящим в армии, не разрешается свободно исповедовать свою веру; однако солдат-католик обязан присутствовать на протестантском богослужении. Таким образом, если его воин-

ская часть находится вне пределов Ирландии или Испании, какая у него может быть возможность помолиться в своей церкви? Разрешение частям ирландского ополчения иметь своих священников было предоставлено в виде особой милости и только после многолетних настояний, хотя закон, утвердивший за ними это право, прошел в 1793 году. Но разве закон охраняет, как ему полагается, католиков в Ирландии? Может ли, например, католическая церковь приобрести клочок земли для постройки часовни? Нет, все церковные обители стоят на земле, арендованной или снятой по контракту у мирян, и контракты эти часто признаются недействительными, и ничто не мешает их нарушить. Достаточно не подчиниться какому-нибудь незаконному требованию или пустой прихоти благодетеля-землевладельца, как тотчас же двери храма закрываются для прихожан. Это обычная история, и мы в качестве наиболее разительного примера приведем всего один случай, происшедший в графстве Уэксфорд, в Ньютон-Барри. Местные католики, не имея своей церкви, сняли у крестьян два амбара, соединили их в один и устроили себе временную часовню, в которой они совершали богослужение. В это время как раз напротив этих амбаров квартировал некий офицер, у которого, надо полагать, голова была плотно забита теми вредными предрассудками, которые, судя по лежащим перед вами жалобам протестантов, давно уже благополучно изжиты среди более разумной части населения. Однажды в воскресный день, когда католики по своему обыкновению собрались в мире и благоволении, дабы вознести молитву своему и вашему богу, двери их церкви оказались закрытыми и им тут же было приказано немедленно разойтись, под угрозой, что, если они этого не сделают, им будет прочтен акт о мятеже и их разгонят штыками. Приказ этот был объявлен им начальником конной стражи в присутствии должностного лица местной администрации. Католики подали жалобу государственному советнику при канцелярии губернатора в Ирландии, занимавшему этот пост в 1806 году, но тот, вместо того чтобы удовлетворить их ходатайство, ограничился обещанием послать командира полка письменное предупреждение и предложить ему принять меры к тому, чтобы подобные столкновения по возможности не повторялись. Нет надобности особо подчеркивать этот факт, он не представляет собой чего-либо исключительного; он только лишний раз доказывает, что законы, охраняющие католическую церковь, не будут иметь ровно никакой силы, пока ей не будет предоставлено право покупать землю для постройки своих храмов, а пока что католики брошены на произвол любого зарвавшегося офицеришки, который, «желая удалю блеснуть перед всевышним», поносит своего бога и бросается на своих

ближних. Любой подросток, любой мальчишка из дворни, которому удалось сменить ливрейные галуны на эполеты (а такие нередко получали офицерский чин), может позволить себе подобное самоуправство против католиков, а то и еще что-нибудь похуже, опираясь при этом на свое право, предоставленное ему королем и облекающее его властью защищать своих ближних до последней капли крови, не делая никаких различий, равно как протестантов, так и католиков.

Пользуются ли ирландские католики всеми преимуществами суда присяжных? Нет; и они не будут ими пользоваться до тех пор, пока на них не распространится право занимать должность шерифа или заместителя шерифа.

Вот вам весьма показательный случай, имевший место на последней сессии в Эннискилене. Некий фермер обвинялся в убийстве католика Макворнага; трое заслуживающих полного доверия почтенных свидетелей показали, что они собственными глазами видели, как обвиняемый зарядил ружье, прицелился и уложил на месте Макворнага. Судья в своей речи должным образом подчеркнул эти показания. Но, к великому удивлению суда и негодованию всех присутствующих в зале, присяжные-протестанты оправдали убийцу. Лицеприятие, проявленное в этом случае, было столь очевидно, что судья Осборн счел своим долгом вынести оправданному, но не обеленному убийце условный приговор и связать его строжайшими обязательствами, дабы таким образом хотя бы на некоторое время лишить его права убивать католиков.

Соблюдаются ли по крайней мере законы, подтверждающие права католиков? Нет, они не принимаются во внимание ни в обыденной практике, ни в более серьезных делах. По последнему постановлению закона к заключенным в тюрьмы католикам допускаются католические священники. Однако в графстве Ферманег судебная коллегия вернула на должность тюремного священника уволенного пастора, нарушив тем самым вышеупомянутый закон, несмотря на все доводы почтенного судьи Флетчера. Вот вам законы и правосудие для счастливых и благоденствующих католиков!

Где-то уже поднимался вопрос о том, почему состоятельные католики не жертвуют средств на семинарии для воспитания будущего духовенства. А почему вы препятствуете им делать это? Почему все подобного рода деяния подлежат самоуправному, придиричвому, хищническому вмешательству оранжистских чиновников по благотворительным сборам?

Что же касается Майнутаского колледжа, то со времени его основания, когда правительство Ирландии возглавлял благородный лорд Кэмден, покровительствовавший сему учреждению,

и затем благородный герцог Бедфордский, который, подобно своим предкам, был другом свободы и человечества и не следовал своекорыстной политике наших дней, исключаящей католиков из числа своих ближних, не было случая, чтобы это заведение пользовалось какой-либо поддержкой.

Было время, однако, когда католическому духовенству шли навстречу; это было накануне Унии, когда без католических священников нельзя было обойтись, когда их участие было необходимо для сбора обращений от католических графств; тогда перед ними заискивали и всячески их ублажали, боялись их, льстили им, старательно убеждали, что «Уния для них сделает все», но едва только Уния осуществилась, как от них отвернулись с презрением, предоставив им прозябать по-прежнему.

Все мероприятия в отношении Майнутского колледжа словно нарочно придумываются для того, чтобы досадить, создать препятствия, и все, что ни делается, делается так, чтобы подавить в сердцах католиков всякое чувство благодарности; сено, скошенное на лугу, говяжий жир и баранье сало от убоя скота, который им разрешается держать, — все это взято на учет, за все это они должны платить и отчитываться под присягой. Разумеется, подобную микроскопическую экономию можно только приветствовать, особенно в наши дни, когда только таким паразитам, как ваши хэнты и чиннери, этим золотым жучкам, поедающим казну, удастся избежать зоркого ока министров. Но когда вы, после бесконечных совещаний, с такими препирательствами и с такой неохотой еле-еле выпускаете из рук ваши жалкие подачки, а затем похваляетесь на весь свет вашей щедростью, что остается делать католикам, как не воскликнуть словами Прайора:

Конечно, я в долгу у Джона.

Но Джон, неведомо зачем,

Разблаговестил это всем;

Ну что ж, теперь мы квиты с Джоном.

Не сомневаюсь, что ваши светлости разделят новые высокие награды между спасителем Португалии и гонителем делегатов.

Поистине это странно — постоянно наблюдать такое различие между нашей внешней и внутренней политикой. Всякий раз, когда католическая Испания, стойкая и преданная своей вере Португалия или не менее стойкий католический король одной из Сицилий (которую вы, кстати сказать, только что отторгли у него) нуждаются в помощи, — тотчас же снаряжаются флот, армия, посольства с субсидиями и мы либо ввязываемся в тяжкую войну, либо, чаще всего, заключаем неудачные соглашения и всегда, как в том, так и в другом случае, очень дорого

расплачиваемся за своих союзников-папистов. Но когда к нам взывают о помощи четыре миллиона наших соотечественников, которые за нас сражаются, платят нам налоги, работают на нас, мы считаем своим долгом поступать с ними как с врагами; и хотя «в доме отца их много обитателей», для них не находится убежища. Разрешите мне спросить вас, разве вы не ведете войны за освобождение Фердинанда VII, несомненного глупца и вдобавок к этому, по всей видимости, и ханжи? Ужели чужеземный король внушает вам больше сочувствия, чем ваши соотечественники? А ведь они отнюдь не глупцы, ибо они понимают ваши интересы лучше вас самих, и они не ханжи, ибо они платят вам добром за зло; но заточение, в котором они пребывают, хуже темницы узурпатора, ибо оковы, связывающие дух, дают сильнее, чем тюремные колодки.

Не буду распространяться о последствиях, к которым приведет ваше решение отказать петиционерам в их претензиях. Вы знаете, каковы будут эти последствия, вы почувствуете их, и не только вы, но и дети ваших детей, когда вы сами будете уже покоиться в земле. Прощай тогда Уния, это объединение, которое, как “*Lucus a non lucendo*”¹, никогда ничего не объединяла, которая начала и свое существование с того, что нанесла смертельный удар независимости Ирландии, а завершит его, быть может, тем, что отторгнет Ирландию от нашей страны. Если это должно назвать объединением — это объединение акулы со своей добычей: хищник проглатывает жертву, и они таким образом становятся едины и неделимы. Так Великобритания проглотила парламент, конституцию, независимость Ирландии и не желает оторгнуть ни единой привилегии хотя бы для того, чтобы облегчить свой раздутый, расстроенный государственный аппарат.

А теперь, милорды, прежде чем я сяду на свое место, я попрошу господ министров его королевского величества разрешить мне сказать им несколько слов, не об их достоинствах, разумеется, ибо это было бы излишним, но о том высоком уважении, которым они пользуются среди народа в пределах нашего королевства. Уважение, кое они внушают, отмечалось высокаторжественными, хвалебными речами еще совсем недавно в этих стенах, когда поведение господ министров сравнивали с поведением благородных лордов из оппозиции.

Какая часть популярности приходится на долю моих благо-

¹ «Роцца, потому что не светит» — изречение, применяемое для того, чтобы показать абсурдность того или иного положения, — игра латинских созвучных, но не связанных между собою слов *lucus* (роцца) и *lux* (свет).

родных друзей (если я вправе позволить себе назвать их друзьями), я не берусь установить; но нелепо было бы отрицать популярность господ министров. Она, по правде сказать, немножко напоминает ветер, который «приходит и уходит и пути его неведомы никому», но они чувствуют ее, наслаждаются ею и гордятся ею.

Нет такого уголка во всем королевстве, даже в самых отдаленных его краях, где бы они при всей своей непритязательности и скромности могли укрыться от преследующей их славы. Углубятся ли они в центральные графства — им устроят торжественную встречу ремесленники с отвергнутыми прошениями в руках и с петлей на шее, той самой петлей, которой их удавил недавний закон; они будут призывать милость и благословение божье на тех, кто так просто и так ловко избавил их от всех горестей этого мира, спровадив их в мир иной. Если господа министры отправятся в Шотландию и проедут из Глазго в Джон-о'Грот — их повсюду будут встречать с таким же восторгом. Если они вздумают прокатиться из Портпатрика в Донагади, они попадут в объятия четырех миллионов католиков, любовь которых господа министры сегодняшней баллотировкой, должно быть, завоюют на веки вечные. Если господа министры, вернувшись в столицу, смогут без содрогания пройти под сводами Темпл-Бар с его зияющими нишами, им все равно не избежать бурных приветствий цеховых мастеров и более робких, «не громких, но глубоких», однако не менее искренних возгласов и благословений обанкротившихся купцов и разорившихся акционеров. Если господа министры обратят свой взор к армии, сколько венков не лавровых, а терновых готовится для героев Вальхерена! Правда, кой-какие свидетели еще уцелели, дабы подтвердить заслуги господ министров в этой операции; но тучи свидетелей вознеслись к небесам, покинув доблестную армию, которую господа министры так милостиво и богобоязненно послали на смерть, дабы набрать «благородное войско мучеников».

Но если во время этого триумфального шествия (в котором на их долю выпадет столько же камней, сколько досталось войску Калигулы, шествовавшему с таким триумфом) они не узрят ни одного из тех памятников, которые благодарный народ воздвигает в честь своих благодетелей, если даже ни одна харчевня не сменил на своей вывеске голову сарацина на лик победителя Вальхерена, — им не придется сетовать о том, что их не увековечили в портретах, ибо они на каждом шагу встретят свои карикатуры; и станут ли они жалеть, что им не воздвигли статуй, когда повсюду будут сжигать и вешать их изображения.

Но слава господ министров распространилась далеко за

пределы нашего небольшого острова; немало других стран, где деятельность господ министров, а тем паче их обращение с католиками сделали их весьма популярными. Если их так любят здесь — во Франции их просто боготворят. Нет другого такого мероприятия, которое столь претило бы чувствам и замыслам Бонапарта, как эмансипация католиков. Ничто так не благоприятствует его планам, как та политика, которую мы проводили, проводим и будем проводить в отношении Ирландии. Что представляет собой Англия без Ирландии и что такое Ирландия без католиков? Только опираясь на вашу тиранию, может надеяться Наполеон создать свою собственную. Угнетение католиков столь любезно его сердцу, что, надо полагать, поскольку он недавно разрешил возобновление торговли, к нам на остров по предстоящему соглашению доставят груды севрского фарфора и синих лент (товар в высшей степени ходкий и ценный в наше время) — синие ленты ордена Почетного легиона для доктора Дюидженана и его министерских приспешников. Вот какова эта справедливо заслуженная популярность — результат наших чрезвычайных экспедиций, которые так дорого обходятся нам самим и не приносят ни малейшей пользы нашим союзникам; результат наших удивительных расследований, которые только подтверждают невинность обвиняемого и возмущают народ, результат наших двусмысленных побед, прославляющих, как нам говорят, имя Британии и наносящих ущерб насущным интересам британского народа. Поистине это достойная награда за поведение, коего господа министры неуклонно придерживаются в отношении католиков.

Прошу прощенья у палаты за то, что так долго затруднял ее внимание, и смею надеяться, что она простит оратору, который не так часто позволяет себе злоупотреблять ее снисходительностью.

Я самым решительным образом поддерживаю выдвинутое предложение и подаю за него свой голос.

ОБРАЩЕНИЕ К НЕАПОЛИТАНСКИМ ПОВСТАНЦАМ

Англичанин, друг свободы, будучи осведомлен, что неаполитанцы разрешают и чужеземцам помогать доброму делу, просит оказать ему великую честь и принять от него тысячу луидоров, каковые он берет на себя смелость предложить. Имея возможность только что собственными глазами наблюдать деспотизм, проявляемый варварами в захваченных ими областях Италии, он

с энтузиазмом, естественным для цивилизованного человека, смотрит на благородную решимость неаполитанцев отстоять завоеванную ими независимость. Как член английской палаты лордов, он был бы изменником тем принципам, в силу коих царствующая фамилия Англии взошла на трон английский, когда бы не почувствовал благодарности за великий урок, преподанный недавно как народам, так и королям. Лепта, которую он хотел бы внести, невелика, какой всегда является лепта отдельного человека целой стране, но он надеется, что она будет не последней из тех, что страна эта получит от его соотечественников. Удаленность его от границы и сознание собственной неспособности оказаться полезным на службе у государства не позволяют ему предложить себя в качестве лица, достойного хотя бы самого скромного назначения, требующего, однако, опыта и таланта. Но если в качестве простого добровольца он своим присутствием не окажется лишним бременем для того, кто будет им командовать, он готов явиться в любой указанный неаполитанским правительством пункт, дабы подчиняться приказаниям своего командира, преодолевать вместе с ним любые опасности, не ставя перед собой никакой иной цели, как разделить судьбу доблестного народа, защищающего себя от так называемого «Священного союза» — союза тирании и ханжества.

ИРЛАНДСКАЯ АВАТАРА

...И Ирландия становится на колени, как под палкою слон, чтобы принять ничтожного всадника.

[«Жизнь Куррана», т. 2, стр. 336]

Не зарыта Брауншвейга умершая дочь,
Не свершен еще скорбный обряд похорон,
А Георг уже мчится ирландцам помочь:
Как жену свою, любит Ирландию он.

Правда, канули в вечность былые года,
Тех недолгих, но радужных лет благодать,
Когда в Эринс Вольность жила — и когда
Не умели ирландцы ее предавать;

Нынче Вольности нет: уничтожен сенат,
Хоть осталась сенатского замка стена, —

На отрепьях католика цепи звенят,
Голодна и нища островная страна;

Эмигрант, покидая родимый очаг,
Под цепей ниспадающих тягостный звон
Застывает на бреге с тоскою в очах:
Жаль оставить темницу, в которой рожден!

А Георг? Как невиданный Левиафан,
Он всплывает, крутую волну поборов;
Высылайте ж навстречу, почтив его сан,
Легионы рабов и полки поваров!

Вот он, юный монарх на десятке шестом, —
Он трилистник на шляпу свою нацепил;
О, когда б этим свежим зеленым листом
Он не шляпу, а душу свою осенил!

Если б сердце сухое могло расцвести,
Если б радости цвет он из сердца исторг,
Я сказал бы: «О Вольность, ирландцам прости
Эту пляску в цепях, этот рабский восторг!»

За ирландцев не в силах печаль побороть,
Я стыжусь, что их дух так смутился и пал!
Будь хоть богом Георг — а ведь он не господь! —
От такого холопства и он бы бежал!

Верноподданный Эрин, беги по пятам
За монархом, и славя его и хваля!
Нет, не так поступал твой суровый Граттан,
Нет, не так бы он встретил теперь короля.

О Граттан! Солнце славы возшло над тобой,
Сердцем прям ты и прост был, делами велик,
Демосфен преклонился бы перед тобой,
Побежденным признал бы себя напрямик!

В Риме некогда мудрый сиял Цицерон,
Но не Туллий один был реформы творцом, —
А Граттан твой, восстав из могилы времен,
Был один твоего возрожденья отцом.

Как Орфей, он искусством зверей укрощал,
Прометеев огонь зажигал он в сердцах,

Злобный голос тиранства пред ним умолкал,
Гнусных чудищ порока он втапывал в прах.

Но вернемся же к деспотам вновь и к рабам.
Вон он, пир средь голодных, безумство средь мук.
Но к чему этот праздничный шум? Или вам
Столь приятен цепей чуть ослабленных звук?

Бедный Эрин! Украсивши стены дворца
Мишурой позлащенной твоей нищеты,
Ты напомнил мне траты банкрота-купца!
Царь грядет! Но дождешься ли милостей ты?

Если ж вырвешь уступку — какой же в ней толк!
С бою Вольность берут, добывают в бою:
Никогда не бывало, чтоб яростный волк
Отдавал добровольно добычу свою.

Тварь любая живет по природе своей,
Угнетать и царить — королевская роль,
В том друг другу сродни властелины людей —
И блистательный Цезарь и жалкий король.

В свой парадный мундир облачайся, Фингал,
Ты ж, О'Коннел, таланты монарха хваля,
Докажи, что напрасно народ презирал
Своего новоявленного короля.

О Фингал, о железе ирландских оков
Не напомнил тебе твоей ленты атлас?
Иль той лентой прочнее, чем толпы рабов,
Прославлявших Георга, ты связан сейчас?

О, давайте хоромы ему возведем!
Всяк пусть лепту несет — даже нищий с сумой...
За усердьем Георг вам оплатит потом
Новым домом работным и новой тюрьмой!

Накрывайте ж Вителлию стол для пиров,
Чтобы он обжирался, не лопнет пока!
Чтоб в веках прославлял собутельников рев
Из Георгов — четвертого дурака!

Стонут крепкие доски под бременем блюд,
А кругом — разлитое море вина.

И столетьями стонет Ирландии люд,
Хлещет кровь, как хлестала и прежде она!

Не один этот деспот страну хвалим!
Одесную воссел его верный Сеян;
Это Кэстелри! Идолом станет другим
Проклинаемый всеми подлец и тиран.

Чем гордишься, Ирландия?! Лучше красней:
Это ты породила такое дитя!
Ты ж ликуешь, за гибель своих сыновей
Славословьями гадине этой платя.

Нет в нем мужества, чести, хоть проблеск один
Был бы в темной душе, но и проблеска нет!
Неужели и впрямь он Ирландии сын,
На Ирландской земле появился на свет?

О Ирландия! видно, пословица лжет,
Будто гадов твоя не рождает земля:
Вот гадюка, что кольца холодные вьет,
Пригреваясь на жирной груди короля!

Пей, пируй, подольщайся к имеющим власть, —
Много лет твои плечи сгибала беда,
Но теперь еще ниже решилась ты пасть,
Прославляя тиранов своих без стыда.

Я свой голос за Вольность твою поднимал,
Мои руки готовы к суровой борьбе,
Я всем сердцем не раз за тебя трепетал,
Эрин, знай — мое сердце открыто тебе!

Да, тебя я любил, хоть отчизной своей
Край иной называл... Не померкла любовь!
Патриотов твоих, твоих лучших людей
Я оплакивал прежде — не плачу я вновь.

Пала ты, но покой твоим воинам дан:
Не проснутся, позор искупившие твой,
Шеридан твой, и Кэрран, и славный Граттан,
Вожаки отгремевших ораторских войн!

Им в английской земле, под доской гробовой,
Не слышна свистопляска дневных твоих злоб:

Свежий дерн не раздавит тяжелой стопой
Ни тиран, ни лобзающий цепи холоп!

Я завидовал, Эрин, твоим храбрецам,
Хоть в цепях был их остров и гений гоним;
Я завидовал жарким ирландским сердцам,
А теперь я завидую мертвым твоим!

Я тебя презираю, ирландская чернь!
Трепещи, пресмыкалась ты, множи грехи!
Гнев мой правый способен развеять теперь
Только слава Граттана да Мура стихи!

Равенна. 16 сентября 1821 г.

ВИДЕНИЕ СУДА

Написано Quevedo Redivivus

*в ответ на поэму под таким же заглавием автора
«Уота Тайлера»*

«Он Даниил второй, я повторяю». —
Спасибо, жид, что подсказал ты мне
Сравнение такое.

Шекспир
«Венецианский купец», д. IV, сц. I.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Говорят очень верно, что «один дурак порождает многих» (что глупость заразительна), а у Поупа есть стих, где сказано, что «дураки вбегают туда, куда ангелы едва решаются вступить». Если бы м-р Саути не совался туда, куда не следует, куда он никогда до того не попадал и никогда болсе не попадет, нижеследующая поэма не была бы написана. Весьма возможно, что она не уступит его поэме, потому что хуже последней ничего не может быть по глупости, прирожденной или благоприобретенной. Грубая лесь, тупое бесстыдство, нетерпимость ренегата и безбожное лицемерие поэмы автора «Уота Тайлера» до того чудовищны, что достигают своего рода совершенства — как квинтэссенция всех свойств автора.

Вот все, что я могу сказать о самой поэме, и я прибавлю толь-

ко несколько слов о предисловии к ней. В этом предисловии великодушному лауреату угодно было нарисовать картину фантастической «сатанинской школы», на которую он обращает внимание представителей закона, прибавляя, таким образом, к своим другим лаврам притязания на лавры доносчика. Если где-нибудь, кроме его воображения, существует подобная школа, то разве он не достаточно защищен против нее своим крайним самоунижением? Но дело в том, что м-р Саути, как Скраб, подозревает нескольких писателей в том, что они «говорили о нем, потому что они сильно смеялись».

Я, кажется, достаточно знаю большинство писателей, на которых он, по-видимому, намекает, чтобы утверждать, что каждый из них сделал больше добра своим ближним в любой год, чем м-р Саути навредил себе своими нелепостями за целую жизнь, а этим немало сказано. Но я должен предложить еще несколько вопросов:

Во-первых, действительно ли м-р Саути автор «Уота Тайлера»?

Во-вторых, получил ли он от Верховного судьи излюбленной им Англии отказ в законном удовлетворении за незаконное напечатание богохульственного и возмутительного сочинения?

В-третьих, не назвал ли его Вильям Смит открыто в парламенте «злобным ренегатом»?

В-четвертых, разве он не поэт-лауреат, хотя у него на совести есть такие стихи, как о царубийце Мартине?

И в-пятых, соединяя все предшествовавшие пункты, как у него хватает совести обращать внимание закона на произведения других, каковы бы они ни были?

Я уже не говорю о гнусности такого поступка — она слишком очевидна, но хочу только коснуться причин, вызвавших его; они заключаются ни более и ни менее как в том, что его недавно слегка высмеяли в нескольких изданиях — так же как его прежде высмеивали в «Anti-jacobin» его теперешние покровители. Отсюда вся эта срунда про «сатанинскую школу» и т. д.

Как бы то ни было, а это вполне на него похоже — «qualis ab insecto».¹

Если некоторые читатели найдут в нижеследующей поэме нечто оскорбительное для своих политических убеждений, то пусть они винят в этом м-ра Саути. Пиши он гексаметры, как он писал все другое, автору не было бы до этого никакого дела, если бы только он избрал другой сюжет. Но возведение в святые монарха, который — каковы бы ни были его семейные добродетели — не прославился никакими успехами и не был патриотом

¹ С какой стороны ни взять (лат.).

(несколько лет его царствования прошли в войнах с Америкой и с Ирландией, не говоря уже о его нападении на Францию), — это, как и всякое преувеличение, естественно, вызывает протест. Как бы о нем ни говорилось в этом новом «Видении», история не будет более благосклонна в своем суждении о его государственной деятельности. Что касается его добродетелей в частной жизни (хотя и стоивших очень дорого народу), то они вне всякого сомнения.

Что касается неземных существ, выведенных в поэме, я могу сказать только, что знаю о них столько же, сколько и Роберт Саути, и, кроме того, я, как честный человек, имею больше права говорить о них. Я, кроме того, отнесся к ним с большей терпимостью. Манера жалкого помешанного лауреата творить суд в будущем мире так же нелепа, как его собственные рассуждения в этой жизни. Если бы это не было абсолютно комично, то было бы еще хуже, чем глупо. Вот все, что можно сказать об этом.

Quevedo Redivivus

P. S. Возможно, что некоторым читателям не понравится свобода, с которой святые, ангелы и духи разговаривают в этом «Видении». Но я могу указать на прецеденты в этом отношении, на «Путешествие в загробный мир» Филдинга, на мои, Кеведа, «Видения» по-испански и в переводе. Пусть читатель обратит внимание и на то, что в поэме не обсуждаются никакие догматы и что личность божества старательно скрыта от взоров, чего нельзя сказать про поэму лауреата. Он счел возможным приводить слова верховного судьи, причем он говорит в поэме вовсе не как «школьный святой», а как весьма невежественный м-р Саути. Все действие происходит у меня за пределами небес, и я могу называть, кроме уже названных вещей, еще «Женщину из Бата» Чосера, «Morgante Magiore» Пульчи, «Сказку бочки» Свифта в подтверждение того, что святые и т. д. могут разговаривать вполне свободно в произведениях, не претендующих на серьезность.

Мистер Саути, будучи, как он говорит, добрым христианином и человеком злопамятным, угрожает мне, по-видимому, возражением на этот мой ответ. Нужно надеяться, что его духовидческие способности станут за это время более разумными, не то он опять впутается в новые дилеммы. Ренегаты-якобинцы дают, обыкновенно, богатый материал для возражений. Вот вам пример: м-р Саути очень хвалит некоего мистера Лендора, известного в некоторых кружках своими латинскими стихами, и не-

сколько времени тому назад, поэт-лауреат посвятил ему стихи, превозносящие его поэму «Гебир». Кто бы мог предположить, что в этом самом «Гебире» названный нами Севедж Лендор (таково его мрачное имя) ввергает в ад ни более ни менее как героя поэмы своего друга Саути, вознесенного лауреатом на небо, Георга III. И Севедж умеет быть очень язвительным, когда пожелает. Вот его портрет нашего покойного милостивого монарха.

(Принц Гебир, сошедший в преисподнюю, обзирает вызванные по его просьбе тени его царственных предков и восклицает, обращаясь к сопровождающему его духу):

«— Скажи, кто этот негодяй здесь подле нас? Вот тот с белыми бровями и косым лбом, вот тот, который лежит связанный и дрожит, поднимая рев под занесенным над ним мечом? Как он попал в число моих предков? Я ненавижу деспотов, но трусов презираю. Неужели он был нашим соотечественником? — Увы, король, Иберия родила его, но при его рождении в знак проклятия пагубные ветры дули с северо-востока. — Так, значит, он был воином и не боялся богов? — Гебир, он боялся демонов, а не богов, хотя им поклонялся лицемерно каждый день. Он не был воином, но тысячи жизней разбросаны были им, как камни при метании из пращи. А что касается жестокости его и безумных прихотей — о, безумие человечества! К нему зывали и ему поклонялись!...»

Я не привожу нескольких других поучительных мест из Лендора, потому что хочу набросить на них покров с позволения его серьезного, но несколько необдуманного поклонника. Могут только сказать, что учителя «высоких нравственных истин» могут очутиться иногда в странном обществе.

I

Апостол Петр сидел у райских врат,
Его ключи порядком заржавели:
Уж много дней и много лет подряд
Дремал святой привратник от безделья.
Ведь с якобинской эры только ад
Пополнился: все грешники летели
Туда, — а у чертей — я сам слышал! —
Был, как матросы говорят, аврал!

II

Хор ангелов, нестройный, как всегда,
Томясь от скуки, пел довольно вяло:

Немногого им стоило труда
Луну и солнце подвинтить устало
И присмотреть — а вдруг сбежит звезда
Или комета — жеребенок шалый —
Хвостом планету бойко раздробит,
Как лодку на волнах игривый кит.

III

И серафимы удалились ввысь,
Решив, что мир не стоит попеченья;
Никсм дела земные не велись,
Лишь ангел-летописец в огорченье
Следил, как быстро беды развелись
В подлунном мире: ведь при всем раченье,
На перья оба выщипав крыла,
Он отставал в записыванье зла.

IV

Работы накопилось свыше сил,
Хоть бедный ангел продолжал трудиться
Как смертный стряпчий: он тщеславен был
И опасался должности лишиться;
Но наконец устал он и решил
К своим властям небесным обратиться
За помощью — и получил от них
Шесть ангелов и дюжину святых.

V

Немалый штат, но дела всем хватало:
Так много царств сменилось и систем,
Так много колесниц прогрохотало,
Да каждый день убитых тысяч семь!
Но Ватерло резню небывалой
И мерзостной внушило ужас всем,
И, описав великое сраженье,
Все пошвыряли перья в отвращенье.

VI

А впрочем, я писать ведь не хотел
О том, чего и ангелы боятся:
От адской гекатомбы мертвых тел

Сам дьявол содрогнулся, может статься,
Хоть он и нож точил для этих дел,
Но нужно к чести сатаны признаться,
Великих он не восхвалял совсем,
Поскольку точно знал им цену всем.

VII

Перевернем же несколько страниц
Недолгого бессмысленного мира:
Не стало меньше трупов и гробниц,
Не стали лучше скипетр и порфира,
Герои шли и повергались ниц,
И громоздились новые кумиры,
Как чудища «о десяти рогах»,
В пророчествах внушающие страх.

VIII

На рубеже Второй Зари Свобод
Георг скончался. Не был он тираном,
Но был тиранам друг. Из года в год
Его рассудок заплывал туманом.
Властитель, разоряющий народ
И благосклонный к мирным поселянам,
Он мертв. Оставил подданных своих
Полупомешанных, полуслепых.

IX

Он умер. Смерть не вызвала смятенья,
Но похороны вызвали парад:
Здесь бархат был, и медь, и словопренья,
И покупного плача маскарад,
И покупных элегий приношенье
(На рынке и они в цене стоят!),
А также факелы, плащи и шпаги,
Регалии готической отваги.

X

И мелодрама слажена. Едва ль
В густой толпе глазающих болванов
Кто помышлял о мертвом: вся печаль
Была от черных платьев и султанов.

Покойника немногим было жаль,
Хотя гремело много барабанов,
Но адскою казалось чепухой
Зарыть так много золота с трухой!

XI

Итак: да станет прахом это тело,
Землей, водой и воздухом опять —
Свершить сей путь оно б скорей успело,
Не будь порядка трупы умащать:
Бальзамы, примененные умело,
Ему мешают мирно догнивать,
По существу же эти ухищренья
Лишь удлиняют мерзость разложения.

XII

Он умер. С ним покончил этот свет.
Осталась только надпись на гробнице
Да завещанье, но юриста нет,
Который спорить дерзостно решится
С наследником: он папенькин портрет
И лишь одним не может похвалиться
С почившим патриархом наравне:
Любовью к злой, уродливой жене.

XIII

«Господь, храни нам короля!» Признаюсь,
Он очень бережлив, храня таких.
А впрочем, я сказать не собираюсь,
Что лучше преисподняя для них.
Пожалуй, я один еще пытаюсь
Исправить зло для мертвых и живых:
Мне хочется, презрев чертей ругательства,
Умерить адское законодательство.

XIV

Я знаю — это ересь и порок,
Я знаю — я достоин отлученья,
Я знаю катехизис, знаю прок
Доктрине христианского ученья;
Старательно я вызубрил урок:

«Одна лишь *наша* церковь — путь к спасенью,
А сотнями церквей и синагог
Чертовски неудачно выбран бог!»

XV

О боже! Всех ты можешь защитить —
Спаси мою беспомощную душу!
Ее ведь черту легче залучить,
Чем лесой рыбку вытащить на сушу
Иль мяснику за час преобразить
Ягненка в освежаванную тушу,
А впрочем, обречен любой из нас
Кому-то пищей стать в урочный час!

XVI

Апостол Петр дремал у райских врат...
Вдруг странный шум прервал его дремоту:
Поток огня, свистящий вихрь и град —
Ну, словом, рев великого чего-то.
Тут не святой ударил бы в набат,
Но наш апостол, подавив зевоту,
Привстал и только молвил, оглядываясь:
«Поди, опять звезда разорвалась!»

XVII

Но херувим его похлопал дланью,
Вздыхнул апостол, потирая нос.
«Святой привратник! — молвил дух. —
Восприани!»

И помахал крылом. Оно зажглось,
Как хвост павлина, как зари сиянье.
Апостолу вздремнуть не удалось.
«Ну! — молвил он. — В чем дело, непонятно?!
Не Сатану ли к нам несет обратно?»

XVIII

«Георг скончался Третий!» — дух изрек.
«Георг? Я что-то плохо разумею...
А кто Георг? что Третье? невдомек!»
«Король английский, говоря точнее...»
«А целый ли он голову сберег,

А то один тут был с обрубком шеи,
И никогда б не быть ему в раю,
Не тычь он всем нам голову свою!

XIX

Он, помнится, король французский был
И для башки, которая короны
Не удержала, дерзостно просил
Венца блаженных у господня трона!
Да я бы сам такую отрубил,
Как уши я рубал во время оно!
Но, не имея доброго меча,
Ключом я саданул его плеча.

XX

И тут он поднял безголовый вой,—
Святые все сбежались, пожалели!
Теперь он с этой самой головой
И в мученики выйдет, в самом деле!
Запанибрата с Павлом, точно свой
Воссел он, где достойные воссели!
Проныра Павел! Впрочем, что он нам?!
Мы цену знаем всем его чинам!

XXI

Не так бы это дело обстояло,
Будь голова у короля цела,—
Святых, понятно, жалость обуяла,
Она-то вот ему и помогла:
Ведь милость божья заново спаяла
Башку его и тело! Ох, дела!
Зачем-то исправляем мы от века
Все мудрое в деяньях человека!»

XXII

«Святой! — заметил ангел. — Брось ворчать!
Король пока при голове остался;
Куда и как ее употреблять —
Он толком никогда не разбирался.
В руках, умевших нити направлять,
Марионеткой праздной он болтался

И будет здесь, как прочие, судим,
А наше дело — молча поглядим!»

XXIII

Тем временем крылатый караван
Пространство рассекал с великой силой,
Как лебедь волны рек полдневных стран,
Ну, скажем, Ганга, Инда или Нила,
А то и Темзы. Страхом обуян,
Летел среди крылатых старец хилый,
У райских врат, полет окончив свой,
На облако присел он чуть живой.

XXIV

Меж тем иной какой-то дух могучий
Над светлым войском расправлял смелей
Свои крыла, как гроззовые тучи
Над щепами разбитых кораблей.
Он был как вихрь, метнувшийся над кручей,
И помыслы, один другого злей,
Отметили чело его немое,
И взор его пространство полнил тьмою.

XXV

Он так непримиримо поглядел
На вход, навски для него закрытый,
Что Петр и тот порядком оробел:
Он был старик угрюмый и сердитый,
А тут от страха даже препотел,
Не зная, у кого искать защиты.
(Но, впрочем, пот сей был святой елей
Или иной состав — еще светлей!)

XXVI

И ангелы тревожным росм сбились,
Как птички, чуя коршуна: у них
Все перышки дрожали и светились,
Как Орион на небесах ночных.
Хотя они достойно обходились
С Георгом, но старик совсем притих:

Быть может, даже позабыл он с горя,
Что ангелы всегда и всюду — тори!

XXVII

Все на мгновенье замерло. Но вот
Врата сверкнули вдруг и распахнулись,
Лучи с недостигаемых высот
Планеты нашей крохотной коснулись,
Как пламя, заливая небосвод,
И северным сияньем изогнулись,
Тем самым, что во льдах полярных стран
Увидел Пэрри — храбрый капитан!

XXVIII

И по небу разлился, полыхая,
Прекрасный и могучий райский свет,
Как знамя славы, радостно сверкая
Величьем торжествующих побед.
(Сравненьями я тему обедняю,
Зане сему земных подобий нет:
Не всем дано провидеть столь пространно,
Как Саути Боб иль Сауткот Иоанна!)

XXIX

То был архангел Михаил; из нас
Любой легко признает Михаила:
Воспеты и описаны не раз
Князь ангелов и вождь нечистой силы.
В церквах — для наших слабых смертных

глаз —

Бесплотные светлы и многокрылы,
Но какова их подлинная суть,
Пускай другой решает кто-нибудь.

XXX

В сиянье славы, славою творимой,
Стоял архангел, благостью храним,
И юные склонились херувимы
И дряхлые святые перед ним.
(О старости я говорю лишь мнимой)

И юность не приписываю им:
С Петром в сравненье, говоря точнее,
Они не то что *младше*, а *нежнее!*)

XXXI

Так иерарха всех небесных сил
Встречали все святые, величая,
Затем что он из первых первый был
Наместник Бога для земли и рая,
Но даже тени чванства не таил
В душе своей небесной, твердо зная,
Что, как его ни чтим и ни поем,—
Он остается вице-королем!

XXXII

Он и угрюмый молчаливый дух
Взглянули друг на друга — и узнали...
Непримиримый враг, минувший друг?
О чем они бесплотно вспоминали?
Но в лицах их мелькнули тени вдруг
Бессмертной, гордой, выпренной печали
О том, что им навеки суждена
В пространстве сфер упорная война.

XXXIII

Но здесь была нейтральная граница —
Из Иова к тому ж известно нам,
Что трижды в год и Дьявол не боится
Являться светлым ангельским чинам.
Тогда уж не приходится скупиться
На вежливость обеим сторонам:
Я б вам привел любезный их диалог,
Да времени, признаться, слишком мало.

XXXIV

И дело, разумеется, не в том,
Чтоб доказать в цитатах из Писанья,
Что Иов — аллегория. Притом,
Быть может, это просто описание
Весьма реальных фактов. Мы берем
Лишь самые прямые указанья:

Они ясны и — верьте или нет —
Не менее ясны, чем прочий бред!

XXXV

Итак — на почве, в сущности, нейтральной
Они сошлись, где роковой порог,
Там смерть отбор проводит inferнальный,
Бесплотных конвоируя в острог.
Они не лобызались, натурально,
Но каждый был любезен сколько мог:
В изысканной учтивости, казалось,
С их Светлостью их Мрачность состязалась.

XXXVI

Архангел, поклонившись, изогнулся,
Но не жеманно, как дешевый фат:
Своей груди изящно он коснулся,
Где сердце смертных бьется, говорят.
Но Сатана лишь гордо улыбнулся:
Он был со старым другом суховат,
Как нищий гранд прославленного рода
С богатым выскочкой простой породы.

XXXVII

Он, поклонившись дьявольски-надменно,
Сказал, спокойно выступив вперед,
Что Судия небесный несомненно
Георга в присподнюю пошлет:
Нсмало там правителсей почтенных,
От коих меньше пострадал народ,
Мостящих ад, как видно из преданий,
Обломками «прекрасных начинаний».

XXXVIII

«Чего ты хочешь, — начал Михаил, —
От этого несчастного создання?
Какие он деянья совершил,
И совершал ли в жизни он деянья?
Насколько плохо правил он и жил,
Открыто изложи всему собранью:

Докажешь обвиненья — грешник твой,
А если нет — его не беспокой!»

XXXIX

«Да, Михаил! — ответил Дьявол. — Да!
У врат того, кому ты служишь верно,
Я заявляю, что пришел сюда
За подданным: он чтит меня всемерно,
Пока носил корону. Не беда,
Что он не знал вина и прочей скверны,
Но с той минуты, как воссел на трон,
Мне одному в угоду правил он!

XL

Взгляни на нашу землю — хоть верней,
Мою! Увы, давно не торжествую
Над бедною планетой: все на ней
Влачат убого жизнь свою пустую.
Сказать по правде — кроме королей,
Едва ли кто такую кару злую
Несет за дело! И властитель твой
Напрасно блещет славой огневой!

XLI

Мне данники земные короли.
Попытки переделать их бесплодны:
Высокие властители земли
Настолько мне усердны и угодны,
Что мы давно к решению пришли
Им предоставить действовать свободно:
Их небеса к добру не преклонят
И к худшему не переменит ад!

XLII

Взгляни на нашу землю, повторяю:
Когда сей червь, бессильный и слепой,
Вступил на трон, правленье начиная,
И он и мир имели вид иной:
Его своим владыкой величая,
В покос мирном радости земной

Хранили острова его по праву
Родной уклад и добрых предков нравы.

XLIII

Взгляни, какой, покинув жизнь и власть,
Оставил он страну свою? Сначала
Он подданных любимцу отдал в пасть,
Потом его стяжанье обуяло,
Порок убогих, эта злая страсть,
Презренных душ сгубившая немало.
В Америке свободу он душил
И с Францией не лучше поступил!

XLIV

Он, правда, был орудием в руках,
Но, согласишься, хороший мастер вправе
Его швырнуть в огонь; во всех веках,
С тех пор, как смертными монархи правят,
В кровавых списках грязи и греха,
Что всю породу цезарей бесславят,
Другое мне правление назови,
Столь глубоко погрязшее в крови!

XLV

Ведь даже слов «свободный» и «свобода»
Слепой король Георг не выносил:
Из памяти народов и народа
Искоренял он их по мере сил.
Он правил долго, и за эти годы
Всему и вся он горе причинил.
Лишь тем он от собратий отличался,
Что пьянством и развратом не прельщался.

XLVI

Был верным мужем, неплохим отцом —
На троне, правда, хорошо и это, —
Постигаться за Лукулловым столом
Трудней, чем за столом анахорета! —
Но подданным его что пользы в том?
Их стоны оставались без ответа!

Один лишь гнет, жестокий, страшный гнет,
Испытывал измученный народ.

XLVII

Его стряхнул недавно Новый Свет,
Но Старый стонет под ярмом жестоким
Ему подобных: где на тронах нет
Преемников, в ком все его пороки
Воскрешены? Лукавый дармоед
И деспоты, забывшие уроки
Истории,— никто беды не ждет,
Но пусть они трепещут: час придет!

XLVIII

Простые духом бережно хранили
Завет наивный праотцев своих:
Молились богу, но и вас любили,
Тебя, архангел, и тебя, старик.
Ужели все вы сердцем так остыли,
Что вас не ужасали стоны их,
Когда обрушил гнев несправедливый
На христиан король благочестивый?

XLIX

Он, правда, дал им право бога чтить,
Но отказал в законе и защите,
Лишая их того, чего лишить
Неверного и то не захотите...»
Тут Петр вскочил: «Нет! Этому не быть!—
Вскричал он.— Прочь виновного ведите!
Скорей пускай я буду проклят сам,
Чем в божий рай пробраться Гвельфу дам!

L

За Цербера скорее стану я,
Хоть труд его не синекура тоже,
Чем допущу в надзвездные края
Ханжу и нечестивца с мерзкой рожей!..»
«Святой! — заметил Дьявол.— Страсть твоя
И правый гнев твой мне всего дороже!

А что до смены Цербера — изволь!
И *наш* годится на такую роль!»

LI

Тут Михаил вмешался: «Погодите!
Вы, Дьявол, да и вы, мой друг Святой!
Вы, добрый Петр, напрасно так шумите,
Вы, Сатана, порыв его простой
Из снисхожденья к пылкости простите!
И праведник забудется порой
В разгаре споров. Попрошу собранье
Прослушать очевидцев показанья!»

LII

Знак подал Дьявол. Дрогнул эмпирей
И, силе магнетической послушен,
Зажегся искрой, молнии быстрей,
Скопленья туч разрядами наруша.
От залпа inferнальных батарей
Вселенский гром потряс моря и сушу.
(Как пишет Мильтон — этот род войны
Важнейшее открытье Сатаны!)

LIII

И это был сигнал для тех несчастных,
Которым привилегия дана
Перемещаться всюду, ежесчасно,
Презрев пространства, грани, времена.
Они порядкам ада не подвластны
И к месту не прикованы — одна
Владеет ими страсть к передвижению,
Но кара их от этого не менше.

LIV

Они гордятся этим. Ну и что ж?
Приятен всякий символ благородный:
Как ключ, блестящий из-под фалд вельмож,
Как франкмасонов символ ныне модный.
Набор моих сравнений не хорош:
Я — праха сын, как стих мой, с прахом сходный!

Мне духи высших сфер должны простить:
Ведь, право же, я их умею чтить!

LV

Итак: был дан сигнал из рая в ад,
А расстояние это подлиннее,
Чем от Земли до Солнца. Говорят,
Исчислили уж те, кто нас умнее,
С какою быстротой лучи летят
От Солнца к нам, чтоб сделалось светлее
И в лондонском тумане, где с утра
Блестят на зданьях только флюгера.

LVI

Итак: пошло не более мгновенья
На это все. Признаться мы должны:
У солнечных лучей поменьше рвенья,
Чем у гонцов надежных Сатаны:
При первом состязанье, без сомненья,
Окажутся они побеждены:
Где света луч годами мчится к цели,
Там Дьяволу не нужно и недели!

LVII

В просторе сфер с пятак величиной
Явилось как бы пятнышко сначала
(Я видел нечто сходное весной
В Эгейском море пред началом шквала),—
Оно меняло быстро контур свой,
Как некий бот, несущийся к причалу,
Или «несомый»? Сомневаюсь я
И в знании грамматики, друзья!

LVIII

Оно росло по мере приближенья
И очень скоро в тучу разрослось.
(И саранчи подобного скопленья
Мне наблюдать еще не довелось.)
Затмили свет мятущиеся тени,
Как крик гусей стенанье их неслось...
(Но, уподобив их гусиным стаям,
Мы нации гусям уподобляем!)

LIX

Здесь крепкими словами проклинал
Джон Буль свою же тупость, как обычно,
«Спаси Христос!» — ирландец бормотал,
Французский дух ругался неприлично.
(Как именно — я скромно умолчал:
Извозчикам такая брань привычна!)
Но голос Джонатана все покрыл:
«Эге! Наш президент набрался сил!»

LX

Здесь были и испанцы, и датчане,
Тьма-тьмущая встревоженных теней;
Голландцы были тут и таитяне,
Они смыкались кругом все тесней,
Готовя сотни тысяч показаний
И на Георга, и на королей,
Ему подобных, за свои деянья,
Как вы и я, достойных наказанья.

LXI

Архангел побледнел: ведь побледнеть
Порой способен и архангел даже,
Потом он стал искриться и блестеть,
Как солнца луч сквозь кружево витражей
В готическом аббатстве или медь
Военных труб и пестрые плюмажи,
Как свежая форель, как вешний сад,
Как зори, как павлин, как плац-парад.

LXII

Потом он обратился к Сатане:
«Зачем же, друг мой, — ибо я считаю,
Что вы отнюдь не личный недруг мне,
Идсейная вражда у нас большая,
Не будем вспоминать, по чьей вине,
Но я вас и ценю, и уважаю,
И, видя ваши промахи подчас,
Я огорчаюсь искренно за вас!»

LXIII

Да, дорогой мой Люцифер! К чему ж
Излишество такое обвинений?
Я разумел совсем не толпы душ,
А парочку корректных заявлений!
Ведь их вполне достаточно! К тому ж
На разбирательство судебных прений
Я не хочу растрачивать — ей-ей! —
Бессмертия и вечности своей!»

LXIV

«Что ж! — молвил Сатана. — Не споря с вами,
Пожалуй, я готов его отдать:
Я получил бы с меньшими трудами
Гораздо лучших душ десятков пять.
Я только для проформы, между нами,
Хотел монарха бриттов оттягать:
У нас в аду — и бог про это знает —
И без него уж королей хватает!»

LXV

Так молвил Демон, коего зовет
Многострочивый Саути «многоликим».
Вздыхнул архангел: «Стоит ли хлопот
Возиться с этим сборищем великим?
Пускай любой свидетель подойдет
И скажет, чем не угодил старик им!»
«Отлично! — молвил Сатана. — Ну что ж?
А вот Джек Уилкс — он, кажется, хорош!..»

LXVI

И пучеглазый бритт, весьма забавный,
Довольно бойко выступил вперед;
Он был одет с опрятностью исправной —
Ведь наряжаться любит весь народ
На том и этом свете; благонравный
Адам — родоначальник наших мод,
А скромный фиговый листочек Евы
Прообраз юбки, как согласны все вы!

LXVII

Дух, обратясь ко всем, сказал: «Друзья!
На небесах у них холодно
И ветрено. Боюсь простуды я!
Скорее к делу! Почему, ребята,
Вы собрались? Скажите не тая!
Не выбирать ли в небо депутата?
Так вот: пред вами я — чистейший бритт,
Апостол Петр вам это подтвердит!»

LXVIII

«Сэр! — возразил архангел. — Это брэнно!
Дела мирские чужды нам сейчас:
Задача наша более почтенна:
Мы судим короля на этот раз!»
«А! — молвил Джек. — Так эти джентльмены
Крылатые, что окружают вас,
Чай, ангелы?! А я и не заметил!
А тот старик? Уж не Георг ли Третий?»

LXIX

«Да! — Михаил ответил. — Это он!
Его судьбу решат его деянья.
На небе с незапамятных времен
И самый жалкий нищий в состоянии
Судить великих!» — «Неплохой закон! —
Заметил Джек. — Но я без предписанья
И там, *под* солнцем смертных находясь,
Все говорил, что думал, не таясь!»

LXX

«Так повтори *над* солнцем речи эти,
Грехи Георга назови при всех!» —
Сказал архангел. «Полно! — дух заметил. —
Теперь его губить уж просто грех:
В парламенте, когда он жил на свете,
Его не раз я поднимал на смех,
Что поминать былые недостатки:
Ведь он — король, с него и взятки гладки!»

LXXI

Он, правда, был жесток и глуповат,
Католиков казня миролюбивых,
Но Бьют-наперсник в этом виноват
И Грэфтон — автор книг благочестивых.
Они уже давно в котлах кипят
В аду, во власти дьяволов ретивых,
А короля бы можно и простить,—
Пускай в раю он будет, так и быть!»

LXXII

«Ты стал, Джек Уилкс, на склоне лет пигмеем! —
Насмешливо заметил Сатана.—
Привычка быть придворным и лакеем
Тебе, однако, больше не нужна:
Глупцом ли был Георг или злодеем —
Он больше не король: одна цена
Всем грешникам! Не подличай! Не надо!
Теперь он только твой сосед по аду!

LXXIII

Я видел — ты уж вертишься и там,
Прислуживая дьяволам сердитым,
Когда они, рыча по пустякам,
На сале лорда Фокса жарят Питта,
Его ученика! Ты знаешь сам:
Он был министр ретивый, даровитый,
Одних проектов уйму написал:
Ему я глотку ими затыкал!»

LXXIV

«Где Юниус?» — раздался чей-то крик,
И все заволновались, всполошились,
И шум такой неистовый возник,
Что даже духи высшие смутились:
Напор теней был яростен и дик,
И все они толкались и теснились,
Как газы в пузыре иль в животе...
(Жаль, образ не на должной высоте!)

LXXV

И вот явился дух седой и хмурый,
Не призрак, а своей же тени тень.
То хохотал он дико, то, понурый,
Он был печален, как осенний день,
То вырастал он грозною фигурой,
То становился низеньким, как пень,
Его черты менялись непрестанно,
А это было уж и вовсе странно.

LXXVI

Сам Дьявол озадачен был; и он
Узнать сего пришельца затруднялся:
Как непонятный бред, как дикий сон,
Тревожный дух зловеще искажался,
Иным он страшен был, иным — смешон,
Иным он даже призраком казался
Отца, иль брата, иль отца жены,
Иль дяди с материнской стороны.

LXXVII

То рыцарем он мнился, то актером,
То пастором, то графом, то судьей,
Оратором, набобом, акушером,
Ну, словом, от профессии любой
В нем было что-то, он тревожным взором
Являл изменчивость судьбы людской,
Фантасмагорию довольно странную,
О коей фантазировать не стану я.

LXXVIII

Его не успевали и назвать,
Как он уже совсем другим являлся,
Пожалуй, даже собственная мать,
Когда он так мгновенно изменялся,
Его бы не успела опознать;
Француз, который выяснить пытался
Железной Маски тайну, — даже тот
Здесь всем догадкам потерял бы счет.

LXXIX

Порой, как Цербер, он являл собою
«Трех джентльменов сразу» — это стиль
Творений миссис Малапроп; порою,
Как факел, виден был он на сто миль,
Порой неясной расплывался мглою,
Как в лондонском тумане дальний шпиль,
И Барком он, и Туком притворялся,
И многим сэром Фрэнсисом казался.

LXXX

Гипотезу имею я одну,
Но помолчу о ней из опасенья,
Что пэры мне вменят ее в вину
Как дерзкое и вредное сужденье,—
Но все-таки я на ухо шепну
Тебе, читатель, это подозренье:
Сей Юниус — НИКТО,— все дело в том,—
Без рук писать умеющий фантом!

LXXXI

Мне возразят: «Да полно! Как же это,
Чтобы писать без рук? В уме ли вы?»
«Но пишут же и книги и памфлеты
Пииты, не имея головы?
Они, скрывая сей дефект от света,
Находят и читателей, увы!
Морщинясь, часто мнит свиная кожа,
Что на чело мыслителя похожа!»

LXXXII

«Скажи нам, кто ты?» — молвил Михаил.
«Мой псевдоним на титульной странице,
Но если тайну я всю жизнь хранил,
То вам признанья тоже не добиться!»
«Так докажи нам то, в чем ты винил
Георга? Или хочешь отступиться
От слов своих?!» Но тень вскричала: «Нет!!!
Теперь его черед держать ответ.

LXXXIII

Не защитят его от обвинений
Ни мрамор мавзолесев, ни парча!»
«Но нет ли все же преувеличений
В памфлете, сочиненном сгоряча?
Противники в разгаре словопрений,
В пылу страстей порой разят сплеча...»
«О да! Я ведал страсть, скрывать не стану:
Любовь к отчизне, ненависть к тирану!

LXXXIV

Я все сказал. Пусть одного из нас
Постигнет кара!» — молвил испуганно
Nominis Umbra — и пропал из глаз.
А Дьявол молвил: «Было бы резонно
Нам вызвать, как свидетелей, сейчас
И Франклина, и Джорджа Вашингтона,
И Тука самого...» Но тут возник
На небесах какой-то шум и крик.

LXXXV

Отчаянно работая локтями,
Явился черт пред сборищем теней
И пал во прах с помятыми крылами,
Полураздавлен ношею своей.
Вскричал архангел, засверкав, как пламя:
«Что ты принес, злосчастный Асмодей?!
Ведь он не мертв!» — «Я только жду приказа, —
Ответил черт, — и он подойдет сразу!

LXXXVI

Ведь как тяжел, проклятый ренегат,
Его таща, чуть не свихнул крыла я!
Как гири из свинца, на нем висят
Его труды — вся писанина злая!
Кропал он эту пакость, супостат,
Историю и Библию кромсая,
Когда над Скиддо ночью я летал
И свет в его окошке увидал.

LXXXVII

Историю придумал Сатана,
Но Библия — творенья Михаила!
Сообразил я, как страшна вина
Злосчастного британского зоила,
Схватил его, пока его жена
За чайником куда-то уходила,
И вот мы оба перед вами тут,
Летел я меньше десяти минут!»

LXXXVIII

«А! — молвил Сатана. — Он мне знаком!
Давно ему пора сюда явиться...
Но он ведь глуп как пробка, и притом
Талантишком своим весьма гордится!
Мой милый Асмодей! С таким ослом
Совсем тебе не стоило возиться,
Ведь даже без доставки он бы сам
Сегодня или завтра прибыл к нам!

LXXXIX

Но, уж поскольку здесь он, пусть прочтет,
Что он писал...» — «Да можно ли такое? —
Воскликнул Асмодей. — Он, идиот,
Вообразил себя самим судьёю
Всех дел людских! Ведь он же чушь несет!
Он никому не даст теперь покоя!» —
«Нет, пусть прочтет! — воскликнул Михаил. —
Послушаемте, что он сочинил!»

XC

Тут бард, счастливый, что нашел вниманье,
Которого не находил у нас,
Готовя рифмы к буре излиянья,
Прокашлялся, подготавливая глас,
Могучим рыком удивил собранье,
Но в первом же гекзаметре увяз,
В котором так подагра угнездилась,
Что ни одна стопа не шевелилась!

ХСІ

Он дактили пришпорил что есть сил,
Спасая стих свой неудобочтимый,
Но тут затрепетали тьмою крыл
И серафимы все, и херувимы,
И наконец поднялся Михаил:
«Помилуй, друг! Уже утомлены мы!
«Не радуется,— Гораций говорит,—
Non Di, non homines ...¹ плохой пиит!»

ХСІІ

И тут поднялся шум: не мудрено,
Что всем стихи внушали отвращенье:
Ведь ангелам наскучили давно
И славословия и песнопенья!
А бывшим смертным было бы смешно
Прийти от грубой лести в восхищенье,
Георг и тот воскликнул: «Генри Пай!
Лауреат! Довольно!!! Ай, ай, ай».

ХСІІІ

Гул рос и рос, зловеще свирепея,
От кашля сотрясался небосвод,
Так, изумлять риторикой умея,
Наш Каслрей шумиху создает.
Кричали где-то: «Прочь! Долой лакея!»
В отчаянье от этаких невзгод
Бард бросился к Петру, ища защиты,
Петра ведь уважают все пииты!

ХСІV

Сей бард природой не был обделен:
Имел и острый взгляд, и нос горбатый,
На коршуна похож был, правда, он,
Но все же в этой хищности крылатой
Имелся стиль,— он был не так дурен,
Как стих его шершавый и щербатый,
Являвший все типичные черты
Холуйства и преступной клеветы.

¹ Ни богу, ни человеку... (лат.).

ХСV

Вдруг затрубил архангел, заглушая
Невероятным шумом шум большой,—
И на земле метода есть такая:
Лишь раз дебаты окриком покрой—
И водворится тишина немая,
Смущаемая только воркотней.
Ну, словом, стихло все, и бард польщенный
Предался болтовне самовлюбленной.

ХСVІ

Сказал он, что, не видя в том труда,
Писал он обо всем—писал немало,
Он хлеб насущный добывал всегда,
И лакомство ему перепадало;
Он мог бы перечислить без труда
Десятки од своих о чем попало:
О Тайлере, Бленгейме, Ватерло—
Ему ведь на издателей везло!

ХСVІІ

Он пел цареубийц и пел царей,
Он пел министров, королей и принцев,
Он пел республиканских главарей,
Но он же поносил и якобинцев,
Пантисократом слыл из бунтарей,
Но он напоминал и проходимцев,
Всегда способных в нужный срок лиять
И убежденья с легкостью менять.

ХСVІІІ

Сраженья проклинал и пел сраженья,
Их славу восхваляя до небес,
Он защищал поэзии творенья
И нападал на них, как злобный бес,
Всем продавал он музу без стесненья,
Ко всем влиятельным в любимцы лез,
Стихов он написал немало белых,
Но мыслящий читатель не терпел их!

XCIX

Вдруг к Сатане он обратился: «Я
Пишу и биографии на славу!
А вашу написать — мечта моя!
Два превосходных тома in octavo!
Все критики теперь мои друзья,
Читателей-святош я знаю нравы:
Вот только вас чуть-чуть порасспрошу —
И ваше житие я напишу!»

C

Но Сатана молчал. «Я понимаю! —
Воскликнул бард: — Горды вы и скромны!
Тогда я вам, архангел, предлагаю
Мой бескорыстный труд за полцены!
Я так вас расхваляю, что вы, сияя,
Затмите все небесные чины!
Как та труба, которой без усилий
Вы медь моих литавров заглушили!

CI

Но вот мое творенье! Вот «Виденье»!
Вот — справочник: кого и как судить!
Вы можете теперь свои сужденья
О всех и вся бездумно выносить!
Я, как король Альфонс, без затрудненья
И богу мог бы дело облегчить
Советами: ведь ясновидцы все мы,
Легко решаем сложные проблемы!»

CII

И тут он важно рукопись извлек —
Старались тщетно черти и святые
Остановить неистовый поток:
Их доводов не слушал наш вития!
Но сонм теней уж после первых строк
Исчез, как пар, лишь запахи густые
Амброзии и серы после них
Стояли долго в небесах пустых.

СIII

Все ангелы захлопали крылами,
Заткнули уши и умчались ввысь,
Все черти, оглушенные стихами,
В геенну, завывая, унеслись,
Все души смертных робкими тенями
В туманности внезапно расплылись,
Дрожа от страха, а у Михаила
И затрубить-то духу не хватило.

СIV

Тогда апостол Петр ключом взмахнул:
Он после пятой строчки разъярился
И так пиита нашего толкнул,
Что тот, как Фаэтон, с небес свалился,
Но в озере своем не утонул,
А за венок лавровый ухватился!
Но зреет в мире буря! Дайте срок:
Смерч вольности сорвет с него венок!

СV

Что утонуть не мог он от паденья,
Пожалуй, объяснить не мудрено:
Всплывает на поверхность, к сожаленью,
Вся грязь и мерзость — так заведено!
И сор и пробки — все несет течение
Реки времен. Писака все равно
«Видения» кропать не перестанет:
Беда, беда, коль бес ханжкою станет!

СVI

Но чем же этот гам и суетня
Закончились? Я ныне слаб глазами:
Нет больше телескопа у меня,
И трудно мне следить за небесами.
Однако наш Георг, уверен я,
Пробрался в рай: выводит он с друзьями
(Для этого не надобно ума!)
Теперь рулады сотого псалма!

Равенна. 4 октября 1821 г.

II. «Изгнанник общества и света...»

Ведь я изгнанник общества и света:
И я, как все, был счастлив, может быть;
И я, как все, изведал боль за это.

Байрон. «Дон Жуан».

Достопочт. Августе Байрон

Саутвелл
26 марта 1804 г.

Получил вчера твое нежное письмо, моя дорогая сестра, и теперь спешу исполнить твое требование, отвечая по возможности скорее. Нет, дорогая моя любовь, мне не может хоть сколько-нибудь наскучить переписка с тобой, напротив, она приносит мне величайшее наслаждение, только, боюсь, письма мои будут не очень интересны тебе, ибо все, о чем я могу писать, так это моя привязанность к тебе, выразить которую вполне я никогда не смогу, а потому способен утомить тебя прежде, чем хоть немного ублажу себя. Ах, до чего же я несчастен, оставаясь в столь долгой разлуке с любезной мне сестрой! Но зато судьба уже порядком утешила меня, ибо я нашел в тебе родственницу, которую могу любить, и друга, которому могу довериться. Так, в этих двух смыслах, моя дорогая Августа, я всегда буду думать о тебе и надеюсь, что и ты не найдешь брата недостойным своей привязанности и дружбы.

Мне здесь, как ты можешь легко себе представить, довольно скучно, ибо, не будучи в коротких отношениях с лордом Греем, я стараюсь не заглядывать в Ньюстед, и для меня источником развлечения остаются книги и письма к моей Августе, что всегда составляет наибольшее из удовольствий. С лордом Греем не помирился и никогда не помирюсь. Он был моим ближайшим другом, причины же для разрыва этой дружбы таковы, что я не могу их открыть даже тебе, дорогая моя сестра (хотя если они кому-нибудь станут известными, то — тебе первой), эти причины должны навсегда остаться скрытыми в моей душе.

Причины, впрочем, достойные, ибо пускай я неразумен, но я и не взбалмошен в своих привязанностях. Мать моя не одо-

бьет моего разрыва с ним, но если бы она знала причину (чего она никогда не узнает), она не стала бы меня в том упрекать. Он утратил в моих глазах всякое достоинство, однако я испытываю к нему такое презрение, что не способен его ненавидеть. Моя мать просит передать тебе привет. Я скоро вернусь в Лондон, чтобы вновь начать занятия в Хэрроу. По дороге туда я, конечно, увидаюсь с тобой. Передай мой поклон миссис Харкерт. Рад слышать, что она меня жалует, потому что я всегда буду уважать ее за отношение к тебе, любовь моя. Прошу, сообщи, видишься ли ты с лордом С. Осборном и как он там? Судя по тому немногому, что я знаю о нем, он мне очень нравится, и будь мы с ним больше знакомы, то, я уверен, он бы нравился мне еще больше. Не забудь сообщить, как там Меррей. Что же касается твоих видов на будущее, моя любовь, то да будешь ты счастлива! Уверен, что ты заслуживаешь счастья, а если оно тебе не выпадет, тогда я начну думать, что «мы живем в проклятом мире». Напиши мне скорее. С нетерпением жду твоего письма. Да благословит тебя бог, любезная Августа, а я остаюсь твоим вечно любящим братом и другом.

Байрон

Достопочт. Августе Байрон

*Хэрроу он-де-Хилл
25 октября 1804 г.*

Моя дорогая Августа! Подчиняясь твоим желаниям и в благодарность за твое нежное письмо, я спешу как можно скорее ответить. Рад услышать, что кое-кто сообщает обо мне наилучшим образом, но, судя по упомянутому тобой источнику, думаю, что все преувеличено. Раз ты несчастна, дорогая моя сестра, то и я себя чувствую точно так же; была бы моя власть облегчить твои горести, ты скоро обрела бы иное расположение духа, а сочувствую я тебе пока гораздо больше, чем ты думаешь. Право, в конце концов (прости, дорогая сестра) мне хочется слегка посмеяться над тобой, ибо любовь, по моему скромному мнению, — это совершенные пустяки, набор любезностей, вздохов и обманов; что касается меня, то, будь у меня полсотни возлюбленных, я бы за две недели позабыл их всех, а уж если бы и вспомнил, по случайности, какую-нибудь одну, то лишь смеялся бы надо всем этим, как над ушедшим сном, и благословлял бы небо за то, что оно спасло меня из рук коварного слепого божка. И разве ты не можешь выкинуть кузена из своей прелестной головки (ибо о сердце нечего и говорить)? А если ты зашла столь далеко, то почему бы тебе не сбежать от старого Гарпагона (я разумею ге

нерала) и не совершить путешествие в Шотландию, благо ты сейчас от нее совсем рядом. Не забудь напомнить обо мне моей официальной опекунше леди Карлайль, внушительного присутствия которой я последние годы избегал и отнюдь не жажду удостоиться такой чести. Что же касается твоей разлюбленной леди Гертруды, то я не помню, хороша ли она собой, прошу, сообщи. Полагаю, она прелестна, потому что, хотя все они чванливы и сухи, среди этого поколения нет посредственностей. Насколько я помню, леди Кодор была привлекательной, милой особой. Скажи, твоя чувствительная Гертруда на нее похожа? Я слышал, что герцогиня Ретленд также была красива, но не будем говорить о ее характере, поскольку я терпеть не могу сплетен.

Прощай, моя прелестная сестра, прости мне мое легкомыслие, но напиши поскорей, и да благословит тебя господь.

Остаюсь твоим нежнейшим братом.

Байрон.

P. S. Я оставил мать в Саутвелле некоторое время тому назад, чудовищно на тебя обиженную за то, что ты ей не пишешь. Как ни горько это говорить, мы со старушкой не ладили, подобно агнцам на лугу, но, полагаю, то была моя вина, я чересчур непоседлив, что совершенно выводит из себя мою требовательную матушку, мы расходимся во мнениях, затем спорим и, да будет сказано к моему стыду, слегка при этом выходим из себя, хотя вслед за бурей наступает затишье. Что стало с нашей тетушкой, любезной древней Софией? По-прежнему ли она находится среди людей живых или же поет псалмы с благословенными в ином мире? Прощай. Мне здесь довольно хорошо и спокойно. Друзей у меня мало, но публика приличная. Первым из них я ставлю лорда Делаваара, моего самого милого и близкого друга. Ты не знаешь хоть сколько-нибудь это семейство? Леди Делаваар часто бывает в свете, так что ты могла ее видеть. Если она похожа чуть-чуть на своего сына, то должна быть самой привлекательной дамой в целой Европе. У меня масса знакомых, но все они для меня пустое место.

Adeiu, дорогая Августа.

Достопочт. Августе Байрон

*Хэрроу-он-де-Хилл
Суббота, 17 ноября. 1804 г.*

Я очень рад, моя дорогая сестра, что тебе так нравится замок Хауэрд. Я уверен также, что все, что ты пишешь, совершеннейшая правда и что лорд Карлайль более мил, чем он показался

мне. Однако, будучи мало знаком с ним и часто слыша о нем отнюдь не лестные мнения, я, естественно, никак не мог испытывать к его светлости поистине дружеские чувства. Ты пишешь, что моя мать хвалит мой милый нрав и достойную рассудительность, но, в отличие от тебя, я от нее ничего подобного не слышал, напротив, она постоянно упрекает меня в отсутствии именно этих свойств, утверждая, что являет собой прекрасный образец, которому я должен следовать. Ты получила приглашение и, конечно, если хочешь, можешь им воспользоваться, но если ты ценишь собственный покой и любишь находиться в приятном обществе, советую тебе держаться подальше от Саутвелла. Благодарю тебя, моя дорогая Августа, за готовность помочь мне и попытаюсь как-то воспользоваться твоей помощью. Не хотел бы, однако, полностью порвать отношения с ней, но в то же время не хотел бы и видиться с ней столь часто, как прежде; я уверен, она любит меня, она неоднократно доказывала мне свои чувства, в особенности с помощью денег, которые мне совершенно не нужны, поскольку я могу иметь их сколько угодно. Но поведение ее столь странно, к капризам ее так трудно привыкнуть, чувства ее проявляются так бурно, что, право, зло полностью перевешивает ее приятные черты. Среди всего прочего, я забыл упомянуть совершенно неуправляемую страсть к скандалам, страсть, с которой она совершенно не в состоянии справиться, тратя все свое время за границей на то, чтоб отмечать дурные черты и осуждать недостатки ближних, так что меня отнюдь не удивляет, что моя бесценная тетка получает от нее свою долю панегириков. Но все это ничто по сравнению с тем, когда вдруг случается возможность вынести порицание моему поведению, здесь уж «грядет великий бой». Все мои предки, считая со времен норманнского нашествия, подлежат осуждению, сам я — обруган, и мне заявляют, что все те незначительные достоинства души и тела, коими я все же располагаю, идут от нее, и ни от кого другого.

Когда я уеду из Хэрроу, не знаю, это уж как ей заблагорассудится, а мне здесь нравится. Из всех известных мне священников мой учитель доктор Друри — милейший человек, в нем соединились джентльмен и ученый при полном отсутствии какого бы то ни было позерства или педантизма, и всеми своими незначительными знаниями я обязан одному ему; и не его вина, что я не научился большему. Я всегда с благодарностью буду вспоминать его наставленья и лелею надежду, что когда-нибудь смогу хоть как-то отплатить ему или его семье за его бесчисленные благодеяния.

Примерно через две недели начинаются каникулы. Я не говорил об этом матери и, кстати, не собираюсь делать этого. Если

удастся, постараюсь уклониться от поездки в Саутвелл. Можешь быть уверена, в ближайшее время я постараюсь, насколько это возможно, никак не сообщаться с ней, однако она не должна знать о том, что я не хочу приезжать. Надеюсь, ты простишь меня за столь короткое письмо, но только что прозвенел звонок, призывающий нас собраться вместе. Напишу в самое ближайшее время, поверь мне.

Неизменно любящий тебя брат

Байрон

Боюсь, тебе немного трудно расшифровывать мои послания, но это, я знаю, ты простишь. Adieu.

Привет лорду Карлайлю.

Чарльзу О. Гордону

*Особняк Бергедж
14 августа 1805 г.*

Уверяю Вас, дорогой Чарлз, что письма Ваши никак не могут быть скучны или неинтересны, в особенности мне; напротив, они будут доставлять истинное удовольствие всякий раз, когда Вы сочтете нужным написать мне. Ответ на первое Ваше послание я отправил в Ледбери и боюсь, что Вы сможете получить его, лишь возвратившись из своего путешествия, которое, надеюсь, не оставит Вас разочарованным. Мне довелось несколько лет назад путешествовать по Шотландскому высокогорью, и в Эбергелди было красиво необычайно.

Полагаю, скоро предстанут перед Вами вечные снега вершины Лакин-и-Гер, величественно возвышающейся над нашими Северными Альпами. Еще жив в моей памяти тот восторг, какой я испытал, впервые увидев ее; вдали, подле Инверколда, в тени суровых скал, стоит Мар-Лодж — усадьба лорда Файфа; водопад Ди стремительно и дерзко мчит свои воды вниз по склонам совсем неподалеку от дома. Впрочем, мне нет нужды рассказывать более об этом, ибо Вы все вскоре увидите своими глазами. Искренне желаю Вам всяческого успеха в Вашем предприятии. В Хирфордшир я отправил Вам послание с подробным описанием нашего матча — проигранного, увы! В первом иннинге я завоевал 11 очков, 7 — во втором, итого 18, в чем превзошел я всех в нашей команде (кроме Ипсвича). У Брокмана — тоже 18. После игры мы пообедали вместе — вполне дружески и весело, а вечером продолжили игру.

С самыми нежными чувствами

Байрон

Моя дорогая Августа! Как и можно было предположить, жизнь в колледже мне очень понравилась, особенно потому, что я избежал оков или, скорее, пут своего домашнего притеснителя — госпожи Байрон, которая оставалась для меня напастью, куда я жил дома в июне и сентябре. Теперь самым чудесным образом я поместился в *сверх*великолепных комнатах, имея по одну сторону от себя своего руководителя, а по другую — старого профессора, что заметно сдерживает мою жизненную энергию. Мне положены 500 фунтов в год, слуга и лошадь, так что чувствую себя независимым, словно немецкий принц, который чеканит собственную монету, или вождь племени ироки, у которого монет не водится, но зато есть нечто более драгоценное — свобода. Я говорю с таким восторгом об этой *Богине*, поскольку моя милая матушка была сущим деспотом. Боюсь, что кое-какие проявления собственного нрава и твердое намерение более не подчиняться безрассудным требованиям (или терпеть оскорбления, которые обычно следовали за отказом исполнять ее требования, неважно, разумные или не разумные) нанесли большую обиду, как я могу судить по двум крайне серьезным письмам из суда в Саутвелле, пришедшим во вторник: почему я не прогоню своего слугу (не доверять которому у меня нет оснований и которого наилучшим образом рекомендовал прежний хозяин), когда она велела это сделать по какому-то капризу, пришедшему ей в голову? Я ответил на послание, составленное в изысканных выражениях, суровым письмом, так рассердившим ее светлость, что, прочитав, она мне вернула его в конверте, не прибавив ни единого слова в ответ.

Письмо и мой ответ ты увидишь, когда мы встретимся в следующий раз, и тогда ты сможешь сама судить о сравнительных достоинствах того и другого. Пусть себе пишет свои героические оды, пока не остынет, я не стану обращать на это ни малейшего внимания. Ее поведение в отношении ко мне за последние два года не заслуживает сыновней любви или привязанности. Здесь мне хорошо; пользуясь условиями колледжа, я буду жить весело, но без излишеств. Вряд ли следует говорить тебе, что этим я ничуть не обязан леди Б., ибо все это — на мои собственные средства, а она не дала ни пенни из своего кармана. Обстановка уже оплачена, а она прибавила кое-что к своим доходам, о чем я не жалею ни в малейшей степени; я желаю ей быть счастливой, но не желаю находиться с ней в непосредственной близости. Все прелести ее общества я испытал на себе до последнего предела, и, надеюсь, в следующий раз мы встретим-

ся более душевно, а быть может, и не встретимся вообще.

Но зачем я говорю о встрече? Ее характер исключает всякую мысль о счастье, поэтому в будущем я стану избегать ее гостеприимный кров, хотя она имела глупость думать, будто станет распоряжаться у меня в доме, когда я достигну [совершеннолетия?]. Должен извиниться перед тобой за [скудное?] письмо, но, [по правде?] говоря, [последствия?] вчерашнего кларета еще не выветрились у меня из головы, поскольку ужинал я в большой компании. Полагаю, что болван Хэнсон на своем пошлом языке, говоря «красивенький», хотел сказать не «толстый», а «веселый», ибо я не только не прибавил в весе, но, напротив, потерял целый фунт за неделю и постоянно взвешиваюсь.

Прощай, дражайшая Августа [подпись отрезана].

Элизабет Бриджит Пигот

*Тринити Колледж
5 июля 1807 г.*

Со времени моего последнего письма я решил провести еще один год у Гранты, поскольку комнаты мои отделаны в великолепном стиле, появляются старые друзья и я завел много новых; в результате склонности мои неумолимо влекут меня вперед, и я вернусь в колледж в октябре, если останусь жив. Все это время я вел жизнь самую что ни есть рассеянную: каждый день — новый выезд, зван на столько обедов и проч. и проч., что выполнить все это нет никакой возможности. Пишу с мыслью о бутылке бордо и со слезами на глазах, ибо только что распрощался со своим «носителем халцедона», который провел со мной весь вечер. Так как это была моя последняя беседа, я отложил назначенные встречи, чтобы посвятить Священный день отдохновения дружбе. Сейчас на время расстался с Эдстоном, и в душе — хаос надежд и печали. Завтра отправляюсь в Лондон. Ответ пишите на адрес «Гордонз-отель, Элбемарл-стрит» — там я и буду пребывать во время своего визита в метрополию.

Я рад чрезвычайно, что Вы заинтересовались моим *protégé*: с тех пор как я поступил в Тринити Колледж в октябре 1805 года, он был моим постоянным спутником. Поначалу мое внимание привлек его голос, выраженье лица подтвердило первое впечатление, и, наконец, манеры его навсегда привязали меня к нему. В октябре он отправляется в один торговый дом в город, и, возможно, мы не увидимся вплоть до моего совершеннолетия, и тогда я предоставляю ему выбор: или войти со мной в интерес в качестве делового партнера, или же поселиться вместе. Несомненно, в нынешнем расположении духа он бы предпочел последнее, но за оставшееся время еще может переменить свое мнение — во всяком случае, решать будет он. Я, вне всякого сомне-

ния, люблю его больше, чем кого бы то ни было на свете, и ни время, ни расстояние нимало не повлияли на мою обычно столь переменчивую натуру. Короче говоря, мы заставим покраснеть леди Батлер и мисс Понсонби, смутим души Пилада и Ореста, ибо нам нужна развязка в стиле Ниса и Эвриала, на фоне которой поблекнет прощание Давида и Ионафана. Он, несомненно, сильнее привязан ко мне, чем я к нему. Пока я был в Кембридже, мы встречались каждый день, зимой и летом, не скучали ни одно мгновение и всякий раз расставались все с большей неохотой. Надеюсь, как-нибудь Вы увидите нас вместе. Он единственное существо на свете, кое я поистине ценю, хотя нравятся мне многие.

Здесь на днях был маркиз Тависток. Поужинали у его наставника — партия вигов в чистом виде. Здесь сейчас собралась сильная оппозиция — в октябре к нам присоединятся лорд Хардингтон, герцог Ленстер и т. д. и т. д., так что все будет великолепно. Сейчас здесь отовсюду доносится музыка. Со мной произошла очередная «неприятность»: опрокинул соусник на колени одной дамы — вышло очень глупо — присутствовавшие ухмылялись — черт с ними! Кстати, как это ни грустно, пью каждый день и сейчас еще не совсем протрезвел — но зато не призраживаюсь к мясу, ем только рыбу, суп и овощи, вследствие чего не причиняю особого вреда своему здоровью. Эти кембриджцы — унылые твари!

Учтите: мы твердо решили исправиться в январе. Здесь скучная круговерть развлечений, но я доволен, презираю Саутвелл. Хорошо ли идет продажа у Риджа? Или старички протестуют? Что купили дамы?

В церкви святой Марии увидел девушку, так похожую на Энн, что я решил, будто это она, — ничего подобного. Дама уставилась на меня, я — на нее, я покраснел, она же — нет! Грустно. Жаль, что женщины так нескромны. Размышленья о женщинах наводят меня на мысль о моем терьере — Фэнни, как там она? Болит голова, пойду-ка лучше спать, а то завтра поутру отправляться в дорогу. Мой protégé завтракает со мной — предстоящая разлука, а скорее — Саутвелл, портят аппетит. Запомните: я ненавижу Саутвелл.

Ваш и проч.

Элизабет Бриджит Пигот

*Гордонз Отель
13 июля 1807 г.*

Вы пишете просто замечательные послания, показывая кукиш иным моим корреспондентам со всеми их нелепыми прось-

бами простить «их полную неосведомленность», — Вы же присылаете восхитительный почтовый багаж... Я попал в бесконечный водоворот развлечений (однако очень приятный при всем при том) и, как ни странно, худею, сейчас мой вес — намного меньше одиннадцати стоунов¹. Проживу в городе с месяц, может, шесть недель, съезжу в Эссекс, а потом мой светлый лик дня на три, в виде большой любезности, осветит Саутвелл — но ничто на свете никогда не заставит меня жить там постоянно. В октябре определенно возвращаюсь в Кембридж; там будет необычайно весело, но вообще-то мне нужно бросать университет. В Кембридже со мной произошло чрезвычайное происшествие: появилась девица, так похожая на N, что только самый тщательный осмотр мог бы заставить меня разувериться. Жаль, что я не спросил ее, не бывала ли она в X.

Черт подери, сколько там экземпляров у Риджа? Продать пятьдесят штук за две недели — это, наверное, неплохо. Я слышал, что книжка есть во многих лондонских лавках, а Кросби разослал экземпляры на основные курорты. Нравятся стихи в Саутвелле или нет?.. Жаль, что мой Ботман не проглотил Дамона! Как там Брэн? Клянусь богами, Брэн должен был бы быть графом в Святой Римской империи.

Вы проводите свои дни в деревне, и посему вести из Лондона вряд ли могут показаться Вам интересными; вся эта хроника светских раутов и распрей; пары вальсирующие и боксирующие, крикет и карты, дебаты в парламенте и детали в политике, мастерские, маскарады, заведение на улице Арджайл, речные заезды, любовные сплетни, лотереи, Брукс, Бонапарт, оперные певцы, уличные ораторы, женщины, вино, восковые фигуры, войсковые амуры — никак не согласуются с Вашими представлениями о «приличии» и другими глупыми словами, которые не входят в наш словарь.

Ах, Саутвелл, Саутвелл, как я счастлив покинуть тебя, и как же я проклинаю те тягостные часы, которые растянулись на целые месяцы, что я влачил среди индейцев-могавков, населяющих твой крааль! Не жалею я лишь о том, что столь заметно потерял в весе: теперь могу влезть в панталоны в обтяжку и тем самым ни в чем не уступаю стройному современному beau, хотя, к сожалению, должен сказать, что среди английских джентльменов сейчас модно быть толстым, так что мне говорят, что я до модного веса недобираю почти четырнадцать фунтов. Однако вместо того, чтоб распознаться вширь, я худею, что само по себе удивительно, ибо упражнения, требующие физического напряжения, в Лондоне делать невозможно, но я приписываю это явление ду-

¹ Около 70 кг.— *Прим. перев.*

хоте на званых и семейных вечерах. Сегодня утром (т. е. четырнадцатого, это письмо я начал вчера) получил письмо от Риджа: он сообщает, что стихи расходятся превосходно, посланные в город семьдесят пять экземпляров уже разошлись и заказ еще на пятьдесят выполнен в тот же день, когда он отослал свое посланье, а рекламные листки не напечатаны еще наполовину! Прощай.

P. S. Лорд Карлайль, получив мои стихи, прислал, не раскрыв книги, довольно приличное письмо, но с тех пор я не получал от него известий. Мнения его я не знаю и не ценю, а если оно окажется хоть в малой степени дерзким, я зачислю его в одну компанию с Батлером и столь же достойной публикой. Сейчас он в Йоркшире, бедняга, и очень болен. Он написал, что у него нет времени прочесть содержимое, однако он счел необходимым незамедлительно подтвердить получение тома. Возможно, граф «не терпит брата возле трона», в таком случае я заставляю скипетр дрогнуть в его руке!

Элизабет Бриджит Пигот

*Тринити Колледж, Кембридж
26 октября 1807 г.*

Дорогая Элизабет! Измучившись сиденьем до четырех утра — по собственной воле, — я взялся за перо, с тем чтоб узнать, как Ваша светлость, а с нею и другие знакомые мне дамы пребывают в средоточии своего архиепископального величия. Я понимаю, что заслужил всяческое порицание за то, что по небрежности не писал Вам чаще, но когда в продолжение последних трех месяцев только и делаешь, что скачешь по стране, возможно ли исполнять обязанности корреспондента? В ближайшие полгода буду сидеть на одном месте, такой же худой, как обычно (со времени последнего своего похудания я не потолстел ни на унцию), и в лучшем расположении духа, ибо в конце концов Саутвелл — отвратительное место. Благодарю святого Доминика, что с ним покончено: два раза я находился на расстоянии восьми миль от Саутвелла и не мог заставить себя поехать туда, чтоб задыхаться в его тяжелой атмосфере. Здесь тоже мерзко: гнусный шум и пьянка, гольф, бургундское, охота, математика, Ньюмаркет, состязания и разные бесчинства. И все же это рай по сравнению с бесконечным уныньем Саутвелла. Какая жалкая участь: только и делать, что заводить любовниц, врагов и сочинять стихи!

В январе (но это, умоляю, пусть останется строго *entre nous*, иначе моя гонительница-мать тут же бросит томагавк на первый же мой интересный прожект) собираюсь на четыре или пять ме-

сяцев к морю с моим кузеном капитаном Беттсвортом. Он командует «Тартаром», замечательнейшим фрегатом нашего флота. Я много повидал, а теперь хочу взглянуть на морскую жизнь. Судя по всему, мы поплывем к Средиземному морю или же в Западную Индию — а то и к черту на рога, и если представится возможность совершить последнее, Беттсворт обязательно ею воспользуется: у него на теле двадцать четыре раны и еще есть письмо от покойного лорда Нельсона, подтверждающее, что Беттсворт — единственный офицер во всем флоте, у которого ран больше, чем у самого адмирала.

У меня новый друг, наилучшее существо в мире — дрессированный медведь. Когда я его сюда привез, все стали спрашивать, что я с ним собираюсь делать, а я отвечал: «Он будет представлять профессуру». Шерард объяснит смысл сей фразы, если она кому-либо покажется двусмысленной. Мой ответ им не понравился. Здесь было несколько присмов, а сегодня вечером сборище жокеев, игроков, боксеров, авторов, поэтов и священников ужинает у меня — весьма достойная смесь, но в общем все они ладят друг с другом. Что касается меня, я блистаю во всем, кроме верховой езды; кстати говоря, на днях опять вылетел из седла.

Поблагодарите брата от моего имени за трактат. Я написал двести четырнадцать страниц романа, одну поэму на триста семьдесят строк (выйдет без подписи, только с примечаниями, через несколько недель), 560 строк о Босуортском поле и 250 строк для другой рифмованной поэмы — это не считая полдюжины более мелких вещей. Поэма, которую я собираюсь опубликовать, — сатира. Кстати, меня до небес захвалили в «Критическом обозрении» и жестоко обругали в другом журнале. Мне говорят, тем лучше для продажи книги: когда идет спор, никак нельзя забыть книгу. Кроме того, лучшие умы мира сего получали по заслугам, и да не избегнет чаша сия и более скромных людей, — так что я сношу все как философ. Странно, что два противоположных критических отзыва вышли в один день, и на пяти ругательных страницах мой цензор в поддержку своего мнения приводит лишь две строки из разных стихов. Правильнее было бы процитировать отрывки подлиннее и попробовать превратить их в нелепость, а голословное обвинение — это еще не доказательство. А с другой стороны — семь страниц восторгов, однако моя скромность не позволяет мне распространяться на этот счет. Adieu.

P. S. Пишите, пишите и еще раз — пишите!

Уважаемый сэръ, я был поистине счастлив, узнав о том, что здоровье Ваше поправилось. Что касается моих дел, то тут, я уверен, вы приложите все необходимые усилия, и, хотя я и был бы рад отделаться от своей ланкаширской собственности, получив взамен соответствующую денежную мзду, я не предприму подобных шагов без доброго совета и самого основательного размышления.

Весной, как я уже сообщал Вам, я отправляюсь за границу. К тому есть много причин. Во-первых, хочу изучить Индию и азиатскую политику и нравы. Я молод, вполне здоров и умерен в житейских привычках. Модные ныне развлечения не влекут меня. Я твердо намерен охватить более широкое поле жизни, чем это обычно принято у путешественников. Если вернусь, сужденья мои будут более зрелыми и я еще успею заняться политикой. Что касается расходов, то путешествие по Востоку сопряжено скорее с неудобствами, нежели с расходами: в отличие от прогулки по Европе на Востоке ждут испытанья, а риск растратить деньги незначителен. Если же я останусь здесь, то мне нужен будет собственный дом в городе и отдельный дом для миссис Байрон, придется держать лошадей и проч. и проч. Если я поеду за границу, миссис Байрон переедет в Ньюстед, таким образом отпадет огромная статья расходов и к тому же не придется содержать лошадей. Поездка в Индию займет у меня шесть месяцев, и, даже если у меня будет дюжина слуг, на это не уйдет и пятисот фунтов. Вы не можете не согласиться, что столь длительное пребывание в Англии ввело бы меня в расходы, в четыре раза превышающие эти пятьсот фунтов. Я написал в правительство с целью получить рекомандательные письма, а также разрешение от Компании, так что, как видите, я не шучу.

Оплатите мои долги: судя по всему, наберется тысяч двенадцать, и еще мне потребуется для начала примерно тысячи три или четыре по кредитному счету через агента в Бенгали. И все это Вы должны как-то устроить. Если мои ресурсы не соответствуют таким расходам, придется продавать, но не Ньюстедское аббатство. Следующему лорду Байрону я хочу оставить хотя бы это. Долги надо оплатить по возможности в феврале. Все свои дела я оставляю на попечение доверенных лиц, из коих, с Вашего согласия, Вы будете первым, далес идет мистер Паркер, относительно еще двух я не принял окончательного решения.

Пожалуйста, не сочтите за труд ответить поскорее. Пере-

дайте поклон миссис Хэнсон, с коей я надеюсь увидиться по ее возвращении, а также нежные пожелания юной даме.

Примите мои уверения и проч.

Байрон

[Матери]

Мальта

15 сентября 1809 г.

Дорогая матушка! Несмотря на то что у меня совершенно нет времени, поскольку я незамедлительно должен отплыть в Грецию, не могу не воспользоваться возможностью и не сообщить Вам, что я здоров, на Мальте пробыл непродолжительное время и нашел ее обитателей людьми гостеприимными и приятными.

Письмо препоручаю женщине поистине необыкновенной; Вы, несомненно, слышали о миссис Спенсер Смит; несколько лет назад маркиз де Сальво опубликовал историю о том, как он спасал ее. С тех пор она еще пережила кораблекрушение, и вообще вся жизнь ее с самого начала полна событий, столь исключительных, что в произведении романическом они показались бы просто невероятными. Родилась она в Константинополе, отец ее, барон Герберт, служил там послом от Австрии, неудачно вышла замуж, однако никто и никогда не ставил под сомнение ее репутацию; соучастием в каком-то заговоре она вызвала страшную ярость Бонапарта, несколько раз рисковала жизнью, а ведь ей нет и двадцати пяти. Она находилась здесь по пути в Англию, где собирается присоединиться к мужу; из-за наступления французов ей пришлось покинуть Триест, куда она ездила навестить мать, и очень скоро она уже поднимется на борт военного корабля. Со времени своего приезда я общался разве только с ней, я нахожу ее чрезвычайно хорошенькой, очень образованной и очень необычной женщиной. Бонапарт по-прежнему так зол на нее, что, если б ее опять арестовали, жизнь ее была бы в опасности.

С того времени, как Вы получили мое последнее письмо и виделись с Мерреем и Робертсом, не произошло никаких событий. Заходили в порт Кальяри на Сардинии и в Джирдженти на Сицилии, завтра я отплываю в Патрас, откуда отправлюсь в Янину, где содержит свой двор Али-паша. Следовательно, вскорости быть мне среди мусульман.

Adieu и примите мои искренние уверенья.

Ваш Байрон

*3 мая 1810 г.**С борта фрегата «Салсет»,
проходя через пролив Дарданеллы,
Абидос справа по курсу.*

Мой дорогой Друри, в прошлом году, когда я уезжал из Англии, ты просил меня писать тебе. Выполняю твою просьбу. Я пересек Португалию, потом Южную Испанию, посетил Сардинию, Сицилию, Мальту и оттуда отправился в Турцию, где брожу по сей день. Поначалу я высадился в Албании, в древнем Эпире, там мы добрались аж до горы Томерит и были отлично приняты главным Али-пашой. Посетив Иллирию, Хаонию и проч., под охраной пятидесяти албанцев мы пересекли залив Актиум и, миновав Акарнанию и Этолию, проехали вблизи Ахелуса; проведя непродолжительное время в Морее, пересекли залив Лепанто и оказались у подножья Парнаса, рассмотрели все, что осталось в Дельфах, и оттуда — на Фивы и Афины, там мы пробьли десять недель.

«Пилад» — корабль его высочества — доставил нас в Смирну, но до этого мы топографически исследовали Аттику, включая, конечно же, Марафон и Сунийский мыс. Следующий этап — от Смирны до Троада; Троад мы посетили, когда корабль стоял две недели на якоре в стороне от гробницы Антилоха, и вот сейчас мы в проливе Дарданеллы ждем ветра, чтоб плыть в Константинополь.

Сегодня утром я проплыл от Сестоса до Абидоса; напрямую тут расстояние не больше мили, но течение делает его столь опасным, что сомневаюсь, чтоб на пути к блаженству сердечный пыл Леандра заметно не иссяк. В первый раз я попытался на прошлой неделе и не смог — из-за северного ветра и поразительной скорости отлива, — хотя прекрасно плаваю с детства, но нынешним утром море было спокойней, и за один час и десять минут я пересек «широкий Геллеспонт».

Итак, мой дорогой сэр, я покинул дом и увидел Африку, Азию и немалую часть Европы. Повидал генералов, адмиралов, принцев и пашей, правителей и непокорных, но нет ни времени, ни бумаги, чтоб распространяться на сей счет. Мне хотелось бы, чтоб ты знал: нежная память о тебе и надежда увидеться живы во мне, и, если мы встретимся не столь скоро, виной тому будет что угодно, но только не моя небрежность.

Ты так хорошо знаешь древнюю и современную Грецию, что тебе не нужны описания. Вот Албании я насмотрелся более других англичан (не считая некоего мистера Лика); эту страну, по причине дикости ее обитателей, редко навещают иностранцы, однако в ней больше естественных красот, чем в самых извест-

ных местах классической Греции, которые, впрочем, очень хороши, в особенности Дельфы и мыс Колонна в Аттике. И все же они ничто в сравнении с Иллирией и Эпиром, где деревушки, не имеющие названий, и реки, даже не нанесенные на карту, в будущем, если станут более известны, несомненно будут расценены как объекты, более достойные карандаша и пера, нежели сухая канава Иллиса или болота Беотии.

Троад — прекрасное поле для размышлений и снайперской стрельбы, и истинный спортсмен, а также тонкий мыслитель могли бы с большой пользой для дела тренировать здесь свой мозг или ноги, ну а если предпочесть езду верхом, то, последовав моему примеру, можно заблудиться среди гнусных болот Скамандра, который извивается так, как если б девственницы Дардана по-прежнему предлагали ему свою привычную дань. Все, что осталось от Трои (или ее разрушителей), — так это могильные холмы, где, по слухам, закопали Ахилла, Антилоха, Аякса и прочих, но гора Ида сияет в полном блеске, несмотря на то, что современные пастухи мало смахивают на Ганимеда. Впрочем, зачем говорить об этом, раз Джелл уже все описал в своей «Летописи», а Хобхаус ведет дневник? Сам я дневника не веду, поскольку решил не марать бумагу.

Не вижу большой разницы между турками и нами, за исключением того, что у нас есть крайняя плоть, а у них ее нет, что они носят длинные платья, а мы — короткие и что мы говорим много, а они мало. В Англии модные пороки — это разврат и пьянство, в Турции — содомия и курение, мы предпочитаем девицу и бутылку, а они — трубку и мальчика. Турки — разумный народ. Али-паша сказал мне, что он уверен в том, что я знатный человек, поскольку у меня маленькие уши, маленькие руки, а волосы — вьются. Кстати, я сносно говорю на новогреческом, т. е. современном греческом языке, он менее отличен от древних диалектов, чем можно было бы себе представить, однако произношение совершенно иное. О стихах, за исключением рифмы, они не имеют ни малейшего представления.

Мне нравятся грски, это довольно-таки добродушные мошенники со всеми пороками турков, однако без их мужества. Правда, есть среди них и храбрые люди, а многие просто прекрасны, как статуи Алкивиада; впрочем, их женщины не столь уж хороши. Я умсю ругаться по-турецки, но весь мой словарь ограничивается одним жутким проклятием и словами «сводник», «хлеб» и «вода». Турки чрезвычайно любезны к любым чужестранцам, если только у тех есть подобающая охрана, а раз со мной здесь два слуги и два солдата, мы пользуемся исключительной *éclat*¹. Несколько раз нас чуть не ограбили, одна-

¹ Славой (*франц.*).Зд.: расположением.

жды наш корабль едва не пошел ко дну, однако все обошлось.

На Мальте я влюбился в замужнюю женщину и вызвал на дуэль адъютанта генерала Оукса (дерзкий тип ухмылялся, я так и не понял чему), но потом он мне все объяснил и принес свои извинения, дама отплыла в Кадис, благодаря чему я не совершил ни убийства, ни адюльтера.

Об Испании я написал нашему Ходжсону, однако с некоторых пор я не пишу писем, за исключением записок родственникам и адвокатам, с тем чтоб они не мешали моим планам. По возвращении намереваюсь порвать все связи с теми, кого считал своими наилучшими друзьями, и заделаться брюзгой на всю жизнь, но, прежде чем превратиться в циника, надеюсь от души посмеяться с тобой, обнять Дуайера и выпить за здоровье Ходжсона.

Скажи доктору Батлеру, что я пишу золотым пером, которое он подарил мне, когда я уезжал из Англии, вследствие чего мой почерк стал еще более неразборчивым. Был в Афинах и видел множество папирусов с каракулями, но он отказался одарить меня ими, поскольку топограф Джелл привез их из Аттики. Однако хватит описаний, до моего возвращения довольствуйся простым и малым, зато потом мы дадим волю свободной беседе. Я на борту фрегата с тридцатью шестью пушками, в Константинополе подхватим Боба Адаира, ему будет оказана честь вручить тебе мое письмо.

Итак, вышла книга Хобхауса, есть в ней и мои сентиментальные стенания. Как ее принимают? Но где же, черт подери, второе, дополненное издание Сатиры? Имя на титульном листе? Несколько броских строк в конце? Новое вступление — разве не появится ничего хранящего жар моей души до той поры, как я пересеку Ла-Манш? Меж моими критиками и мной катят волны Средиземное море и Атлантический океан, а грома «Обозрения» заглушает рев Геллеспонта.

Передай поклон Клариджу, если его еще не перевели в колледж, а Ходжсону — мои уверения в самом высоком мнении о нем. Ты спросишь, чем я займусь теперь? Право, не знаю. Вернуться через несколько месяцев? Но после Константинополя у меня еще есть намерения и прожекты, хотя Хобхаус, наверное, вернется в сентябре.

Год назад, второго июля мы покидали Альбион, “*oblitus meorum oblivis cendus et illis*”¹. Мне была противна моя собственная страна, но никакая другая не вызывала к себе предрасположенья, однако я тащу свою цепь, не очень-то ослабляя привязь. Я как веселый мельник, который не заботится ни о ком, но

¹ Забывший своих должен быть забыт и ими. (лат.).

и о нем никто не сожалеет. На мой взгляд, разные страны — все одно: глазею на холмы, курю и с гордым видом кручу свой ус. Я не тоскую без комфорта, а комары, что терзают слабое тело Х[обхауса], к счастью, не беспокоят меня, поскольку я веду более умеренный образ жизни.

В перечне я опустил Эфес. Я посетил его, когда жил в Смирне, но от храма почти ничего не осталось, так что святому Павлу нет нужды писать посланья выводу современных эфесян, превративших огромный мраморный храм в мечеть; не знаю, выиграло ли от этого строенье.

Исписал всю бумагу, и чернила на исходе. Прощай! Если будешь писать на Мальту, письмо обязательно найдет меня, где бы я ни был. Хобхаус приветствует тебя, он жаждет получить свои стихи или по крайней мере хоть какие-то новости об их судьбе. Чуть было не забыл сказать тебе, что умираю от любви к трем греческим девам из Афин. Они сестры, и две из них обещали поехать со мной в Англию. Мы жили в одном доме; имена трех божественных созданий, коим нет и пятнадцати, — Тереза, Мариана и Катинка.

Твой ταπεινότερος δούλος¹
Баирон

Джону Кэму Хобхаусу

*Монастырь Капуцинов, Афины
10 января 1811 г.*

Дорогой Хобхаус, я написал с перерывами несколько писем тебе, часть из них ты, наверное, уже получил. Получил также два твоих письма, с Мальты и Кальяри, полагаю, часть писем еще идет по морю или вообще потонула, так как прошло уже несколько месяцев со времени твоего возвращения в Англию. С тех пор как ты уехал из Циклад, я пребывал в основном в Аттике, которую пересек неоднократно вдоль и поперек, не считая двух поездок в Морею — о подробностях узнаешь из моих депеш, которые везет мистер Флетчер. Здесь множество англичан, было еще больше, со всеми ними я сохранял и, заметь, сохраняю светские отношения, бывал на балах и устраивал разные дурачества с афинскими дамами. Намерения мои самые неопределенные, хотя и неизменные, насколько ты можешь заключить из моего адреса. Иногда подумываю податься весной в Англию, но потом решаю вообще никуда не уезжать, пока не сношу башмаков, а они у меня в отличном состоянии. Наконец-то написал

¹ Смирнейший раб (греч.).

Хэнсон, хочет, чтоб я продал Ньюстедское аббатство. Я не сделаю этого! Я уже не раз писал тебе, просил посодействовать и помочь мне в этом моем решении, но сейчас молю тебя опять и буду молить во всех будущих посланиях к тебе, чтобы ты сказал ему и всем, кого это касается, что я ни за что не продам свое родовое имение. Полагаю, однако, что устройство этого и других мерзнейших дел заставит меня приехать в Англию. Впрочем, довольно об этом. Надеюсь, сэр, Вы просвещаете своих знакомых на предмет своих странствий и они счастливы видеть вас. Как всегда в таких случаях, ты, наверное, слегка пьян и говорлив и, значит, постепенно уже входишь в привычную колею. Страннику, вернувшемуся из Леванта, пожатье сотни рук, пьесы и все такое проч. может показаться новым. Засвидетельствуй мое почтение Мэтьюзу и Дэйвису, который, как я слышал, решил взять себе богатую жену, причем, как мне донесли, не самую благопристойную. Сознавайся, каков доход от альманаха? А? Подозреваю, что ты готовишь для печати гору путевых заметок. Я не вел дневник, а то отдал бы его тебе, чтоб посодействовать твоим планам. Я сносно говорю по-итальянски и, отказавшись от драгомана, а заодно и от латыни, посвятил себя языкам современным — сижу под руководством учителя над новогреческим. Лелея слабую надежду получить письма, отослал барк в Смирну — до его возвращения оставляю лист недописанным.

Р[оберту] Ч[арлзу] Далласу

*Фрегат «Волаж»
в открытом море
28 июня 1811 г.*

Уважаемый сэр, после двухлетнего отсутствия (день в день, поскольку мы не прибудем в Портсмут ранее второго июля) я обратил свой путь к дому. Как Вы знаете, значительную часть сего времени я провел в Турции, исключая два месяца в Испании и Португалии, которые в то время еще были доступны путешественнику. В Турции я посетил все наиболее примечательные места, конечно же, Трояд, Грецию, Константинополь и Албанию — за исключением Хобхауса и меня, мало кто забирался в глубь этой страны. Не уверен, однако, что я совершил нечто такое, что отличило бы меня от обычных путешественников, если, конечно, не считать заплыв от Сестоса до Абидоса третьего мая 1810 года — деяние почти героическое для человека современного.

Возвращаюсь с малыми надеждами на что-либо приятное дома, слегка подорвав здоровье по причине двух жестоких лихорадок, но, как мне кажется, не сломленный духом. Дела мои, ка-

жется, порядком запутаны, и предстоит уладить множество вопросов с адвокатами, шахтерами, фермерами и кредиторами. Для человека, ненавидящего всякую суету столь же сильно, как он ненавидит епископов, это поистине испытание. Впрочем, довольно о делах домашних.

По возвращении на Мальту я обнаружил два конверта с твоими письмами и понял, что ругал Которна без всякой на то причины. Из писем следует, что ты не получил моего письма из Константинополя, адресованного Лонгману, Впрочем, в нем не было ничего существенного.

Моя сатира, как я понимаю, вышла уже четвертым изданием, что, конечно, превышает средний тираж, однако произведение на предмет злободневный должно иметь успех или незамедлительный, или вообще никакого. Ныне, когда я могу думать и действовать более хладнокровно, я жалею, что написал ее, но, думаю, вскорости ее забудут, за исключением разве тех, кого она задела непосредственно. Альманах моего друга Хобхауса не имел успеха, но сам он сообщает об этом таким добродушным тоном, что я, право, не знаю, смеяться мне или плакать вместе с ним. Он познакомился с Вашим сыном в Кадисе и составил о нем самое лестное мнение.

Ваш с Праттом *protégé*, сапожник Блэккетт, помер, несмотря на все свои стихи, подав тем самым пример того, как смерть может спасти от проклятья. Вы сами погубили беднягу: если б не его патроны, он имел бы счастливую участь, занимаясь поделкой сапог, а не стихотворений, однако Вы сделали его поистине бессмертным. Пишу так, полагая, что поэзия, покровительство и пьянка привели беднягу к смерти. Если Вы окажетесь в городе примерно в начале июля, я буду счастлив встретиться с Вами в доме Доранта, на улице Элбемарл. Я подготовил для Которна подражание «Искусству поэзии» Горация, но, не пугайтесь, я не стану навязывать его Вам. Вы же знаете, я не читаю стихи гостям. Через несколько дней отправлюсь в Ноттс, а оттуда — в Рочдэйль. Письмо отошлю, как только прибудем в гавань, то есть примерно через неделю.

Искренне Ваш

Байрон

Джону Кэму Хобхаусу

*Ньюстедское аббатство
10 августа 1811 г.*

Мой дорогой Хобхаус, от Дэйвиса я уже получил известие о смерти Мэтьюза, а от него самого письмо, написанное за день (!) до смерти. В письме он упоминает о тебе, и, поскольку,

судя по всему, это его последнее письмо, боюсь, ты найдешь слабое утешение в том, что он пишет о тебе с той дружеской фамильярностью, которая от близкого человека нам намного дороже, чем самые высокие панегирики света.

Обитаю я, как тебе известно, в траурной обители и после всех ударов, которые пришлось перенести, нахожусь в такой растерянности, что никак не могу, даже при помощи занятий самых легкомысленных, прийти в состояние разумное. Мой бедный друг Уингфилд, мать и твой лучший друг, что был другом и мне, М[этьюз], все ушли в первый месяц после моего возвращения, и я даже никого из них не успел увидеть, хотя от всех и получил известья. В смерти я вижу нечто столь непонятное мне, что не могу ни говорить, ни думать об этом предмете. Когда я вглядывался в то скопление зла, коим являлось существо, породившее меня, я спрашивал себя: кто же из нас двоих живет — я или она? Я потерял ту, что дала мне жизнь, и тех, кто превратил эту жизнь в благо. Я не питаю ни надежд, ни страхов относительно загробного мира, однако если есть в нас «искра божественного огня», М[этьюз] уже «смешался с богами».

В комнате, где я сейчас пишу и где справа и слева стоят два черепа, те, что ты так часто видел, Мэтьюз, ты и я провели свои самые веселые и бездумные вечера, а теперь мы выпьем здесь за его память; мертвым до этого нет дела, но, может, смягчатся сердца живых, тех, кого исправит только смерть. Не могу ни предложить, ни принять никаких утешений. Время все сделает за нас, а между тем напиши мне или приезжай, а лучше, если это возможно, приезжайте оба. Я одинок и, возможно, счел бы себя несчастным, если бы не какое-то истерически веселое состояние духа, которое я не могу ни объяснить, ни победить в себе, ибо, как это ни странно, я смеюсь, и смеюсь весело, и сам удивляюсь этому смеху. Я пытался читать, боксировать, плавать, писать, вставать рано, ложиться поздно, пить воду, вино, принимать ненужные снадобья — и вот совсем разбит, но отнюдь не пребываю в «благородной меланхолии». Мой дорогой «Кэм из Корнуолла» (последняя выдумка Мэтьюза!), пусть люди или бог дадут тебе счастье, хотя, как я считаю, о нем можно лишь мечтать, но никак на него не надеяться.

Как никогда преданный тебе

Байрон

Уважаемый сэръ, Гиффорд не переставал быть главным покровителем моей музыки, и потому апробация, о которой Вы говорите, несомненно была б дороже «злата Бокары и всех камней Самарканда». Я не хотел, чтоб рукопись попадала к нему таким путем, и написал об этом Меррею, не подозревая, что предупредить уже поздно.

Относительно Вашего неприятия слов «осевая линия» я могу только сказать, что, когда Чайльд-Гарольд находился еще в Англии, он искренно полагал, что ему удастся пересечь Персию и добраться до Индии, а это никак нельзя сделать, не пройдя под небесным меридианом.

Остальные неточности, о которых Вы говорите, я непременно исправлю по ходу печатанья рукописи. Для меня большая честь услышать от таких людей, как Вы, мнение, что поэма должна быть продолжена, однако для этого мне придется вернуться в Грецию и Азию: мне нужно нежное солнце и голубое небо, я не могу описывать сцены, столь дорогие для меня, сидя у потухающего камина. Когда я был в Троаде и Константинополе, я подумывал еще об одной песне, и если бы я снова увидел те места, то написал бы эту песнь, но при теперешних моих обстоятельствах и, главное, ощущениях моя лира, голос и душа молчат. Я понимаю, что Вы правы с точки зрения метафизики, но я искренно полагаю, что если писать *ad capitandum vulgus*¹, то лучше уж сразу заделаться редактором какого-нибудь журнала или кропать куплеты для Воксхолла...

Работа моя должна идти своим путем; я знаю, все против меня: раздраженные поэты, предрассудки, но если поэма являет собой поистине Поэму, она одолеет эти препятствия, а если нет — туда ей и дорога. Я прочел оду Вашего друга. Невелик комплимент объявить ее превыше оды С[мита] на ту же тему или же достоинств нового ректора. Несомненно, это творение человека, не лишённого поэтического дара и вкуса, однако я не стал бы говорить, что она вполне соответствует тому, что можно было б ожидать от автора *Noctae Ionicae*². Впрочем, благодарю Вас, а это наивысшая похвала современной оде, на которую я способен.

Я очень признателен Вам за добрые пожелания и поистине нуждаюсь в них. Жизнь моя не согласуется с правилами, уж не говоря о приличиях; обстоятельства сделались запутанны; дру-

¹ Для понимания толпы (лат.).

² Ионических времен (лат.).

зья умерли или отошли от меня, и жизнь пуста и безотраднa. В М[этьюзе] я потерял «наставника, философа и друга», в Уингфилде — всего лишь друга, но такого, что я жалею, что не ушел из жизни раньше его.

М[этьюз] был человек поистине необыкновенный; тот, кто не знал его, вряд ли смог бы себе представить, что такие люди вообще могут существовать; печать бессмертия лежала на всем, что он говорил или делал; а ныне — где он? Когда видишь, как покидают сей мир люди, казалось бы призванные самим богом явить собой то, чем мог бы стать человек, гибнут, не успев достичь зрелости ума, коим могло бы гордиться потомство, — что остается думать? Я в замешательстве. Он много значил для меня, а для Хобхауса он был всем. Бедняга Хобхаус обожал М[этьюза]. Я же скорее ценил, чем любил его; я столь сильно ощущал его бесконечное превосходство, что, не завидуя, боготворил его. Он, Хобхаус, Д[эйвис] и я в Кембридже, и не только там, составили собственный избранный круг. Д[эйвис] — остряк и светский человек, чувствует ровно столько, сколько может чувствовать человек такого рода. Смерть не коснулась его так сильно, как Хобхауса. Д[эйвис] не грешит стихами, однако он всегда побеждал нас в словесных баталиях и своими блестящими речами восхищал нас, но и ставил на место. Заодно с другими больше всех всегда доставалось Хобхаусу и мне, и даже М[этьюз] поддавался необузданному веселью С[кроупа] Д[эйвиса]. Впрочем, я пишу Вам о молодых людях, даже скорее о юношах, т.е. о предмете, мало интересующем Вас.

Четырнадцатого числа ожидаю приезда своего агента, который отправится в Ланкашир, где, по слухам, у меня немалая собственность на угольных шахтах и т.п. В октябре думаю принять приглашение в Кембридж и тогда, возможно, приеду к Вам. У меня аж четыре приглашенья: в Уэльс, Дорсет, Кембридж и Честер, но я должен быть деловым человеком. Я совершенно одинок, печальное свидетельство тому — мои письма. Насколько я могу заключить из Вашего письма, ода прислана самим автором; пожалуйста, поблагодарите его от меня, однако Муза его достойна темы более благородной. Как всегда, жду Ваших писем. Прощайте.

Ваш Байрон

[Фрэнсису Ходжсону]

Ньюстедское аббатство
25 сентября 1811 г.

Мой дорогой Ходжсон, боюсь, что до конца октября или даже начала ноября я вряд ли смогу выбраться в Кембридж. Мой

докучливый агент все откладывает свой приезд, как можно отложить разве что исполнение пророчества. Убедившись, однако, что я становлюсь грозным, он обещал-таки появиться здесь в четверг, и тогда, возможно, в понедельник мы переберемся в Рочдейль. Мне остается только рассчитаться с арендаторами (наверное, придется собрать с этих бедняг налоги, хотя очень не хочется делать этого), получить расписки, избавиться от некоторых долгов, после чего я буду вполне готов к новым неприятностям. Я намереваюсь посетить тебя у Гранты и льщу себя надеждой уговорить тебя приехать сюда, в Ньюстед, или просто выбраться — куда-нибудь.

Между тем я восстанавливаю душевное равновесие и начинаю окружать себя маленькими радостями. Люси извлечена из Уорикшира. Неприятные лица удалены из имения и заменены на лица более обещающие. Куропаток великое множество, немало зайцев, фазаны не столь хороши, но девы в именье... Только я сносно устроился, как начались мои странствия, и по возвращении я обнаружил, что приходится начинать все заново. Мое прежнее стадо разбежалось — кое-кто вышел замуж, но не без крайней на то необходимости. Поскольку я большой сторонник порядка, я только что издал указ, запрещающий ношение чепцов; стричь волосы нельзя ни под каким видом, корсеты позволительны, но без глубокого выреза, к вечеру — все в полном наряде. Командовать теми, кто убирает постель, будет Люсинда (вместо нынешнего командира, которую я выдаю замуж, заметь, ей тридцать пять, у нее писклявый голос и плоская рожа).

Мои черепахи (все афинянки), еж, дог и другие оставшиеся в живых греки целомудренны. Черепахи откладывают яйца, и я нанял курицу высиживать их. Пишу заметки для книги (Меррей хочет издать их книгой), Хобхаус тоже пишет — свою книгу, и если ты зайдешь к Меррею или Которну, то узнаешь новости об одной из них. Я обрушился на Де Поу, Торнтонна, лорда Эдджина, Испанию, Португалию, «Эдинбургское обозрение», путешественников, художников и любителей древностей, так что можешь себе представить, какую полемическую бурю я сам затеваю против себя. Отступать поздно, поскольку с самого начала меня сильно разозлили, и теперь я пойду до конца. *Vae Victis!*¹ Если же суждено мне быть поверженным, то это будет славное паденье в схватке с небесным воинством.

Felicissima Notte a Voss, Signoria,²
В.

¹ Горе побежденным (лат.).

² Счастливейшей Вам ночи, Ваше высочество (искаж. итал.).

Дорогой Ходжсон, посылаю тебе верстку. На прошлой неделе я был очень болен: был совершенно прикован к постели из-за камня в почке, но сейчас вполне здоров. После длительных усилий объяснить то, что было и так ясно, дамы уехали к своим родственникам. Конечно, было б лучше, если б камень вошел не в почку, но в мое сердце. Однако и от этого я уже тоже оправился и только удивляюсь собственной глупости, заставившей меня поверить, что из ... можно сделать добропорядочных людей. Хорошо еще, что слабость растянулась на два месяца, а не на десять лет. У меня к тебе только одна просьба: не упоминай в своих письмах ни одного женского имени и даже не намекай на их существование. И слова женского рода я тоже читать не стану — все должно быть *propterea quae maribus*¹.

Весной 1813 года я навсегда уеду из Англии. Так складываются дела, а мои склонности и здоровье только побуждают к отъезду. Ваши нравы и климат не делают лучше ни мое самочувствие, ни привычки. Я вполне могу найти себе дело, занявшись серьезным изучением Востока. Построю себе особняк на каком-нибудь красивом острове и буду, с перерывами, навещать наиболее примечательные восточные края. Но сначала надо привести в порядок дела, вследствие чего, ежели все устроится, у меня будет доход, вполне достаточный даже для пребывания в Англии, а уж в Турции на него можно будет купить целое княжество. Пока что дела мои запутанны, но я надеюсь, что после ряда необходимых, хотя и неприятных, шагов все прояснится. День на день ждем в Лондоне Хобхауса, все мы будем рады видеть его, и, может, приедешь и ты, а уж тогда мы «осушим бокалы до дна». Если нет, то «Магомет должен идти к горе», но Кембридж навсера Хобхаусу грустные воспоминанья, а мне и подавно, хотя и по иной причине. Мне кажется, единственным существом, любившим меня поистине глубоко и сильно, был человек, живший или скорей находившийся в Кембридже, и тут уж ничего изменить нельзя. В смерти есть одно утешенье: облик того, на кого легла ее печать, не может рассеяться или растаять — он остается.

Всегда Ваш Байрон

P. S. Когда совсем молодым умирает человек, которого я любил, я испытываю чуть ли не радость: было б невыносимо наблюдать, как с годами он меняется и стареет.

¹ Как подобает мужчинам (лат.).

Мой дорогой Ходжсон, мы не в ответе за то, как газеты представляют парламентские речи, а нынешний отчет о дебатах в палате общин в особенности неточен. «Морнинг пост» следовало написать «восемнадцать лет». Однако, когда выйдет парламентский сборник, ты найдешь в нем мою речь точно в том виде, как она была произнесена. Лорд Холланд и лорд Гренвилль, в особенности последний, как ты мог прочесть из газет, чрезвычайно высоко отозвались о моей речи, а лорд Элдон и лорд Хэрроуби в своих речах отвечали мне. С тех пор я выслушал в свой адрес, а также получил через вторые лица множество лестных похвал от самых разных людей, включая членов кабинета министров, да, министров (!), а также оппозиционеров, из коих я упомяну одного сэра Бердетта. Представляешь, он говорит, что это лучшая речь, произнесенная лордом с «незапамятных времен», — может, потому, что высказанные в ней чувства близки ему? Лорд Х[олланд] сказал мне, что я побью их всех, если буду продолжать в том же духе, а лорд Г[ренвилль] заметил, что построение отдельных фраз напомнило ему — не более не менее — Берка! Немалая пища для тщеславия. Я произносил дерзкие фразы с видом невинной наглости, ругал всех и вся, очень рассердил спикера палаты лордов и, если верить тому, что я слышу вокруг, этим своим экспериментом не нанес никакого ущерба своей репутации! Что касается манеры говорить — то говорил громко, гладко и, возможно, несколько театрально. В газетах ни самого себя, ни других узнать невозможно.

Нанимаюсь к Гриффитсу, стихи выходят в субботу. Приехал Хобхаус, скажу ему, чтоб писал. Камень пока не беспокоит, но боюсь, я склонен к этой болезни. Мы все хотим посетить Кембридж!

Как всегда твой
Б.

[Леди Мельбурн]

12 августа 1812 г.

Дорогая леди Мельбурн, полагаю, что леди К[аролина] или уже появилась, или мать ее лучше осведомлена, чем я, где она все-таки находится. Если это так, то льщу себя надеждой получить от Вас хоть одну строчку, поскольку положение мое отнюдь не синекура, хотя я и не имел намерений увеличивать Вашу озабоченность, встав сегодня утром на сторону леди Б[ессборо]. Поскольку я один из основных участников этой неприятной

драмы, я бы очень хотел знать, что от меня дальше требуется? Но говоря совершенно серьезно, я чрезвычайно озабочен ситуацией с леди К[аролиной] и др. Что же касается меня — это не существенно, я терпелив и терпим, однако теперь готов делать все, что нужно.

6 часов.

Я написал это письмо, получив Ваше, однако с тех пор ни слова ни от нее, ни о ней. В чем причина, вернее, непосредственные обстоятельства, которые привели ко всему этому? Утром, до появления леди Б[ессборо], все, казалось, нормально и спокойно. Если я увижу ее или получу от нее хоть какие-то вести, то сразу же уведомя леди Б., а если Вы — умоляю, сообщите мне, я боюсь за нее, ее душевное состояние вызывает опасения. Сижу один, в мучительном ожидании, что бы Вы там ни думали обо мне.

Всегда Ваш Байрон

Леди Мельбурн

13 сентября 1812 г.

Моя дорогая леди М., последние строки письма леди Б [ессборо] станут началом моего письма: «Ради всего святого, не выпускайте его из рук», — и я повторяю: прошу, не выпускайте, и уверяю Вас, что не вырвусь, ибо «ярмо не тяготит, легка поклажа», выражаясь моими любимыми строками из Писания.

Ничуть не стыдясь надсмотра над собой, вроде лорда Делакура или же любого другого лорда или господина, я бываю только рад, если кто-нибудь управляет мной или расправляется со мной, потому что я терпелив, как верблюд, и почти так же вынослив. Готовы ли Вы взяться за меня? Если Вы искренни (в чем я по-прежнему слегка сомневаюсь), то дайте мне время, а ее пускай удерживают в Ирландии — и чем она там будет «веселее», тем лучше, я хочу, чтобы она была достаточно весела, это позволит мне укрепиться духом. Даруйте мне срок до декабря, и если до тех пор я не расколдую и Дульсинею, и Дон Кихота, тогда мне придется сразиться с мельницами и покинуть свой край в поисках приключений. Между тем я должен и буду писать величайшие глупости ради того, чтобы она была «весела», а еще больше из-за того, что Ваше последнее послание извещает меня о том, что очень скоро «восемь гиней, почта и паром смогут позволить ей вернуться в Лондон», — угроза, вызвавшая с моей стороны письмо, достойное великана Сириуса, герцога Йоркского и тому подобных персонажей мадам де Скюдерри и госпожи Кларк.

Бедная леди Б [ессборо]! Все эти ее надежды и опасения, конечно, дело для нее нешуточное, как, впрочем, и для всех нас. Я должен доверить Вам маленький секрет: отчасти ее собственная глупость явилась всему причиной; в ответ на Ваше замечание она позволила себе «суетную» дерзость (до последней степени суетным было бы это отрицать) и сказала мне, будто она уверена в том, что «я вовсе не любим», что меня «просто стараются завлечь» и проч. и проч., это привело к вражде между нами, которую ныне, я в том поистине убежден, способно охладить лишь Красное море. Тогда я ничего не отвечал, но решил, нет, не добиваться, ибо добиваться было нечего, но затаиться и неделю спустя убедился не в том, что меня любили, поскольку я не верю в существование того, что называют Любовью, но что любой мужчина в моем положении мог бы считать себя «любимым». Итак, моя дорогая леди М., Вам открыты все мои чувства — я был, есть и буду привязан к другой, о которой никогда много не говорил, но которую никогда не терял из виду, а все, что произошло, явилось следствием обстоятельств, о которых сожалеть уже поздно. Полагаете ли Вы, что, по своему «жалкому земному жребию» зашедши столь далеко, мне следовало бы находиться сейчас в Ирландии или по крайней мере поехать в Уэльс, как, судя по намекам, от меня ожидали? Теперь, когда они уже пересекли пролив, я не чувствую ничего, кроме раскаяния, и, как я писал Вам дважды за последнее время, я не то что «другие и проч. и проч.», я обманывал Вас и себя, говоря так, а была и есть одна женщина, на которой я хотел жениться, не помешай эта связь и еще некие случайности, лишившие меня решимости. Когда разыгрывалась наша «драма» (и будь я проклят, мог я сказать заодно с сэром Фретфулом, если она скоро кончится), то в пятом действии, когда было не до размышлений, я решился доверить Вам все последствия своей собственной глупости; благородное сострадание и своего рода привязанность — все мешало мне устраниваться, но теперь, когда я могу с достоинством выйти из игры, если только Вы меня не обманываете и если она сама не предпримет какого-нибудь рокового шага к своему полному падению (не со мной, так с другим, менее удачливым последователем), если все подобные немислимые вещи остались позади, тогда все будет хорошо. А если нет, пускай странствует.

Уж раз я столько наговорил, могу сказать все до конца. Особа, которую я имел в виду, — это мисс Милбэнк. О ее средствах я ничего не знаю, мне говорили, будто отец ее разорен, но моего состояния, когда все дела по Рочдейлю окажутся завершены, будет вполне достаточно для нас обоих, у меня долгов не больше двадцати пяти тысяч фунтов, и черт возьми, если с Рочдейлем и доходом от Ньюстеда я не смогу чувствовать себя столь же не-

зависимым, как половина нашей знати. Но я знаю о ней очень мало и не имею даже самых отдаленных поводов полагать, будто пользуюсь благосклонностью с той стороны, однако мне еще не приходилось встречать женщины, которую я бы столь уважал. Но случай был упущен, и все тут. Итак, моя дорогая леди М., я целиком в Вашей власти, и я не обманываю Вас. Что до [Каролины], то Вы, я надеюсь, не сочтете это пустословием, если я с полной трезвостью скажу, что было бы не по-рыцарски, хотя и очень нравственно, в этом случае разыгрывать из себя Сципиона. Если с Вашей или с чьей бы то ни было помощью я смогу снова стать свободным, либо по меньшей мере надеть другие оковы, тогда, пусть почтение к Вам и восхищение Вами возрасти уже не могут, но благодарность возрастет, и, кстати сказать, это не значит, будто уже сделанное Вами для меня сколько-нибудь не оценено. Я не мог довериться леди Б., поскольку она из лучших побуждений сделала бы изо всего этого наихудшее употребление. Какую жалкую картину рисует ее письмо по поводу ее собственной дочери! Кажется, будто она сама ее боится и пишет вслепую, желая открыть глаза другим.

Я живу по-прежнему здесь, в доме Холландов, тихо и одиноко, безо всякого желанья заводить новые знакомства. Ваш отъезд вызвал, уверяю Вас, больше сожалений, чем отъезд всех Ваших прямых и побочных родственников, поэтому не вздумайте ехать в Ирландию, иначе я последую за Вами через «воды и топи», как истинный *Ignis fatuus*¹ — это я, о Вас так не скажешь, а потому подделим между собой слова: Вы будете только светом любовного пламени, а я — безумием.

Посылаю Вам назад письмо, эту устрашающую кипу исписанной мной бумаги. Каролина догадывается о нашем с Вами заговоре против нее, и я вынужден быть предателем, не хуже Талейрана, но помните, что в предательстве для Вас заключена правда. Пишу я как можно реже, но уж когда пишу, то должен лгать, как Джодж Роуз, и никогда не упоминаю Вас, если только это возможно, и все мои любовные слова и образы уже исчерпаны. У меня есть мерцающая надежда, сначала я потерял ее, потом она возникла снова, все зависит от этого. Ее худший враг не мог бы пожелать ей, чтобы судьба вновь бросила ее в мои объятия.

Всегда истинно ваш Б.

P. S. Дорогая леди М., не считайте меня беспечным, с шестнадцати лет я не доверяю своей переписки никому, кроме замка

¹ Безумный пламень (лат.).

и ключа, а последнее время я прибегал к двойной охране: несколько Ваших писем и все прочие, в худшем случае, отосланы назад или преданы огню. Разумеется, после возврата одного из Ваших писем вместе с посланием леди Л [эм] Вы не станете более подозревать меня в намерении воспользоваться какими-то преимуществами, а это письмо было единственно важным с точки зрения моих интересов. Думайте обо мне плохо, но не приписывайте подлости. От леди Б. идет отдельное письмо следом за этим.

Леди Мельбурн

18 октября 1812 г.

Моя дорогая леди М.! Что касается А[ннабеллы], то могу добавить не много, однако не жалею о том, что произошло. Упомянутые сведения ранили ее чувства, впрочем, теперь она вернула себе душевное спокойствие опровержением всего, к своему удовольствию, и — не затрагивая моего. Все это вполне честно, и другого я не ожидал, а если оценить все вкуче, то лучше и быть не могло. Я думаю о ней почти так же, как и прежде: образчик, Вами посланный, свидетельствует больше о дарованиях, чем о критической проницательности, к тому же сказывается чрезмерная поглощенность предметом, его избранным; по некоторым пунктам сходство точное, но судя по внезапности начала и конца Вы, как я догадываюсь, не послали мне всего письма. Я рад, что Ваше мнение совпадает с моим относительно ее способностей и отличных качеств, в том и другом ей удивительно повезло. В то же время в ней сказывается женщина: предпочитая, чтобы письмо было адресовано Вам, а пришло ко мне, она, по сути, дала понять, что не поощряет, но и не отвергает обожания. Точно так же я рискну сделать предположение, что ответ, адресованный прямо ей, не произведет впечатления неприятного, но тут Вы лучший судия — по непосредственному наблюдению. Однако я не вижу необходимости отвечать, если не смогу выразить либо своего восхищения, либо суждения по существу. Первое я, разумеется, сделаю, второе же приведет лишь к обмену любезностями совершенно искренними, но несколько скучноватыми. Что за два письма Вы прислали мне! Они обнаруживают такую проницательность, понимание людей, такое знание Вашей части рода человеческого, тайное знание слабых струн в натуре нашего брата! Вот почему я хотел бы сохранить Вас навсегда как друга и иногда как корреспондента (чем чаще, тем лучше); поверьте, моя дорогая леди М., ни о чем я не буду так сожалеть, как о неделе, проведенной нами в Миддлтоне, если мне не выпадет еще такой же удачи. Теперь — о Каролине: Ваше имя не упомина-

лось, не было даже намека. Сказано было следующее: «Я знаю из вернейшего источника, а именно от Вас же, что Вы проводите время совершенно не так, как я, и я ничего не имею против: развлекайтесь, но только оставьте меня в покое, чего Вы еще хотите? Я нигде не бываю, никого не вижу, не имею дела с обществом, пишу, когда это прилично, а Ваши постоянные беспричинные капризы себялюбивы и вздорны и т. д., и т. д.» — в ответ на ее описание своего одиночества и любовной тоски!!! И далее — в том же, но еще более суровом духе. А теперь с этим должно быть покончено, если же она будет упорствовать, то я покину страну; и я не стану вступать с ней ни в какие объяснения, не буду писать посланий, успокоительных или же иного свойства, и не хочу я больше видеть ее, если только это возможно, во всяком случае нигде, кроме как на людях, и чем скорее она будет поставлена обо всем этом в известность, тем лучше, хотя, имея дело с такими людьми, совершенно не знающими удержу, это сказать трудно. Не возражаю, если она узнает о том, что у нас происходит с Аннабеллой, коль скоро это возымеет благое действие, и не хочу я этого скрывать от кого бы то ни было, хоть от целого света. Мое тщеславие не будет ущемлено никаким ходом дела, и, хотя взаимности не последовало, я не стыжусь своего восхищения прелестным Математиком.

Упрекаю К[аролину] не за «ее поведение», а за неправду и недоверие ко мне; зачем говорить, будто она умирает, когда на самом деле она танцует и когда мне было бы приятнее узнать, что ведет она себя именно так, как она себя в действительности вела? То есть как ведет себя любой находящийся в добром здравии, сносном обществе и веселом настроении человек. Короче говоря, я ей не любовник и не хотел бы, пожалуй, остаться другом, хотя никогда не смогу сделаться и не сделаюсь ее врагом. Если только с этим можно покончить, то пусть это произойдет без чьего-либо вмешательства, я больше не хочу иметь к этому никакого отношения. Все ее письма (за исключением одного, касательно л[орд]а Клэра), останутся без ответа (а на это ответ последует исключительно постольку, поскольку речь идет о нем, за вычетом намека на тщеславие), они полны самой смехотворной поглощенности собственной особой: «как целая толпа у герцога ее рассматривала, как юноши ее преследовали, женщины ласкали, а мужчины обожали, сколько любовников оказались принесены в жертву ради лишь одного этого приступа постоянства»; кому все это нужно, кто этим интересуется после шестнадцати лет? Почему не следует она моему примеру: разве я стесняю себя из-за Аннабеллы? или из-за тех пяти десятков В, С, D, E, F, G, H, I и т. д., и т. д., ее предшественниц, со всей их жестокостью или добротой (последняя есть всегда наихудшая

напасть)? И в самом деле, *sans phrase*¹, я думаю, мои утраты куда серьезнее.

Я слышал, что леди Голланд больна, надеюсь, не серьезно. Лорд Оксфорд сегодня уехал, а я все еще здесь и раздумываю, ехать ли мне в Хирфордшир или же к лорду Хэрроуби, кроме того, мне надо съездить в Лондон, чтобы повидать своего агента. Прошу, отзовитесь, я так расстроен мыслью о том, что наше знакомство может быть прервано из-за старой фантазии. Мне хотелось бы и хочется сказать Вам двадцать тысяч вещей и, полагаю, столько же услышать, но наши беседы как-то никогда не приходили к определенному завершению. Благодарю Вас еще раз за Ваши усилия в отношении моей Принцессы Параллелограммы, которая озадачила меня больше, чем Гипотенуза; согласно своей натуре, она не забыла «Математику», когда я превозносил ее сообразительность. Ее суждения вполне прямолинейны, или, лучше сказать, мы с ней две параллельные линии, простирающиеся в бесконечность бок о бок друг с другом, нигде не пересекающиеся. Скажите от меня или обо мне что вам угодно, и я соглашусь с этим. Прощайте, моя дорогая леди М.

Вечно Ваш,

нежнейше

Дж.

Леди Каролине Лэм

Январь [?] 1813 г.

Ответьте на послание, автор которого чувствует себя несчастным. А когда нам плохо, то любой удар наносит боль вдвойне.

Я уйду в двенадцать, но обязательно пришлите мне билет, за который я благоговейно уплачу. Я не стану заходить, потому что, полагаю, легче нам от этого не станет. Зачем Вы прислали своего пажа? Меня не было дома, а по утрам я всегда так занят, что не смог бы принять его так, как мне того хотелось бы, даже будь я на месте. Я видел супругу Мура, которая прекрасна, с темными глазами. Они оба уехали из города. М[ур] расстроил нами, и, право, о нас говорят столько, словно в Лондоне не найдется двух других диковин. Тяжело все такое выносить без причины, но еще хуже служить тому причиной. Наш безумный порыв произвел впечатление дурного поступка. Я смирился и готов смириться впредь, если только Вы окажете мне помощь, но видеть Вас несчастной для меня невыносимо, и я вечно насто-

¹ Без лишних слов (*франц.*).

роже и слежу за тем, чтоб Вы меня в такое положение не ставили. Нам надо сделать усилие над собой. Это наваждение, это помешательство двух последних месяцев должно пройти. Мы же, в сущности, не знаем друг друга. Месяц разлуки вернет нам рассудок. Вы так не думаете, а я в том уверен. Мы оба уже тысячу раз прежде впадали в подобные обольщения, давайте же и на этот раз воспользуемся всем лучшим, а остального устыдимся согласно мудрости Ларошфуко. Будет, однако, лучше, если уеду я, а не Вы, я же отправлюсь путешествовать либо поеду в Кембридж или же в Эдинбург. Итак, не ругайте меня и не считайте переменившимся. Только потому, что я не переменился и не способен перемениться, я иду на это и сделаю так, чтобы глупцы умолкли, друзья не грустили, а мудрецы не выражали сожалений.

Вечно преданный, истинно Ваш
Б.

[Августе Ли]

*Бенет-стрит, 4
26 марта 1813 г.*

Моя дорогая Августа, я не отвечал на твое письмо, поскольку не мог написать так, как хотелось бы, ожидая, что каждая новая неделя принесет вести, которые позволят мне ответить тебе иначе, чем простыми извинениями. Но Клотон не заплатил и, мне кажется, не хочет и не может заплатить; и хотя, по счастью, было оговорено, что он не вступит во владенье, пока не уплатит всю сумму, — усадьба все еще у меня на руках, и посему твой брат все так же обременен долгами. Такова печальная правда; единственное, что я могу привести в оправдание своей неспособности — но отнюдь не отсутствия желания, — услужить тебе.

В июне я снова уезжаю за границу, однако хотел бы перед отъездом увидеть тебя; ты, наверное, слыхала, что я попусту тратил время с разными “*regnantes*”¹, но можно ли ожидать от меня чего-то лучшего? У меня один *родственник* — и я совсем не вижу с ним, у меня нет никаких семейных связей, а для женитьбы нет ни таланта, ни склонности. Я не могу жениться на деньгах, но и без денег жениться невозможно. Парламентские планы оказались мне совсем не по вкусу. Я выступал два раза во время последней сессии, меня хвалили, но все это мне противно, и у меня нет ни малейшего желанья «играть и бегать на этой сцене». Провожу лучшие годы своей жизни, ежечасно раскаяваясь, но и не исправляясь.

¹ Зд.: обольстительницами (*франц.*).

В воскресенье уезжаю на неделю в Айвуд, что около Пристайна, в Хирфордшире, вместе с оксфордцами. Вижу, как при этом слове мрачнеет твой взгляд, и ты становишься похожей на милую пожилую матрону, что тебе очень идет, но ведь ты будешь рада услышать, что я выпутался из гораздо более серьезной истории, в которой участвовала личность исключительная; угроза миновала в прошлом году, но, уверяю тебя, разделаться мне было чрезвычайно затруднительно. Надеюсь, племянницы чувствуют себя отлично и преумножаются числом и ростом. Жаль, однако, что ты похоронила себя в этой мрачной пустыне вблизи Ньюмаркета.

Чувствую себя хорошо, хотя я и не счастлив, и не покоен. Но не буду утомлять тебя жалобами. Я глупец и заслуживаю все те беды, что сыпались и сыплются на мою голову. Между тем, нежно любимая Августа, остаюсь твоим преданным братом.

Байрон

[Леди Мельбурн]

5 сентября 1813 г.

Дорогая леди Мельбурн, возвращаю Вам требования А[нна-беллы] к супругу-избраннику. Ничего не могу сказать на сей счет, поскольку я их просто не понял, хотя должен сказать, что требования эти таковы, каковы они и должны быть. Не знаю также, зачем я пишу Вам эту записку, поскольку собираюсь зайти к Вам,—впрочем, возможно, затем, чтоб проверить Ваши «новые патентованные перья». Своим ярким цветом они доставляют мне истинное удовольствие. Для начала я выбрал желтое. Вполне возможно, я не застану Вас, а мне надо вернуть прилагаемые письма. Очень желал бы услышать Ваше мнение. Мне кажется, это испорченный ребенок, но испорчена она не так, как обычно портят детей, но систематически загнана в рамки искусственной правильности в стиле Клариссы Харлоу. Она полагается на собственную безупречность, что может привести к ошибке чудовищной. Я не имею в виду обычные грехи юных дам, нет, она найдет то, что ей нужно, и потом обнаружит в этом много достойного и очень мало занимательного... [Оторваны две последние страницы.]

Томасу Муру

30 ноября 1813 г.

С тех пор как я писал Вам в последний раз, произошло множество событий: приятных, неприятных и безразличных для

меня, событий, которые не могли заставить меня забыть Вас, но помешали напомнить Вам о человеке, для которого Ваши мысли часто становились заметным утешеньем. Нынешней осенью мы жили совсем рядом, и соседство это оказалось и приятным, и неприятным одновременно. Достаточно сказать, что Ваша французская цитата была чрезвычайно уместной, *неожиданно* уместной, как Вы можете заключить из моих слов, а также долгого молчания...

Однако «сам Ричард снова с нами», и, если не считать ночей и пол-утра, я больше не думаю об этой истории.

Для меня любое потрясение кончается стихами, и, чтоб утешиться в ночи, я нацарапал еще одну турецкую вещицу — и, заметьте, не какой-то там «отрывок из». Вы ее вскорости получите. Она ни в коей мере не посягает на Ваши сферы, но если б я и решился на подобное, Вы быстро заставили бы меня ретироваться в свой угол. Вы можете подумать, и с полным на то основанием, что, испытывая таким образом терпение публики, я рискую лишиться той незначительной доли славы, которую удалось приобрести. Однако я перестал интересоваться ею. Поэму я написал и напечатал просто *ради занятия*, написал, чтоб увести мысли прочь от жизни, чтоб найти спасенье в «измышлениях», пусть самых «ужасных». А что касается славы — те, кто достигнут славы, утешат меня в моем пораженье, исключая Вас и еще двух-трех поэтов, коих, к счастью, я ценю столь высоко, что не хочу, чтоб пожелтел хоть один лист в их лавровом венке. Написано за неделю и отнимет у Вас час, а может, меньше, итак, вперед!..

P.S. Уорд поговаривает о совместной поездке в Голландию. После Босфора хочу посмотреть, как выглядят их каналы. Не сочтите за труд, ответьте.

Э. Д. Кларку

15 декабря 1813 г.

Уважаемый сэр, мне было особенно приятно получить Ваше любезное письмо, поскольку Вы бывали в тех местах, а уж о таланте, здравом уме, *laudari a laudato*¹ и прочих вещах говорить не будем. Ни один из Ваших предшественников не изучил и не описал Восток так, как это сделали Вы, — нет нужды говорить о том, сколь это занимательно и умело, и, простите мой пафос, Вы один из тех, кто может точно сказать, насколько здесь, используя претенциозное, но выразительное слово, верны «одеянья».

¹ Зд.: похвалах от восхваленного (*лат.*).

Что касается поэзии, пусть «люди, боги и газеты» судят о ней, но будьте уверены, я более всего заинтересован получить свидетельство наблюдателя, в особенности знаменитого наблюдателя, о точности моего описания манер и платья. Я хотел представить франкам набросок того, что было у Вас полной картиной, насколько позволили мне тут воспоминанья и увлечение Востоком в моем воображении. Именно поэтому я ощущал потребность сделать героя и героиню родственниками, поскольку, как Вы прекрасно понимаете, на Востоке только между родственниками может возникнуть та степень близости, что ведет к подлинной любви. Я чуть было не сделал их уж очень близкими родственниками, и несмотря на то, что бурные восточные страсти, а также великие примеры Альфieri, Форда и Шиллера, уж не говоря об античности, побуждали меня к подражанию, иные времена и наш Норд (нет, не Фредерик, но наш климат) заставили ослабить их родство и сделать всего лишь двоюродными братом и сестрой. В Зулейке я попытался нарисовать женский характер, и, насколько позволила мне грубость наших мужских представлений, я хотел сохранить в ней всю чистоту ее чувств, не охлаждая при том любовного жара. Что касается критики, обо мне писали не меньше ста пятидесяти раз: и хвалили, и ругали. Не стану утверждать, что стал равнодушен к панегирикам или проклятьям, но вот уж несколько лет, как чувствую признательность за первое и игнорирую второе. На успех, коий сопутствовал моим первым созданьям, я уже не надеюсь. Новизна ушла, новобрачная, как и все новобрачные, должна страдать или радоваться за мужа, а то и вместе с ним. Кстати, я употребил слово "bride"¹ как турок, то есть в значении «помолвленная», но не «замужняя»; полагаюсь я на Джона Буля, что поддержит ирландцев, не возражающих против нашего «исключительного права». Вы любезно напоминаете мне о некоторых своих высказываниях из третьего тома. Я глубоко обязан Вам, и не только потому, что с этой книгой я вновь испытал то высшее наслаждение, что дали мне первые два тома, но и потому, что с помощью Вашего восточного бальзама я смог оживить свои реликвии, а это обеспечило мне читателей, на которых я в противном случае вряд ли мог бы рассчитывать.

Когда в последний раз я оказался в Ваших краях, я заехал к Вам, следуя долгу и собственной склонности, но впрямь я хотел бы всегда использовать эту возможность и уверен, Вы позволите мне не извещать Вас заранее. Я горжусь дружескими отношениями с Вами, однако не настолько, чтоб нарушать Ваш досуг.

¹ Невеста, новобрачная (англ.).

Надеюсь, миссис Кларк находится в полном здравии. Я не имел чести быть представленным ей, но я так много и с разных сторон слышал о ней, что любое внимание с ее стороны к моим произведениям столь лестно, сколь искренна моя признательность Вам. В любом случае могу поздравить Вас с приобретением «Невесты», чьи личные и душевные достоинства выше поэтических.

Искренне Ваш Байрон

P.S. Меррей прислал или пришлет Вам книжку, где помещены вместе «Невеста» и «Гяур». Последнюю поэму я основательно расширил. Пожалуйста, примите их, согласно старому обычаю, как дар более достойному брату по перу — от автора. Ваши «Персы» или любая другая Ваша книга были бы подарком, чрезвычайно для меня приятным — а если не полезным, тому моя вина.

[Леди Мельбурн]

8 января 1814 г.

Моя дорогая леди М., я был слишком занят разными мыслями, чтобы писать письма, однако не примите мое молчанье за каприз.

К[аролина] совсем сошла с ума: во-первых, она не находилась со мной под одной крышей, но сначала жила у своих старых друзей Х[эррроби] на Б[еркли]-сквер, а потом у знакомых В[ильерс], уже поближе ко мне. «Размолвка», «неожиданный отъезд» — все это чистейшая выдумка, не имсющая под собою никакого основания, так что, как видите, ее шпионы или дурно осведомлены, или она им мало платит. Но даже если б она и находилась в одном со мной доме, это было бы менее странно, чем приезд в этот дом леди К[аролины]. Дом этот был вполне приличным заведением, куда сия знаменитая персона не сочла нужным превратить его в нечто противоположное.

Что касается мадам де Сталь, я близко не подхожу к ней, книги ее прелестны, но в обществе я вижу перед собой некрасивую женщину, у которой из-за уха торчит перо, а рот измазан чернилами — будет с нее.

Теперь, кое-что по секрету. Моя самая старая любовь, миссис [Чаворт-Мастерс], которая, по Вашим сведениям, ничего не знает обо мне, писала мне дважды; нет, речь идет не о любви, а о встрече, и хотя разговор будет меланхолический, я пойду на него. После ее замужества мы отдалились друг от друга и почти не встречались. Муж безобразничал с самыми непотребными любовницами и вел себя чудовищно во всех отношениях. Посы-

лаю Вам ее второе письмо, прошу Вас, верните его незамедлительно вместе с советом: нужно мне видеться с ней или нет. Она несчастна, была когда-то балованной наследницей, но почти не знала свет, хороша собой и одновременно умна и простодушна. Не обладая какими-либо особыми совершенствами, она дорога мне множеством чудных детских воспоминаний. Как Вы знаете, их усадьба граничила с нашей и в детстве мы часто бывали вместе — впрочем, она вышла замуж по любви, и вот они-то как раз и разъехались.

Получил письмо от Ф[рэнсис Вебстер], которая, кажется, смущена собственным постоянством. Назначает свидание у Грампианских холмов. Одна мысль о существовании на такой широте да еще с таким драгоценным ероух¹ заставляет содрогнуться.

К. может делать все, что ей заблагорассудится, полагаясь скорее на Вашу доброту, нежели на мое благоразумие или иные достоинства: не так уж страшна ее любовь, и я прощаю ей ее ненависть.

Младший сын леди [Чаворт-Мастерс] находится в Ноттсе, а она догадывается и расспрашивает о миссис К., но — неважно, это уведет ее от иных догадок. Я написал Вам в таком тоне, извинить который может лишь поспешность. Не усматривайте здесь одну только дерзость, каприз или душевное смятение, задумайтесь на минуту обо всем и ничему не удивляйтесь. Кстати, недавно я был *счастлив*. Кстати, это письмо должно убедить Вас, что мы были по крайней мере друзьями и что свекровь заблуждалась, когда говорила Вам, что все было как сон. В следующий раз Вы мне будете верить.

Пишите, остаюсь преданный Вам нежно Б.

[Леди Мельбурн]

28 мая 1814 г.

Дорогая леди М., я только что получил гневное послание от [Каролины], требующей возврата писем, портретов и всевозможных даров, на которые я никогда не напрашивался, и я готов принять отставку, как только смогу собрать все ее дары. В то же время было б хорошо, если б она вернула мне мои письма, поскольку все их уже прочли и теперь они уже никак не могут быть полезны ни ей, ни сотне сочувствующих знакомых. Она жалуется также на варварское обращение с ней, о котором я не знаю ничего, за исключением рассказов о ее набеге, который, к сча-

¹ Супругом (франц.).

стью, случился в мое отсутствие (я отнюдь не склонен сожалеть об этом ни ради нее, ни себя). В этом письме мне также грозятся скорой женитьбой, о чем я опять-таки ничего не знаю. Я по крайней мере никому не делал предложения и не помню, чтоб кто-то делал предложение мне. Если она намекает на л[еди] А[делаиду] Ф[орбс], она глубоко заблуждается. Между нами никогда и слова не было сказано о любви, хотя много было толков, сблизила нас только ненависть к музыке, мистер Кин, прозрачный бульон и перепелиные яйца на ужин. Кроме того, леди Р., которой вполне можно верить, утверждает, что я равнодушен к леди А., а леди А. равнодушна ко мне, и ежели бы случилась подобная невозможность, ни она, ни свет этого бы не одобрили, в чем я совершенно согласен с леди Р., с которой, однако, я ни разу не обсуждал сей предмет, но слышал нечто от знакомого, который очень сердит и на нее и на меня. Будучи совершенно невинным и попираемым, подобно несчастной К. из ее же лучших рассказов, я совершенно не понимаю, почему все это происходит. Если Вы можете немного осадить ее, окажите такую любовь. О женщине, на которой она решила меня женить, я думаю не более, чем о ней, и на следующей неделе, если удастся, хочу уехать из Лондона. Между тем надеюсь на встречу у леди Грей или у Клэр сегодня вечером.

Неизменно преданный Вам Б.

[Томасу Муру]

14 июня 1814 г.

Я мог бы сейчас впасть в сентиментальность, однако не стану делать этого. Суть в том, что всю свою жизнь я пытался ожесточить свое сердце, пока мне это не удалось, хотя еще есть надежда, и ты не можешь себе представить, как расстроился я твоим отъездом. В особенности же огорчен я тем, что за время твоего пребывания здесь мы так редко виделись в этой людской пустыне, где учишься сносить жажду, как верблюд: источников мало, а те, что есть, заражены.

Газеты только и пишут все, что только можно написать об императорах; а те ужинают, обедают и являют на улицах и в салонах свои плоские рожи. Всем им идет парадный наряд, хотя юбки несколько коротки, а беседа их — это чистый катехизм, можешь расспросить тех, кто слышал ответы этих господ.

Надеюсь вскорости уехать из города в Ньюстед. Если так, то буду поблизости с твоей обителью, и, если твоя супруга не станет удерживать тебя с помощью новой люльки или целебного чаю, мы встретимся там. Или ты заедешь ко мне, или я к тебе,

как ты захочешь, но встретимся непременно. Получил приглашение из Астона, но не уверен, что поеду. Получил также письмо от [Мэри Чаворт-Мастерс?]. Очень хотел бы снова повидать ее, не встречались множество лет, и, хотя «огонь, который не зажечь», уже погас, мне кажется, «одна улыбка прошлых дней», может быть, на мгновенье заставит меня забыть о «скучном течении жизни».

Сегодня вечером собираюсь на ужин к Рэнклиффу — по делу, такой ужин должен бы быть скорее обедом. С тех пор как ты уехал, я почти не видал ее и совсем не встречался с ним. Я говорил тебе — ты последнее звено в этой цепи. Что касается [леди Форбс?], с тех пор мы не обменялись ни единым словом. Отъезжающая почта не позволяет мне дальше марать бумагу. Напишу еще.

Твой и проч.

P.S. Дневник сохрани. Мне все равно, что с ним станет, но раз он развлекал тебя, я рад, что вел его. Закончил поэму «Лара», сейчас сколачиваю третий том и переписываю для него «Лару», отдельной книжкой не выйдет.

Томасу Муру

Гастингс
3 августа 1814 г.

Когда письмо это достигнет твоей обители, я, верно, [кто знает!] уж снова окажусь в городе. Сюда явился я на встречу со старым другом своим Океаном, чтоб столь же сладостно нежиться на груди его в утренний час, сколь блаженствовать в объятиях дочерей его и Пафос в час предвечерний. Плаваю, лакоплюсь палтусом, украдкой попиваю чистый бренди, ношу шелковые шейные платки и внимаю восторгам друга моего Ходжсона, что-де выбрал в жены себе эдакую прелестницу, карабкаюсь по скалам, качусь кубарем со склонов вниз и все эти полмесяца только и делаю, что наслаждаюсь *dolce far-niente*¹. Виделся с сыном лорда Эрскина, тот женат уж год и все мнит себя «счастливейшим из смертных»; говаривал и с вышеупомянутым Х., этот также «счастливейший из смертных»; что ж, за время, пробытое здесь, насмотрюсь хотя бы на неземные восторги сих лисов, которые, давши отрубить себе хвост свой, и других подстрекают жертвовать пышностью своей, дабы от них не отстать.

Как это славно, что тебе понравился «Лара»! Джеффри уж

¹ Сладостным бездельем (*итал.*).

опубликовал свой 45-й выпуск, который, полагаю, получен тобой. Мое участие в издании вылилось в такую милость с его стороны, что я уж начинаю мнить себя золотым фазаном под бременем оперенья, коим он щедро разукрасил меня. Однако ж *surgit atagi*¹ и проч. джентльмены из «Чемпиона», а также и Перри, раздобыли (каким образом, мне неизвестно) мое соболезнование в адрес леди Джерси по случаю похищения регентом нашим ее портрета и — не испросив вовсе никакого разрешения, не узнав даже мнения моего! — взяли да опубликовали оные стихи с прямым указанием моего авторства. Черт бы побрал этих наглецов, черт бы побрал всю эту историю! Я просто вне себя, даже говорить более об этом не желаю.

Как выйдут, ты получишь «Лару» и «Жака» (и то и другое с некоторыми дополнениями), хотя я еще пребываю весь в сомнениях, в нерешительности, в волнениях; так же и Роджерс в своем роде.

Ньюстед должен снова вернуться ко мне. Клотон поплатился двадцатью пятью тысячами фунтов, однако при всем этом и я весьма основательно выпотрошен. Хочу, чтоб там была моя могила, и отращиваю себе бороду — и всех вас посылаю к черту.

Да! Получил презабавное послание от Хогга, этого пастуха-менестреля из Эттрика. Просит, чтоб я рекомендовал его Меррею; поведав о своем книготорговце, у кого «счета» вовсе не «растут», он заключает *totidem verbis*²: «Да ну его к дьяволу с его счетами!» Меня повеселила, как, видно, повеселит и тебя, эта его манера все посылать к чертям. Хогг этот — существо странноватое, однако отмечен незаурядным, хоть и дремучим, талантом. Как поэта я ценю его весьма высоко; однако его, как и добрую половину прочих шотландских и «озерных» поэтов, портит узость и ограниченность провинциального бытия. Лишь Лондон и лондонский свет способны начисто лишить человека тщеславия — таково расхожее мнение. Скотт, полагает Хогг, отправился на Оркнейские острова при шквальном ветре; и далее он утверждает, что упомянутому Скотту в эдакую непогоду, «видать, пришлось несладко, мягко говоря». Боже, боже, что ежели б этих доморощенных менестрелей занесло в твою Атлантику или ко мне в Средиземноморье, чтоб хоть чуть испытали они, что значит очутиться в открытой лодчонке посреди налетевшего шквала или испытать шторм в Гибралтаре, даже пусть хоть в полный штиль оказаться в Бискайском заливе, — сколь встряхнуло бы это их, сколь много всего бы им открыло! Не говоря уж о недозволенной любви, подстерегающей на берегу, да

¹ Самозванные доброжелатели (лат.).

² Следующими словами (лат.).

и не одной, — эдакому испытанию страстей, что, начавшись привычным адюльтером, обретает все новые грани по мере развития своего.

Отослал письмо твое Меррею — кстати, адресовал ты его *Миллеру*. Прошу тебя, напиши, поделись, что ты теперь сочинишь? «Не завершил?» Черт побери! Как же так? Должно быть, «бабушкины сказки» заставляют тебя «так дрожать и так бледнеть», что литератору вовсе не пристало. Был крайне огорчен, узнав о расхождении твоих с N, верней, об отказе твоём от соглашения. Не желая показаться бестактным или излишне легкомысленным в серьезном деле, не знаю, как и подступить к этому разговору.

Надеюсь, тебя ничто не вынудит согласиться на меньшую цену за поэму твою, когда есть возможность взыскать истинную. Что до меня, то — *верь мне, я не приbedняюсь* (ибо это не в правилах моих, по крайней мере до сих пор такого не случилось), — у меня нынче никаких надежд, ни помыслов, ни устремлений нет. В некотором роде я счастлив, хотя такое счастье не может и не должно для меня длиться долго, — но не будем про то. Хуже всего, что сделался я вял и безразличен. Право же, не знаю, дарует ли мне Юпитер выбрать, из какого бочонка черпать, да и что я вытяну оттуда? Если и впрямь родился я на свет, как уверяют няньки, «с серебряной ложкой во рту», то она просто застряла у меня в горле, почти лишив ощущения вкуса, и что ни канет мне в рот, вся заглатываю без разбора, разве что жгучий перец попадет. Вместе с тем столько во мне накопилось всяческой досады... Однако из боязни добавить тебе неприятностей этой многословной отравой отложу я перечислять невзгоды мои *sine die*¹.

Вечно твой, милый M., и проч.

P.S. Не забудь про крестника моего. Более подходящего, чем я, восприемника грехов его да столь привычного и приноровившегося сносить двойной груз тебе трудно сыскать.

Мисс Милбэнк

14 октября 1814 г.

Заметку, о которой Вы пишете, я не видел — однако писать обо мне хуже, чем я сам полагаю о себе, они не могут. Таково не самое серьезное из несчастий, подверженным коим сделали меня известность и беззаботность славы — беззаботность в единственном положительном смысле этого слова, какую вовсе пере-

¹ На неопределенный срок (*лат.*).

стал ощущать я, лишь только возникло то, что может заботить по-настоящему. Признаюсь, следовало бы мне ранее осознать, что Вашей жизни суждено быть связанной с моею, какой бы полубыточной надеждой ни представлялось мне это раньше, — тогда б я сделался иным, тогда б я стал лучше. Теперь же овладевают мной порою сомнения — хоть и понимаю, что нельзя уже разрушать наше будущее и тем поступать недостойно по отношению к Вам, — не заставит ли Вас прошлое, пусть хоть то в нем, что неведомо Вам, все же раскаяться в отношении меня?

Я не верил, что, по крайней мере для меня, такая женщина может существовать, и порой думаю со страхом: лучше б ее не было. Но не стоит об этом. Вчера ответил на письмо Ваше. Умоляю: еще раз передайте мою благодарность леди Милбэнк за ее письмо, не сомневайтесь во мне.

Вечно Ваш...

P.S. Не понравилось мне, что я написал, да в письме того не исправишь; дней через десять-двенадцать, лишь только покину Н[ьюстед], мы с Вами свидимся, а пока пишите мне; завтра напишу еще, любовь моя. Простите ради бога, если это письмо огорчит, не могу выразить словами то, что чувствую. Ни о чем ином не помышляю, иного мне не надо, это мне надобно стать иным; если не сумею принести Вам счастье, горю моему не будет границ. И все же смею ль надеяться воздать должное добродетелям, признаваемым всеми и вся безоговорочно?

2-е P.S. Днем прочел ту заметку — она верна в отношении Вас и не слишком несправедлива в отношении меня, — обычная старая песня про «тернистые пути сатиры и мрачные тайники мизантропии», откуда, автор надеется, Вы вытащите меня; да и я, разумеется, тоже. Он заключает весьма комично: «Будем уповать на то, что подобная их несхожесть исчезнет после бракосочетания», упирая на «не» и намекая на углубление оной. Имеется еще к тому же и ряд эпиграмм, применительно к Вам несколько не обидных и даже комплиментарных, где некий «Гераклит» — то есть я — призван избавиться от уныния при Вашем содействии, а также есть еще в «М[орнинг] п[ост]» пространное обращение в мой адрес, возлагающее на меня ответственность за одно изречение в «Гяуре», хотя и вложенное в уста вымышленного персонажа; сии «интеллекта бумажные пули» бесцельны предо мной, и я бы не стал взыскивать ни с единого цензора, кроме *Вас одной*.

Меня весьма позабавили «цитаты», однако я и представления не имел, каким злым гением предстал тогда в глазах Ваших. Однако в смысле внешнего впечатления Вы были совершенно справедливы, хотя это и не есть истинная моя сущность. Я только что возвратился тогда из глухой провинции, где все совсем иначе, я был растерян, оказавшись весьма несчастлив в своей среде, которую покинул без сожаления и куда вернулся без желания. Я обнаружил, что по непонятной для себя причине стал объектом любопытства, коего никогда не желал возбуждать, к тому ж явившегося благодаря поэме, в связи с которой никак не ожидал я подобной суматохи. Мой ум и чувства, кроме того, заняты были совсем иными помыслами, нежели те, что бытуют в кругу, в котором пришлось мне вращаться; не удивительно поэтому, что сделался я желчен и холоден. Я никогда не умел подстроиться под настроение толпы, от которой меня вечно тянуло прочь.

Те, кто знает меня более близко, скажут Вам, что я разве что слишком ребячлив, склонен скорее к чудачеству, нежели к чему более опасному, и, смею надеяться, не такой уж у меня безобразно дурной характер; пусть я зол, но я не буян. Не стану оправдывать эти свои свойства, но к Вам же мое отношение таково, что, уверен, мы станем счастливою парою. Хотелось бы, чтоб в Вас оказалось более страсти к руководству, ибо я не блещу примерным поведением, однако весьма примерно буду следовать доброму наставнику.

Одна из подруг Августы в письме к ней выразила крайнее опасение: теперь, когда я собрался жениться, «не сделаюсь ли я добропорядочным семьянином», какова перспектива! П[ринц]-р[егент], побывав в Брокете, беседовал на сей предмет с леди М[ельбурн] и, не злословя никоим образом — что его сиятельству даже не свойственно, — насколько известно мне, чуть ли не извиняющимся тоном среди прочего заметил: «Чего только не придется нам ждать от союза прозаической и поэтической натур», будто нам с Вами и делать нечего, как только книжки писать. Несомненно, те роли, что уготовила нам «Морнинг пост», весьма и весьма достойны и столь же увлекательны, в особенности если обратиться к разделу о разведении домашней птицы и проч. проч.

Только и жду возвращения г-на Хэнсона, чтоб он отправился, а я за ним. Если, драгоценная моя, эти бумажные души сумеют обеспечить нам спокойствие или хотя бы пообещают обеспечить его в разумный срок, тогда Вам не стоит долго раздумывать, чтоб согласиться принять титул, коему окажете более че-

сти, чем снискал он с тех самых пор, как впервые был занесен в Земельную опись Англии росчерком предков моих Эрнейса и Ральфа (теперь видите, что имя батюшки Вашего созвучно именам праотцов моих).

Вечно, любовь моя, весь Ваш Б.

P.S. Да! Хочу сообщить Вам о нынешнем моем занятии. Д[углас] Киннэрд (друг мой и брат лорда К-да) обратился ко мне с просьбой сочинить слова для одного композитора, который собирается издать «древние, неоспоримо истинные еврейские мелодии», кои прекрасны, и на мотив оных, несомненно, Давид и пророки распевали «пснопения Сиона». Я написал девять или десять текстов на священную тему — частично черпая из книги Иова и проч., частично из собственной фантазии, — надеюсь, однако, что вышло лучше, чем у Стернхольда с Гопкинсом. Прямо-таки удивительно, что все это обрушилось на меня, заклеянного «невсрным». Августа говорит, что «скоро меня признают свреем».

Сэмюелу Тейлору Колриджу

*Терраса Пиккадилли, 13
18 окт. 1815 г.*

Уважаемый сэр! Только что получил Ваше письмо. С радостью сделаю все, как Вы велите, с упомянутыми томами, и чем скорей, тем лучше. С моей стороны это не должно вылиться в излишнее рвение, подобно тому (выражаясь деловым языком) как негоциант поступает с клиентом своим, но я пекусь только ради Вашего наивысшего блага.

Прошлой весной встречался с Вальтером Скоттом, он прочел мне большую часть неопубликованной Вашей поэмы — ничего неистовей и прекрасней не слыхивал я среди подобного рода литературы. Названия он не упомянул, но имя героини, как мне кажется, Джеральдина. Все эти эпизоды: и «громкая беззубая собака», и «леди-ведьма», и описание зала, и лампа у лика святого, и в особенности сама героиня, вышедшая в ночь, — все так живо овладело воображением моим, что нет желания расставаться с этими образами. Говорю это не в стремлении обременять Вас комплиментами своими, но выражая надежду, что эта поэма выйдет, должна выйти в тех томах, какие Вы готовите к изданию. Не знаю даже, обладают ли подобной силой воздействия Ваши «Любовь» или «Старый моряк», хоть для меня мало что сравнимо в нашем языке с этими творениями.

Вальтер Скотт — верный и стойкий почитатель Ваш, но при

всем своим искреннем восхищении Вашим талантом он сетовал мне на то, что не хватает Вам увлеченности и сосредоточенности в работе, а это мешает Вам полностью раскрыть широту возможностей Ваших. Завтра или послезавтра отвечу на Ваш вопрос в отношении «Репейника»; нынче вечером свяжусь с Рейем и Дибдином (исполняющими обязанности управляющих).

Да! Насчет трагедии Вашей: я не имею в мыслях подгонять Вас, но я поистине жду не дождусь, когда смогу начать говорить о ней; трагедия — та самая сфера, где не сравнится с Вами ни единый живущий литератор, и я с гордостью и счастьем поставил бы Вас в ряд с мастерами прошлого. Говорю о том как лицо заинтересованное, как представитель Комитета: в распоряжении нашем нет ничего достойного внимания, разве что трагедия Сотби, которая пока не завершена, но куда ей до Вашей. Знали бы Вы, что за мусор те четыре сотни образчиков тяжеловесной драмы, какие пылятся на полках в Д[рури] -Л[ейн]. Никогда не ценил я истинных литераторов, как ценю сейчас, так как есть возможность сравнить их творения с бездарными.

Вечный и истинный Ваш слуга
Б.

Сэру Ральфу Ноэлу

7 февраля 1816 г.

Сэр! С большим удивлением и превеликой печалью прочел я письмо леди Байрон, полученное от Вас миссис Ли. Покидая Лондон, леди Байрон ни единым намеком не обнаружила подобных чувств или намерений, ничего подобного не промелькнуло ни в письмах ее с дороги, ни затем, по прибытии в Керкби. Тон ее писем ко мне, игриво-доверчивый, ласковый и оживленный, скорее мог говорить о привязанности, чем о каком ином внушающем тревогу отношении, письма ее о дочери — письма матери, обращенные к супругу. Это наталкивает меня на грустные мысли: либо ей свойственно двуличие, что, как я считал, весьма не вяжется с ее характером, либо это результат чьего-то влияния последних дней, следование коему в свое время было весьма похвально и достойно, теперь же удивительно после ее клятв пред алтарем.

Пока есть у меня дом, он открыт для нее, как всегда открыто для нее сердце мое, даже если из всех приютов останется только эта обитель. Я не могу заподозрить леди Байрон в том, что причина этого решения, предлог для расторжения нашего брака — желание отделаться от банкротства мужа, хотя и выбранный для этого момент, и сама манера, в которой сделано сие предложе-

ние — без вопросов, без жалоб, без всяких колебаний, без попытки к примирению, — не может не внушать подозрения. Если Вы сочтете, сэр, что тон моего письма к Вам дерзок, знайте, я все же сдерживаю себя из уважения, сообразного родственным обязанностям моим, коих Вы собираетесь меня лишить, и прошу резкость выражений моих, вызванную не зависящими от меня обстоятельствами, оценивать, исходя из оных. Я не унижусь, как жалкий проситель, до мольбы о возвращении нелюбящей супруги, но поступиться правами супруга и отца я не желаю. Предлагаю леди Байрон вернуться, готов отправиться к ней, если она того пожелает, но любые попытки — настоящие и будущие — разлучить нас я воспринимаю с возмущением.

Имею честь оставаться, сэр, в глубочайшем уважении.

Ваш вернейший и преданнейший слуга

Байрон

Томасу Муру

29 февраля 1816 г.

Я все не отвечал на письмо твое; пишу теперь, но если даже отвечу на часть его, писать придется столько, что уж лучше отложить все до личной встречи; а пока изложу короче, как могу.

Пребываю в настоящее время в состоянии войны «со всем светом и со своей женой»; вернее сказать, «весь свет и моя жена» находятся в состоянии войны со мною, но пока не преуспели в моей гибели — хоть и всякое может статься. За все свое существование, что здесь, что на чужбине, не могу припомнить я миг, столь основательно лишенный радости бытия или хоть какой надежды на будущее, как тот, что переживаю сейчас. Говорю так, потому что этим наполнены думы и чувства мои. Но я не поддамся этому чувству, не стану душить себя долгими колебаниями — я решился.

Меж тем, однако, не доверяй всем слухам на сей предмет и не вздумай вступаться. Едва это удастся тебе, как будет сочтено смертельным или вечным прегрешением, потом поди оправдайся! Мой ответ всем тем, кого это дело касается, весьма короток; но несмотря на все мои попытки и попытки кое-каких деятельных друзей моих, все никак не удастся уловить хоть какую причину или просто найти человека, с кем можно было бы обсудить все, разобраться. Впрочем, вчера только подписал было одного, но тот вывернулся при помощи удачного, как считается во круг, объяснения. Я говорю о распространителях слухов; против них зла я не имею, однако, метя в тех, кто поважней, я должен вести себя, как принято.

Теперь о другом, скажем о поэзии. Стихи Ли Ханта дьявольски хороши — все причуды строит, но замешано на явной самобытности, в каждой строке поэзия, и поэзия первоклассная. Не пишу в печати о том, ведь он их мне посвятил, и это весьма жаль, ибо в таком случае придется просить тебя прописать про него в «Эдинбурге». Право же, стихи стоят щедрых похвал, и благосклонная критика в «Э[динбургском] О[бозрении]» лишь воздала бы должное, показав публике, чего сия поэзия по праву заслуживает.

Как ты? Где ты? Уж сам я ума не приложу, что предпринять, что делать с собою, и где, и как. Примерно месяц назад было мне что рассказать тебе смешного, да нынче, говорят, смеяться мне не должно. Я сделался серьезен — ты заметил?

Немного был нездоров — пошаливала печень, но теперь, последние недели две, гораздо лучше, хотя все еще нахожусь под наблюдением лекаря. Я крайне редко встречаюсь с N.

Пора идти одеваться к обеду. Дочурка моя в деревне, она, говорят, прелестнейший ребенок, теперь уж ей почти три месяца. Леди Ноэл (моя законная, вернее, уже нет, теща), я полагаю, теперь за ней приглядывает. Дочь ее (мисс Милбэнк то есть), я полагаю, в Лондоне с отцом. Некая г-жа К[лермонт] (некто вроде экономки и домашней шпионки леди Н[оэл]), елужившая в дни юности своей прачкой, является, как полагают некоторые посвященные, той самой тайной причиной, что привела потом к разладу в нашем доме.

Во всем деле этом мне жальче всего сэра Ральфа. Нам с ним досталось в равной мере, хотя мы в своих несчастьях *magis pares quam similes*¹. Однако ж ошибка одного дорого стоит нам обоим. Словом — я остаюсь без жены, а он — при жене.

Вечно и проч.

Маргарет Мерсер Элфинстоун

11 апреля 1816 г.

Милая мисс Мерсер, сердечно благодарю Вас за то, что приняли мой памятный подарок, и особенно за то, что не прогневались на некоторую вольность мою, чего я слегка опасался. Более негодного друга себе Вы и вообразить не могли — однако друга, преданного Вам и к тому же давнего, хотя, судя по обстоятельствам, Вы и не знали (а узнали, это бы Вас не обрадовало), насколько давнего. Но все прошло и быльем поросло, теперь я говорю об этом спокойней, ибо теперь уж никто не сможет

¹ Зд.: друзья, но не в жизни (лат.).

упрекнуть меня в том, что чувства мои к Вам корыстны,—во всяком случае, надеюсь, что никто.

Не знаю, почему осмеливаюсь заговорить об этом, разве что пришло то время, когда меня перестанут ловить на слове, считая каждое оскорбительным. Никогда, ни в тщеславных мыслях, ни в помыслах моих, не полагал я стать для Вас бóльшим, чем я есть.

Может быть, это и объяснит Вам то — хотя, наверно, не стоит и вовсе объяснять,— что могло показаться странным в наших прежних отношениях. Я говорю о тех «разрывах» — помните, Вы еще смеялись? Смеялся и я, хотя то были времена серьезных размышлений для меня.

Как глупо это — даже неуместно,— и все так и есть, вернее, было, но я молчал, и молчание это можно было счесть за надежду или ожидание чего-то. Ныне неотвратимые обстоятельства еще более удалили меня от надежд и ожиданий, от коих и так удалился я по своей и по Вашей воле, и скоро нас разделит еще большее — возможно ли? — расстояние.

Не могу не пожелать Вам в конце моего письма судьбы счастливой, не той, что моя — моя не стоит ничего, — но той, какая могла бы быть у меня, прояви я чуть больше благоразумия и здравого смысла, ибо, кроме себя, винить мне некого. Пожелания подобного рода *Вам* можно было бы счесть странными, если б счастье наше всецело находилось в наших руках, но это не так — вот истина, какую я, боюсь, проповедовал чаще, чем сам прислушивался к ней.

Вечно преданнейший Вам

Байрон

P.S. Письмо это — ответ на Вашу записку, хоть его Вы и не ждали. Быть может, Вы примете его хотя бы ради бумаги, на коей оно писано? Бумага (как мне доложили) выкрадена у Мальмезона из Имперского управления; по этой причине не откажите в любезности принять с сим еще несколько листков. На них печать с орлом. Adieu.

Джону Кэму Хобхаусу

Эвье

23 июня 1816 г.

Милый мой Х[обхаус]! Невзирая на дату моего письма, пиши, как всегда, в адрес женевской почты, ждущей ответа твоего,

как и я жду твоего приезда, а заодно и Скроупа, чей кошелек (судя по письму твоему о бурях в королевстве) столь же легок стал, как и вина его; однако ж, полагаю, за душой у него не менее пятидесяти тысяч фунтов, и тут он сойдет за миллионера, а если перевести в франки, получится гора мелких монеток.

Я приобрел весьма живописную небольшую виллу среди виноградников: позади Альпы, предо мной горы Юра и озеро; вилла зовется «Диодати», по имени ее хозяина, потомка того блистательного и дерзкого Диодати; свой уютный дом он сдает по сходной цене на лето или на год, как пожелает арендатор. Когда приедешь, не ходи в гостиницу, или даже к Сешрону; ступай прямо по адресу, а уж у меня готовы апартаменты для тебя и для Скроупа, «в придачу все, что пожелаешь». Да еще привези ты мне несколько бутылок жженой магнезии, новую шпагустрость — пусть Джексон выберет, он один знает, какую именно (свою последнюю я уронил в озеро), — несколько пачек красного зубного порошка и зубные щетки от Уэйта, еще Павсаний (издание Тейлора), а остальное позабыл.

Скажи Меррею, что закончил я песнь третью «Чайльд-Гарольда», изо всех она самая длинная, сто одиннадцать строф. При первой же возможности вышлю. Сейчас пишу тебе как раз во время прогулки по озеру Леман, я уж довольно далеко заплыл в прелестной открытой яхте, которую недавно приобрел. Она английской работы и недавно привезена из Бордо. Ночую на берегу; только что имел стычку со старейшинами этого городка: спрашивали документы мои, а я оставил их в Диодати, не забываясь, что могут потребоваться при столь малых расстояниях. Но я, кажется, заехал в Савойю на территорию Его Величества правителя Кальяри, коего видели мы в 1809 году в собственной опере в его собственной столице. Однако с помощью некоторых ссылок на Женеву и иных подтверждающих фактов и несмотря на испорченное настроение, правда восторжествовала; смешно сказать, они вынудили меня клятвенно подтвердить, откуда я, хотя это и так ясно.

Назавтра мы, вооружившись томом Руссо, устремимся к Мейере, Кларану и Веве глядеть места, описанные им в его «Длоизе», которая теперь лежит передо мной; берега до сих пор были весьма живописны, но, по моим представлениям, нам предстоит созерцать красоты еще большие.

Прими мою благодарность за все твои письма (за оба) и приветствия. Что — или кто, черт побери, — есть «Гленарвон»? Он мне неизвестен — в жизни не слыхивал про такого. О каком это брате в Индии ты пишешь? Нет у тебя в Индии никого, это у Скроупа там брат; передай от меня поклон Киннэрду и г-же

Киннэрд и всем моим друзьям, прежде всего Ханту, Скруппу, Меррею, и не забывай меня.

Самый преданный друг твой *Б.*

P.S. Я оставил доктора в Диодати, он потянул ногу.

P.S. Да, еще, будь добр, не забудь привезти мне большую бутылку крепчайшего поташа — как прежде; мсье Лешан пусть даст тебе, поскольку нашу обнаружил разбитой или сам разбил в Карлсруэ наш прикидывающийся невинным доктор Помидори. Я же пребываю в нервозности, ибо в Женеве изготавливают поташ преотвратный, он пузырится, хоть и не должен. Привези мне такого, чтоб вел себя поспокойней.

Достопочт. Августе Ли

Диодати

1 октября 1816 г.

Драгоценная моя Августа, два дня тому назад я послал тебе в трех конвертах дневник проделанного мною с г-ном Х. путешествия по Бернским Альпам. Я вел его специально для тебя, рассчитывая, что он тебя позабавит. Вернувшись в Диодати, я узнал косвенным образом, что леди Байрон лучше и она выздоравливает. Поговаривают даже, что она собирается провести зиму в Европе. По коему поводу и хочу сказать тебе кое-что, так как ты, насколько понимаю я, снова сблизилась с нею и, значит, через тебя мне надежней всего с нею связываться. Это касается дочери моей. Сейчас, как и на будущее, я далек от намерения пытаться отнять у матери ее дитя (если только сама она не предпримет ложного шага, о коем даже страшно подумать). Считаю такое недопустимым и хоть то, что лишен я возможности заботиться и общаться с моей малюткой, огромное несчастье для меня, я бы не стал добиваться этой радости столь дорогой ценой. Но все же я должен сказать, что всецело против, чтоб дочь увозили из Англии, отправляли в Европу да еще в столь ранние годы, что сопряжено неизбежно с риском для здоровья и жизни; в особенности же теперь, когда Европа в большей части своей самое беспокойное место. Я вовсе не желаю, чтоб дочь моя получила образование, подобно сыну лорда Ярмута (которое происходило бы в военной обстановке), и обращаюсь к леди Байрон с личной и исключительной просьбой: ежели она собирается покинуть Англию, пусть дочь оставит на попечение надежных людей. Не стану возражать, чтоб девочка осталась у леди Ноэл и сэра Ральфа, которые, разумеется, и сами тому будут рады, но

несчастью моему не будет предела, если дочь помимо согласия и воли моей увезут из Англии. Прошу тебя, без промедления передай все это леди Байрон; надеюсь, и от себя замолвишь слово в поддержку моей просьбы, более я не стану ее ни в чем беспокоить. Вся моя надежда на счастье и покой в старости (если доживу я до тех дней), все воплотилось в этом крохотном создании, в Аде, и ты должна простить мне пусть даже беспокойное волнение во всем, что касается ее. По моему дневнику узнаешь ты, где я последнее время путешествовал. Я здоров вполне, однако вчера приключилось со мной небольшое несчастье. Когда я сидел вечером в лодке, с грот-мачты соскочил шест и, резко описав дугу, ударил меня по ноге с такой силой, что я потерял сознание. С помощью холодной воды г-н Х. привел меня в чувство, однако я ничуть не пострадал: кость не задета, и боли я с тех пор не чувствую. Видно, на миг поразило нерв или сухожилие, только и всего. Нынче обедаю у Коппэ; надеюсь, чета Джерси будет там тоже. Верь мне всем сердцем и всегда, драгоценная сестра моя. С любовью и нежностью всецело тебе преданный

Б.

Достопочт. Августе Ли

28 окт[ября] 1816 г.

Моя драгоценная Августа! Ты получишь то, что написал я два дня назад, но прибывшее твое письмо от 12-го приободрило меня, так что, ради бога, прости мне *humeur*¹ моего послания, которое не порвал я по лености, да и почта скоро отъезжает, едва ли успею сочинить новое.

Право же, никак не разделяю и не могу разделить твоих страхов и тревог, о которых пишешь, в особенности в последнем письме. Я знаю одно: никакая сила, разве смерть одна, не способна удержать меня от встречи с тобой, а уж где, когда и как это будет — мне решать сообразно времени и обстоятельствам. Ты одна (да, может, дочь моя, на что смутно надеюсь) единственная моя отрада, единственная оставшаяся в жизни надежда, я смогу все снести, только б ты была у меня; но всякая преграда меж нами для меня невыносима. По всему судя, мисс Милбэнк создана будто на мою погибель. Ты же видишь, до сей поры никакой враждебности в душе я к ней не питал, и все же, прямо ли, косвенно — ах, зачем я об этом!.. Ты же знаешь, она причина всему, а намеренно или нет, разве в том дело? Не хо-

¹ Настроение (*франц.*).

чешь ли ты сказать, если я приеду весною в Англию, мы не свидимся с тобой? Коли так, то незачем мне и приезжать, хоть много к тому есть причин — дела и проч., проч. Но хватит, довольно об этом.

Здоровье мое неплохо, хотя временами находит головокружение и глухота, отчего и мысли являются те же, что и Свифту, — будто становлюсь, как виделось ему, *засохшим* тем деревом, и это заставляет думать, что прежде отомрет во мне все, что сверху. Волосы мои седеют и гуще не становятся, а зубы *шатаятся*, хотя все еще белы и крепки. Неужто на вид мне не двадцать девять, а все шестьдесят? Словом, что там говорить — либо всему этому конец, либо мне; только повторяю еще и еще: *эта женщина* разбила мне жизнь.

Многие местные жители встретили меня заботой и теплым участием, потому Милан показался мне гостеприимным городом; однако ж как отличен облик здешнего света от того, что ты видишь в Англии; жаль, что не успею это описать, но замечу — сравнение не в нашу пользу. Пиши мне, как всегда, на женевский адрес, надейся на лучшее и люби меня всей душой, как и я обречен любить тебя вечно.

Б.

Джону Меррею

Венеция

4 декабря, 1816 г.

Уважаемый сэр! В последнее время я так часто пишу Вам, что, верно, успел надоесть. Я же упрекаю Вас в непочтительности, ибо Вы не ответили на мои письма из Швейцарии, Милана, Вероны и Венеции. Хотел и хочу кое о чем у Вас справиться, а именно: передал ли Вам известный своей рассеянностью мистер Дэйвис рукопись, отосланную ему? Если нет, Вы увидите, как он щедрой рукой своей раздаривает полюбившиеся ему и переписанные им отрывки оттуда, и по этой самой причине не наша рукопись, а именно они, возможно, будут напечатаны в «Кембридж кроникл» или еще где-нибудь. Во-вторых — забыл, что «во-вторых»; но в-третьих, я хотел бы узнать, издали ли Вы рукопись, или когда намерены издать, или почему до сих пор не издали, поскольку в Вашем последнем письме (от 20 сент., дата должна вызвать в Вас чувство стыда) Вы утверждали, что публикация ожидается в самое ближайшее время. Не имею никаких известий из Англии, ничего ни о ком и ни о чем не знаю. У меня там всего лишь один корреспондент (не считая мистера Киннэрда, с кем я время от времени сооб-

щаюсь по делу), к тому же дама, и письма ее — это такое изобилие страхов и напастей, такое скопление надуманных банальностей, в них так мало полезных или хотя бы просто забавных сведений, что почерпнутое из них мое представление о жизни на Альбионе и в столице не богаче, чем из итальянских газет, которые суть перепечатка французских, или из объявлений Колберна с задней обложки Вашего *прошлого* «Ежеквартальника». На минувшей неделе послал Вам пространное письмо; словом, добавить мне нечего, разве вот что: я приступил к изучению армянского языка, прилежно беру уроки в армянском монастыре, навещаю туда всякий день к нищему ученому монаху и уже приобрел кое-какие весьма полезные знания по литературе и обычаям этого восточного народа. У них здесь община — церковь с монастырем, где девяносто монахов, иные весьма солидны и образованны. Имеют свою типографию и прилагают немалые усилия на благо просвещения своей нации. Армянский язык (он имеет *два варианта*, литературный и простонародный) показался мне сложен, но (надеюсь все же) не до бесконечности. Буду продолжать учение. Ощущаю потребность нагрузить свой мозг тяжелым изнурительным трудом, а овладение армянским и есть наитруднейшая задача, истинно муки ада. Я намерен пробыть здесь до весны, так что адресуйте мне прямо: «Венеция, poste restante ¹». В настоящее время мистер Хобхаус отправился в Рим с нагрянувшими сюда к нему братом с женой и сестрою. Вернется через пару месяцев. И я бы отправился с ним, да влюблен, потому и остаюсь тут. Видно, любовное увлечение мое, равно как и постижение армянского алфавита, протянется до весны. К счастью для меня, предмет моей страсти не столь неподатлив, в противном случае, оказавшись в тисках между ним и учением, я бы последнего разума лишился. К тому ж она не армянка, а венецианка, да я как будто сообщал Вам о том в последнем письме. На итальянском я изъясняюсь вполне свободно, даже на венецианском его наречии — это как в нашем английском сомерсетширский диалект. Что же до классических диалектов итальянского, то навыки, приобретенные мною в путешествиях, мной не забыты.

Вечно истинно преданный Вам, Б.

P.S. Кланяйтесь от меня мистеру Гиффорду. Да не забудьте же — иных у нас с Вами общих знакомых как будто и нет.

¹ До востребования (*франц.*).

Уважаемый сэръ! Получил Ваше письмо. Очень прошу, сообщите, не изъяли ли Вы какой эпизод, а то и больше, из песни третьей [«Чайльд-Гарольда»]. Надеюсь, что нет. Ведь я специально писал Вам по дороге через Альпы, чтоб Вы этого не сделали, — сообщите же в следующем письме, опубликована песнь целиком (в том виде, как Вы ее получили) или нет. На днях я написал Вам (возможно, дважды) и буду счастлив узнать, что Вы оба письма получили. Сегодня 2-е января. В этот день три года назад вышел в свет «Корсар», о чем я, помнится, тотчас сообщил Муру в письме. В этот день два года назад я женился — «Господь карает того, кого любит, да благословенно имя Его». Не скоро я позабуду эту дату, буду в памяти держать до конца дней своих. Не странно ли, что именно сегодня пришло Ваше письмо с извещением об издании «Ч[айльд]-Гар[ольда]» и проч., как раз в день, когда вышел «Корсар», и что сегодня же я получил письмо от сестры, написанное 10 дек., в день рождения моей дочери (и всецело ей посвященное), — и все это в годовщину моего брака, 2 января, того именно месяца, когда я появился на свет. Найдется множество и иных астрологических совпадений, которые перечислять мне недосуг. Вы могли бы, между прочим, написать Гентшу, моему женеvскому банкиру, и справиться, отослал он оба вверенных ему пакета господину Сент-Обену или все еще держит их у себя. В одном бумаги, письма и первый вариант рукописи песни третьей, в другом — прах погибших в битве при Морате. Премного благодарен Вам за Ваше известие и за жизнерадостный тон Вашего письма.

Венеция на меня действует превосходно, однако ничего нового, кроме той самой премьеры в опере, о которой я уже писал в предыдущем письме, не произошло. Настает пора карнавала, и в свободные часы повсюду смех и веселье, ибо все поголовно что-то тайно придумывают, заказывают новые маски или берут напрокат прошлогодние. С Марианной мне весьма привольно: во-первых, потому что для меня не всякая женщина скучна, просто надоедливость у всех у них в крови; во-вторых, Марианна мила и обладает тактом, отнюдь не всегда присущим очаровательному созданию; в-третьих, она прехорошенькая; в-четвертых... Но более нет смысла вдаваться в подробности. С прибытия моего в Венецию я провожу с ней почти все мое время, буквально дня не проходит, чтобы мы с нею не обменивались дважды и трижды (а то и более) весьма недвусмысленными доказательствами в прекрасном взаимном расположении. Пока все у нас идет гладко, а на будущее я не загадываю — сарге

diem ¹, по крайней мере у каждого свое прошлое, и это дает основание для осмотрительности в настоящем. Но довольно об этой связи. В целом нравственные устои здесь во многом, как во времена дождей; согласно здешней морали, добродетельна лишь та жена, которая ограничивает себя всего лишь одним любовником: даму при двух, трех и более возлюбленных уже считают *растущенной*; а ту особу, кто, подобно принцессе Уэльской, что имеет в любовниках посыльного (и его, между тем, возводят в рыцари Мальтийского ордена), вступает, проявляя беспечную неразборчивость, в не достойную ее связь, клеймят как поправшую благочестие, присущее замужней даме. Венецианская знать имеет каприз сочетаться браком с девицами из актерского сословия; справедливости ради замечу, что знатных дам здесь красавицами никак не назовешь, но в целом итальянки — женщины второго и прочих сословий, жены адвокатов, купцов, землевладельцев, незнатных дворян — в большинстве своем *bel sangue* ², и именно они вовлечены во всякие амурные связи; но встречаются среди них и образцы завидного постоянства. Я знаком с одной дамой лет пятидесяти, она имела всего одного любовника, который рано скончался; с тех пор с годами она прониклась благочестием и всецело посвятила себя мужу; надо видеть, как она кичится своей безграничной преданностью супругу, то и дело бравирует этим в разговоре, да с такой нелепой для уст ее нравоучительностью, что это не может не вызвать улыбки. Здесь, если венецианка заводит *Amogoso* ³, это не рассматривается ни в малейшей степени как нарушение ею обычаев или нравов; наитягчайшим грехом, я бы сказал, полагают ложь и сокрытие связи, а также и то, что связь не единственна, если только подобное расширение сферы дозволенного не существует с согласия и одобрения первого избранника. В моем случае мне неизвестно, был ли у меня предшественник, однако несколько не сомневаюсь, что двойника не имею; учитывая же юность моей дамы, а также открытость и непосредственность, с которой в этой стране каждый признается в том, что только требует признаний, а также всякие прочие обстоятельства, как-то: недавнее замужество и проч., я склонен считать, что у нее это *premier pas* ⁴; впрочем, это не имеет особого значения. Во второй пакет вкладываю Вам листки сравнительной английской и армянской грамматики, специально для армян, изданию которой я содействовал и добился его (что обошлось мне в целую тысячу

¹ Лови день (момент) (лат.).

² Хорошего происхождения (итал.).

³ Любовника (итал.).

⁴ В первый раз (франц.).

франков — французских ливров). Я продолжаю брать уроки армянского — без чрезвычайного успеха, однако совершенствуюсь понемногу день ото дня. Падре Паскаль, которому я помогаю в переводах с итальянского на английский и сим оказываю некоторую услугу, также участвует в подготовке рукописи английской грамматики для армян, и она по завершении тоже будет напечатана.

Нам надо бы узнать, есть ли в Англии — в Оксфорде, Кембридже или еще где-нибудь — *армянский* печатный шрифт. Быть может, Вы помните: довольно давно отец и сын Уинстоны опубликовали историю Армении на армянском языке с приложением собственного латинского перевода? Сохранился ли еще тот набор? И где? Умоляю, порасспросите свое просвещенное окружение.

Когда грамматика (я имею в виду ту, что сейчас в печати) будет готова, не откажете ли в любезности приобрести экземпляров сорок-пятьдесят, вся стоимость их не превысит десяти гиней, и не поинтересуетесь ли любопытствующих академистов насчет распродажи? Любой ответ Ваш приемлем. Уверяю Вас, у армян есть весьма любопытные книги и рукописи, по преимуществу переводы с ныне утерянных греческих оригиналов. Да кроме того, армяне весьма достойный и образованный народ, а к изучению их языка с величайшим вниманием относились некоторые просвещенные умы Франции времен бонапартизма.

С тех пор как покинул Швейцарию, я не создал ни единой поэтической строки и не ощущаю по сию пору в себе *estro*¹; Вы же, сознайтесь, *страшитесь* получить до сентября четвертую песнь и далее продолжение рукописи; однако пока нет у меня никакого желания ни продолжить начатое, ни взяться за новое. Подумываю, уж если писать, так, может, попытаться прозу; только ужасает меня обращение к героям из жизни или всему, что имеет отношение к ныне здравствующим; быть может, когда-нибудь попробую я пофантазировать в прозе, опишу итальянские обычаи, людские страсти; только сейчас мне не до этого. Что до поэзии, моя есть сон непробужденных страстей моих, когда текут они, точно сомнамбулы; если ж бодрствуют, я не умею выразить их, а нынче они как раз не спят.

Если мистер Г[иффорд] желает *carte blanche*² в отношении «Осады Коринфа», я не возражаю, он волен поступать с ней, как ему заблагорассудится.

Одно из моих писем, посланное Вам на днях, содержит полемику с тем чипсайдским малым, что придумал историю, про ко-

¹ Порыва (*итал.*).

² Свободы действий (*франц.*).

торуЮ Вы писали. Мое почтение мистеру Гиффорду и тем из друзей моих, кто вхож в Ваш дом. Желая Вам всяческих благ, шлю новогодние поздравления и остаюсь

вечно преданный Вам Б.

Томасу Муру

Венеция

25 марта 1817 г.

При отсутствии писем от тебя (или «*ввиду* отсутствия»?) — не пойму, с чем лучше сочетать слово «отсутствие» — я получил наконец от Меррея два сведения про тебя (или «о тебе»?) и узнал, первое — ты переезжаешь в Хорнси, а это, насколько я понимаю, ближе к Лондону, и второе — объявлено о выходе твоей поэмы под названием «Лалла Рук». Как я рад — прежде всего тому, что наконец-то мы прочтем поэму, а еще мне так нравится это необыкновенное название: помнишь, сколько мук на первых порах стоили мне названия «Гяур» и «Чайльд-Гарольд»? К тому же этот маневр напоминает мне сказку про Алкивиада и хвост его пса — не подумай, что навязываю тебе этого пса и его хвост. Кстати о сказке, лучше бы ты не называл «Лаллу Рук» «персидской сказкой». Пусть «поэма», «баллада», только не «сказка». Напрасно и я называл иные свои творения так; хочется думать, они лучшего стоят. К тому ж довольно и арабских, индийских, турецких, ассирийских сказок. Хотя, впрочем, я берусь не за свое дело; не слушай меня, это все пустое.

Право, от всей души желаю, хотя бы из чистого себялюбия и по праву давнего приятеля, чтоб поэма твоя имела большой успех, и не сомневаюсь, так оно *и будет* — ведь я в тебя верю. Клянусь, вполне сознаю, какая у тебя нынче дьявольская пора, а рядом не я, рядом Роджерс. Как я ему завидую; с моей стороны это бессовестно, так как сам Роджерс не из завистников. Не забудь же, вышли мне поэму — то есть пусть Меррей вышлет, — как только она будет напечатана.

Меня сильно измучила вяло протекавшая лихорадка, которая под конец все-таки опомнилась и разразилась с ожидаемой силой. Постепенно все же благодаря ячменному отвару и отказу от услуг лекаря я пришел в себя после недельного полубреда, жара, жажды, нестерпимой головной боли, бешеного сердцебиения и бессонницы. У нас здесь эпидемия, которая случается ежегодно и не обходит иностранцев. А вот тебе и стишки, сочиненные мною как-то во время бессонницы:

Прочел я «Кристалль» недавно —
Славно.

«Миссионера» оценил —
Что ж, мил.
Но заглянул я в «Илдерим» —
Гм!
Рискнул за «Маргариту» взяться —
Не дай бог статья!
От «Ватерлоо» клонит ко сну —
Фу-у-у...
«Рилстона Доу» пролистал тогда —
Мд-а-а...
Хоть «Гленарвона» я осилил все же —
О боже!

Ума не приложу, куда бы мне поехать, чем заняться. Собрался было в Рим, да нынче он весь пропитан английской заразой — шныряет по нему шайка балбесов, плятятся по сторонам, разиня рот, да при всей своей убогости еще и чванливы. Пока это варварское племя не уберется по домам, нормальному человеку нечего и думать разъезжать по Франции и по Италии. Вот года через два-три схлынет первая волна, тогда и станет на континенте посвободней да поприятней.

Остановился я в Венеции оттого, что это не такое «прибежище грабителей», как прочие итальянские города, они здесь не задерживаются надолго, едут себе далее. В Швейцарии спасенья от них нет. Слава богу, успел я, упредив их, расположиться в великолепном местечке с видом на Женевское озеро, а уж после пришли в движение эти пресмыкающиеся. Приходилось сталкиваться с ними на каждом шагу. Встретил я как-то на полпути к Венгенским Альпам (близ Юнгфрау) каких-то бабушек с внучатами верхом на мулах — одни слишком стары, другие слишком юны, чтобы по достоинству воспринять окружающее.

Между прочим, думается мне, что Юнгфрау и прилегающая к ней часть Альп, которые проезжал я прошлой осенью — тогда я поднялся даже на вершину горы Венген, не самой высокой (это Юнгфрау неприступна), — являют собой великолепнейший вид, куда живописней, нежели Монблан, Шамони или Симплон. По просьбе сестры Августы я вел дневник путешествия, кое-что она переписала оттуда и показала Меррею.

Я создал нечто вроде мистерии, специально, чтоб описать Альпы в декорациях; только что отослал Меррею. Почти все перс[онажи] драмы — духи, привидения, волшебники; место действия — Альпы и тот свет, так что можешь вообразить, что за безумная трагедия получилась; попроси Меррея, он покажет. Я высылал ему почтой по мере написания все три акта, надеюсь, он их получил.

Я уже написал тебе не менее шести писем или *письмишек*, взамен же получил записку про то, сколько тебе удавалось написать между Бери-стрит и Сент-Джемс-стрит в ту пору, как мы втроем обедали с Роджерсом, и вели туманные беседы, и посещали званые вечеринки, где витийствовал бедняга Шеридан. А помнишь, раз вечером он так набрался, что пришлось мне нахлобучивать ему на голову треуголку, ибо сам он уже не мог; я опустил его на пол у Брукса, и, должно быть, вот так же опустили его после в могилу. Эх! Напиться бы, да нет у меня ничего, кроме треклятого ячменного отвара.

Я все еще влюблен — и этот чудовищный магнит не отпускает меня, хоть уж нет мочи долее торчать в Венеции. Как тут быть, ума не приложу. Дама моя намеревается ехать со мной, но для ее же блага мне бы этого не хотелось. На сей предмет я столько раз в душе препирался с самим собою, что, кто его знает, не это ли вызвало лихорадку, о коей я упоминал. Нет слов, я очень привязан, и на то, поверь мне, есть свои причины. Но у нее есть ребенок; и так как она, подобно всем «детям солнца», руководствуется прежде всего чувством, то мне одному надобно думать за двоих; лишь такие благочестивые дамы, как N, могут позволить себе кинуть мужа и ребенка и при этом жить припеваючи и без хлопот.

Итальянская мораль — явление, неповторимое в своем роде. Женщины имеют о прелюбодеянии весьма своеобразное представление, что проявляется не только в поступках их, но и в разговорах. Нельзя сказать, чтобы прелюбодеяние не осуждалось, и очень резко, однако *любовь* (само это *чувство*) не только оправдывает порок, но даже возводит в *истинное достоинство*, если только это любовь бескорыстная, если она не каприз, если она преданна. У итальянок немыслимые представления о постоянстве; мне приходилось видеть древних старух на девятом десятке, о которых говорили, что их романы длятся уже сорок, пятьдесят, а то и шестьдесят лет. Не припомню ни единой супружеской четы, столько времени прожившей вместе.

Вечно и проч.

P.S. Марианна, которой я только что перевел все касаемое нас с нею, говорит: «Если б ты по-настоящему любил меня, не забивал бы себе голову всякими сложностями, которые годятся разве что *forbirsi i scarpe* — дословно: «чистить ботинки»¹. Такая есть в Венеции поговорка оценочного свойства, и она весьма применима ко всем случаям жизни.

¹ Зд.: гроша ломаного не стоят (*итал.*).

Драгоценная моя Августа! Я вернулся из Рима несколько дней тому назад, но писал тебе в пути — то ли из Флоренции, то ли из Болоньи. Последняя, как тебе известно — а может быть, и нет, — славится как родина пап, кардиналов, живописцев и колбас, а также как родина ученой дамы-анатома, оставившей по себе множество восковых скульптур собственного исполнения, иные даже не слишком безобразны. Надеюсь, что получил все твои письма, по большей части наполненные одними невзгодами, мигренями и страхами; я чувствую себя сбитым с толку, так как, ей-богу, никак не могу разобраться: то ли причина твоих несчастий сердечные муки, то ли боль в ухе, то ли ты сама хворашь, то ли болеют дети. Отчего, откуда эта скорбь, эти таинственные предчувствия — не из романов ли Каролины Лэм — или от слов миссис Клермонт — или от великодушия леди Байрон — или следствие какого другого источника лжи и фальши? Бог знает, какие печали снедают тебя в этот час. Хочу надеяться, что все плохое у тебя уже позади, ну а обо мне тебе вовсе не к чему беспокоиться. Я могу, как и всякий человек, быть болен или здоров, весел или грустен, в бодром ли, слабом состоянии духа, но я способен справиться со своими невзгодами гораздо успешнее, чем твой Дж. Л., этот образчик беспомощности, или мой тезка, бедняга Джордж Байрон, который с чужой помощью прекрасно сможет через год-два приспособиться к новому образу жизни. Хотел бы я знать, как эти двое повели бы себя, очутись они на моем, да и на любом другом месте. Джорджу твоему, он намного приятней мне из этой неприглядной парочки, я зла не желаю, однако ж того второго не скоро вычеркну из своей памяти, и если я когда-нибудь при определенных обстоятельствах прошу или позволю себе по случаю забыть свое отношение к поведению его (да и не его одного), тогда называй меня, как знаешь, но не думай только, что все мною забыто. «Пусть знают, что грядет расплата!» Рано или поздно Время и Возмездие будут на моей стороне, и тогда: «Пусть знают, что грядет расплата!» Разумеется, я имсю в виду не одного того подлеца, а всех их, и третье, и четвертое колено проклятых амалекитян, и ту женщину, которая явилась камнем преткновения в моем...

4 июня 1817 г.

Я остановился вчера на «камне преткновения в моем мидианитском браке», однако получил письмо твое от 20 мая и теперь

продолжу письмо в веселом расположении духа. Я надеюсь, тебе понравятся миниатюры, хотя бы одна из них, от которой так и пышет здоровьем; второе изображение, прямо скажем, весьма немошно — как, впрочем, был и оригинал его: пока позировал, меня сотрясала лихорадка. Под «модным мужчиной» ты, видно, имеешь в виду еще одного мерзкого и ненавистного мне субъекта, этого жалкого притворщика и кривляку Уилмота. Жаль, что я не пристрелил его, чему помешали уговоры со стороны, а также сама ситуация, которая могла бы вызвать всяческие выпады против меня в связи с процессом. Желаю тебе оправиться от недугов, надеюсь, они не слишком серьезны, иначе я не найду себе места от беспокойства.

Вечно преданнейший тебе Б.

Достопочт. Августе Ли

Венеция
21 сент. 1818 г.

Драгоценная моя Августа! Убедительно прошу тебя во что бы то ни стало передать это вложенное письмо лично леди Фрэнсис, а если будет ответ, пришли его мне. Можешь сперва написать ей, сообщить про мою просьбу и про это письмо, ибо с какой стати мне таиться, тем более перед *ней*. Очень прошу, окажи мне эту услугу, на то есть много причин.

Если королевы не станет, ты что же, не будешь больше фрейлиной? Аллегра здорова, но мамаша ее (будь она неладна!) примчалась на днях, перемахнув через Апеннины, навестить свою «*девчушечку*», чем вызвала бешеное возгорание моих венецианских возлюбленных (а они отнюдь не овечки!). Мне пришлось несладко, пока я не отправил ее в Эуганские горы, где она с дочерью и поныне. Не стал встречаться с ней из опасения, что это выльется в прибавление семейства; она еще с месяц будет с девочкой, затем уедет то ли в Лукку, то ли в Неаполь, где обитает вместе с родственниками (ты ведь знаешь, она англичанка), а Аллегру снова отправит в Венецию. Одолжил ей для материнских забот свой дом в Эсте. Поскольку беда не приходит одна, случилась и другая неприятность. Благочестивая супруга пекаря, разругавшись с тиранившим ее мужем, сбежала *ко мне* (богом клянусь, без приглашения!) и живет себе, несмотря на бесконечные слезы покаяния и мольбы о прощении, возносимые ею своему скорбящему всевышнему, невзирая на предупреждения полиции да к тому же священника местного прихода; клянется, что никто и ничто не заставит ее отступить от незаконного возлюбленного (то бишь меня). Уверяю тебя, я уж применил все

известные мне доводы, дабы убедить ее вернуться к мужу, улещая всевозможными уверениями вечной преданности, но она от этого только приходит в ярость. Девушка она двадцати трех лет, рослая, внушительных форм, с огромными черными глазами, неотразима, как прелестный дьявол, а степенностью поступи и осанки так и походит на вельможную даму, но в ней столько жарких страстей, что стоит им всколыхнуться — несдобровать любому итальянцу. Я немного побаиваюсь этого неожиданного приобретения. Вместе с тем дом мой она содержит в образцовом порядке и уже не однажды повергала премудрого Флетчера в такое смятение, что он терял остаток памяти; мы сделали ее домоправительницей. Поскольку в здешних местах нравы весьма свободны, женщины, а особенно ее родственники, хвалят, одобряют ее поступок. Тебе не стоит тревожиться, я знаю, как следует обращаться с нею, я могу управляться с кем угодно, кроме хладнокровного животного, коим является мисс Милбэнк. Хуже всего, что девушка не пускает ко мне в дом женщин, разве что старух и уродин. И столько уже отвадила, что прежние мои знакомые напуганы и обозлены. Девочку она прямо-таки обожает и сама весела и добродушна, если не ревнует, конечно. Тут и Отелло меркнет перед ее талантом. Родные дали ей прозвище *la Moga* из-за цвета кожи (она очень смуглая, хотя и не темнокожая), что означает буквально «мавританка»; итак, в доме у меня поселился венецианский мавр собственной персоной. Она живет у меня примерно месяц. Я знаю ее (как и еще полсотни таких же) более года, но никак не мог предвидеть, что все так обернется. Это произошло из-за худого обращения с ней болвана мужа, который теперь убивается и ревет, как бычок. Я говорил ему, чтоб забирал ее ко всем чертям, но она сама непреклонна; произнесла ему весьма пространную речь на венецианском диалекте, которая проняла бы любого, но только не его. Вот видишь, Гус, нет покоя в этом мире, потому будь умницей и покайся во грехах.

Графине Терезе Гвичьоли

Венеция

22 апреля 1819 г.

Бесценная любовь моя! Твое бесценное письмо я получил сегодня и впервые с момента разлуки испытал радость. В душе я ощущаю ту же полноту чувств, о которой пишешь ты в письме своем, но сколь нелегко будет мне выразить на твоём родном восхитительном языке в ответ на нежные слова твои все то, что более заслуживает доказательств на деле, нежели в словах. Однако льщу себя надеждой, что сердцем ты сможешь понять, ка-

кими словами и сколь страстно стремится *мое* передать тебе свои чувства. Быть может, люби я не столь пылко, что стоило бы мне выразить те чувства; тогда как сейчас мне тяжелей во сто крат, ибо надо описать невыносимые душевные страдания на языке, чужом мне. Прости мне ошибки, по уродливости слога поймешь ты, насколько изуродована жизнь моя вдали от тебя. Ты, моя единственная и последняя любовь, мое единственное счастье, радость жизни моей, моя единственная надежда, ты, которая, хотя бы миг один, принадлежала мне, ты покинула меня — и теперь, оставленный тобой, я одинок. Вот в двух словах и весь сказ про тебя и меня! Так устроена жизнь, и мы, как множество других, должны нести свой крест, ибо любовь счастливой не бывает; но мы с тобой несчастней всех, так как наши обстоятельства особые. Однако не хочу и думать об этом, будем любить —

... будем любить

И, в верности клянясь, любовью жить!

Когда Любовь не есть Властитель сердца, когда не все отдается ей, не все приносится в жертву, тогда это что угодно, пусть Дружба, только не Любовь.

Ты клялась мне в верности своей, я же не стану приносить тебе клятвы: жизнь покажет, чья преданность будет истинней. Помни, когда настанет время и чувства твои ко мне иссякнут, упреков ты не услышишь; да, я буду страдать, но тайно. Увы, мне слишком хорошо известно, что такое мужская душа, и еще, хоть и немного, знаю я душу женскую; я знаю, что чувства нам неподвластны, они — самое прекрасное и самое быстротечное, что дано нам в жизни. И если к другому обратятся те чувства твои, какие раньше обращались ко мне, скажи мне правду — я не стану докучать тебе, перестану видеть тебя, но, даже испытывая зависть к счастливому сопернику, не буду мучить тебя никогда. Одно лишь могу обещать: как ты признавалась мне, что я — первая твоя истинная любовь, так и ты, поверь мне, будешь последней страстью моей. Теперь, когда все кругом стало мне безразлично, можно почти не сомневаться, что иной любви у меня не будет. Прежде чем я узнал тебя, меня волновали многие, но ни одна так, как ты. Теперь я полюбил тебя, и ни одной женщины в мире более для меня не существует.

Ты говоришь, что льешь слезы над несчастной участью нашей; моя печаль глубока, но я не скорблю. Неизменно рядом с тобою я вижу образ человека, недостойного тебя; однако твой образ запечатлен в душе моей, он стал частью моей жизни, существа моего, и если есть жизнь иная, кроме этой, там ты тоже будешь моею — что мне Рай, если в нем нет тебя? Счастью на небесах без тебя я предпочел бы Ад, описанный Великим Челове-

ком, прах коего покоится в твоём городе; туда бы и ты сошла со мною, подобно Франческе с её возлюбленным.

Нежнейшее сокровище мое! Все во мне трепещет, когда пишу тебе, как все затрепетало во мне, лишь увидел тебя впервые; в тот миг, как никогда, сладостно забилося сердце мое. Мне так много хочется сказать тебе, не знаю лишь, как выразить все словами, хочется усыпать тысячью поцелуев — и, увы, донести до тебя столько вздохов! Люби меня — не так, как я тебя, ибо это сделает тебя несчастной, не так, как заслуживаю я, ибо это слишком мало, — но так, как велит тебе твоё сердце. Не сомневайся в чувствах моих — я люблю и всегда буду трепетнейше любить тебя.

Байрон

P. S. Как завидую я этому письму, оно счастливее меня: всего через несколько дней его коснутся твои руки и, быть может, даже поднесут его к губам. С надеждой на это целую его, перед тем как отправить. Прощай, душа моя!

23 апреля, 4 часа

Только что пришли два твоих письма! Нерегулярность почты большое для нас обоих несчастье; но, ради бога, любовь моя, не утрачивай веру в меня. Если нет от меня никаких вестей — уж лучше сочти, что нет меня в живых, чем упрекай в неверности и неблагодарности. Скоро отвечу на драгоценные письма твои. Ну вот, почта отъезжает, целую тебя десять тысяч раз.

[В последней приписке рукой Байрона выведено:]

«Писано апреля, 22-го дня, 1819 г.

Апреля, 28-го дня, 1820 г.: перечитал это письмо в Равенне через год, насыщенный замечательными событиями».

Графине Терезе Гвичьолли

11 июня 1819 г.

Любовь моя! Бога ради, наставь, как мне вести себя в подобных обстоятельствах. Я не знаю, что лучше всего предпринять. Думаю остаться здесь до твоего отъезда, затем найти способ свидеться в Болонье, а затем в Ферраре. Но все будет так, как ты скажешь. Вся жизнь моя теперь в твоих руках. Покой мой и так уж потерян — но лучше смерть, чем неизвестность. Прошу тебя, прости и пожалей меня! Вспомни, я приехал сюда по твоему ве-

лению и каждый миг, когда я не... Но что толку об этом. Нет слов, до чего я несчастен. Да, я вижу тебя — но как? при каких обстоятельствах?

Я до смешного пытался отвлечь себя любованием античностью — но это невыносимо скучно, да и сейчас мне все вокруг немило. Та малость, какой занят я — Дантова могила да кое-какие рукописи в библиотеке, — уже просмотрена мною с тем безразличием, что можно объяснить лишь состоянием души моей. Сама видишь, с обществом я не знаюсь, лишь только ищущих путей сближения с тобою — но как их найти? Ты вечно в окружении: Италия — чужая мне страна, Равенна — город тем более незнакомый, в местные обычаи я мало посвящен и боюсь скомпрометировать тебя. Что касается меня, то мне бояться нечего — судьба моя уж решена. Нет больше сил моих жить в подобной муке, пишу тебе со слезами на глазах, хоть я и не из тех, кто легко готов разрыдаться. Мои слезы льются из души, я плачу кровавыми слезами.

Только что (в полночь) получил я твои письма и платок — и немного успокоился. Я выучусь исполнять все твои повеления.

Продолжаю писать, ни слова не вычеркнув из написанного, чтоб видела ты, в каком аду пребывает душа моя с момента моего приезда.

Если бы ты знала, что мне стоит сдерживать себя в твоём присутствии! Но больше не стану об этом — будем надеяться, что со временем я научусь притворству. Ты пишешь о «моих жертвах» — ни слова более! Я уже принес свое сердце в жертву тебе, более нечего мне предложить. Одного твоего слова довольно, и я покорюсь и отправлюсь не только в Болонью — хоть в могилу.

Положись на меня, как и я полагаюсь на тебя, смущают лишь сложности обстоятельств наших. Хотелось бы надеяться — но, но... вечно это НО! — куда надеешься и ты, только и всего.

Благодарю тебя, обнимаю, целую тысячу раз.

P. S. Отчего прислала ты мне обратно платок? По метке судя, это тот самый, что я дал тебе в тот вечер перед твоим отъездом. Я бы тебе не возвратил даже нитки с платья твоего, всегда она со мной, и с нею я богаче всех на свете.

Достопочт. Августе Ли

*Равенна
26 июля 1819 г.*

Драгоценная моя Августа! Из моей дали грешно браниться, но все же хочу спросить: является ли твое письмо от 1 июля *отве-*

том на то, что написал я тебе перед отъездом из Венеции? Что такое? Как же это могло случиться! Неужто памяти ты лишилась? А может, сердца? Раньше чувства *не изменяли* тебе — как и мне мои, хотя бы к тебе.

Пишу в надежде, что ты получила то письмо. Оно напугало тебя? Не стоит страшиться того, что было; все заняты сами собою, что им за дело *до нас*, а потому пиши, не тревожься. Станешь писать, адресуй, как всегда, в Венецию. Дом мой теперь не на площади Св. Марка, а на Гранд-Канале, с видом на мост Риальто.

Мне вовсе не нравится, что ты жалуешься на боль в боку, поневоле вспомнишь о болезнях матери твоей. Важней, чем забота о тебе, нет у меня иных забот. Может, мне приехать к тебе? А может, теплый климат тебе полезен? Если да, скажи лишь слово, и я обеспечу тебя и все твое семейство (равно и такой бесценный багаж, как твой супруг) всем необходимым для поездки. За меня не волнуйся. Я сильно изменился, теперь не стану причинять тебе столько хлопот и досаждать своим обществом сверх меры не буду. Спустя три с половиною года — и каких! к тому ж вспомни тот год, что всему предшествовал! — сознаюсь, я был бы счастлив вновь свидеться с тобой, и если для тебя это тоже счастье, то я приеду. Прошу тебя, ответь и не тревожься, во всем я буду поступать, как ты пожелаешь, даже если придется вернуться в Англию, куда ни за что бы не соблазнился отправиться, живи ты в ином краю...

Пишу из Равенны. Я оказался здесь из-за графини Гвичьоли, двадцатилетней особы, которая около года назад вышла замуж за весьма богатого шестидесятилетнего старца. Минувшей зимой у нас с ней началась *связь* в духе доброй старой итальянской традиции. В мае у ней случился выкидыш, она послала за мной, и вот я здесь уже два месяца. Она прелесть, большая кокетка, крайне тщеславна, восхитительно жеманна, весьма неглупа, абсолютно беспринципна, обладает немалой фантазией и страстностью. Из тщеславия она вбила себе в голову извлечь меня из Венеции, и это ей удалось; к тому ж ее выздоровлению чрезвычайно способствовало то, что она сделалась предметом всеобщих разговоров. Супруг ее — один из богатейших представителей здешней знати, он в три раза старше ее. Это третий его брак. Можешь вообразить, какую репутацию я приобрел благодаря ей! Впрочем, не исключено, что это обоюдно. У меня здесь лошади, так увлекательны прогулки верхом по здешним лесам! Прогулки верхом, езда в экипаже, который тоже здесь, близость моря, чтение, возлюбленная — время мое проходит незаметно. Я обожаю ездить верхом и ощущать себя *вдали* от Англии. Я ненавижу ваш Гайд-парк, ваши наезженные дороги, мне нужен

простор — леса, холмы, долины. Противно, когда *известно*, куда ведет дорога, когда по пути маячат надоедливые указатели, когда какой-нибудь мерзавец стоит у обочины, клянча два пенса.

Шлю тебе сонет, который сия верная супруга сочинила на бракосочетание одной своей родственницы и в котором клянется в самой что ни на есть *трепетной преданности* своему благоверному. Ну не мило ли? Можешь себе представить выражение лица моего, когда она показала мне свое творение. Не мог сдержать смеха — *нашего*, фамильного. Все это изумительная чушь, однако, как видишь, в глубине души я высоконравствен.

Она, как и я, ездит верхом, но создает при этом столько суеты, ибо править не умеет, и ее конь на скакивает сзади на моего, пытаясь куснуть его, и тут она, являя в своей высоченной шляпе и небесно-голубой амазонке вид пренелепейший, поднимает визг, чем приводит в замешательство и меня, и конюхов своих, которые сломя голову кидаются к ней, боясь, чтобы не свалилась с лошади; а то еще она умудряется, цепляясь за ветки и сучья в сосновой роще, рвать себе платье. Я слегка увлекся ее наперсницей, некой Гельтрудой (то есть Гертрудой), она весьма юна и, сдается мне, весьма предрасположена к коварству; но — увы! — супруг у ней ревнив, а эта самая Г. уже проявила внимание ко мне недозволенным пожатием руки, вследствие чего была выслана в Болонью на несколько дней, и по возвращении ее я смог лишь дважды ее увидеть, да и то в сопровождении свекрови, этого дьявола во плоти, и варвара мужа, не говоря уж о моей собственной дражайшей Амиса¹, не признающей никаких любовных игр, кроме собственных. Но есть один священник, он расположен ко мне, да и Гертруда столь выразительно посматривает на меня черными своими глазками, что, кто знает... Но увы! Придется, видно, от всего этого отказаться. Ну, вот тебе некоторый отчет о моем теперешнем бытии. Путеводитель расскажет тебе о Равенне. Не знаю, как долго еще пробуду здесь. Пиши, люби меня, как раньше.

С любовью и нежностью Б.

P. S. Мой нынешний роман ни в малейшей степени дорого мне не обходится, хотя все и поставлено на широкую ногу; однако влечет немало волнений, ибо дама моя имеет властный и требовательный нрав. Все же есть надежда, что мы разругаемся. Дам тебе знать, лишь только это произойдет.

¹ Подруге (*итал.*).

[С вложением стихов одного немецкого поэта]

Посылаю с этим письмом полученный мною, кажется из Гольштейна, пакет от баронессы Хоэнхаузен и вложенное туда письмо господина Якоба (или Якобсена) и, так как эти господа «настоятельно желают переслать тебе все это», извещаю о том тебя. Как и у меня, у тебя вызовет улыбку то, сколь много значения они придадут всему этому и как ожидают необыкновенного впечатления, которое произведет это творение, но германцы — нация молодая и романтическая, они пребывают в мире идеалов. Надеюсь, тебя не оскорбит, а быть может, и вызовет твое удивление, что добропорядочный народ датских рубежей принимает участие в твоей личной жизни, слухи о которой, сдается мне, уже облетели всю Европу и распространяются на разных языках без всякой пользы нам обоим. Если пожелаешь получить послание, достаточно лишь сообщить сестре, что мое письмо ты прочла. Прежде чем закончить, хочу написать тебе вот о чем. Флетчер жаловался мне на твой отказ дать жене его рекомендательное письмо по причине твоих «сомнений в ее честности, чему способствовали некие обстоятельства перед самым ее уходом от тебя». Если это намек на показания ее на бракоразводном процессе, то кому, как не тебе, следовало бы или хотя бы естественно было бы явиться истинным судьей правдивости всего сказанного ею. Я же только могу утверждать, что никогда она ни прямо, ни косвенно не побуждалась мною говорить противное истине, к тому же, даю слово, я не предполагал, что она скажет, не виделся с нею и не писал ей ни тогда, ни после. Надеюсь, ты взвесишь все как следует и поступишь по справедливости, чтобы не лишать эту женщину возможности заработать кусок хлеба. Я, как никто, понимаю, что мои доводы в том ли, в каком другом деле — пустой звук для тебя, но все же пишу, выполняя долг свой перед Истиной. Выполни же и ты свой.

Дата моего письма, как и само письмо, быть может, вызовут в тебе удивление, но я вот уже с начала июня не в Венеции, а перебрался в Романью; здесь знаменитый лес, описанный Боккаччо, неподалеку места, воспетые Драйденом; Адриатика близко, а за каменной оградой могила Данте. Собираюсь как раз отправиться на прогулку верхом (ибо, покинув Англию, вновь вернулся к прежним татарским привычкам) в сумеречной прохладе, под сенью деревьев, вплоть до самой вечерни. У меня есть с собою седло и лошади; когда не жарко, отчего бы не попользоваться ими. Однако, думаю, скоро вернусь в Венецию. По-

жалуй, как никакой другой город Италии, Равенна хранит древние обычаи. Расположена она вне путей, по которым движутся странствующие и воюющие, потому жители здесь смогли во многом сохранить самобытность. По большей части они заняты любовью, изредка убивают друг друга. Глава местного управления здесь кардинал-легат (легатом был здесь и Альберони), ему я был представлен, и он позабавил меня восхитительными анекдотами из старых времен — про Альфиери и прочих ему подобных. Попытался я было разыскать для Ли Ханта следы Франчески, но, кроме могилы отца ее Гвидо да простого упоминания об этой истории в латинском комментарии Бенвенуто да Имола в библиотечных рукописях, ничего не нашел. Он [Хант] допустил досадную ошибку, написав: «Древней Равенны явственно видны башни, залив»; город расположен в такой низине, что надобно чуть ли не вознестись над ним, чтоб «явственно видеть» башни, а море давным-давно, задолго до появления на свет Франчески, еще с эпохи экзархов и императоров, отступило по крайней мере на четыре мили от города. Мне говорили, что и в Римини, как и в Равенне, теперь мало кто знает о Франческе, потому туда я не поехал; Римини лежит по дороге на Рим, а в Риме я был в 1817 году. Не странно ли, ведь в Венеции обнаружил я столько примет древности, да и в Ферраре хранится столько утвари из замка д'Эсте, даже осколки того самого зеркала, желание посмотреться в которое стоило столько жизней, включая жизнь Паризины и Уго. Напрасно я польстил этим двум грешникам, поместив их в сад. Паризина происходила из рода Малатеста да Римини, и дочь ее от Никколо д'Эсте была почти таким же образом, как и мать, умерщвлена своим супругом, итальянским дожем. Имя ее — Джиневра. Итак, считая и брак Франчески с Ланселотом Малатеста да Римини, этот самый род Малатеста, оказывается, весьма несчастлив в своих брачных предприятиях — пишу тебе так пространно потому, что, уж раз решился, почему бы не написать побольше. Уж много месяцев не слыхал ничего об Аде, хотя считается, что отсутствие новостей — хорошая новость; сейчас ей должно быть три года и почти восемь месяцев. Тебе следовало бы обучать ее итальянскому, как только придет ей пора заниматься другим языком, кроме родного, и, умоляю, пусть учится музыке, если только обнаружит к этому склонность. Надеюсь, то, что итальянский — язык тех мест, где я нахожусь, не послужит препятствием для удовлетворения моей просьбы в свое время.

Остаюсь, и проч. Б.

Милый Хобхаус! Последнее твое письмо оказалось от начала июня. Что стряслось с тобой? Неужто тебя сразила пуля майора Картрайта? Или ты болен ангиной? Или пишешь полемический ответ Эрскину? Полагаю, ты нынче один из самых рьяных выкраивателей литературного материала по «меркам» реформаторов. Иногда попадают мне, то в случайной газете, то в «Галиньяни», то в «Лугано газетт», твои выступления, а также мелькает имя твоё в названиях питейных заведений; тут и эта повивальная бабка Бикерстит, и целый набор достойнейших личностей подобного свойства; как скажет майор Стерджон: «Несравненный букет милейшего содружества». Очень прошу, напиши мне о себе.

Сестра моя сообщает, что «Скроуп выглядит нездоровым и подавленным», что уже не чувствуется в нем прежнего благополучия, и она опасается, что дела его далеки от привычного успеха. Неужто так? Полагаю, дело это темное, но он единственно сумеет по достоинству оценить друзей своих лишь в случае обрушившейся на него напасти. Мне он не писал с зимы, с конца прошлого года. Что там с ним?

Человече Дугл известил письмом о своей сделке с Мерреем: если он (т. е. «Д[он] Ж[уан]») потерпит провал, выплачивается громадная сумма; если будет успех, то совсем малость, около пятисот гиней — монетами или в слитках. Донни Джонни иль сразу мощно прогремит, иль тотчас будет позабыт, третьего не дано — по крайней мере мне так кажется. Из «Галиньяни» узнал, что отпечатали «Мазепу», а мне ничего не известно, никто ни слова не сообщил, как и о «Жуане». А что происходит с «Одой Венеции»? Я развел здесь бурную деятельность, дабы приобрести копию латинского комментария Бенвенуто да Имольи к Данте, до сих пор неизданного, совершенно *inedita*¹. Мне обещали помочь.

Плаваю в Адриатике, прогуливаюсь верхом по сосновой роще Боккаччо; лес изумительный, «он дышит древностью и щедростью природы»; я убедил свою графиню проехаться амазонкой на пони ее sposo²; мы скачем вместе с нею — она в высокой остроконечной шляпе, как у балаганного шута или же веселой виндзорской проказницы миссис Форд, и походит в своей небесно-голубой воздушной амазонке на тень бабушки Пролога. У капитана Файлера я недавно купил коня (он, как и прочие,

¹ Не готового к печати (*итал.*).

² Супруга (*итал.*).

здесь при мне), конь этот знатный прыгун, и я забавляюсь тем, что заставляю кучера ее на неповоротливой кобыле припускать за мною через рвы и канавы, к чему тот совершенно не приспособлен в своих неуклюжих ботфортах и не будучи искушен в подобных упражнениях. Тебе бы понравился лес, он тянется отсюда до самого Римини.

Вот уж два месяца я здесь, и пока все идет отлично, за эксерта¹ единственно всплесков *gelosie*², чему виной здешний климат и союз двух таких своенравных натур, как итальянка Гвичьоли и *Inglese*³, однако обходится без ножевых ран и подмешивания яда. Последнее преступление — покушение на комиссара полиции — произошло здесь три месяца назад, вечером, на темной улице; однако теперь комиссар понемногу оправляется от многочисленных пулевых ранений — стреляли из-за угла из аркебузы, ружья наподобие ирландского. Этот да еще случай с Мандзони, который незадолго перед тем был заколот насмерть в Форли по дороге в театр, пока единственные за последнее время. Убийства — здешний обычай, и это не намного хуже дуэли, когда один человек решает (что для природы открытой обходится не без определенной доли риска) избавиться от другого, ненавистного, опасного или неудобного; да и что прикажете делать, когда соперник невыносим? Здесь, как и всюду, приходится учитывать плюсы и минусы — и дуэлянт рискует, и убийца; убийство имеет с дуэлью общую цель, однако разные средства. Что же до такого предрассудка, как честь, в Италии это не столь существенно: тебя оскорбили, ты вознамерился убить обидчика, что понятно и естественно. *Способы?* Разумеется, самые простейшие; изощренность убийства зависит от степени просвещенности убийцы.

Позволяю себе быть великодушным в подходе к этому вопросу, так как вижу себя скорее объектом, чем свершителем подобного деяния. Среди знакомцев моих могу назвать лишь одного, кого бы я рискнул, впад в искушение, отправить к праотцам, но он не итальянец и не живет в Италии, потому, нет сомнений, он не сунется в Романью, пока я там; ибо если сунется, тогда и речи быть не может, что какие-либо светские предрассудки способны удержать руку истинного джентльмена от возмездия. К тому же есть обиды, которые вызывают в душе такую ненависть к обидчику, что жаль ради него рисковать собственной жизнью (исключая, конечно, законный путь, который по сути своей есть компромисс), и тогда не остается иного, как обрушиться на любую другую гадину.

¹ Исключением (*лат.*).

² Ревности (*итал.*).

³ Англичанин (*итал.*).

Вернемся же к Данте (у кого ты обнаружишь превосходный панегирик отмищению): его могила в пятидесяти ярдах от моего *Iocanda*¹; статуя и надгробный камень сохранились неплохо, но снаружи обычная современная беседка.

Утверждают, что дом, расположенный сбоку через улицу, и есть тот самый, где он жил, однако это всего лишь слухи, насколько удалось мне выяснить; между тем дом достаточно древний, чтоб служить обителю Гонориусу. Полентани, патроны Данте, погребены в церкви позади могилы его, но никаких признаков, никаких свидетельств Франчески ни здесь, ни в Римини нет, лишь просто утверждение — что, надо думать, чистый вымысел, — будто оба именно там и убиты. Хант чертовски заблуждался, когда писал: «Древней Равенны явственно видны башни, залив». Море с незапамятных времен, еще с эпохи экзархов, отступило от города на пять миль, что же до «явственно видных» башен, то город расположен в совершенной низине, и надобно подняться над ним, чтоб эти башни увидеть, да только с высоты вообще можно как следует видеть город.

Меня представили кардиналу-легату, очень славный старик, я мог бы перезнакомиться со всем здешним светом, но предпочитаю жизнь уединенную и ограничиваюсь житьем «при всем честном народе» со своей возлюбленной, ее супругом, его отпрыском от прежнего брака, отцом ее и наперсницей, дамой весьма очаровательной, тоже из знатных, по имени Гертруда Викари, но у которой между тем муж-ревнивец — «престранный кентавр», как называет Гиббон одного теософа. Но в истории супруг ее не силен.

Еще я влюблен в девицу на выданье по имени Урсула, прелестнейшее из всех известных мне созданий; однако ее невежественная мать, заподозрив как-то, будто дочь дарит мне из своего окна улыбки, с тех пор принялась следить за нею, и так как до сентября Урсуле замужество не грозит, надежды я не имею. Все же попытаюсь действовать через одного знакомого священника (не ради брака своего, как ты понимаешь!) и кое-кого еще, чтобы сдвинуться с мертвой точки.

Вот тебе бесценный материал для пересудов. Только и всего могу сообщить я о *fatti miei*². Все-таки есть у меня Г. (ради которой я и присхал сюда). Что мне еще сулит судьба, не знаю, но хотелось бы узнать. Здесь красоток гораздо больше, чем в Ломбардии. Канова отошла теперь к Австрии.

Вечно и проч. преданный тебе Б.

¹ Зд.: Обиталища (*итал.*).

² Деяниях моих (*итал.*).

P.S. 31 июля. Есть определенная надежда, что Урсула достижима, она выказывает мне расположение. Знаешь ли, что случилось с лордом Киннэрдом в Фаэнце? Когда он возвращался в Милан, его экипаж остановили, надеясь обнаружить в нем известную Бьянчи (танцовщицу и его содержанку), полагая, что она, нарушив свой контракт с организаторами ярмарки в Синигалье, возвращается в Ломбардию. *Lege, Dick, lege*¹. Оказалось, ошибка. Танцовка пляшет на ярмарке.

Одна старая римлянка восклицала, читая Боккаччо: «Ах, кабы таковы были все наши молитвы!»

Джону Кэму Хобхаусу

Болонья .

20 августа 1819 г.

Мой дорогой Хобхаус! Последнее время все нет от тебя вестей, но не стану корить тебя, ведь если была какая радость, ты первым бы сообщил мне о ней. Я писал тебе дважды или трижды из Равенны, теперь я в Болонье. Однако пиши мне все же в Венецию.

Время провожу в удовольствии, предаваясь пороку; мне уже тридцать один год, так мало осталось в жизни лет, месяцев, дней, что уже не довольствуюсь девизом *sagre diem*. Приходится считать даже секунды, ибо разве можно знать, что будет *завтра*? Какое завтра — сегодня, *сию минуту*! Не столько могу упрекнуть себя (хоть зачастую и пытаюсь) в том, что сделал, как в том, чего сделать не успел. Увы! Я погряз в праздности, и мне грозит ранний закат и безвозвратная утрата стольких драгоценных мгновений самой благодатной человеческой поры. Горько это сознавать, и все тяжелей мне будет со временем превозмогать уныние, в которое, можно не сомневаться, будет повергать меня подобная мысль. Философствование тут не поможет, попробуем действовать.

По слухам и из газет доходит до меня, что в Англии реформы, что «никогда еще не знала страна таких тревожных времен, для полиции в особенности». Пропечатали мистера Берча из Стокпорта. Нередко мелькают статьи Ханга или Харрисона, а также сэра Чарлза [Линси] Вулси, но отчего не слышно ни тебя, ни Бердетта? Печатают даже «почтенного» Картрайта — зачем не лишил ты существования этого долгожителя? Уверю тебя (хоть страсть к дуэлянтству, в которой ты обвинял меня в кофейне Стивенса, давным-давно перешла в неявное желание заняться попросту убийством сугубо личных врагов), я бы с вели-

¹ По правилам, Дик, по правилам (*лат.*).

чайшим наслаждением изрешетил старца Картрайта, как мантонскую мишень. Другого такого старого идиота, который бы с таким апломбом нес всякую несусветицу, обливая помоями и стара и млада, пожалуй, трудно сыскать. «Запечатать во гроб!» — как сказал Фрнсис над телом скончавшейся супруги.

Чем подумываешь теперь заняться? У меня есть два плана: первый — посною Англию, второй — отправиться в Южную Америку. Европа ветшает на глазах, к тому же все здесь так однообразно; американцы же молоды, как и их страна, и неистовы, как земля их, будоражимая землетрясениями. Ко всему прочему, я восхищен генералом Пэром — он доказал, как прав был дед мой в оценке патагонцев, — а также его грандиозной кавалерией.

Возможно ли, что Дугл из Епископата найдет покупателя на Рочдейль?

Ступлю я на американский брег (со мною Флетчер, просвещенное вьючное животное), стану владельцем одной из вершин в Андах или какой-нибудь бескрайней равнины, этакого необъятного простора, желательно там, где случаются землетрясения.

Неужто жена моя бессмертна? Неужто мать ее никогда не умрет? Ужели отец ее вечен? Что ты подельываешь? Судя по твоему молчанию, женился и осел в деревне.

Твой Б.

P.S. О «Дон Жуане», кроме того, что в двух письмах Меррея, не знаю ничего; первое письмо весьма нервно, второе поспокойней.

Я в полном неведении относительно судьбы поэмы, и, судя по тому, что ты молчишь, ничего хорошего ждать не приходится. Ну да бог с ней! Убежден, как архиепископ Гренадский, что никогда не писал так хорошо, как сейчас; желаю всем вам, чтоб улучшился вкус ваш, однако высылать пистолеты не спешу.

Графине Терезе Гвичьоли

Сентябрь, 1819 г.

Умоляю тебя не выпускать эту вещицу из рук. Так как ты не знаешь, как она открывается, я положил «отца» и «сына» внутрь коробки, «мама» осталась на своем месте. Посылаю тебе ее потому, что ты велела, однако без особой охоты. Я не доверяю тем, кого не знаю; тем же, кого успел узнать, доверяю не слишком. Так подсказывает мне жизненный опыт. Addio.

[Подпись неразборчива]

Милый Меррей! Очень буду рад Вашим бульдогам: у меня только здешние собаки, и хоть они и хороши, весьма подвижны и исполнительны, да не так крепки их зубы, не так сами они надежны и выносливы, как псы — мои соотечественники, а потому, прошу Вас, отправьте их самым удобным и доступным способом, пожалуй лучше всего морем. Киннэрд оплатит их путешествие и выделит нужную сумму Вам или капитану Файлеру.

Король наш, слышал я, отправился в мир иной: нельзя не испытывать грусти по этому поводу; хоть слепота и беспамятство не составляют счастья человеческой жизни, не убежден, однако ж, что при всем этом королю не жилось лучше, чем иным из его подданных.

На коронацию я приезжать не собираюсь, хоть и не отказался бы взглянуть на это действие, в котором и мне уготована роль марионетки. Но развод мой с леди Байрон, отсекивший меня от всего того, что составляло прежнюю жизнь, послужит и тут препятствием моему присутствию на церемонии.

В субботу послал Вам в четырех пакетах третью и четвертую песни «Д[он] Ж[уана]», примите во внимание, что мы с Вами эти две песни будем считать за одну, третью, из двух частей, поскольку получилось очень длинно. Не забудьте и не вздумайте, что это продиктовано иными соображениями. Всего там строф 225 или что-то в этом роде да гимн на 96 строк, не длиннее, чем каждая из первых двух песен; по правде говоря, первые я слишком растянул, их следовало бы сократить, если бы я вовремя спохватился. Впредь уж если считать количество, так лучше не песнями, а строфами или строками: таков метод Джекоба Тонсона, и я считаю его предпочтительнее — он точнее. Я, должно быть, отправил Вам с дюжину песен, по сорок строф каждая — у Битти в «Менестреле» не длиннее, — вот Вам сразу и разорение, а ну как не сдюжите; но все же помните: никаких у Вас, как Вы пишете, обязательств предо мною нет, и даже если посчитаете эти две песни только за одну (на чем я настаиваю), Вы вольны менять свои условия; мне кажется, так будет справедливо для нас обоих.

Я закончил перевод песни первой «Morgante Maggiore» Пульчи, перепишу его и вышлю: поэма породила не только Уискрафтов, но и всю комическую итальянскую поэзию. Непременно напечатайте перевод вместе с итальянским оригиналом, так как хочется, чтобы читатель сам мог судить о соответствии: перевожу строфа в строфу, а нередко строка в строку, даже слово в слово.

Вы просите написать книгу про итальянские обычаи и проч.: быть может, мне повезло более, чем многим моим соотечественникам, ибо я живу среди итальянцев и в таких местах, куда англичане ранее не попадали (это прежде всего Романья и Равенна); но много есть причин, отчего не хочу я касаться этих тем в печати. Я жила в итальянских домах и в самих семьях порой в обычной роли *Amico di casa*¹, а порой в роли *Amico di cuore*² сеньоры, но не уверен, стоит ли у нас обнародовать и ту и другую ситуацию. Их мораль, как и образ их жизни, отличны от английских, Вам их не понять: итальянцы совсем не похожи на хорошо известных Вам соотечественников, а также французов и германцев. У них все иное — и воспитание при монастырях, и служение кавалеров Даме, и весь образ жизни; их несходство с нами ощущается тем резче, чем теснее с ними общаешься; так что я и не знаю, поймете ли Вы народ, который вместе склонен к аскетизму и к распутству, вдумчив по натуре и фигляр в веселье, столь искусен в чувствах, страстях, как мгновенных, так и непреходящих (чего не встретишь у иных народов), и кто на самом деле не имеет того, что принято у нас именовать «обществом», и это явствует из их комедий: в Италии, даже у Гольдони, не сыщешь истинной комедии, так как нет общества, питающего их.

Их *Conversazioni*³ нечто совсем особое. Ради общения итальянцы ходят в театр, однако в гостях больше слушают, чем говорят. Женщины садятся в кружок, мужчины собираются группами, играют в скучное *Fago* или *Loto reale* на мелкую монету. Академия их нечто вроде наших концертов, только музыка у них лучше да поразнообразней. Самое восхитительное в Италии — это карнавалы и балы-маскарады, полтора месяца все веселится, как безумные. В завершение обедов и ужинов сочиняют стишки-экспромты, потешая друг друга, — но подобный юмор Вам, человеку Севера, покажется диким.

В домах их милее. Уж я знаю, что говорю, так как в целом имел славный опыт общения с итальянками — от жены рыбака до *Nobil' Donna*⁴, которой в данный момент служу. В поведении женщин есть свои правила, отражающие их представления о морали и приличиях; это целая научная система, некая любовная игра, допускающая и некоторые отклонения и длащаяся, пока не надоест. Женщины крайне привязчивы и безумно ревнивы; если это в их силах, даже препятствуют любовникам своим всту-

¹ Друга дома (итал.).

² Друга сердца (итал.).

³ Зд.: присмы (итал.).

⁴ Знатной дамы (итал.).

пать в брак и повсюду открыто держат их при себе как личную собственность. Иными словами, преобразуют свой брак в адюльтер, изымая из известной заповеди частицу «не». Причина в том, что замуж выходят по воле родителей, любовника же выбирают сами. Требуют от него верности как свидетельства долга чести, в то время как с супругом расплачиваются по обязательству сделки, хотя на деле и того не случается. Мужчину или женщину оценивают не как супруга или супругу, но как любовника или любовницу. И... и... но хватит! Хотя я и исписал целый лист, все же не думаю, что стоит продолжать, могу лишь на разные лады перепевать вышесказанное. Надобно добавить, что при всем этом к мужьям отношение в высшей степени почтительное, не только со стороны дам, но и со стороны их *Serventi*¹, в особенности если муж сам никому, кроме жены своей, не служит (что случается, однако, не часто). Словом, нередко со стороны все это напоминает семейную идиллию — *Servente* словно бы выступает членом семейства. Порою дамы взбрыкивают и сбегают от мужей, или мечутся из стороны в сторону, или закатывают истерики, но обычно такое случается в самом начале, когда женщина еще неопытна, или заводит роман с чужеземцем, или попадает в какую иную необычную ситуацию; но неизменно подобное поведение рассматривается как нежелательное и вызывающее.

Вы спрашиваете насчет «Пророчества Данте»: я перевел не более шестисот строк, но на досуге «попророчествую» еще.

Насчет бюста мне ничего не известно. Насколько я знаю, тут ни приличные камеи, ни печати нигде не изготавливают. Хобхаусу стоит самому написать Торвальдсену: бюст был изготовлен и оплачен три года тому назад.

Очень прошу, передайте миссис Ли, чтоб попросила леди Байрон ускорить дела с денежным переводом, чему противится Хэнсон, ибо имеет виды на помещение капиталов какого-то своего клиента, с чем никак не могу согласиться. Отправляю с этой почтой деловое письмо леди Б., адресованное ей через посредство Д. Киннэрда.

Кто-то прислал мне из Америки ругательную прессу по поводу «Мазепы» и «Оды», в дальнейшем я стану прославлять только Канаду, дезертирую под сень Альбиона.

Ходят слухи, что г-н Х[обхаус] после смерти короля выставит свою кандидатуру в Вестминстер; буду счастлив услышать, что он выставляется где угодно, только не у позорного столба, что весьма вероятно, учитывая, какую компанию он завел себе в последнее время (я не говорю, разумеется, о Бердетте, Дугласе

¹ Слуг-кавалеров (*итал.*).

К. и прочих благороднейших из реформаторов). Я был от души счастлив, что его судили не за кражу, а по клевете. Ведь могли же, хотя в случае с Хобхаусом это и маловероятно, спутать его во время заседания с кем-то другим! Мысли об этом, как и о том, где он сейчас находится, так печально отдают Ньюгейтом, что, право, довольно об этом. Нет сил больше смотреть, как мои друзья отдают себя на заклатие ради презренных замыслов этой кучки подлецов — хоть и сам я всегда был сторонником реформы и голосовал за нее. Если бы Хант обратился ко мне в подобном тоне, как к г-ну Х. на прошлых выборах, я бы счел ниже своего достоинства посылать вызов подобному ничтожеству, кто и драться-то неспособен. Попросту заколол бы его шпагой, как собаку, а уж потом послал бы вызов тому, кто этого заслуживает и кто, я надеюсь, оценил бы его по достоинству. Во всяком случае, сделал бы благо обществу на манер того, что совершил Уолворт, убивши Уота Тайлера. Уж если обречены мы иметь над нами тирана, пусть хоть он окажется преданным делу джентльменом и пусть падем мы под ударом топора, а не мясницкого ножа.

Пока меня не трогают — нет в мире существа, кто бы с таким отвращением или с таким безразличием, как я, относился бы к политике. Когда же настанет пора выбирать, на чьей я стороне, я не стану спешить присоединить голос свой к целям тех отщепенцев, хотя не могу не поддержать идею очищения конституции нашей от многочисленных извращений.

Лорд Джордж Гордон, Уилкс, Бердетт и Хорн Тук — господа просвещенные и весьма достойные; таков и Хобхаус. Что же до прочих, клянусь, Робеспьер мальчишкой, а Марат святошей покажутся рядом с ними, если они прорвутся к власти.

Вечно Ваш Б.

Томасу Муру

*Равенна
24 мая 1820 г.*

Написал тебе несколько дней назад. К тому ж у Меррея ждет тебя мое январское письмо, из которого узнаешь ты, отчего я в Равенне. Меррей должен был отправить его тебе давным-давно. Посылаю взволновавшее меня до глубины души письмо одной твоей соотечественницы, живущей в Париже. Быть может, ты проявишь великодушие и примешь в ней участие, и я помогу ей, чем могу — только не тем немислимым путем, коего она требует. Письмо свое, видно, она писала не обдумывая, оттого и получилось так естественно, даже ошибки и те наивные.

Подумай только, больная, брошенная всеми, эта бедняжка, как за спасительную соломинку, хватается за переводы твоих да моих виршей на французский! Кто бы мог вообразить такое! Думаю, на это решиться можно разве лишь с отчаяния. Прошу тебя, разберись и дай мне знать, а также напиши, сможешь ли у своего банкира выписать чек на несколько сотен франков на мое имя? Я непременно возвращу их тебе — будем надеяться, что она не вымогательница. Если не можешь, сообщи, тогда мне, возможно, удастся перевести кое-какую сумму из Болоньи через банкира моего Лонги, ибо я лично ни с кем в Париже в переписке не состою. Да вели ей, чтоб не смела переводить стихов, это будет верхом неблагодарности с ее стороны.

Получил я письмо (иного рода, но по-французски и лестное для меня) от парижанки, некой мадам Софи Гэль — судя по имени, супруг ее, я думаю, франко-греческого происхождения. Не знаешь ли, кто она? Что за дама? И с какой стати интерес проявляет и к моей поэзии¹, и к моей персоне? Если ты с нею знаком, передай от меня почтение да скажи, что, так как по-французски я лишь читать умею, потому не отвечаю на ее письмо; я мог бы ответить на итальянском, да опасаясь, что будет воспринято как манерность. Только что отчитал обезьянку свою, что порвала печать с того письма и попортила книжку пародий, куда заложил я листики розы. На днях приобрел себе также виверру, но та сбегала, расцарапав мордочку обезьянке, до сих пор никак не сыщут ее. Существо это необыкновенно свирепое, по виду своему и повадкам вылитая Н.

Мне так много надо рассказать тебе, но, поскольку сюжеты мои еще не достигли завершения, не стану разглашать их, пока не разовьются до самого конца. Как ты уехал, меня свалила лихорадка, но вот я снова вполне здоров. Недавно насзжал сюда сэр Хамфри Дэви: Равенна ему чрезвычайно понравилась. Расспроси его подробней и про город этот, и про твоего покорного слугу, он расскажет.

Твои (под влиянием Скотта) опасения беспочвенны. В этой стране с меня *никто* не взыщет по закону; однако он и она, вероятней всего, разойдутся, так как ее семейство, а оно поименитей, весьма против него настроено; причина — в его поведении, он стар и упрям, а она молода, к тому же — женщина, все готовая принести в жертву своим капризам. Я дал ей добрый совет, а именно: не бросать мужа своего, подчеркнув при этом неудобство положения незамужней женщины. (ибо церковь запрещает любовникам жить открыто, такое возможно только с согласия супруга) и приводя самые убедительные нравственные сообра-

¹ Искж. франц. poésie — поэзии.

жения; но безрезультатно. Она говорит: «Я не уйду от него, если он позволит тебе остаться при мне. Как это можно, чтоб я стала единственной женщиной в Романье, не смеющей иметь своего Аписо; и все же, если он будет упорствовать, я жить с ним не собираюсь, что ж до последствий, любовь моя, и проч., проч., проч.» — сам знаешь, как рассуждает женский пол в подобных случаях.

Супруг заявляет, пусть все идет, как идет, пока у него не лопнет терпение. При этом хочет сохранить ее, но избавиться от меня: ибо возвращать ей приданое и назначать содержание ему не улыбается. Ее родня на развод готова, так как питает к нему презрение, равно как и все окружающие. Как правило, общественное и женское мнение на стороне провинившихся, а именно: дамы и ее возлюбленного. Я бы с радостью устранился, да не позволяют долг чести, а также обрушившееся на нее рожистое воспаление; я уж не говорю о своих чувствах, ибо люблю страстно, хотя и не настолько, чтобы толкать ее на безрассудство, граничащее с безумием. «Предвижу финал: быть ей шестнадцатой миссис Шаффлтон».

Бумага моя кончается, как и письмо.

Твой вечно Б.

P.S. Жаль, что не завершил ты «Итальянские небывлицы». Объясни, пожалуйста, отчего ты до сих пор в Париже? У Меррея скопилось четыре-пять моих творений: новый «Дон Жуан», вызывающий неприязнь подручных его святош; превосходно принятый перевод песни первой «Morgante Maggiore» Пульчи; короткий перевод из Данте, принятый без энтузиазма; «Пророчество Данте», серьезное, значительное произведение, и проч., и проч., и проч.; яростный ответ в прозе на «Заметки по поводу „Дон Жуана“» в «Блэквуде», что вполне встанет в один ряд с гневной «Защитой» Поупа. Привожу здесь оценки Меррея и его Утиканского сената. Ты сможешь оценить по-своему, если прочтешь сам.

Боюсь, не будет у тебя возможности свидеться со мной, ибо мне начинает казаться, что я в Италии и скончаюсь. Но если ты пожелашь ко мне, поставлю тебе целую супницу с макаронами. Очень прошу, напиши о себе, о своих планах.

Попечители мои намереваются ссудить графу Блессингтону шесть тысяч фунтов (6 процентов годовых) под некую дублинскую закладную. Вообрази меня владельцем собственности за тридцать семь земель отсюда!

Чтобы рассеять или возбудить ирландские твои страхи по поводу пребывания моего «в некотором заблуждении», немедленно отвечаю на твое письмо; я понимаю это так, что «заблуждение» придает мне сходство с «безумным пламенем», а раз так, значит, пребывать долго ни в каком состоянии не могу. Но сначала немного по поводу моих мемуаров. Я не стану возражать, более того, стану приветствовать, если этот единственный правленный экземпляр будет передан на хранение в надежные руки, на случай, если что непредвиденное случится с героем рукописи; ибо, ты ведь знаешь, кроме этого экземпляра, у меня ничего нет, я даже никогда не перечитывал, вообще никогда *не читал* того, что написано; одно могу сказать, писал я это, преисполненный желания создать «искреннее и честное» описание, но только — клянусь богом! — отнюдь не беспристрастное. Покуда я способен чувствовать, о беспристрастии и речи быть не может. Но хочу, чтобы любой из близких мне людей смог поспорить, поправить меня.

Я не стану возражать, пусть всякий порядочный человек прочтет мною написанное, так как считаю, что это произведение, как и все прочее созданное мною, существует для того, чтобы его прочли. Сколько между тем из того, что пишется, нередко не оправдывает подобной цели!

Теперь о «заблуждении»: Папа санкционировал их развод. Указ явился вчера из Вавилона; этого добивались она и друзья ее по причине нелепейшего обращения с нею супруга (почтенного графа и кавалера). Он же как мог тому сопротивлялся, поскольку ему предписывалось возратить ей все ее имущество — всю движимость, экипажи и проч. — для обеспечения содержания. В Италии развод запрещен. Граф настаивал, чтоб она отказалась от меня, говоря, что тогда простит ей все, даже этот адюльтер, который, он клялся, могут удостоверить «надежные свидетели». Однако в этой стране к подобным доказательствам питают отвращение даже судьи; итальянцы, хоть и более страстны, чем англичане, в интимной жизни — гораздо чувствительней к публичной огласке.

Ее многочисленные и могущественные друзья и родные говорят ему так: «Ты либо глупец, либо плут; глупец — если не видел, во что выльется сближение двух молодых людей, плут — если попустительствуешь их связи. Выбирай, что тебе больше угодно, только не затевай скандала — после того как целый год у тебя под самым носом и при твоём попустительстве развива-

лась их связь, ты себя выставишь на посмешище, а ей испортишь жизнь».

Он клялся, что рассчитывал, будто связь наша будет чисто дружеской, что я выказывал более внимания к нему, нежели к супруге его, и только печальное известие открыло ему глаза на истину. На что они отвечали ему, что «безумный» этот пламень — личность известная и что *clamorosa fama*¹ не способствовала подтверждению чистоты его нравов, а также что брат дамы еще год назад писал графу из Рима, упреждая, что супруге его грозит неизбежное совращение этим *ignis fatuus*, если граф не предпримет необходимых мер, чего оный сделать не пожелал, и проч., проч.

Теперь же он утверждает, будто поощрял мой приезд в Равенну специально, чтобы убедиться, *in quanti piedi di aqua siamo*², и обнаружил такую стремнину, что в ней же и захлебнулся. Короче:

Ce ne fut pas le tout; sa femme se plaignit —
Procès — La parenté se joint en excuse et dit
Que du *Docteur* venoit tout le mauvais ménage;
Que cet homme étoit fou, que sa femme étoit sage.
On fit casser le mariage³.

В скандальных ситуациях женщинам лучше всего не мешать, они так или иначе все равно одержат победу. Она возвращается в дом своего отца, и теперь свидания наши будут весьма ограничены всякими условиями — таков обычай этой страны. Ее родня повела себя весьма достойно: я предлагал им разрешить все мирным путем, но они наотрез отказались, твердя, что с Г [вичьоли] она жить не будет (так как он попытался уличить ее в измене), но что содержать ее он обязан. И вчерашнее решение свидетельствует, что они добились своего. Я же теперь пребываю, как следовало ожидать, в достаточно затруднительном положении.

Карабинеров, которых я так возмутил, больше слыхом не слыхать. Солдат этих здесь не слишком жалуют; недавно ночью на одной из улочек местная молодежь, которая искусно пускает в ход нож, долго не раздумывая, напала на карабинеров —

¹ Шумная слава (*итал.*).

² «Насколько глубоко мы зашли в воду» (*итал.*); з д.: «Насколько далеко все зашло».

³ Брак их был быстротечен. Мадам вне себя, Заявляет: «Развод!» И ей вторит родня — У премудрой жены муж последний глупец, Не увидел, кто бунту причина, слепец!

Так распался союз наконец (франц.).

одного ранили, другого убили, остальных обратили в бегство. Преступников не нашли, и я от души надеюсь, что среди них не было моих оборванцев, хотя они и горячи и, как многие из местного населения, тайно носят оружие. Так здесь вершится суд, нередко без всякой помощи правосудия.

В Неаполе революция. Если так, распространяясь до Ломбардии, она не минует Равенну.

Я гляжу, твои издатели чтут тебя, как и мои меня. Плут М. все стремится внушить мне, что последние мои творения скучны. Ну как тебе нравится? Скучны ему, черт побери! Хотя, наверное, он прав. Требуется от меня завершения трагедии «Марино Фальеро», ни страницы которой я еще не выслал в Англию. Почти окончил пятый акт, но он чудовищно длинен — сорок длинных листов, каждый на четыре страницы, — около 150 печатных; но уже настолько пропитан «древностью и щедростью...», что пора закругляться.

Прошу тебя, пошли, чтоб опубликовали, свой панегирик в мой адрес и не скупись на похвалы — мне надо почаще краснеть от удовольствия.

— Не нам судить! *Chantre d'enfer*¹ — таково изречение N, с чем мириться я не собираюсь. Превосходное звание, как раз чтоб усомниться, да есть ли ад на самом деле!

Уж нету Гэль, и мисс Маани не взыщет дани. Я очень тому рад: люблю быть щедрым, тратить направо и налево. Только уприси ее ничего моего не переводить.

Да, ради бога, передай Галиньяни, если он не проявит большей радивости, то я ему в назидание пришлю пространную жалобу. Пусть учтет, что мне регулярно задерживают доставку двух, а то и четырех сго «Вестников». Очень прошу тебя, внуши ему, чтоб как следует проследил. В сем отдаленном царстве остготов новости ценятся на вес золота.

Прошу, ответь мне. Ах, как бы хотелось мне выпить с тобою шампанского или лафита, но я слишком свыкся с итальянским бытием для парижского общения. Пусть Меррей пошлет тебе мое письмо, в нем полно эпиграмм.

Твой и проч.

Графине Гвичьоли

17 июля 1820 г.

Любовь моя! Драгоценное твое письмо привез мне вчера вечером П. Он уезжает очень скоро, и у меня всего несколько минут, чтобы написать тебе; но ты простишь.

¹ Воспеватель преисподней (франц.).

О чем думают кругом, что говорят — откуда мне знать, ведь я никуда не хожу, да и ходить не намерен, разве что регулярно катаюсь верхом — жду, когда мы выйдем в свет вдвоем с тобою. С тех пор как тебя здесь нет, я и в театр идти не хочу. Отец сможет поведать тебе светские и политические новости; с последними, однако, у нас плоховато. «Лугано газетт» пишет: ввиду того что королева отклоняет любое мирное решение, палата лордов затеяла судебный процесс. Не стала бы спрашивать «о политике», не стал бы и я так нудно все перечислять. П. скажет тебе свое мнение относительно «визитов» моих в эту пору, однако, ежели это тебя не убедит, я подчинюсь твоим желаниям, как и быть должно. Пишу в ужасной спешке. Держи Валериано и не мучайся угрызениями; подыскал я на время помощницу кухарке, изумительно готовит бисквитики, утятину (без лука — предвижу удивление твое) и даже торты — так что я не пощусь.

Закончил свою трагедию, настает пора прорабатывания рукописи, но переписывать ее некому.

Теперь я весь в заботах, но в надежде снова убедиться, что ты любишь меня не менее, чем я. Остаюсь навечно твой...

P. S. Сандри называет указ «бессовестным» по причине того, что ему, подлецу, не выплатили 60 скуди, как он просил. Таковы люди — не помогаешь им, они тебя ненавидят, поможешь — ненавидят еще пуще за то, что имеешь власть и деньги. Прав был Людовик XIV, говоря, что всякий раз, даруя милость, он порождал сотню недовольных и одного неблагодарного.

Что до Сандри, то я найду способ наказать его. А что, неужели?.. Нет? Мне кажется, что слышу твой голос. Ricordati di me che son la Pia¹.

Лега почтеннейше кланяется тебе, его любезный хозяин все ругает его почем свет стоит. Элизеи все обхаживает всех, да никак не попадет в «вожделенное гнездышко»; в честь Доницелли было устроено несколько празднеств, но не столь пышных, как в честь знаменитых Моранди и Кортези. Послал лекарство кардиналу, ежели будет принимать, как предписано, ему, я думаю, полегчает. Однако посоветовал ему прежде послать за хирургом Римой, справиться у него.

Вчера убили священника из Фаэнцы, доверенное лицо Алессандро.

Завтра театральные представления кончаются, но о том знала ты еще до отъезда. Прощай!

¹ Помни, какая я у тебя благочестивая (*итал.*).

Графине Гвичьоли

*Равенна
3 августа 1820 г.*

Любовь моя! Моя дочь больна. Старуху я отослал, Лега нанял в дом какую-то неизвестную мне Клару. Пусть за грехи свои отвечает он сам, я могу лишь отчитаться за свои, хотя сейчас вряд ли есть в чем.

Я все присматривал и присматриваю дом в сельской местности, но все еще не могу сыскать.

Прикидываться слепым Гвичьоли не имеет права — после твоего прошлогоднего письма, копию которого он отослал графу Пьетро. Если он в ту пору ничего не заметил, то и впредь не следовало бы уже замечать. Тогда и надобно было говорить: «Выбирай!», а не восемь месяцев спустя; думается мне, что чувства твои уже тогда были очевидны.

Ты посмеешься, когда отец расскажет тебе о нашем разладе с лейтенантом Элизеи — этот шут наконец-то разразился недовольством, чего я уж столько ждал от него, да все не знал, как его на это сподвигнуть; вздумал разобидеться на меня за то, что не купил я бюро у мастера, рекомендованного им. Бедный дуралей, собрался заправлять моим хозяйством, только вышло, что не справился.

Пишу в спешке, но я вечно твой...

P. S. Мое почтение графу П.

Мы взяли в дом дочь кучера Распони в качестве прислуги для девочки.

Графине Гвичьоли

3 августа 1820 г.

То, что больна Аллегринна, могут подтвердить тебе и доктор Рази, и граф Руджеро. Она больна серьезно. О ее служанке Лега напишет тебе. Раз и навсегда хочу тебе сказать, что со слугами я особо не знаюсь и привычки такой не имею.

Вчера получил от Хобхауса письмо, в котором тот сообщает, что пары, не явившиеся на судебный процесс, устроенный королевой, приговариваются к выплате штрафа или к заключению в Тауэр (государственную тюрьму), — несмотря на это, я бы не пошел; однако не уверен, так ли уж необходимо присутствовать ради чьей-то блажи, чтоб за свое отсутствие от того же лица поиметь кару.

Служанка девочки говорит (забыл сказать тебе), что в доме у Гвичьоли служить не будет, так как здесь у всех и повсюду отношение к кавалеру неприязненное. Не стану вдаваться в подробности, пусть с ней беседует экономка.

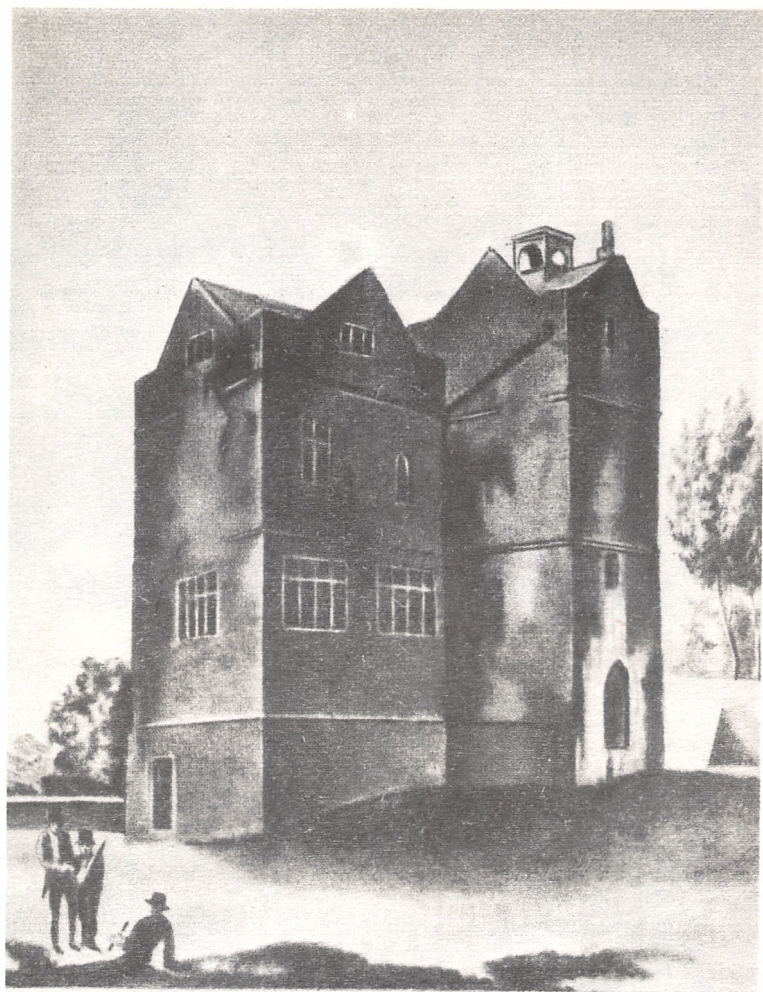


Джордж Гордон Байрон.

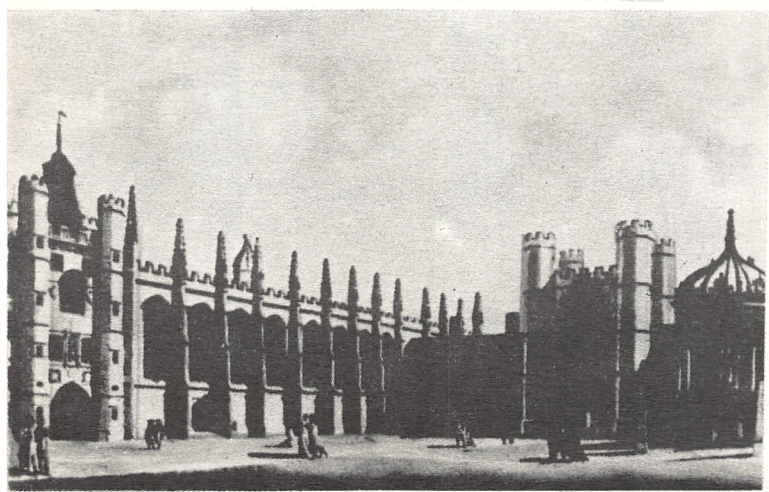
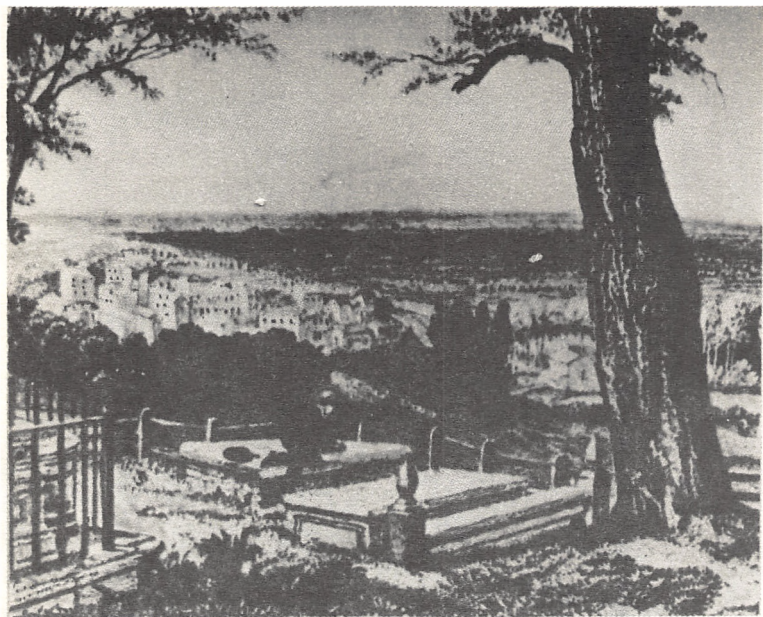


Мэри Чаворт.

Ньюстедское аббатство.



Школа в Хэрроу.



Вид на Хэрроу.

Здание университета
в Кембридже.

Байрон в Кембридже.





Августа Ли.



Джон Кэм Хобхаус.



Байрон в албанском костюме.



Каролина Лэм.





Байрон в 1813 г.

Леди Байрон (Аннабелла Милбэнк).

Августа Ада, дочь Байрона.



Денди клуб.
Работа Р. Дайтона.

Вилла Диодати,
Швейцария.

Шильонский замок.

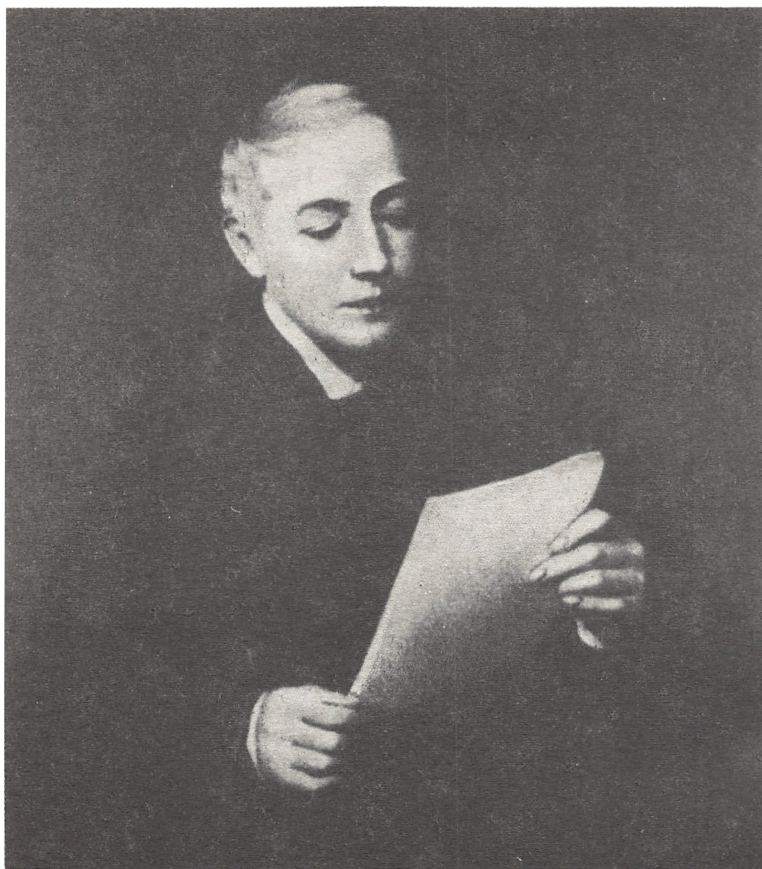




Клэр Клермонт
и Аллегра.



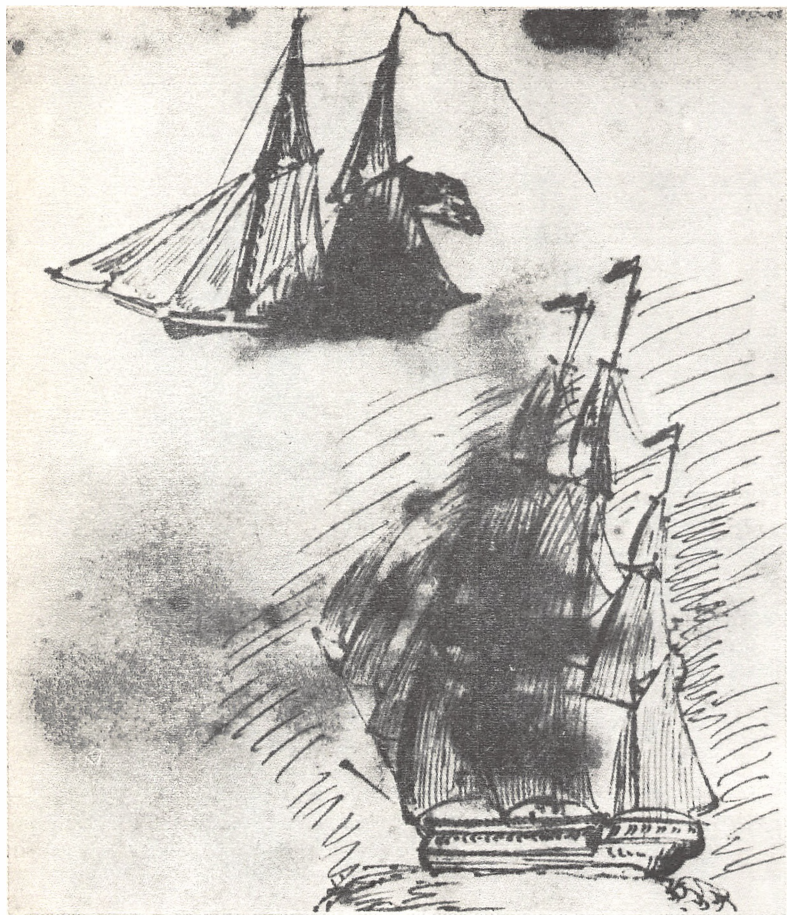
Байрон в 1816 г.



Джон Мерсей.



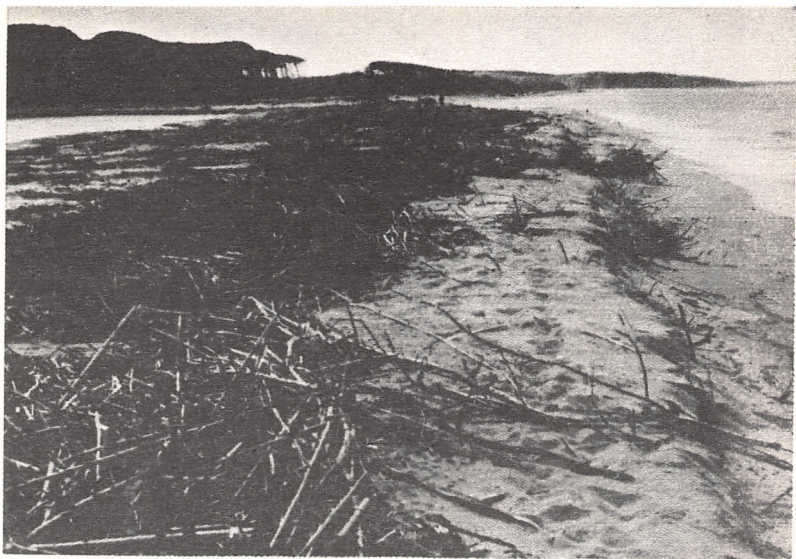
Маргарита Кошья.



Яхты Байрона и Шелли.

Место гибели Шелли
(Виореджо).

Перси Биши Шелли.

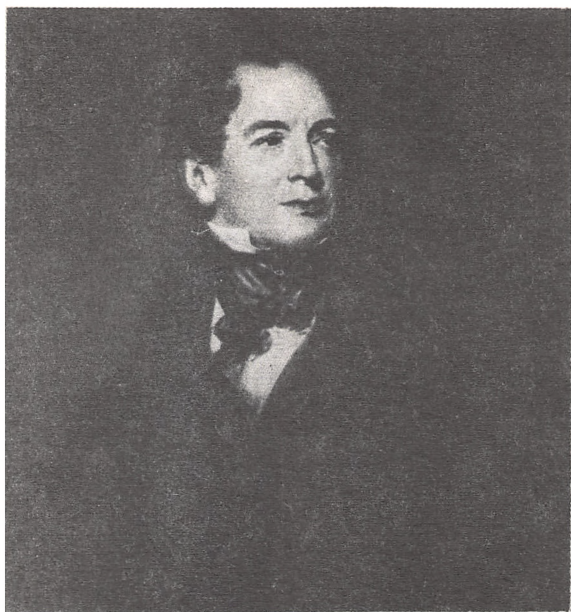




Тереза Гвичьоли.

Томас Мур.

Джеймс Генри Ли Хант.





Байрон.
Работа Сэндерса.

Судебный мой процесс развивается.
Уже снята вилла Спретти, и мы подумываем переезжать на
будущей неделе.
Вечно твой.

Графу Алессандро Гвичьоли

21 августа 1820 г.

Синьор! Мне сообщили, что в одном из писем своих в Рим от 24 июня Вы упомянули обо мне в связи с событиями прошлого года как о тридцатипятилетнем, что значило бы, будто теперь мне тридцать шесть лет. Сие чрезвычайно изумило меня, ибо не могу взять в толк, как могло случиться, что, обратившись в своих личных целях к «Биографиям ныне здравствующих людей» ради сведений в отношении персоны моей, Вы упустили из виду ту строку, где значится дата моего рождения, 1788 год, а следовательно, никак не может мне быть более тридцати двух.

Я благодарен Вам за «пятилетие», столь щедро дарованное мне, однако не вижу для себя возможности принять подобный дар, о чем и спешу Вам сообщить. И я убежден, что Вы, как человек, который во всем любит точность, с благосклонностью воспримете мою поправку, дабы исключить ошибку, которая может надолго вкратиться в Ваши архивы. Если б я, принявшись за Ваше жизнеописание для потомков, назвал бы Вас семидесятилетним, увеличив Ваш возраст на одну седьмую часть, Вас бы такое, разумеется, не порадовало, как не порадовала подобная несправедливость и меня; я бы даже ради истины не согласился и на меньшую. Ведь Вам хорошо известно, что натуре человеческой более свойственно о прибавлении себе лет просить господя, но в глазах себе подобных убавлять их.

Имею честь оставаться покорным и преданным слугою Вашим.

Байрон.

Джону Меррею

*Равенна
7 сентября 1820 г.*

Дорогой Меррей! Когда станете править корректуру, надобно будет обратиться к рукописи, так как в ней разные есть варианты. Прошу Вас со вниманием огнестись к моим словам и выбрать то, что Гиффорд сочтет лучшим. Дайте мне знать, что он думает обо всей рукописи.

Вы пишете, что леди Ноэл занемогла, — такие, как она, не

умирают, уходят лишь светлые люди; те же, чья смерть для других благо, остаются жить. Лишь только соблаговолит она покинуть ад, надо думать, пустит в дело прихваченный с собой «волшебный посох», которым ей, как и «богачу» из Евангелия, следовало бы запастись.

Очень прошу, не допускайте, чтобы газеты писали о том, что я возвращаюсь в Лондон; пусть пишут о чем угодно — пусть ругают на чем свет стоит, — только не надо об этом.

Я писал Вам, что у нас тут ожидается взрыв: и взрывчатку заложили, и запал вставили, да не торопятся подносить огонь. Один из городов из лиги вышел. По множеству причин писать подробно не могу. Наши «бедняки горцы» решили выступить, первыми поднять знамена. Но Болонья не поддержала — а теперь уж осень, столько времени потеряно. «О Иерусалим, Иерусалим!» Войска гуннов стоят у реки По; стоят им только переправиться и устремиться к Неаполю, вся Италия подымется вослед: пусть Псы и Волки сгинут, как призрак Синахериба! Если надумаете печатать «Пророчество Дантес», удачнее времени подыскать невозможно.

Благодарю за книги — только я до сих пор не получил «Монастырь» Вальтера Скотта, а это единственная из книг, кроме «Эдинбурга» и «Ежеквартальника», какую мне очень хотелось бы получить. Зачем Вы мне посылаете всякую срунду об Италии — про слезы и проч., уж я-то знаю, что это неправда. Мэтьюз хорош, и даже очень; остальное все вроде «Блага» Сотби или в стиле самого Сотби, этого старого, мерзкого Отравителя Стиха. Да, как там королева? Процветает?

Ричарду Белгрейву Хоппнеру

Равенна

10 сентября 1820 г.

Мой милый Хоппнер! Ессо¹ письмо адвоката Фоссати. Никакой бумаги подписывать не надо, да и не к чему. Очень прошу, воспользуйтесь моими услугами для получения наполеондоров, так как иного способа передать их я не вижу; Миссиалья подрядит кого-либо здесь получить их для Вас, так как это не piazza bancale².

Очень жаль, что о Шилохе у Вас такое неважное мнение; раньше было совсем иное. Он, бесспорно, человек талантливый и благородный, но помешан на борьбе с религией и нравственностью. Трагедия его поистине уныла, но сама по себе тема такова. «Ислам» его наполнен поэзией. Мне кажется, что Вы с недавнего времени что-то против него имеете.

¹ Вот (*итал.*).

² Зд.: банк, банковские операции (*итал.*).

Клэр пишет мне про Аллегру письма совершенно наглого содержания. Вот Вам участь человека, проявляющего заботу о внебрачном ребенке! Если бы я не пекся о благоденствии несчастной малютки, с каким бы удовольствием отправил ее к ее безбожнице матери, — но это несчастье для девочки; Вы даже представить себе не можете, до какой степени эта особа обнаглела, и я не пойму с чего, ведь я проявлял такую заботу, не жалел средств, специально для нее купил дом в деревне. У ней две служанки, она имеет все, что пожелает. Ежели Клэр полагает, что вольна, когда ей вздумается, соваться в воспитание и образование дочери, она ошибается — я этого не допущу. Девочка будет христианкой и по возможности выйдет замуж. Что ж касается до встреч — она может видеть ребенка, но только при определенных условиях. Однако при всем своем сумасбродстве эта особа не из тех, кто свое упустит. Думается, что мадам Клэр, мягко говоря, гнусная тварь, да и только. А Вы как думаете?

Вечно Ваш преданный слуга *Б-н*

Достопочт. Августе Ли

Равенна
Октябрь 1820 г.

Моя драгоценная Августа! Надеюсь, теперь ты избавишься от своих тревог и нерасторопный Хэнсон оставит в покое Полковника Л[и] по поводу его долговых обязательств.

На портрете Ада очень похожа на мать свою — я сужу по гравюре, так как самого портрета не получил; полагаю, Меррей его еще не выслал. Мне кажется, для лет своих, а ей десятого декабря будет пять, она полновата, ты не находишь? Как раз почти пять лет назад я видел ее в последний раз нескольких недель от роду. То было в январе, но в какой день? Тогда еще леди Б. выступила в поход против Керкби, что и послужило объявлением войны. Сэр Вальтер Скотт начинает своего «Аббата» такими словами: «На рубеже каждого пятилетия мы обнаруживаем, что стали иными, хотя и остались теми же самыми людьми: изменились наши взгляды, да и сам наш подход к вещам; изменились наши побуждения и поступки». Думаю, что это еще более справедливо для тех, кто «пятилетие» свое провел на чужбине; что до меня, то кажется мне, будто я раздвоился, и какому-нибудь олуху ничего не стоит побожиться, будто на днях видал меня в Лондоне проезжавшим мимо в парном экипаже. Почему бы не в челоке, было б гораздо вернее! А что скажешь про себя? Что для тебя было твое пятилетие? Обратило дом твой в вечный лазарет для тебя, ибо только кролик так усердно плодится и размножает-

ся. Словом, стали мы с тобой пятью годами старше и все, ну а я на вид постарел на все десять. Полагаю, леди Б., как и прежде, верна своей чопорности и упрямству, которые под влиянием времени еще более ужесточились в ней, и все так же попытается изобразить себя «благородной», хоть ее интриганство известно всем. Поговаривают, что автор именно ее изобразил в Донне Инесе, тебе не приходило в голову? Про себя такое сказать не могу — может, что-то в облике и есть схожего, только та испанка бесхитростна, а наша дама вся деланная, намеренно искусственная, а это совсем уж другое.

Настанет срок, когда-нибудь все обернется так, что будет сй и без моего в том участия возмездие за содеянное.

Ну что же — Джо Меррей отправился к праотцам; как ты говоришь, и дух из него вон. Его судьба почти неразрывно связана с Ньюстедом, а теперь Байронам придется изыскивать себе другое последнее имущество. Если бы вместо Ады родился мальчик, мне кажется, я бы с Ньюстедом никогда не расстался; но мне мерзок Джордж Б [айрон] и все его поведение в 1816 году, к тому же, сам будучи за границей и пребывая во вражде со всем семейством Ноэл и почти со всеми Байронами, кроме тебя одной, я не знаю никого, кто с достоинством нес бы фамильный титул. Разумеется, все эти и иные тяжкие сопутствующие обстоятельства вынудили меня считать разумной необходимостью отказаться от аббатства. На днях сообщили мне, что «леди Ноэл болела»; с этой старушенцией немало намучаешься, пока она концы отдаст, именно потому, что смерть ее — благое дело; однако если она все же когда-нибудь отойдет в мир иной, то будь уверена, прихватит с собой «волшебный посох»: он пригодится сй, чтоб вздуть диавола, после чего она вернется домой.

Об Италии могу сказать тебе не много, лишь то, что ныне здесь все пришло в беспорядок.

Английская королева стала привечать сплетников. Клику Ноэлов произвела как будто в канцлеры (за исключением Ромилли, перерезавшего себе глотку); сама знаешь, что это за публика, и как они, точно вороны на падаль, слетаются на подобнос. Простота ее величества, я думаю, в ком другом сказалась бы хуже воровства. И все же справедливости ради признаем: с нею как с женщиной обошлись непочтенно, а по природе своей женщины, пожалуй, достойны лучшего. Не пожалуй, а безусловно достойны.

Я не присхал в Англию по множеству причин, и среди прочих та, что не считаю я себя вправе выступать судией даже в таких делах.

Семейство мое процветает; кроме дочери Аллегры, имсю я двух кошек, шесть собак, одного барсука, одного сокола, руч-

ную ворону и обезьянку. Лисица сдохла, а виверра сбежала. За исключением временных междоусобиц из-за пропитания, все живут в согласии, и от них шума меньше, чем от благовоспитанных детей.

Еще есть у меня восемь лошадей — четыре экипажных, четыре верховых, каждый день езжу кататься верхом и только что вымазался в грязи по пояс: тут заладили осенние дожди, вымокнет все живое, как и я сам вчера. Я промок до нитки, все на мне было сырое, а лошадь, я думаю, вымокла до самых костей.

Ну вот, получилось обстоятельное семейное письмо.

Вечно твой Б.

Графине Гвичьоли

30 октября 1820 г.

Любовь моя, вполне всего можно ожидать от этих твоих родственников, как и от правительства, которое теперь подозревает в каждом врага и пойдет на что угодно, лишь бы выслать подальше или припугнуть тех, кого оно опасается. Однако все меры эти будут не только против меня направлены, но также и против твоего семейства (к примеру, против Пьерино) как подозреваемого в патриотических выступлениях последнего времени. Но почему женщина должна отвечать за поступки мужчин? Предвидя все это, я ранее надеялся, будто после твоего развода с супругом твоим мое (хотя бы внешнее) поведение достаточным образом гарантирует отсутствие с нашей стороны повода для какого-либо их наступления, в особенности после соглашения, заключенного между Гвичьоли и твоим семейством, о частичном содержании.

Зависть ханжей всегда, и это естественно, побуждает их преследовать счастливых обладателей того, чего сами они лишены. Что до меня, мне ясно одно: любимыми, даже самыми ничтожными путями они стремятся выдворить меня из пределов папских владений, и если б не определенные чаяния и чувства (среди которых ты занимаешь главенствующее место), я без колебаний уехал бы отсюда.

Кланяйся отцу и Пьерино.

Элизеи вернулся и обосновался в Фаэнце — предо мной его письмо ко мне. Чтоб давать советы отцу, мне надобно лучше знать все обстоятельства. Следовало бы ему получше распознать родню свою, а также намерения и возможности правительства. Любви моей доказательства тебе известны. Остаюсь теперь и всегда ...

Милый мой Дуглас! Ты пишешь, чтоб я *заставил* Хэнсона *заставить* Клотона заплатить мне. Хотел бы я знать, каким это образом могу я на таком расстоянии и при таком временном разрыве сподвигнуть Хэнсона на что-либо! Ежели намекнуть ему, что все изъятое из кармана Клотона перейдет в его карман во уменьшение «перечня его бед и невзгод», тогда он, быть может, снизойдет до исполнения своих обязанностей. Мне вновь напоминать ему об этом бесполезно. Я ему писал, и не раз, притом ты тоже справлялся. Сдается мне, до гробовой доски он будет верен себе, и верность эта весьма завидна.

В этой части страны становится поспокойней: либералы поколебались до тех пор, пока время принимать какие-либо действия для них не ушло. Если негодяи из Троппау решат учинить резню (что вероятно), войска варваров перейдут границу, неаполитанцы вступят с другой стороны. И те и другие испросили на это святейшего дозволения, что равнозначно спросить человека, согласен ли он получить пинок в зад; если ответ утвердителен, значит, сопротивления не будет.

Хуже всего то, что эта страна, уж в который раз с того самого дня, как бог создал человека по образу и подобию своему, обречена стать театром военных действий. Стоит вспомнить Испанию в 1809 году, и Морею¹, и ту часть Греции, по которой вел в 1810—1811 годах Вели-паша в бой на русских свои войска (турецкие армии двигались огромным монолитом, точно исполинский враг на марше), и еще малую пядь земли у нас в Ноттингеме под восставшими луддитами, когда мы сжигали станки и целые мануфактуры, — и тогда явственно я представляю себе, чем это все отзовется. Все пропитано здесь подозрительностью, неверием, страхом, вооружение сменяется разоружением; духовенство напугано, народ мрачен, а торговцы *скупают зерно для армейского провианта!* И так меня радует это последнее свидетельство итальянского патриотизма, что я даже подчеркиваю это специально для тебя; примерно как если бы наши хэмпширские фермеры набивали свои амбары для интервентов с континента, чтобы те высадились и устроили бойню в Нью-Форесте.

Я дошел и до своего участия в событиях нашей бурной поры. Они вбили в голову себе, что я здесь популярен (а таковых людей в Италии, кроме оперных певцов, не водится и не будет никогда, вплоть до появления нового Ромула), и стараются изо всех сил досаждают мне мелкими гадостями, раздражить меня, чтоб

¹ Здесь строка вычеркнута. — Прим. англ. издателей.

я убрался отсюда. В это трудно поверить, даже дико как-то, что все исходит от духовенства. Вечно пытаются устроить потасовку с моими слугами, поставить меня в затруднительное положение (что сделать нетрудно), и, наконец, они (на сей раз правящая партия) угрожают заточить мадам Гвичьоли в монастырь. Эта последняя политическая мера основана на двух предпосылках: первая — ссмейство ее подозревается в либеральных настроениях, вторая — мои взгляды им известны (хотя я их и не демонстрирую) и были известны еще с тех пор, когда гораздо менее предосудительным считалось слыть сторонником свободы.

Если в поэзии моей мне есть чем гордиться, то еще более горжусь я некоторыми своими пророчествами: они не уступают пророчествам Фицджеральда, предсказателя литературных доходов, а также поэта, знакомого Мерреса.

Если же они и впрямь кинут ее, бедную, в монастырь на том основании, что она занималась со мной тем самым, что делают со всеми прочими мужчинами все итальянские контессы вот уже тысячу лет, разумеется, я скорее соглашусь убраться восвояси — ибо именно этого они все и добиваются, — чем допущу ее пленение. Она, что свойственно каждой женщине в тяжелой ситуации, держится весьма стойко и вызывающе; но поскольку качества эти могут только способствовать ее скорейшему заточению в монастырь, я просто не знаю, что и делать. Я читал письма нескольких ханжей по этому поводу, из чего заключил, что они решились на этот путь, избрав его как меру наступления на некоторых родных ее и на меня. Можешь представить, я, как всегда, влип в историю со всем этим не развернувшимся еще сюжетом.

В государственных делах положение не лучше. [Вымарано слово] партии не думали шевелиться вплоть до последнего момента. Сомневаюсь, чтобы теперь они могли набрать двенадцать тысяч своих сторонников. А ведь несколько месяцев тому назад еще можно было.

Очень прошу, пиши. Передай от меня привет Хобхаусу и верь мне всегда.

Твой самый преданный слуга Б.

P.S. Полиция сейчас под надзором германцев, точнее, австрийцев — они германцев ни в грош не ставят и по малейшему подозрению вскрывают письма. Я не возражаю, пусть видят, как ненавижу я, сколь явно презираю и предаю анафеме этих вандалов немцев и все, что смогут натворить они в недолговечной злобе своей, ибо Время и История и возмездие восставшего народа когда-нибудь усеют их трупами землю Италии. Пусть это свер-

шится не через год, не через два, не через десять лет, но так будет, и, чтобы приблизить этот исход, надо сделать все, что в силах человеческих, ибо противник не исполинский змей. И все же испанцы — мальчишки перед ним.

Леди Байрон

Равенна

Четверг, 28 дек. 1820 г.

Признателен тебе за записку, содержание которой в целом меня удовлетворило; правда, тон суховат — впрочем, этого следовало ожидать. Само твое миролюбие после пятилетней войны — такой подарок, куда уж грешить на недостаточную изысканность формы, как и содержания. Впрочем, могла бы и постараться, ибо отношения наши подобны «диалогу двух умерших душ» или же «переписке между настоящим и будущим». Ты отгадываешься от того, что есть, я — от того, что будет. Что до Августы, то она понятия не имеет о моей просьбе, равно как и о твоём ответе. Какой бы ни была она, что бы ты о ней ни думала, жаловаться на нее *у тебя* никаких оснований нет, более того, ты даже не осознаешь, скольким ей обязана. Наша жизнь с ней и твоя жизнь со мной суть явления совершенно различные, одно завершилось, началось другое; теперь же ни того ни другого более нет.

Ты должна понимать, что причина моего завещания в пользу Августы и детей ее в том, что, согласно нашему договору, имеются ограничения, а именно: вся или значительная часть моей недвижимости в случае моей смерти отойдет к тебе.

Я писал тебе, кажется 8-го или 9-го текущего месяца. События у нас стремительно приближаются к кризисной развязке. Война скорее всего неизбежна; хотя король Н[еаполя] и отправился в конгресс, это вряд ли сможет ее предотвратить, народ в волнении. Не слушай ту чепуху, которую в Англии олухи мелят об Италии, они ничего не знают, кроме как с разинутым ртом разсуждать из Рима во Флоренцию и обратно, а это то же, что разгуливать где-нибудь у нас по Сент-Джемс-стрит.

Я живу в этой стране, среди этих людей, и я знаю их, можешь мне верить; впрочем, я могу и обмануть. Если ты когда-либо решишь изъять свои капиталы из нашего соглашения, сейчас самое время заставить попечителей потрудиться: пока акции все еще в цене и мир до сих пор не нарушен. Очень прошу, прими это к сведению.

Твой Байрон

P.S. Извини за спешку, пишу неразборчиво, так как тороплюсь, не считая это за сварливость с моей стороны, просто так

развиваются события, и не учитывать того невозможно. Я весьма признателен за твоё внимание к моей просьбе. Я не мог и надеяться получить от тебя столь радостное для меня послание, и всё же я сжег его, чтобы тебя ничто не сдерживало. Сейчас для меня это самое желанное утешение — знать, что А. и дети её, после того как меня не станет, будут обеспечены; но ведь пять лет назад — а может статься, и более того — отчего же ты молчала тогда? Ведь говорил я тебе, что уезжаю *надолго* и *далеко* (хоть и не так далеко, как предполагал, ибо я собирался отправиться в Турцию — не убежден, право же, что этим не кончится). И отсутствую я дольше, чем ожидал в ту пору прожить на свете. И всего два лишь слова о ней или от неё для меня значат столь же много, как для итальянца отлучение или свобода, а именно: наслаждение не plus ultra¹. Её и ещё двух человек в моей жизни только и любил я по-настоящему — могу теперь сказать об этом, ведь мы оба уже не так молоды.

Томасу Муру

14 мая 1821 г.

Если что-либо в моем письме Баулсу (не намеренно с моей стороны, насколько я помню содержание) вызвало твоё раздражение, считай, что ты полностью отмыт, ибо, судя по итальянским газетам, несмотря на все мои протесты, направляемые через друзей (в том числе через тебя), управление театром настояло на том, чтобы попытаться поставить трагедию, и она была «единодушно освистана»! Таково обнадеживающее утверждение миланской газеты (которая от души ненавидит меня и всякий раз торопится обвинить в либерализме), добавляющей к тому же, что я «запродал свою пьесу» по собственной доброй воле.

Это весьма досадное событие я бы назвал драматичнейшим кальвинизмом: предсеченный позор без вины виноватого. Я старался изо всех сил, как только способен смертный, лишь бы предотвратить неизбежную катастрофу, — к кому только не взывал, даже к лорду Чемберлену, не говоря уже о самих заводилах. Но раз протесты оказались тщетны, кому теперь нужны жалобы! Не пойму, как это случилось, ибо и Меррей в письме от 24-го, как и во всех предшествовавших, давал мне вполне определенное основание считать, что никакой постановки не будет. До сих пор мне ничего не известно, кроме газетного сообщения; думаю, ему можно верить, так как при нём дата: Париж, 30-е. Должно быть, ради этого провала они суежились как безумные, поскольку мне

¹ Зд.: высочайшее (высочайшая степень) (лат.).

даже не сообщили, что трагедия опубликована; а ведь, если бы не публикация, она осталась бы недоступна для лицедеев. Любому было ясно с первого взгляда, что для постановки она никак не годится, и, надо думать, эта маленькая неприятность отнюдь не послужит повышению престижа драмы.

Что ж, терпение есть добродетель, и, полагаю, со временем я преуспею в нем, как никто. С прошлого года (вернее, с прошлой весны) я успел проиграть весьма важный для меня судебный процесс по поводу рочдейльских копей, стать причиной развода, пережить то, что поэзию мою поносят Меррей с критиками; не выгорело дело и с помещением состояния моего моими попечителями в одно выгодное предприятие (в Ирландии); в прошлом месяце надо мной нависла угроза смерти (здесь вывесли листок, подстрекающий убить меня по причине моих политических взглядов, распространили слух с ведома духовенства, что якобы я нахожусь в сговоре с германцами); вдобавок ко всему недели две тому назад теща моя оправилась от болезни, а нынче на днях освистана моя пьеса! Ну прямо-таки «двадцать восемь несчастий Арлекина». Но все надо пережить. Если я и сдамся, так хоть по крайней мере после отчаянной борьбы. Не стал бы забивать себе этим голову, если б наши южные соседи не лишили нас покоя на ближайшие пять столетий.

Знаком ли ты с Джоном Китсом? Говорят, он скончался, прочтя критику о себе в «Куотерли», — не знаю, правда это или нет. Не понимаю такой чувствительности. Меня, например (в данный момент), уже двое суток переполняет бушующая ярость; после вернусь в прежнее состояние, если только на сей раз ярость не продлится дольше. Чтоб успокоиться, мне надо сесть на коня.

Твой и проч.

Франциск I сказал после битвы при Павии: «Все потеряно, кроме чести». Освистанный автор переиначит это по-своему: «Ничто не потеряно, кроме чести». Однако лошади ждут, а бумага кончилась. Писал тебе на прошлой неделе.

Графу Джузеппе Альборгетти

28 июня 1821 г.

Уважаемый сэр! Мне представляется, что раздувание истории из всей этой ерунды, из пустяковой, чисто словесной уличной стычки слуги с солдатом — следствие интриги церковников, низких людей из окружения кардинала. Если это направлено против меня, то напрасно: ибо что касается моих взаимоотношений с местным населением, то я как раз желаю, чтоб к ним присмотрелись, только не предвзято. Если же — против бедного слу-

ги, тогда это гнусный произвол. Я желаю прежде всего [подробного] разбирательства, ибо тогда они убедились бы в лживости этих пустых обвинений против человека, который имеет не большее отношение к политике, чем обитатель луны. Если Вам удастся уладить это дело — здесь (желательно как можно скорей) или в Риме, — я буду не менее обязан и более благодарен Вам, чем был до сих пор. Почему бы не решить все путем судебного расследования — с вынесением приговора ли, порицания? Со своей стороны я не отрицаю, что он должен понести наказание сообразно его проступку, однако зачем же подвергать его унижению, которое может возыметь последствия на всю дальнейшую жизнь его?

Хотел бы я знать, чего они хотят этим достичь? Если намерены отделаться от меня, это им не удастся, ибо никакой вины за собой я не знаю и никакому произволу не подчинюсь; я покину эту страну, когда мне будет угодно, когда этого потребуют чаяния мои и дела. Хотят раздражить меня? Это несложно, но в таком случае может статься, что в раздражение приду не я один. Я написал письмо кардиналу в единственно мне подобающем тоне. Не думаю, что был неуважителен к нему, памятуя о летах его и положении. Я воспользовался лишь соответствующей титулу моему свободой высказывания и обстоятельствами случившегося. Adio¹.

Верный Вам, вечно Ваш преданный слуга Б-н

Графу Руджеро Гамба

12 июля 1821 г.

Любезный Руджеро! Вы наставник Терезы по долгу отцовства — и мой по долгу дружбы. Однако, оценивая события, я бы считал, что благоразумнее было бы ей пока что не уезжать. Если Вы настаиваете, она подчинится воле Вашей, как подчинюсь и я, так как не имею и не должен иметь права голоса в решении этого дела. Но паспорта сомнительны; и если захотят досадить Вам, присутствие Терезы помехой им не станет, да и Вам будет мало радости глядеть, как женщина останется одна в подобной ситуации.

Если все обойдется, мы поедем вслед за Вами; если ж нет — все равно отправимся, что бы ни случилось; я буду считать долгом своим разыскать Вас, где б Вы ни оказались, пусть даже в тюрьме.

Но умоляю Вас сейчас не торопить события и прежде всего

¹ Прощайте (*итал.*).

подумать, что может статься с Терезой в чужом краю, разлученной с Вами и Пьерино.

Что касается меня, могу сказать только, что надеюсь вскорости увидеть Вас и Пьерино, куда бы вас обоих ни занесли обстоятельства. Желаю здравствовать, вечно верный Вам,

нежно любящий Вас друг
Байрон

P.S. Возвращаю Вам пакет, который Тереза заставила Вас вернуть мне. Свободно распоряжайтесь не только его содержимым, но и всем, чем я обладаю.

Поступайте, как сочтете нужным, но так или иначе помните, если что-либо разлучит меня с Терезой, то не я буду тому виной.

Графине Терезе Гвиччольи

Равенна
26 июля 1821 г.

Моя Тереза! Прошу тебя, успокойся, продолжай свою посылку и будь умницей, гони от себя тоску и думай о том, как утешить отца твоего и брата.

Сожалею, что герцогиня отсутствует, я так надеялся на ее благосклонность, хотя, быть может, мы сумеем обойтись и без нее. Твое намерение вернуться всего лишь ради краткого нашего свидания — чистый каприз, подобные идеи побуждают меня опасаться, что ты как раз стремишься попасть в монастырь, куда угрожали заточить тебя.

Я люблю тебя и буду любить, как всегда, однако такого губительного для нас безрассудства, чтоб вернуться назад на другой день после отъезда, никак понять не могу.

Лега напишет тебе и вложит два письма, которые я получил для тебя с сегоднешней почтой, как ты велела.

Тысячи приветов Руджеро и Пьерино. Пиши чаще, пиши скорей. Кланяйся синьору Коста с супругой его, за дружеское отношение коего к Вашему семейству я чрезвычайно ему признателен.

«Утри же слезы, дочь моя, и будь покойна» — и верь мне (ты ведь знаешь девиз семейства моего: *crede V.*¹). Остаюсь вечно друг твой и возлюбленный

Б.

¹ Верь Байрону (*лат.*).

P.S. Болтуня моя, ну же, встряхнись, все обернется гораздо лучше, чем ты думаешь. Благодарю за твой цветок, он почти сохранил запах свой. Здесь все, как оставила ты, без перемен.

Графине Терезе Гвичьоли

*Равенна
4 августа 1821 г.*

Моя Тереза! Надеюсь, тебе нравится Флоренция и тебе покойно среди родных твоих. В письме своем отцу, отправляемом этой почтой, Лега подробно излагает причины, побудившие вас немедленно выехать из Болоньи. Достаточно вспомнить, что Коста, Кавалли, как и все прочие друзья ваши, убеждены были, что это единственно возможный выход в вашем сложном положении. Что до меня, то касательно совета моего мне себя упрекнуть не в чем, да и не стану отвечать я на те укоры, коими ты имела удовольствие порадовать меня в своих письмах.

Получил замечательно ободряющее письмо от Пьерино; очевидно, что он верен своей дружбе ко мне, на что неизменно и я отвечу своей привязанностью.

Все мы здесь стараемся изо всех сил ради возвращения графа Руджеро. Я отправил письмо г[ерцогине] Д[евонширской], которая находится сейчас в Спа, под Льежем, но может писать оттуда в Рим. До сих пор нет ответа из Женевы на мои письма. С нетерпением жду оттуда новостей.

О себе скажу, что я ни болен, ни здоров; конечно же, все помыслы мои устремлены ко всем вам. Ни с кем не вижу. Читаю книги, езжу верхом.

Пусть без долгих цитат из «Коринны» и без великих потуг обрести тон романтического сюжета — клянусь тебе, я люблю тебя, как и всегда любил; время покажет, кто из нас самый стойкий в этом чувстве. Однако в красноречии я уступаю тебе, и на это есть две причины: первая — в итальянском я не силен; вторая — многословие всегда подозрительно; великие проповедники, преисполненные религиозного чувства, ограничивают его в своих речениях с амвона: истинная любовь немногословна.

Прошу, передай сердечные приветствия мои отцу и Пьерино да скажи, чтоб обращались ко мне за всем, что пожелают от их (и твоего) самого искреннего и любящего друга.

Б.

Графине Терезе Гвичьоли

Равенна
10 августа 1821 г.

Любовь моя! Умоляю, не усугубляй наши беды незаслуженными упреками. Я всегда был и остаюсь верен и предан тебе и всему твоему семейству. Полученное в ответ на мой запрос письмо друга моего откроет тебе весьма убедительные свидетельства множества причин, по которым не стоит нам подвергать себя риску и обосновываться в Швейцарии. У меня и в мыслях не было расставаться с тобой — однако предоставь мне немного времени и свободы, чтоб обдумать [лучший путь] для нас, и прежде всего для тебя. В своем письме к Пьерино излагаю я все, что думаю по этому поводу. Более мне добавить нечего.

Люби меня. Сердечно твой.

Графине Терезе Гвичьоли

Равенна
[16] августа 1821 г.

Любовь моя! Прибыли письма мои, и значит, уж нечему держать меня здесь более. Я намерен купить в Пизе дом, рассчитывая и на апартаменты в нем для вашего семейства, и для меня: пусть отдельные, но все же вместе. Если это не подходит тебе, сообщи, тогда приобретем мы по отдельному дому — и для меня, и для вас. Это письмо передаст тебе англичанин, который сейчас здесь, но отъезжает завтра. Он разъяснит вам то, о чем долго и сложно писать в письме и к чему не способен я в языке, чуждом грубости. Когда все будет оговорено, я пошлю часть самого громоздкого имущества — мебель и проч. — для обстановки нового дома, а потом и сам приеду со слугами.

Кланяйся папе и Пьетро, всегда ваш.

P.S. Если ты подыщешь жилище в Прато, а я смогу приобрести там же дом, это тоже неплохо; однако, судя по тому, что говорили мне, в Пизе обосноваться предпочтительней. Покидаю Равенну с такой неохотой и с темными мыслями, будто отъезд мой лишь приведет к цепи последующих несчастий, и сейчас писать больше душа не лежит.

Графу Пьетро Гамба

Равенна
17 августа 1821 г.

Милый Пьетро! Ничего разумней, чем это, не мог я придумать в сложившихся обстоятельствах. Но из Равенны уеду я весь-

ма неохотно, будучи убежден, что отъезд мой ничего хорошего не принесет, только что глубоко уязвит Терезу.

Наше с ней чувство стесненности (коего всегда следует ожидать там, где наличествуют интимные отношения) весьма велико, и именно поэтому было бы в тысячу раз предпочтительней и разумней, если б они с графом Руджеро могли вернуться сюда. Но приходится следовать воле господина, или дьявола, или святейшей из святош Лукреции д'Имола, или святейших старейшин рода! Будь прокляты все эти старейшины, эта Лукреция д'Имола и все прочие святые мира!

Тысяча приветов отцу.

Джону Меррею

Р[авен]а

23 августа 1821 г.

Уважаемый сэр! Посылаю Вам после моей правки два акта. Что до Ваших нападков на сцену кораблекрушения, то, помнится, говорил я Вам с Хобхаусом довольно давно, что [здесь] нет ни единого эпизода, который не был бы взят из жизни; разумеется, это не описание какого-либо одного крушения, а сведенные воедино факты различных крушений. Весь «Дон Жуан» создан из реальной жизни, кое-что взято из моей, кое-что из жизни знакомых мне людей. Кстати сказать, в песне третьей многое из описания обстановки заимствовано из работы Талли «Триполи» (прошу Вас это учесть), остальное взято из собственных наблюдений. Не забывайте, я никогда не собирался этого скрывать и не стал упоминать об этом потому лишь, что пред поэмой нет никакой вводной части и таковая ничем не предусмотрена. Если Вы считаете, что стоит подобные ссылки сделать,— извольте. Мне Ваши укоры смешны, поскольку убежден, что я, как никто, заимствовал крайне мало и исходил в основном из собственной фантазии. Часто бывают совпадения: скажем, леди Морган (в поистине превосходной, уверяю Вас, книге об Италии) называет Венецию «океанским Римом». У меня точно такой образ в «Фоскари», однако же Вам известно, что пьеса давно написана и отослана в Англию. «Италию» получил я лишь 16-го сего месяца.

Другу Вашему, как и прочей публике, неведомо, что простота моего драматического повествования *намеренно* восходит к греческим образцам, и продолжено будет в том же стиле: нововведения никогда не приживаются сразу. Меня восхищают старые мастера английской драмы; но это все совсем иное и к этой традиции отношения не имеет. Я хочу создать добротную

английскую драматургию, для театра, нет ли, не это важно — важно заставить театр мыслить.

Вечно Ваш Б.

Прибыл ли бюст?

P.S. Не вижу для себя возможности принять Ваше любезное предложение.

Вальдгрейв милей Вам, Орфорд тоже,
Вы оценили их дороже.
А как же я, помилуй боже,
Джон Меррей?

Коль молод пес, ему ль бояться
с поганым старым львом тягаться?
Мне ль с опочившими равняться,
Джон Меррей?

Ужель плевел подобен Розе?
Я удивлен метаморфозе.
Поэзия не ровня прозе,
Джон Меррей!

Так будьте, черт возьми, щедрей,
И я отстану поскорей.
Нет? К черту Вас пошлю, ей-ей,
Джон Меррей!

Все подобные вопросы следует оговаривать с господином Дугласом К. Он мой поверенный и человек достойный. Ему и адресуйте всякие свои купеческие отговорки, как-то: «неподходящее время», «равнодушие публики», «не распродается», «его высочество слишком много пишет», «не хочет прислушиваться», «снижение интереса публики», «удержание средств в счет распространения», «малый доход», «я на нем всегда теряю», «самовольное переиздание», «издание за границей», «жестокая критика» и тому подобное, а также прочие намеки и призывы к официальному объяснениям; все это я препровождаю к Дугласу — он у нас оратор, ему и отвечать.

Вы можете также с успехом высказывать все это какому-либо третьему лицу, так как для нас с Вами обсуждение может вылиться в обмен язвительными приписками, что не будет способствовать украшению ни Вашего, ни моего архива.

Я весьма расстроен сообщением про королеву; более чем Вы.

Графине Терезе Гвичьоли

Равенна

9 сентября 1821 г.

Ваше сиятельство, С[плетница-болтушка]... Герцогиня Девонширская прислала письмо, которое шлю вам; Шелли переведет, если хотите. Очень прошу после вернуть его мне обратно. Что до учителей английского, то мне представляется, теперь лучше избежать лишних толков. Ты даже не можешь вообразить, какая ругань сейчас идет в Англии, каких только страстей не говорят там о нас с Шелли, и если ты не проявишь осмотрительность, английские подданные в Пизе и Флоренции станут говорить, что ты наскучила мне и я предпочел тебе его. Говорю тебе все это честно и открыто и столь многословно. Итак, ты предупреждена — теперь поведение твое зависит только от тебя.

Мы готовимся к отъезду из Равенны, чего, может статься, делать вовсе не нужно и что в любом случае никак не соответствует моим намерениям. Немного терпения, и все бы стало на свои места — что следует, как убедишься ты, из вложенного письма (сиятельной дамы).

Нельзя забывать также о двух обстоятельствах: первое — если отца отзовут из изгнания, я сей же час вернусь в Равенну; и второе — если его вернут *до* моего отъезда, я никуда не уеду. Что же касается затрат на новый дом, то я бы с радостью отдал в тысячу раз более, знать бы только, что мы пересезжаем не напрасно. Траты для меня — ничто.

Остаюсь вечно...

Кланяйся отцу, Пьерино и всем остальным.

Достопочт. Августе Ли

5 окт. 1821 г.

Драгоценная моя Августа! Что за пасмурные мысли, в чем причина? Убежден, что не годы тому виной. Посылка твоя до меня не дойдет — я на зиму еду в Пизу. Следствием политических бурь последнего времени стало изгнание всех друзей моих и знакомых, вот я и еду вслед за ними. Ты знаешь, а может быть и нет, что в прошлом году госпожа графиня Г. разошлась со своим супругом (по докладу причетника местного прихода), и что Папа решил дело в ее пользу и назначил ей раздельное содержание, и что жили мы весьма тихо и достойно: она у отца своего (по велению Папы), я же, вплоть до этого лета, дома у себя. Лишь только выслали ее отца, ей было предписано отправиться либо в изгнание вместе с ним, либо в монастырь — таковы условия Его Святейшества в связи с расторжением бра-

ка. Отец и дочь по моему совету отправились в Пизу, куда и я последую за ними.

Вот тебе и романтическая история. Уверяю тебя, все случилось помимо желания моего, и в этом моей вины нет. Муж ее был стар и богат, и по прошествии нескольких лет она могла бы остаться богатой вдовой; однако был он ревнив, донимал своими условиями и проч. Она же, как и все женщины, проявила упрямство. Сама знаешь, все возлюбленные мои обожают скандалы и сцены, словом — она «очередная миссис Шаффлтон». И это не удивительно: она так юна, так впечатлительна, так необыкновенна, к тому же издергана мужем и живет в стране, в которой нравственные устои не лучше наших в Англии (хотя бегства от мужей и разводы явление редкое, и ее развод возбудил непривычную шумиху, так как оказался первым в Равенне за двести лет; Папа же поощряет подобное общественное мнение и проч.); кроме того, она чудо как хороша и первая красавица всех четырех провинций, и, когда я познакомился с нею, еще и года не успела прожить с мужем своим, что был на *сорок* лет ее старше, уже имел двух жен и даже как будто подозревался в отравлении первой.

До сих пор мы жили благопристойно и тихо. Тут общество не отторгает вовсе женщину, как в вашей лицемерной стране. Не странно ли, что все красотки мои столь впечатлительны — то и дело хватаются за кинжал, разводятся, закатывают истерики.

Но это (как пишется в театральных афишах) «последнее представление, более не ожидается», во всяком случае такие испытания для меня на будущее исключены. Право же, я получил сполна. И это — последнее приключение, ибо, видишь ли, если женщина здесь разводится с мужем ради *amant*, то он, следуя долгу чести (а в моем случае и велению души), обязан жить с нею до конца дней, по крайней мере до очередной измены.

Итак, ты видишь, чем отец начинал, тем я кончаю, и теперь, возможно, до самой смерти ты меня не увидишь. Да и заслуживаешь ли ты этой встречи после того, что так холодна была со мною — *когда я готов был всем пожертвовать ради тебя, — и после того, как считала отца [неразборчиво] всегда [неразборчиво]*¹.

Вот уже три года длится у нас эта «связь». Я влюбился отчаянно — и она любила меня без памяти, ибо пожертвовала всем ради этой безудержной страсти. Это все от впечатлительности. Теперь, когда я не так неистово влюблен, как в первые дни, могу сказать: никогда не мог предполагать я, что и через три года женщина все еще может так привязывать меня к себе, как она

¹ Слова, выделенные курсивом, затерты, по-видимому, не Байроном. — Прим. англ. издателей.

(кроме еще одной лишь, а кто она, догадываешься ли ты?), так, чтоб ни в мыслях, ни в намерениях моих не было расстаться с нею.

Что до нее (вот уж год прошел с ее развода да еще год с начала всех этих событий), то графиня настроена еще более решительно. Тот шаг, разумеется, доказал решимость ее. Если леди Б. соблаговолит скончаться, а также и супруг графини Г. (ибо католикам запрещено, находясь в разводе, заключать второй брак), не исключено, мы поженимся — хотя мне бы этого не хотелось (так как считаю, что это путь ко взаимной ненависти, столько примеров вокруг).

Так что на ближайшее время и думать забудь о встрече со мной, а быть может, и навсегда. Каким путем послала ты посылку и как бы мне получить ее в Пизе? Меня волнует не эта дребедень от Ходжсона, но то, что будет сорвана печать. И чего этот дурень боится посылать по почте? Почтой куда вернее — это единственно верный путь отправки. Вскрывают только пакеты политического содержания.

Твой.

P.S. Уверен, тебе бы весьма понравилась будущая леди Б. по трем причинам: первая — она большая защитница леди Б. нынешней и повторяет, что «полагает с уверенностью», будто я с ней чрезвычайно плохо обошелся; вторая — тебя она обожает, я с трудом сдерживаю ее, не то бы написала тебе письмо на одиннадцать страниц (ибо письма — ее страсть), и третья — прочтя «Дон Жуана» во французском переводе, она заставила меня обещать, что больше я ни слова не напишу, обозвала поэму дрянью и проч., проч., сказала, что в Донне Инессе изобразил я леди Б., словом, пришлось (только что) поклясться, что продолжать не стану, к тому ж последние песни уже ушли в Англию в прошлом году. Ну не смешно ль все это? В ее характере есть даже что-то от нас, Байронов. Скажем, склонность к насмешкам — как у тетушки Софии, у тебя, да и у всех нас. Так хотелось бы, чтоб Джорджиана написала мне письмо. Мне кажется, она уже должна бы научиться.

Вскрыто мною — и печать вскрыта тоже; значит, не стоит тебе без причины обвинять почтовое отделение.

Б.— вместо подписи,
а полностью в том месте, где был сургуч.

Достопочт. Дугласу Киннэрд

7 февр. 1822 г.

Роберту Саути¹

Пиза

7 февр. 1822 г.

Сэр! Мой друг, достопочтенный Дуглас Киннэрд, вручит Вам от меня послание, на кое жду Вашего ответа.

Остаюсь с уважением Ваш нижайший и покорнейший слуга,
Байрон

P.S. Предоставляю тебе Carte blanche в деле Саути. Если ты согласен со мною, что его надо призвать к ответу, прошу тебя, передай мое предложение встретиться, где и когда ему будет угодно, чтобы мне уговориться с ним и другом его; и по возможности скорее дай мне знать, чтоб я мог воссоединиться с тобой. Таким образом можно (или должно) предотвратить нежелательную задержку. Хорошо бы, ты позаботился — если я на сей предмет приеду в Англию ранее, чем будет получено им письмо мое и оговорены условия, — чтоб приезд мой не пролил света на суть моих намерений; если же все будет оговорено до моего приезда, можно будет договориться о встрече прямо на этот же день.

Лучше бы устроить это во Франции, чтоб меньше привлекать общественный интерес; боюсь, однако, что мистер С. слишком большой патриот, чтоб ради такого дела покидать родину. Собоображения мои таковы; после того что он говорил и многократно повторял, это единственно достойный путь разрешения ситуации.

С запиской г-ну Саути посылаю твою визитную карточку. Я требую сатисфакции за выражения, допущенные им в письме, опубликованном в газетах; как тебе прекрасно известно, в этом и заключена суть моего послания. Тебе, разумеется, придется попридержаться публикацию «Видения [Суда]», пока не станет очевидным, что дело решилось, как и должно было ожидать.

Лорду Холланду

Пиза

11 мая 1822 г.

Дорогой лорд Холланд! Позвольте поблагодарить Вас за теплое письмо. Все слова Ваши в отношении несчастной Аллегры — истинная правда. Признаюсь, смерть ее потрясла меня,

¹ Записка Р. Саути вложена в письмо Д. Киннэрд — *Прим. издат.*

кровь стынет в жилах. Такой глубочайшей печали никогда в жизни я не испытывал. В отношении же клеветы, обрушившейся на меня, хоть уже и привык я ко всякого рода обвинениям, признаюсь: есть такая клевета, пред которой бессильна сама невинность. Что же до... — но не могу, слишком больно говорить об этом. Как бы ни была велика скорбь моя, все же уверяю Вас, я не ищу и не требую ни от кого жалости к себе; и хотя ни в коей мере не хочу отказываться от участия друзей моих, пусть только будет выражено оно с бóльшей деликатностью, чем соболезнования *той компании*; от них сердце мое, как под студенными ветрами Сибири, пронизывает холодом.

Война между «Церковью и Государством» более изумляет меня, нежели тревожит; ибо, клянусь, я считал «Каина» умозрительным, тяжеловатым, но все же безобидным произведением. Эта забытая нелепая книга «Занятия литературой» содержит одно наблюдение, заслуживающее внимания. «Литература, — пишет автор ее, — хорошая ли, дурная ли, являет собой великую движущую силу, которой все цивилизованные государства держатся или ниспровергаются». Весьма не просто ответить на вопрос: если религия, или просвещение, или литература находятся в руках у власти, содействуют ли они всяческому ее укреплению? Однако не вызывает сомнений, что, если какими-либо путями власть овладеет всеми тремя этими богатствами, влияние ее окажется безграничным, и поработенный тем самым народ обречен лишь на превращение в автоматы, следующие каждому мановению руки правителя.

Напоминайте о себе, когда удобно Вам, не поминайте лихом.

Нежнейше преданный Вам *Н. Байрон*

Джону Меррею

Монтереро, близ Ливорно
26 мая 1822 г.

Уважаемый сэр! Тело отправлено, а на каком корабле, я не ведаю и не в состоянии вдаваться в подробности; но графиня Г. Г. была настолько добра, что сама отдала господину Данну, который заправляет погрузкой, необходимые распоряжения, она и напишет Вам. Я хочу, чтобы дочь похоронили при церкви Хэрроу: есть там один уголок, у самой дорожки, прямо на возвышении, откуда открывается вид на Виндзорский замок. Там еще могила под раскидистым деревом (плита с именем Пичи или Пичей), где часами сиживал я мальчишкой: то было любимым местом моим; однако если ставить памятную могильную плиту, тогда лучше захоронить в самой церкви. По левую руку

от двери, как войдете, памятник, и на нем высечены слова:

Над прахом Добродетели святой
Прольются слезы Горести немой.
Нет скорби чище, нет прозрачней слез,
Как той, чье счастье горький рок унес.

Я помню их (и через семнадцать лет) не потому, что они чем-либо замечательны, просто потому, что со скамьи моей в галерее вечно взгляд мой приковывал этот памятник; я б желал, чтобы Аллегру захоронили как можно ближе от того места, а на стене укрепили мраморную плиту с надписью:

Незабвенной
Аллегре,

дочери Дж. Г. лорда Байрона,
скончавшейся в Баньякавалло,
в Италии, апреля 22-го, 1822,
в возрасте пяти лет и трех месяцев.

«Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне»

(2-я кн. Царств., гл. XII, стих 23)

Я желал бы, чтобы похороны, в меру существующих правил приличия, проходили без особой огласки; хотел бы рассчитывать, что Генри Друри, если это возможно, свершит над ней отпевание. Если он откажет, пусть обряд свершит любой тамошний священник. Думаю, более по этому мне добавить нечего.

Теперь поговорим на иную тему. По приезде сюда получил я приглашение побывать на кораблях американской эскадры, где принимали меня со всей любезностью, каковую можно только вообразить, и с излишними, на мой взгляд, почестями. Я нашел, что корабли их красивей наших, щедро оснащены превосходной командой и офицерским составом. Там встретился я и с джентльменами из американцев и дамами их. Перед самым моим уходом одна американская леди попросила подарить ей розу, что была у меня в петлице, дабы, как разъяснила она, увезти в Америку какую-либо память обо мне. Не стоит пояснять, что я воспринял ее комплимент должным образом. Капитан Чонси показал мне американское — весьма изящное — издание моих стихов и пригласил поплыть на своем корабле в Соединенные Штаты, если я пожелаю. Командир эскадры Джонс был столь же любезен и обходителен. После получил я письмо с приглашением позировать в группе американцев для портрета. Не удивительно ли, что в тот же самый год, когда леди Ноэл волей своей запрещает моей дочери на долгие годы видеть портрет своего отца, представители нации, не отличающейся особым сходством с англичанами и не привыкшие к лести, приглашают

меня позировать ради моей «портретатуры», как сказал бы барон Брэдуордайн. Мне сообщили также, что у литературной Германии я также в большой чести. Говорят, общеизвестно, что Гёте — мой покровитель и защитник. В Лейпциге в этом году самую высокую цену предлагали за перевод двух песен моего «Чайльд-Гарольда». Не уверен, правда, что в Лейпциге, говорю, ссылаясь на господина Бэнкрофта — он (юный американец) знаток немецкой литературы и знаком с Гёте.

Гёте и его соотечественники в восторге от «Дон Жуана», который считают произведением искусства. Что-то подобное рассказывал мне ранее барон Лютцероде. Переводят мои произведения часто и много, а Гёте сравнивал «Манфреда» с «Фаустом».

Вот Вам за Вашу чисто английскую прямолинейность (собственно, не Вашу лично), что так щедро расцвела в нынешнем году, ну просто пышным цветом.

Забыл рассказать маленький анекдот, совсем не на эту тему. Побывав на «Конституции» (флагманском судне командира эскадры), я увидел там много любопытного и кроме всего прочего — мальчика, родившегося прямо на судне у жены одного матроса. Его окрестили именем «Конституция Джонс». Я, разумеется, выразил свое восхищение, а мать его сказала: «Ах, сэр, если б он оказался хоть наполовину достоин своего имени!»

Вечно Ваш преданный слуга *Н. Б.*

Э. Дж. Доккинсу

Пиза

4 июля 1822 г.

(Британскому посланнику во Флоренции)

Уважаемый сэр! К сожалению, должен сообщить, что мои предчувствия были небезосновательны. Во вторник семейство Гамба получило предписание в четыре дня покинуть пределы Тосканы. Очевидно, таким образом, что и я обречен на изгнание, ибо куда едут они, туда и я устремлюсь по велению долга и зову сердца. Мне кажется, надо попытаться добыть разрешение остаться в Лукке — а если не выйдет, то в Генуе. Если же и это не получится, уедем в Америку: капитан американской эскадры Чонси (который возвращается назад в сентябре) и г-н Бройн, американский торговый представитель в Ливорно, самым любезным образом приглашали меня с собой; последний даже прислал мне записку, в которой уведомлял, что если мы согласимся принять его приглашение, то пришлет за нами судно свое в Геную. Что же касается толков, которые вызовет мой отъ-

езд в такое время, надеюсь, не откажете мне в любезности пролить свет на истинное положение вещей, поскольку в случае отъезда я не буду иметь возможности сделать это лично, и почти не сомневаюсь, что подобная ситуация кое-кому окажется на руку.

Это письмо передаст Вам г-н Тааффи, который попал теперь в весьма затруднительное положение, чему немало способствовала собственная его неосмотрительность. Но, мне кажется, что он, бедняга, ничего дурного не замышлял. Он хотел, чтоб графиня Гвичьоли поспешила во Флоренцию — припасть к стопам Великой Герцогини:

смиренно ждать ответ,
Когда косит лакей и пыжится клевет.

Одно могу сказать, если бы она пошла на это, я б ни за что больше не припал к *ее* стопам.

У Коллини служба теперь — синекура, да и только, желаю ему всех благ от нее. Неудобства и расход для меня окажутся весьма значительными, поскольку у меня два дома, обстановка, вина, столовый фарфор, белье, книги, шхуна, иными словами, полное обзаведение семейного человека, которое не кинешь по сигналу тревоги, к тому же я в полном неведении, где будет разрешено остановиться семейству Гамба и, разумеется, где останюсь я сам.

Все это — и то, как полицейский комиссар оглашал предписание, и проч. — производилось в самой оскорбительной манере. С посыльным обошлись точно с преступником, взяли под стражу и в сопровождении солдат отправили в Пизу, в тюрьму, с ночевкой в пути.

Полагаю, что теперь это самое их правительство может быть довольно: мои соотечественники унижены и оскорблены негодяем, мои слуги, будучи невиновны, считались преступниками, в то время как знатному и уважаемому семейству, невзирая на нездоровье дамы, было предписано убраться, как каким-нибудь ничтожествам, — при этом ни намек на правосудие, никакого, даже фальшивого, *доказательства вины*.

В отношении Вас могу лишь добавить, что мои обязательства, мои чувства к Вам остаются неизменными, как если бы все усилия Ваши помочь увенчались успехом. Действительно, было время, когда я полагал — неважно, считаются ли они с тем, кто ходатайствует за нас, или с теми, в пользу кого совершается ходатайство, — что по крайней мере мы можем рассчитывать на *справедливый* суд, так как ради выяснения истины я не жалел ничего. Но раз все обернулось иначе, к чему тратиться на сантименты, во всяком случае сейчас, ведь никакими словами не выра-

зить мое отношение к тому, как все это проделывалось людьми, именующими себя правительством.

Джону Меррею

Генуя
25 дек. 1822 г.

«Ежеквартальник» я отослал Вам обратно, едва проглядев, так как решил более рецензий не читать — ни добрых, ни злых, ни равнодушных; но от судьбы не уйдешь. Галиньяни, к кому стекается критика на меня, прислал мне экземпляр своего неутомимого, насыщенного всякой всячиной еженедельника, наполовину заполненного ею, и так как все явилось «как Дар, нечаянно-нежданно», нечаянно и я проглядел полученное. Должен сказать, что в целом, точнее сказать, в половине, целиком мною прочитанной (ибо вторая половина войдет в последующий выпуск, что появится через неделю), все удивительно пристойно, весьма любезно и доброжелательно. Восприняв, таким образом, добрую порцию лестной критики, не смею да и не желаю придираться к нелицеприятной: автор отзывается о «Дон Жуане» резко, однако этого надо было ожидать. Он не может не следовать, во всяком случае открыто противоречить, мнению главенствующей клики, чьи позиции, впрочем, довольно шатки: отзыв критика может и должен открывать путь течениям общественного мнения или отражать их изгибы, но открыто противоречить им он не смеет. Пройдет время, и «Дон Жуана» оценят, так как основной смысл его — сатира на неприглядные стороны современного общества, а вовсе не восхваление порока: да, местами он грешит чувственностью, что ж поделать! Но Ариосто грешит более; Смолетт (вспомним лорда Струтвела из второй книги «Р[одерика] Р[эндомы]») — тот в десять раз более; под статью им и Филдинг. Ни одну девственницу чтение «Д. Ж.» не способно развратить — нет и нет! За сим стоит обратиться ей к стихам Томаса Маленького, романам Руссо или к благочестивой де Сталь: вот что толкнет ее на разврат, только не Жуан, который высмеивает его — да и многое что еще. Но не беда — *Ça ira!*¹

Теперь же о куда менее приятном деле, к коему *pars magna* *cs*² и Вы, Меррей с Альбемарль-стрит, и другой Меррей, с Бридж-Стрит. *Arcades Ambo*³ («два Меррея») «*et cant-are*

¹ Дословно: «Да будет так!» (*франц.*). — подбадривающий призыв вперед, рефрен известной французской революционной песни с тем же названием.

² Весьма Вы руку приложили (*лат.*).

³ Два аркадийца (*лат.*).

pages ¹»; Вы угадали, я говорю о том, что на совести вас обоих,— о предъявлении судебного иска Джону Ханту, эсквайру, в связи с публикацией «Видения». Вы виновны, что послали ему неправильный экземпляр, тезка Ваш — в поведении своем. Черт побери, однако адвокат Х-га явно приукрашивает положение вещей, утверждая, что рукописи — не Ваших рук дело, и проч., между тем бедняга Х. (исходя из того, что мне известно самому, не могу не согласиться с обвинением) скорее всего загремит в тюрьму.

Так вот, понимаете ли Вы, что в силу своего неблагоразумия и невежества натворили Вы с Вашими друзьями? По сути дела, тот союз, что хотели предотвратить, Вы спаяли своими же руками, а он, если Хант выиграет, по всей вероятности, распадется. При всем этом я не могу бросить их в тяжкий момент, хоть и будет это стоить репутации, чести, денежных средств и всего прочего.

Изначальные мотивы свои я уже излагал (в письме, которое Вы сочли возможным предъявить суду), мотивы эти искренни, и я буду верен им, как говорил Вам и о чем сказал Л. Х-ту, когда тот спрашивал меня о содержании письма. Он был весьма уязвлен и никогда в душе мне не простит; но что поделаешь. Я не имел в виду бравировать этим — но, поскольку он спросил меня, я мог ответить ему только чистую правду; и, признаюсь, ничего обидного для него в том письме не вижу, разве что назвал его «нудным», но точно не помню. Лишь только бы журнал их начал преуспевать, чему я мог посодействовать ради их блага; тогда бы я покинул их, благополучно оттолкнув их судно, вопреки встречным ветрам, от берега, чтоб они уже без меня продолжили свое увлекательное путешествие. А раз так, как я могу (да и если б смог, не стал бы) бросить их на произвол судьбы в состоянии банкротства?

Что до общности чувств, мыслей или взглядов между Л. Х. и мною, то этого нет или почти нет: мы редко видимся, почти не встречаемся; однако я считаю его человеком талантливым и с твердыми принципами и должен отнестись к нему так, какого отношения жду к себе. Не знаю, что за жизнь прожил он, только я прожил три или четыре, и ни одна из них не похожа на terra incognita, где жил его Китс со своим кенгуру. Увы! Бедный Шелли! Был бы он жив, уж как бы он посмеялся, как и мы с ним смеялись то и дело над множеством всего, что всерьез принимается обывателями.

В отношении Шелли Вы вовсе несправедливы. Не знаете Вы, до чего мягок, тактичен, до чего хорош был он в общении, и этот

¹ «Спелись» (лат.)

безупречнейший джентльмен имел смелость появляться в свете, лишь когда и где сам того хотел.

Есть у меня мыслишки сбежать в Неаполь (*solus*¹ или, еще лучше, *cum sola*²) нынешней весной и после ознакомления с этими местами засесть писать пятую и шестую песни «Ч.-Гарольда»; но на сегодня это пока лишь проект, в голове моей иные поездки и путешествия. Бюсты готовы — заслужили ль Вы их?

Ваш и проч. *Н. Б.*

Р.С. Миссис Шелли проживает в доме Хантов, это не близко от меня. Видимся мы с ними редко и обычно по делу. Миссис Ш. как будто уезжает весной в Англию.

По совету г-на Хилла (посланника) семейство Гамба — отец, сын и дочь — поселилось в моем доме как в более безопасном убежище, нежели любой другой приют в отношении защиты от политических преследований; однако Гамба занимают одну половину огромного дома, я — другую, и наши половины не сообщаются.

Раз уж я прочел «Ежеквартальник», придется стереть два-три эпизода в последних шестой и седьмой песнях, где я слегка лягнул двух или трех Ваших авторов; однако платить злом за добро не стану. Мне весьма понравилось то, что прочел я в той статье.

Весьма вероятно, что г-н Дж. Х. станет издателем новых песен; каковы его надежды на успех, мне неизвестно, да, насколько я понимаю, это и неважно; но надеюсь, что сие пойдет ему на пользу, ибо он упорен, крепок и мыслит здраво, он нравится мне; чем-то напоминает Прина или Пима. Зла на Вас за Ваше неприятие «Д. Ж.» не держу, но никак не могу одобрить Ваше поведение в деле Х.

Оказали ли Вы помощь мадам де Иосси, как я просил Вас? Я отослал ей 300 франков. Будьте добры, рекомендуйте, чтоб Литературный [фонд] или какая еще благотворительная организация из Вам известных приняла в ней участие.

Графине Гвичьоли

*Айя-Эффимия, Кефалония,
11 августа 1823 г.*

Драгоценная моя Тереза, все прекрасно! Все идет хорошо! Скоро причалим к берегу Итаки после морского пути под щед-

¹ Одному (*лат.*).

² Зд.: только я и она (досл. «с одной») (*лат.*).

рым солнцем Аргостоли. Твой брат Пьетро доскажет тебе остальное. Не тревожься, ибо нынешний поход наш — увлекательное плавание среди островов. Всегда и всецело А. а. in e.¹

Н. Б.

P.S. Здешние англичане, как военные, так и статские, встретили нас любезностью и гостеприимством.

Графине Гвичьоли

7 октября 1823 г.

Драгоценная моя Т.! Пьетро поведал тебе все новости с острова — здешние землетрясения, политические события, наше нынешнее проживание в живописной деревушке. (Однако умолчал о результатах своих ухаживаний, но предоставляю ему самому описать это.)

Так как наши с ним впечатления о греках весьма сходны, мне почти нечего добавить тут. Отправился я сюда по глупости, но коль скоро уж я здесь, должен разобраться, как помочь.

Если бы не столь дальнее расстояние меж нами, сколько бы забавного я мог тебе порассказать! Однако надеюсь, что вскорости это станет возможным. Очень прошу, береги себя и люби меня, как и ты любима всегда твоим

Н. Б.

Терезе Гвичьоли

11 февраля 1824 г.

Драгоценная моя Т[ереза], все прекрасно. Пишу тебе коротко из долгого далека. Отыскал я прехорошенькую девочку-турчанку десяти лет, каковую в ближайшие дни отошлю к тебе; она прекрасна, как солнце, весьма весела, можешь заняться образованием ее. Твой навски

Н. Б-н

¹ Amico amante in eterno — друг и любимый твой навечно (итал.).

III. «Правда всякой выдумки странней...»

Вы скажете, что это очень странно,
Но правда всякой выдумки странней.
Как помогли б правдивые романы
Познанию жизни, мира и людей!

Байрон. «Дон Жуан»

I. Детство, отрочество и ранние путешествия.

АБЕРДИН

1793 г. Аноним

[Со слов Томаса Мура.] Некий господин из Глазго рассказывал мне, что особа, вынянчившая его жену и до сих пор живущая в их семье, водила знакомство с нянькой Байрона. Они часто гуляли вместе со своими питомцами. Во время одной из таких прогулок она сказала: «До чего же Байрон хорош! Если бы не нога!...» Уловив в ее словах намек на свой недостаток, мальш гневно взглянул на говорившую и, ударив ее хлыстиком, который держал в руке, раздраженно крикнул: «Не смей так говорить!»

Позднее, тем не менее, он отзывался о своей хромоте равнодушно и даже с насмешкой. По соседству с ним жил еще один мальчик с таким же дефектом ноги, и Байрон шутил: «Взгляните, как по Брод-стрит косолапят два медведя».

НОТТИНГЕМ

1798—1799 гг. Даммер Роджерс

[Со слов Томаса Мура.] Во время занятий латынью Байрона часто мучали боли в ноге, сдавленной ужасным приспособлением, коим ему исправляли хромоту. Однажды мистер Роджерс сказал Байрону: «Мне тяжело наблюдать ваши страдания, милорд, должно быть, боль очень сильна?» — «Пустое, мистер Роджерс,— ответил мальчик,— но впрямь я буду стараться, чтобы вы ничего не замечали».

ЛОНДОН

Ноябрь 1799 г. Джон Хэнсон

[В пересказе Роланда Э. Протера] В конце осени 1799 года лорд Портсмут незадолго до своей женитьбы на мисс Нортон, сестре лорда Рантли, гостил в семье Джона Хэнсона. Как-то, не в меру разойдясь, он ущипнул Байрона за ухо. Мальчик схватил лежавшую на полу морскую раковину и швырнул ее в голову лорда Портсмута, чудом избежавшего удара, — раковина разбила зеркало за ним. Тщетно миссис Хэнсон пыталась восстановить мир, убеждая лорда Портсмута, что Байрон не целился в него. «Нет целился! — твердил Байрон. — Я отучу этого дурака графа щипать дворян за уши!»

[Место неизвестно]

1799—1801 гг. Миссис Байрон

[Из письма к Августе Байрон от 18 октября 1801 г.] Хотя вы знакомы так недолго, он часто говорит о тебе с нежностью. Более того, сердечная доброта его и самое дружеское расположение к тебе таковы, что даже если бы вы никогда не видались, уже одного только, что ты его сестра, было бы совершенно достаточно, чтобы он всегда помнил и любил тебя.

ХЭРРОУ

1802 г. Уильям Харнесс

Я познакомился с лордом Байроном еще ребенком, когда поступил в Хэрроу. Мне тогда минуло двенадцать. Из-за несчастного случая, происшедшего ранее, я хромал, а кроме того был слаб, бледен и худ вследствие лихорадки, перенесенной незадолго до приезда в школу. Это плачевное мое состояние и более всего, я полагаю, хромота, пробудили в Байроне искреннее сочувствие, и он, со всем благородством своей природы, взял меня под защиту. Если мне не изменяет память, первыми его словами, обращенными ко мне, были: «Если кто-нибудь станет тебя задирать, скажи мне, и я поколочу его — во всяком случае, попытаюсь».

ЛОНДОН

1802 г. Прайс Л. Гордон

Я часто имел возможность наблюдать его, когда он приезжал в Лондон на каникулы. В четырнадцать лет он был красивым, нетерпеливым, бойким юношей, страстно увлеченным верховой ездой. Как-то он похвастался, что обгонит меня, и я ответил по-

словицей: «Дареный конь летит стрелой» [Гордон давал Байрону для прогулок своего пони]. Он не понимал этого изречения до тех пор, пока я не растолковал ему смысла его, но принял упрек добродушно и, натянув поводья, сказал: «Если бы это был мой пони, я поставил бы все свои карманные деньги на то, что доскачу до Кенсингтонских садов раньше вас». — «Что ж, — отвечал я, — поскачем завтра — сегодня наши лошади выпили много воды, — и проигравший заплатит полкроны». Он проговорился об этом уговоре матери, и она запретила ему состязаться со мной. Она позволяла ему ездить верхом, но ему пришлось дать честное слово не скакать галопом, и он свято придерживался данного обещания, ибо будучи избалованным, сумасбродным ребенком, он все же никогда не стремился намеренно уязвить или расстроить ее (о чем она сама мне часто говорила).

[Место неизвестно]

1803 г. Аноним

[Со слов Томаса Мура.] Во время каникул его юношеским мечтам пришел конец. В следующем [1804] году он еще раз увиделся с мисс Чаворт и навсегда простился с ней (как он сам потом рассказывал) на холме близ Аннесли, так прекрасно описанном в «Сне» («увенчанный чудесной диадемой...»). Никто, уверял он, не догадывался, как ему тяжело. Он скрывал свои чувства и не терял самообладания. «Когда мы снова увидимся, — сказал он, — вы, вероятно, будете уже миссис Чаворт [Мастерс]». — «Надеюсь», — отвечала она.

САУТВЕЛЛА

Август 1805 г. Аноним

«Байрон, — позвала мать, — у меня известие для тебя». — «Какое же?» — «Сперва достань носовой платок, он тебе понадобится». — «Глупости!» — «Достань носовой платок, говорю тебе!» Он подчинился, чтобы доставить ей удовольствие. «Мисс Чаворт вышла замуж [за мистера Мастерса]». Странное, не поддающееся определению выражение скользнуло по его бледному лицу. Небрежно сунув платок в карман, он спросил с деланным спокойствием: «Это все?» — «Как! Я думала, ты изойдешь слезами!» Он не ответил и заговорил о другом.

[Место и дата неизвестны]

Джон Кэм Хобхаус

Там, в Саутвелле, он не только впервые познал плотские утехи, но и смог, кроме того, убедиться, к каким низким уловкам

прибегает корысть. Одна из упомянутых семей смотрела сквозь пальцы на его сношения с одной из своих дочерей в надежде связать его неравным союзом.

ЛОНДОН

13 марта 1809 г. Р. Ч. Даллас

В тот день я не намеревался заходить к нему, но проходя по Сент-Джемс-стрит, я увидел у его дверей коляску и решил зайти. Он был бледнее обычного, что свидетельствовало о сильном волнении, вызванном, вероятно, мыслями о том дворянине, к помощи которого он ранее собирался прибегнуть при представлении палате лордов. «Как хорошо, что вы здесь, — сказал он. — Я еду в палату. Не составите ли мне компанию?» Я немедленно согласился, хотя мне стоило большого труда скрыть, как я поражен, что этот юноша, занимающий по своему происхождению, воспитанию и таланту столь высокое положение, лишен какого бы то ни было покровительства особ своего круга и что среди членов сената, к которому он принадлежал, не нашлось ни одного, к кому он мог или хотел бы обратиться с просьбой представить его палате, как приличествует человеку его происхождения. Я видел, что он понимает свое положение, и, разумеется, разделял его негодование.

Поговорив немного о Сатире, последние страницы которой уже были в наборе, мы последовали в парламент. Войдя в зал, он, как мне показалось, побледнел сильнее прежнего, и смиренное выражение, которое он попытался придать своему лицу, сменилось негодующим. Он, не глядя, миновал мешок с шерстью и прямо направился к столу, где его привели к присяге. Когда с церемонией было покончено, лорд-канцлер, улыбаясь, встал со своего места и, подойдя к Байрону, дружески протянул ему руку. Хотя я не расслышал произнесенных лордом-канцлером слов, он определенно сказал ему что-то приятное. Однако это не произвело на лорда Байрона должного впечатления. Сдержанно поклонившись, он вместо того, чтобы так же дружески ответить на столь явное проявление расположения, ограничился тем, что коснулся руки лорда-канцлера кончиками пальцев. Мне было горько видеть это, ибо в натуре лорда Элдона талант счастливой сочетается с добродетелью. Да и с точки зрения политической их сердечная встреча доставила бы мне большую радость. После такого приветствия лорд-канцлер не настаивал на продолжении беседы и вернулся на свое место, а лорд Байрон небрежно уселся на одну из скамей слева от прохода, где обычно сидят члены оппозиции. Через несколько минут он встал и вышел. Присоединившись к нему, я выразил свои чув-

ства, на что он сказал: «Если бы я дружески ответил на его рукопожатие, он записал бы меня в сочувствующие своей партии. Но у меня не будет ничего общего ни с кем из них, ни с одной стороной! Я представился палате, и теперь могу ехать за границу». Мы вернулись на Сент-Джемс-стрит, но настроение его не улучшилось.

25 апреля — 11 июня 1809 г. Р. Ч. Даллас

[...] Мизантропия и отвращение к жизни, ведущие к скептицизму и нечестивости, господствовали в его сердце, отравляли существование. Незадолго до того он подвергся грубым нападениям писак из бульварных листков, которые перенес, однако, значительно легче, нежели слепое и яростное отрицание его гения в «Эдинбургском обзоре». Непривычный к женскому обществу, он одновременно и страшился и презирал его, а если и говорил о женщинах, о тех, то есть, кого не страшился и не презирал, то отзывался о них не как о друзьях, а, скорее, как об игрушках. Что до семейного счастья, то он не имел о нем ни малейшего представления. «Большая семья,— говорил он,— это салат, в котором по чьей-то странной причуде перемешаны несовместимые продукты, а я не охотник до таких блюд». К несчастью, он прежде мало бывал в семьях, в чем следует винить его родственников, и поэтому так ненавидел семейное окружение, особенно женщин. «Родственные узы,— говорил он,— кажутся мне предрассудком, а не привязанностью сердца, которое делает свой выбор без принуждения». Напрасно возражал я ему, что детские игры, так же как и совместные занятия и праздники ранней юности,— самая благодатная основа для дружбы и любви и что для свободного выбора дом и семья годятся ничуть не меньше, чем более широкие круги. В этих кругах он не нашел ни единого друга. Тех немногих приятелей, которые у него появились, он встречал с наигранной веселостью, но, оставаясь холоден к ним в душе, отзывался о них без уважения, а порой и саркастически. К одному юноше, своему школьному товарищу, лорд Байрон питал искреннее расположение, полагая, что он отвечает ему тем же. Я несколько раз встречал этого юношу в квартире лорда Байрона перед его последней поездкой в Нью-стед. Они обменялись портретами работы превосходных живописцев, увенчанными родовыми гербами. Однако либо под влиянием дам, желавших отомстить лорду Байрону за его пренебрежение, либо из-за свойственного ему легкомыслия и непостоянства визиты его к лорду Байрону становились все реже и короче. Лорд Байрон молчал об этом до того самого дня, когда я пришел к нему проститься перед отъездом. Я застал его вне себя от негодования. «Верите ли,— начал он,— я только что повстречал N и попросил его зайти ко мне на час. Он ответил, что

занят, и знаете чем? Оказывается, он обещал сопровождать свою мать и еще каких-то дам в поездках по магазинам! А ведь он знает, что завтра я уезжаю по крайней мере на несколько лет, да и вернусь ли вообще, неизвестно! Дружба! Боюсь, что кроме вас и вашей семьи, да возможно еще моей матери, здесь не останется никого, кому будет до меня дело».

ГИБРАЛТАР, С БОРТА «MALTA PACKET»

16—27 августа 1809 г. Дж. Голт.

В суматохе посадки на корабль (в Гибралтаре) и погрузки багажа его светлость проявил аристократизм, не соразмерный его годам и не совсем уместный в той обстановке. А увидев его насупленные брови, я решил, что он вспыльчив и горд. Впечатление, которое он произвел в тот вечер, нельзя назвать приятным, однако он меня заинтересовал.

Хобхаус был проще и легко сошелся с пассажирами. Байрон держался отчужденно и долго сидел на корме, прислонясь к тросу, вдыхая, по всей вероятности, поэтический воздух скал, угрюмых и темных в сумерках. В тот вечер он проявил все признаки своенравия, был груб со своим слугой Флетчером и явно чувствовал себя не в своей тарелке среди раздражавших его пассажиров. Я подумал, что с ним будет не слишком весело плыть дальше, но когда он, оставив на время мрачные мысли, вновь обратился к Флетчеру, в голосе его зазвучали примирительные ноты, и вскоре я убедился, что он не зол, а всего лишь капризен.

Приблизительно на третий день Байрон переменялся, как бы сочтя свое настроение неуместным, сделался весел и стал энергично способствовать тому, чтобы наше путешествие не было скучным.

Если мне не изменяет память, он провел с нами в каюте всего один вечер, накануне прибытия в Кальяри [Сардиния, 27 августа], потому что едва зажгались лампы, он принимал задумчивый вид, садился на борт у опор, к которым крепятся паруса и тросы, и проводил долгие часы, созерцая луну. Эта необычность, капризы и метафизические рассуждения возбуждали интерес, но не внушали уважения. Он был похож на привидение в саване, с нимбом над головой.

То призрачное облако, которое было ему пристанищем, ощущали более или менее все, кто когда-либо общался с ним. Иногда, правда, лорд Байрон спускался с него и делался таким же, как остальные, но жил он во мраке и тумане, тайных пристанищах вины. К тому времени, о котором я вспоминаю, ему исполнилось двадцать два года, и славу его составляли вполне земные и исполненные ума сатирические стихи. Однако уже

тогда, вслушиваясь в ненароком оброненные им фразы, заставлявшие задуматься, кто же он такой, невозможно было не исполниться предчувствия, что ему выпала необыкновенная и грозная судьба. Манфред в юности — это он сам.

МАЛЬТА

9 сентября 1809 г. Дж. К. Хобхаус

Мы обедали с генералом Оуксом, находившимся рядом с Нельсоном, когда тот был ранен в глаз. Среди присутствовавших была миссис Спенсер Смит [Флоренс из «Чайльд-Гарольда»]. Байрон имеет невероятный успех у дам благодаря красоте, остроумию и благородству. Но его внимание ко всем ним без исключения кончается обычно *gixae femininae*¹.

Сегодня вечером Байрон сообщил мне, что завтра в шесть часов утра дерется на дуэли с капитаном Кэри (адъютантом генерала Оукса), вызвавшим его. Несколько позднее воинственный капитан пошел на примирение.

Констанция Спенсер Смит

[Из письма Байрону в ноябре 1810 года.] Ты взял с меня слово помнить то, о чем говорил мне [обещание вновь встретиться на Мальте и вместе бежать], — и я его сдержала. Если планы твои те же, что и 16 сентября 1809 года, выезжай на Мальту при первой возможности.

СМИРНА

26 марта — 5 апреля 1810 г. Джон Голт

Примерно через месяц после его отъезда из Афин [5 марта] я отправился кружным путем в Смирну, где они с Хобхаусом ожидали прибытия фрегата «Salsette», везшего в Константинополь нашего посланника мистера Адера. Он успел посетить Эфес и окрестности Смирны, но гораздо сильнее его занимали приключения недавней поездки по Албании. Возможно, я был несправедлив, но мне показалось, что за этот короткий промежуток времени он изменился, причем не в лучшую сторону. С Хобхаусом он держался холодно и вообще стал спесивее, что отнюдь его не красило, а к тому же настаивал на верности своих суждений с упорством, которого я прежде за ним не знал. Особенно неприятно меня поразил случай, происшедший на следующий день после моего приезда. Мы обедали большим обще-

¹ Ссорами женщин (лат.).

ством у консула, и он не терпящим возражений тоном сообщал нам свои мнения, в которых высокомерия было больше, чем мудрости. Один из сидевших за столом морских офицеров, кажется, капитан «Salsette», считая, как, вероятно, и другие, подобное самомнение чрезмерным, так здраво и умно возразил ему по поводу какого-то вопроса, связанного с политикой покойного мистера Питта, что лорд Байрон, смутившись, надолго умолк, противопоставив угрюмость чувству собственного достоинства. Ни разу за всю историю нашего знакомства он не выставлял себя в более невыгодном свете. Затем он потихоньку оттаял, спрятал колючки и к концу вечера пришел в хорошее расположение духа. Но было совершенно очевидно, по крайней мере мне, что его горячность, природная несдержанность и ненамеренные капризы никогда не позволят ему снискать то уважение, на которое он, при своем таланте и уме, мог рассчитывать независимо от положения в обществе. Таких людей опасаются, но не почитают.

Тогда же я обратил вниманиe на еще одну новую его черту: он как будто потерял цель. Не говорил больше, что отправится «за Аврору и Ганг», а отдался воле случая. Что-то не давало ему покоя в то время, когда он ожидал отплытия в Константинополь, ставший конечной целью его путешествия, и это что-то выражалось в сомнениях: вернуться ли ему в Афины, или отправиться домой.

Причина такой нерешительности [по мнению Голта], сильно поразившей меня, крылась в неопределенности его положения дома. Возможно, напускное достоинство, более всего напоминавшее упрямство, было естественным следствием беспокойства и неловкости, которые он, дворянин, испытывал, вынужденный в ожидании денежного перевода обращаться за помощью к незнакомым людям.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ

14 мая — 13 июля 1810 г. Англичанин, пожелавший остаться неизвестным

Во время путешествия со своим другом мистером Хобхаусом по Эпиру и Малой Азии лорд Байрон пристрастился к курению. В ту лавку он зашел купить трубок. Родной язык равнодушного итальянца, на котором он обращался к своему *сисегоне*¹, и немыслимый турецкий последнего не давали хозяину возможности понять, что им нужно, и так как это раздражало его светлость, я, обратившись к нему по-английски, предложил свои услуги в качестве переводчика. Узнав, что я англичанин, его светлость

¹ Проводнику (*итал.*).

крепко сжал мне руку со словами, что всегда рад встрече с соотечественником на чужбине. Приобретши необходимое, мы вместе вышли из лавки и отправились гулять по улицам, где я имел удовольствие обратить его внимание на некоторые самые замечательные константинопольские диковины. Необычные обстоятельства нашего знакомства сблизили нас более, чем могли бы сблизить два-три года знакомства в Англии. Я несколько раз обращался к нему по имени, он же не спросил у меня моего и не полюбопытствовал, откуда я его знаю. Естественно, что после этой случайной встречи и последовавшей за нею прогулки я, увидев его через несколько дней на обеде у английского посланника [сэра Роберта Адера], попросил одного из секретарей представить нас друг другу формально. Его светлость подтвердил, что прекрасно помнит меня, но с самым холодным видом и немедленно отошел. Каково же было мое удивление, когда спустя еще день-другой он подошел ко мне на улице с дружеской улыбкой и обратился как к старому знакомому. «Я — враг английского этикета, особенно за пределами Англии, — сказал он, протянув мне руку, — и знакомлюсь сам, не дожидаясь, пока меня представят. Если вы свободны и не прочь снова побродить, я охотно пойду с вами». Он обладал неотразимым обаянием, под которое попадали все, кого он допускал к себе в минуты доброго расположения. Разумеется, я принял его приглашение и мы вновь отправились осматривать столицу. Многие ее достопримечательности казались ему скучными, и он не скрывал своего разочарования. Но красота самого города и его окрестностей восхищали его, он говорил, что не видел мест прекраснее. О турках он рассказывал так, словно прожил среди них долгое время, и закончил словами: «Рано или поздно греки восстанут против них, а если будут медлить, то придет Бонапарт и выгонит этих ленивых бестий вон».

[...] В течение трех или четырех месяцев, которые лорд Байрон провел в Константинополе, я имел возможность видеться с ним почти ежедневно. Однако в то время невозможно было предвидеть, что все его поступки и даже незначительные события, имеющие к нему отношение, приобретут впоследствии такую важность. Он не знал тогда, будет ли еще когда-нибудь публиковать свои произведения, и ничто не предвещало той славы, которой он достиг. И хотя у лорда Байрона не было сомнений в своей исключительной одаренности, вряд ли он или кто-то из его знакомых предполагал, что гений его заблестит так ярко. Уже тогда он резко выделялся эксцентричностью поведения и образа жизни. Безразличие, с которым он относился к людям вообще и разобщенность его даже с самыми близкими друзьями несомненно являлись препятствием к познанию им человеческой

натуры или, по меньшей мере, обедняли его жизненный опыт. В основном его занимали абстрактные предметы или те, что отвлекали от тривиальности повседневного существования. [...]

АФИНЫ

18 июля 1810 г. и позднее. Маркиз Слиго

[В письме к Байрону от 31 августа 1813 г.] Вы просите написать, что говорят в Афинах об истории с той девушкой, которая едва не погибла, когда Вы были здесь.

У нового губернатора, иначе относившегося к христианам, чем его предшественник, были варварские, турецкие идеи относительно женщин. А потому, в соответствии со строгостями мусульманского закона, он приказал посадить ту девушку в мешок и бросить в море — обычай, весьма распространенный в Константинополе. Вы, возвращаясь с купания в Пирее, повстречались с процессией, спускавшейся к морю для свершения казни над несчастной. Далее говорят, что, узнав о цели их путешествия и о том, кто жертва, Вы немедленно вмешались в происходящее: пригрозили силой исполнителям приговора, остановившимся в замешательстве, а поскольку они продолжали колебаться, Вы выхватили пистолет и поклялись застрелить предводителя на месте, если он откажется повиноваться и не вернется с Вами в дом аги. Затем Вы вместе отправились к губернатору, где Вам удалось отчасти угрозами, отчасти подкупом и уговорами добиться для девушки прощения с условием, что она покинет Афины. Мне рассказывали, что Вы без помех отвезли ее в монастырь, а ночью переправили в Фивы, где она и нашла себе убежище.

[Со слов Томаса Мура.] Он часто говорил маркизу Слиго о матери с чувством, близким к отвращению. «Когда-нибудь я открою вам причину», — сказал он однажды. Несколько дней спустя, во время купания у берегов Коринфа, он вспомнил о данном обещании и, указывая на свою обнаженную ногу, воскликнул: «Глядите! Этим увечьем я обязан ее ложной стыдливости во время родов. И сколько я себя помню, она им меня попрекала. Даже накануне моего отъезда из Англии, когда мы виделись в последний раз, она в обычном припадке бешенства прокляла меня, не преминув крикнуть, что я так же глуп, как и уродлив!» Его взгляд и голос, которым он рассказывал эту ужасную историю, могут представить себе только те, кто видел его в минуты подобного возбуждения.

Равнодушие к реликвиям древнего искусства, которые с традиционным рвением осматривали другие путешественники, он признавал так же открыто, как и все, что думал и чувствовал. Когда маркиз Слиго задумал финансировать раскопки каких-то

древностей, лорд Байрон предложил себя в посредники с тем, чтобы предотвратить денежные махинации. «Можете смело довериться мне,— говорил он.— Я не дилетант. Все ваши знатоки вору, а мне эти вещицы настолько не интересны, что я и не подумаю их красть».

12 сентября — 16 октября 1810 г. Леди Эстер Стэнхоуп

[Со слов доктора К. Л. Мериона.] Мне лорд Байрон казался странным. То он бывал щедр, то скуп — в зависимости от настроения. Сегодня на него нападала хандра и он никого к себе не подпускал, а на завтра со всеми дурачился. Потом вдруг становился Дон-Кихотом, отстаивающим честь известной в городе женщины. Я, как и многие в Афинах, видела в нем воспитанного человека — не более.

[Со слов Александра У. Кинглейка.] Рассказывали, что в молодости леди Эстер превосходно копировала окружающих. Первым, кого она распяла у меня на глазах, был бедный Байрон, с которым ей довелось познакомиться вскоре после его прибытия на Восток. Аффектированность его манер чрезвычайно ее забавляла. Он научился нескольким греческим фразам, которыми объяснялся со своим слугой-греком. Не могу судить, насколько точно леди Эстер изображала знаменитого барда, но проделывала она это уморительно, с каким-то высокомерным пришепыванием.

II. ПУТЬ К СЛАВЕ

НЬЮСТЕДСКОЕ АББАТСТВО

Декабрь 1811 — январь 1812 гг. У. Харнесс

Когда Байрон привез [из своего первого путешествия] две начальные песни «Чайльд-Гарольда», я поехал в Ньюстед навестить его. Стояла зима — темная, безотрадная, повсюду лежал снег, и Ньюстедское аббатство казалось брошенным. Однако комнаты, отведенные для жилья, были такими уютными, огонь, пылавший в огромных каминах, отбрасывал такие веселые тени на алые занавеси и портьеры, что вскоре мы перестали чувствовать себя обитателями гигантских руин. Кроме меня в аббатстве гостил еще Ходжсон, переводчик Ювенала. Жизнь наша текла размеренно и тихо. Байрон вносил последние коррективы в типографские оттиски «Чайльд-Гарольда», Ходжсон работал над очередным номером редактируемого им «Ежемесячника», я готовился к экзаменам. Сходясь, мы говорили в основном о поэзии и поэтах, о том, кто может писать, а кто нет. Но случались между нами и серьезные споры, касающиеся религии. Байрон,

проведший детство в Шотландии, отождествлял принципы христианского учения с крайностями кальвинизма, и потому ум его был засорен жалкими предрассудками, которые единственно мешали ему всей душой принять Евангелие. Мы, как могли, старались помочь ему избавиться от заблуждений. Ходжсону, который был намного старше меня, это особенно удавалось. Даже теперь, по прошествии пятидесяти с лишним лет, я с восхищением думаю о Ходжсоне, отстаивавшем правду с жаром, здравомыслием и чистосердечной серьезностью, так что слезы наворачивались ему на глаза.

[Общая оценка.] Главным недостатком Байрона, который должен казаться поистине преступным тем, кто в отличие от меня не видит его корней в мономании, было его извращенное стремление создавать себе дурную репутацию. Не было такого порока, которого бы он хладнокровно не приписал себе. Школьный товарищ, встречавший его в Европе, рассказывал мне, что Байрон часто публиковал в тамошних журналах компрометирующие его сообщения и приходил в восторг, если их перепечатывали английские газеты, считая, что шутка его удалась. Если кто-нибудь дурно говорил при мне о Байроне, ссылаясь в качестве аргумента на его собственные слова, я никогда не был склонен им верить, полагая, не без оснований, что за ними ничего не стоит. Если бы мне пришла охота вспомнить и повторить все небывицы, которыми он меня время от времени потчевал, я мог бы написать книгу. Но я никогда ему не верил. Я очень скоро почувствовал в нем эту странную черту. Понять, откуда она взялась, было невозможно, но и не замечать ее было нельзя. Не исключаю, что это было болезненное проявление тщеславия. Та же эксцентричность заставляла его выносить на всеобщее обсуждение такие слухи о семье, которые другой на его месте скрыл бы, будь они правдой. Сколько раз он говорил мне, что его отец был безумен и покончил с собой! Никогда не забуду, как впервые услышал это от него. Он мыл руки, напевая веселую неаполитанскую песенку, а затем вдруг повернулся ко мне и сказал: «В нашей семье было много сумасшедших». Покончив же с мытьем, он сообщил как о чем-то совершенно незначительном: «Мой отец перерезал себе горло». Контраст между ошеломляющей сутью и легкомысленным тоном этого высказывания был чем-то сродни строфе из «Дон Жуана». По каким-то причинам он намеренно скрывал свое «я» от читающей публики и, примеряя разные маски, старался заставить ее отождествлять себя с Чайльд-Гарольдом и Корсаром, хотя между этими героями и их творцом, каким его создал бог и воспитало общество, даже при самом тщательном анализе нельзя было усмотреть ничего общего.

Помимо этой страсти к дурной славе, этого тщеславия наизнанку, столь пагубного для него, я не знаю ни одной порочной черты в характере лорда Байрона и не был свидетелем ни одного его неблагоприятного поступка. Как-то я высказал это одному джентльмену [преподобному Генри Друри], хорошо знавшему лорда Байрона по Лондону, чем немало его удивил. Но спустя некоторое время мистер Друри подошел ко мне со словами: «Я все размышляю над тем, что услышал от вас, и не могу вспомнить о Байроне ничего дурного, о чем он не сообщил бы мне первым».

ЛОНДОН

25 марта 1812 г. Анна Изабелла Милбэнк

[Из дневника.] Впервые видела лорда Байрона. У него желчный рот. Он кажется мне искренним и независимым, то есть искренним, насколько возможно в обществе, если не выказывать презрения. Во время разговора он часто прикрывает рот рукой. Заявив о своей страстной любви к музыке, он добавил, что не понимает, как можно быть к ней равнодушным. Мне показалось, что ему стоило больших усилий сдерживать природную горячность и насмешливость, чтобы кого-нибудь не обидеть, но временами он презрительно надувал губы и раздраженно щурился. Вокруг и впрямь творилось что-то странное. Владевшая гостями безжизненная веселость красноречиво свидетельствовала об отсутствии подлинного веселья. Даже вальс не внес оживления. Музыку слушали потому, что *так принято*. Мысль подавлялась чванством. И это лучшее лондонское общество!

[К матери.] Он много говорит и, судя по тому, что я сама слышала, очень умен и прямодушен.

Апрель 1812 г.

[Из дневника.] Впервые [14 апреля] говорила с лордом Байроном и была чрезвычайно тронута добротой, с которой он отнесся к Джозефу Блэкету [поэту, по происхождению простолюдину, сапожнику.]

[К матери.] На вечере у леди Каупер я имела очень интересный разговор с лордом Б. (по крайней мере, мне так кажется). Лорд Б. необыкновенная личность, но ему недостает той кроткой доброты, которая способна тронуть мое сердце. Он очень хорош собой и манеры у него самые утонченные, как у природного джентльмена.

[Из дневника.] Мое знакомство с лордом Байроном не прерывается, и я снова и снова убеждаюсь в том, что он искренне

сожалеет о своих дурных поступках, но не имеет решимости ступить на новую стезю без посторонней помощи.

[К матери.] Вне всякого сомнения, лорд Байрон — самый приятный собеседник из всех известных мне, старых и молодых. По-моему, он очень хороший очень плохой человек. Сквозь его ужасные привычки пробиваются благородные ростки добра.

[Из дневника.] «Как вы думаете, есть среди них хоть один, кто не побоялся бы заглянуть внутрь себя?» — неожиданно спросил меня Б. на вечере, где во всей толпе не было никого красивее, чем он. Но я не испытывала к нему глубокого сочувствия до тех пор, пока он не произнес так, чтобы я слышала: «Во всем мире у меня нет ни единого друга».

[Байрону от 29 сентября 1814 г.] Во время ужина, когда Вы сидели между мной и леди Мельбурн, но разговаривали только с ней, я услышала, как Вы сказали: «Благодарение богу, у меня во всем мире нет ни единого друга».

Май 1812 г. Леди Каролина Лэм.

[Байрону от ноября 1818 г.] Я вспоминаю тот день, когда убили Персевала, и то, как сильно Вас это поразило, как Вы приехали к нам, как увидели безутешного Уильяма Лэма, как Вам были близки его чувства, — все это я помню так ясно, как будто это произошло вчера.

Когда Персеваль умер, Вы пообещали мне (помните?), что как бы я себя ни вела и что бы ни случилось, Вы всегда будете моим другом.

[Из воспоминаний.] Вечером, накануне казни Беллингема [застрелившего в кулуарах палаты общин министра финансов Персевала] он, придя ко мне бледный и в необычайном возбуждении, сказал, что должен видеть, как тот умрет. Он был молчалив и беспокоен и не понравился мне. Он ушел рано и вновь появился к завтраку, спокойный и невозмутимый. «Я видел, как он страдал, — молвил он, — но ни в чем не признался».

1812 г. Томас Мур

Передо мной — моя записка к нему, сохранившаяся с того времени, а в ней — шутливое упоминание о «рое восхищенных зевак», окружавших его накануне на каком-то балу. Столь лестного внимания он удостоивался везде, куда бы ни шел, и обычно (до того, особенно, как круг знакомых, в котором он чувствовал себя достаточно непринужденно, расширился) принимал вид человека, чьи истинные помыслы далеко и который взирает на толпу с отрешенной меланхолией. Эта необычная манера вполне соответствовала романтическому ореолу, окружавшему его имя. Возникла она отчасти вследствие застенчивости, а отчасти, я думаю, под влиянием страсти к эффектам, которая была естественным проявлением поэтического склада его природы. Тем за-

бавнее и разительней казалась перемена, происходившая с Байроном, когда мы оставались одни и ничто в нем не напоминало замкнутого гордеца, каким он только что являлся блестящему обществу. Безудержно веселый, он казался вырвавшимся на каникулы школьником, неистощимым в шутках и озорстве. Он неизменно бывал весел, когда мы оказывались вдвоем, и я часто подтрунивал над мрачностью его поэзии. Он же всегда отвечал (и я вскоре перестал сомневаться в его искренности), что он весел только среди тех, кого любит, а в глубине души ему всегда бесконечно грустно.

1812 г. Р. Ч. Даллас

[...] Необходимо упомянуть о сомнениях, вернее, о неуверенности в достоинствах «Чайльд-Гарольда», изредка посещавшей его, несмотря на успех поэмы. «Они в таком восторге от нее потому лишь, что я — лорд», — говорил он. И прибавлял: «Я заставил их бояться меня».

29 июля 1812 г. Джон К. Хобхаус

По лестнице быстро поднялась особа в чрезвычайно странном одеянии. Это была дама из Брокета [леди Каролина Лэм исполнила свою угрозу приехать к Байрону в тот момент, когда он собирался бежать от нее в Хэрроу]. Я остался в гостиной, а дама тем временем сняла в спальне накидку, под которой оказался костюм пажа. Байрон был с ней, но несколько раз выходил ко мне, так что там ничего не могло произойти, кроме того они оба были слишком взволнованы.

Мистер Доллман [проживавший поблизости владелец магазина, которого Хобхаус позвал, чтобы тот впоследствии мог свидетельствовать в пользу Байрона] приходил дважды и оба раза говорил, что даме нужно уйти. Я держался того же мнения и просил Б. передать его даме, но она категорически не желала уходить. Наконец, после долгих уговоров, она надела платье, шляпу и туфли служанки Б. и вышла в гостиную. В присутствии Б. я продолжал уговаривать ее немедленно покинуть дом, но она была непоколебима. «Выбора нет, мы уйдем вместе», — сказал Б. Я настаивал на своем. «Прольется кровь», — пригрозила она. «Прольется, — ответил я, — если вы останетесь». Б. согласился со мной.

После недолгого раздумья я предложил ей отправиться в наемной карете (которая уже некоторое время ждала ее по моему приказу у входа) ко мне домой, переодеться в свою одежду (бывшую при ней в узле), а затем в другой наемной карете добраться до своего экипажа или до дома каких-нибудь друзей. Она ответила, что последует моему совету только в том случае, если Б. отправится вместе с ней. Несколько минут она упрашивала меня позволить им с Б. остаться в моей квартире вдвоем, но

я довольно резко отказал ей, на что Б. заметил: «Несправедливо было бы ожидать от вас другого. Я и не ожидал».

Прежде всего, я не хотел, чтобы эта дама приобрела слишком большую власть над ним (а это случилось бы наверняка, решился он на безумный поступок), а кроме того боялся публичного разоблачения и ее ухода от мужа. Последнее, как уверял и уверяет меня Б., было бы неизбежно, если бы не мое вмешательство в события вчерашнего дня, которые я записал по прошествии двадцати четырех часов на случай, если мне придется защищать себя [и Байрона] от клеветнических измышлений.

25 марта — сентябрь 1812 г. Анна Изабелла Милбэнк

[«Характер лорда Байрона». Написано 8 октября 1812 г., после того, как Байрон в первый раз сделал ей предложение, переданное леди Мельбурн, ее теткой.] Страсти владели им с детства, тиранически подчиняя его выдающийся ум. Однако в нем много черт, которые я, не колеблясь, назвала бы истинно христианскими: его преклонение перед целомудренной добродетелью и ужас перед всем, что развращает человеческую природу, служат подтверждением неиспорченной чистоты его моральных воззрений. Понятия о любви и дружбе исполнены в нем рыцарского благородства, а эгоизм ему совершенно не свойствен. В глубине души он мягок и добр, но из какого-то неслыханного упрямства, порожденного гордостью, предпочитает скрывать свои лучшие черты. К нему бывали несправедливы, а он слишком презирает ограниченность, чтобы снизить до объяснений. Когда негодование побеждает в нем разум (его легко вывести из себя), он делается злым. Ненависть его усиливается глубочайшим презрением, но стоит буре улечься, как к нему возвращается вся его доброта, отступившая было под натиском минутного порыва, и он исполняется глубочайшего сожаления. Поэтому ум его непрестанно мечется между добром и злом. Он хотел бы стать более уравновешенным, а о прилежании к наукам грустит как о даре, ему не подвластном.

Он готов без утайки открыть сердце всем, кому верит, независимо от продолжительности знакомства. Он очень почтителен с теми, кого уважает, и кается перед ними в своих ошибках.

ЛОНДОН

Осень 1812 г. Джон К. Хобхаус

После ее отказа [Аннабелла Милбэнк в письме к леди Мельбурн от 12 октября 1812 года отказала Байрону] лорд Байрон очень редко виделся с мисс Милбэнк, но эта юная особа писала ему письма, тон которых не оставлял и тени сомнений у лиц, не посвященных в эту историю. Тем не менее, его светлость не раз-

делял мнения *одного своего друга*, которому он показывал письма, считая их плодами несколько эксцентричного образования, полученного девушкой, которая слыла образцом благонравия и хороших манер. Он не делал никаких благоприятных для себя выводов. Впрочем, те, кто знает его светлость, могут подтвердить, каких трудов стоит женщине уверить его в своих чувствах и как быстро он теряет надежду. Лорд Байрон часто и с душевным волнением говорил о мисс Милбэнк, но я не буду утверждать, что ее отказ глубоко ранил его или поверг в уныние. Лорд Байрон ни в чем не был лицемером. Он не притворялся, что сильно огорчен отказом мисс Милбэнк. Решусь даже сказать, что он вообще не был огорчен и не считал нужным притворяться. В то же время он отзывался о ней с уважением, прибавляя обычно, что она правильно поступила, отказав ему.

Друзья не могут без смеха вспоминать сцену, разыгравшуюся между ним и одним его знакомым [Уильямом Бэнксом], который, явившись к нему в глубоком отчаянии, разразился рыданиями, а потом, с трудом овладев собой и тяжело вздыхая, открыл ужасную тайну: ему «отказала мисс Милбэнк». «Только и всего? — спросил Байрон. — Возможно, вам станет легче, если вы узнаете, что мне она тоже отказала». [...]

Весна 1813 г. Джон Голт

В одном отношении он, как мне показалось, изменился в лучшую сторону: возмужал и даже приобрел некоторый лоск, то есть прилежно соблюдал правила хорошего тона, принятые в обществе. В то же время похвалы, так щедро расточаемые его гению, уже не удовлетворяли его, и он жаждал иного признания. Славы первого поэта века и уважаемого оратора палаты лордов ему было мало, в своем представлении он был еще и неотразимым любовником. Им вновь овладели грубые силы, таившиеся в глубине его натуры, хотя и не столь необузданные, как прежде.

Весна 1813 г. Томас Мур

Но утрата поэтом в таких обстоятельствах [близкос знакомство] былого романтического ореола в глазах постоянного его окружения, этакое заземление иллюзий более чем восполнялось откровенностью, дружеским и обаянием его нрава и обхождения в отношении тех, с кем он был коротко знаком, равно как и полным отсутствием в нем литературного педантизма и высокомерия. Слова, сказанные Спратом о Каули «в его речах ничто не выдавало великого поэта», безусловно, можно отнести и к нему. Итак, близкие друзья и те, кто оказался за кулисами его славы, видели его в подлинном свете, не только с достоинствами, но и со слабостями. Те же, кто находился на некотором от него отдалении или вовсе не был с ним знаком, по-прежнему оставались в плену его поэтической химеры и в большинстве своем

склонны были распространять ледяную угрюмость созданных им героев на его собственный характер и даже поведение.

Сам он прекрасно сознавал, что предстает перед друзьями и читателями по-разному, и этот двойной образ не только забавлял его, но и казался ему лестным, что лишний раз подтверждает прихотливость его нрава.

Леди Каролина Лэм

[Из письма к Байрону. Май 1813.] Страшное отчаяние в моей душе сменилось радостью, которую нам даруют лишь небеса. Свидание с тобой навсегда решило мою участь: ты прежний, ты все еще любишь меня. Я не могла обмануться, твой взгляд, лицо, слова, поведение служат тому залогом. Боже, неужели ты отвернешься от меня только потому, что я так любима?

1 июня 1813 г. Томас Мур

1 июня при вручении петиции палате лордов он в третий и последний раз выступил в палате лордов как оратор. Помню, как он заехал ко мне по дороге из парламента домой. Я спешил на какой-то обед. Он был чрезвычайно весел и возбужден, и пока я торопливо одевался в гардеробной, он, расхаживая по примыкавшей к ней спальне, с комической отвагой выкрикивал отдельные фразы из своей речи. «Я заявил им,— доносилось до меня,— что это вопиющее нарушение конституции... Что допустить такое — значит положить конец английским свободам...» — «Но что же послужило поводом для столь ужасных обвинений?» — прервал я этот поток красноречия. «Что послужило поводом? — повторил он, как бы в замешательстве. — Представьте, забыл!» К сожалению, невозможно передать, с каким юмором это было произнесено, в подобных случаях он держался необычайно комично. И, пожалуй, прелесть разговоров с ним заключалась именно в таких взрывах веселья и эксцентричности, а не в глубокомысленных умозаключениях.

21 июня 1813 (?) г. Кэтрин Фаншоу

Я так долго оставалась в Лондоне, что видала даже последнюю заморскую диковину — мадам де Сталь. Прием, на котором я удостоилась лицезреть ее, стоит, пожалуй, двадцати других.

Если беседу [между Байроном и мадам де Сталь] записать, ничего не меняя, то трудно будет найти что-либо равное по уму и красноречию. Красноречие (вместительное слово, но недостаточно емкое для мадам де Сталь) принадлежало ей, ум — ему.

Мадам де Сталь была поражена, узнав, что наша безупречная конституция нуждается в радикальных изменениях и что Великобритания, этот несокрушимый бастион, на самом деле слаба, раздроблена и стоит на грани катастрофы. Такой, по крайней мере, она предстала перед ней со слов ее противника в спо-

ре, Чайльд-Гарольда, чей пессимизм рос пропорционально ее воодушевлению. Поскольку иностранцы не понимают, что любая оппозиция правительству уживается с послушанием и преданностью ему, удивление мадам де Сталь было безгранично. Мне кажется, она точно отозвалась на этот плач по утраченной свободе: «Et vous comptez pour rien la liberté de dire tout cela, et même devant les domestiques!»¹

7—8 июля 1813 г. Джон Голт

В то время лорд Байрон, несомненно, охладел уже к [леди К. Лэм]. Показывая мне ее портрет через два или три дня после случая [на балу у леди Хискот] и смеясь над его нелепостью, он наградил ее ласковым прозвищем «лисичка», присовокупив, однако, столь резкий эпитет, что я его благоразумно опускаю.

Неясно, что послужило поводом для этой отчаянной выходки. Известно только, что в течение вечера она неоднократно пыталась привлечь к себе внимание лорда Байрона, но он избегал ее. Разумеется, никакого кинжала у нее в ридикюле не было, она не Бёрк, и дом леди Хискот — не палата общин. Она не готовила сцены заранее. Просто, почувствовав себя униженной и не в силах снести его презрения, она схватила первое попавшееся под руку оружие (одни говорят — ножницы, другие, жаждущие большего скандала, — разбитую вазочку для желе) и попыталась проткнуть себе вену на шее к ужасу матрон и трепетному восторгу барышень, наблюдавших этот припадок или наслышанных о нем. Лорд Байрон находился в тот момент в соседней комнате и разговаривал с графом К. [Козловским, русским посланником в Турине]. Когда к ним подошел лорд П. с искаженным от ужаса лицом и рассказал о случившемся, жестокосердный поэт, вместо того чтобы ужаснуться и потребовать нюхательной соли, нахмурился и презрительно обронил: «Лицедейство!»

19 октября 1813 г. [?] Сэр Джеймс У. Уэбстер

[Со слов Томаса Мура.] Он рассказывал мне, как однажды отправился с Байроном на прогулку в его vis-à-vis², причем на сидении рядом с Байроном лежали заряженные пистолеты. Весь путь Б. молчал, сохраняя на лице свирепое выражение. «Дорогой Байрон, — не выдержал в конце концов Уэбстер, — скажите, ради бога, о чем вы думаете? Собираетесь застрелить кого-нибудь? Или замышляете что-то другое в этом духе?» Байрон ответил, что всегда держит при себе оружие, поскольку рано или поздно его попытаются убить (такое у него было предчувствие), и что думает он как раз об этом.

¹ И вы не цените того, что можете свободно рассуждать об этом даже при слугах! (*франц.*).

² Зд.: двухместная коляска (*франц.*).

[Со слов Р. Гроноу.] Живя в Лондоне, Байрон часто посещал тир Мантона на Дэвис-стрит, чтобы поупражняться в стрельбе. Уэддерберн Уэбстер присутствовал при том, как поэт, разгоряченный своими успехами, назвал себя при Джо Мантоне лучшим стрелком в Лондоне. «Нет, милорд,—возразил Мантон,—есть и получше. Но сегодня вы стреляли неплохо». Байрон рассердился и в негодовании покинул тир.

28 марта 1814 г. Джон К. Хобхаус

Огромный успех «Чайльд-Гарольда» объясняется, во-первых, тем, что Байрон осмелился выразить чувства, которые испытывал каждый человек в часы глубокой тоски, самые ужасные часы своей жизни, а во-вторых, великолепным знанием женской души, ее любовной переменчивости. Сам он считает, что стихи его принадлежат к числу тех, что со временем будут забыты, в отличие от стихов древних поэтов, но благодарит судьбу за все, чем дарит его мимолетная слава, которой ищут так многие.

Весна 1814 г. Роберт Саути

[Из письма к Н. Уайту от 29 апреля 1814 г.] Когда я видел его в последний раз, он спросил, не кажется ли мне, что Бонапарт велик в своем злодействе. Я ответил, что, по-моему, он злодей заурядный. Теперь лорд Байрон и сам держится того же мнения [в «Оде к Наполеону Бонапарту»].

[Из письма к К. Тауншенду (?) от 20 июля 1819 г.] Если Байрон входит в сатирический раж, то зачастую его мишенью делаюсь я, но он считает нужным извиняться за такого рода нападки перед всеми, с кем встречается в обществе, а я принадлежу к их числу. И хотя он бывает весьма любезен, у меня нет желания с ним встречаться.

Весна или лето 1814 г. Леди Каролина Лэм

[Из письма к Т. Медвину в 1824 г.] При нашей последней встрече, после того, как его губы в последний раз прижались к моим, он произнес: «Бедная Каро, я вижу, что ты никогда не изменишься и не причинишь мне зла, даже если все меня возненавидят!» — «Нет,—ответила я,—я изменилась и никогда больше не приду к тебе»,— потому что он уже показывал мне письма и рассказал то, чего я не могу повторить. Моя привязанность к нему кончилась. Вы не можете представить, как это на меня действовало: три года [sic] я боготворила его.

Лето 1814 года. Миссис Джордж Вильерс

[Из письма к леди Байрон от 18 мая 1816 г.] Она [Августа Ли] была уверена в том, что слухи [о кровосмесительной связи Байрона с Августой Ли] возникли в салоне Мельбурнов и что распространяла их леди Каролина Лэм. Я отвечала, что, возможно, она и права, но лорд Байрон своими неосторожными речами давал обильную пищу для этих слухов. Но он, с жаром заве-

рjala меня она, дал ей честное слово, что его беседы с кем бы то ни было никогда не давали ни малейшего повода для подобного рода вымыслов, что она должна верить ему, не может не верить, никогда не усомнится в нем, и прочее, и прочее... На это я, не входя в подробности, рассказала ей, как два года назад он на вечере в Холланд-хаус высказывал более чем странные воззрения [на отношения, возможные между братьями и сестрами], и что правдивость человека, который мне это передал, не вызывает сомнений. Услышав, что речь шла всего лишь о его теориях, не имеющих до нее прямого касательства, она успокоилась, сказав, что ему, конечно, не стоило так говорить, что она не раз пыталась вразумить его, но увy, напрасно, что он говорит это, чтобы поразить собеседников и что слова приносят ему больше зла, нежели поступки, и прочее в том же роде...

Осень 1814 г. Джон К. Хобхаус

Переписка не прекращалась, и мисс Милбэнк прибегала в своих посланиях к выражениям, которые вселили бы надежду в сердце любого мужчины, чуть более уверенного в себе, чем его светлость, но и лорд Байрон несколько раз говорил как бы шутя одному из своих друзей, что подумывает, не сделать ли еще одну попытку завладеть ручкой, которая водит этим пером.

Он намекал, что «сама мисс Милбэнк ему не отказывала», отказ был следствием той странной формы, в которой его намерения были изложены, а в этом могла быть повинна только одна персона, ибо предложение его было передано матери юной особы через леди Мельбурн.

Лорд Байрон считал мисс Милбэнк девицей чрезвычайно доброй, но придерживающейся строгих правил. К тому же она обладала связями, которые были бы незаменимы в его дальнейшей жизни. Поэтому он рискнул повторить свое предложение, хотя вторичный отказ грозил ему бесчестьем. В письме, написанном им в доме сестры [sic] близ Ньюмаркета [9 сентября 1814 г.], он вновь просил ее руки. Одновременно он отправил письмо своему другу Хобхаусу, в котором спрашивал, согласен ли тот отправиться с ним в путешествие на континент. К тому времени, как мистер Хобхаус прислал утвердительный ответ, лорд Байрон получил с обратной почтой из Сихэма письмо, содержащее в себе согласие мисс Милбэнк.

ЛОНДОН

Осень — зима 1814 г. Сэр Уильям Нейтен

Я был лечащим врачом лорда Байрона, когда он вознамерился жениться. Однажды утром, приехав к нему как обычно, я застал его за столом, который был завален гранками, обрывка-

ми стихотворных рукописей и проч. Когда ему доложили обо мне, он, не поднимая головы от бумаги и не выпуская из пальцев пера, которым что-то быстро записывал, попросил: «Умоляю, возьмите какую-нибудь книгу и помолчите две минуты». Действительно, по прошествии этого времени, он отбросил перо и удовлетворенно воскликнул: «Ну вот и все!» Извинившись за то, что мне пришлось ждать, он добавил: «Последнее четверостишие далось мне труднее, чем все стихотворение, и нужные слова пришли в голову в тот самый момент, когда подъехала ваша карета».

Улыбаясь, его светлость поднялся из-за стола и неожиданно сказал: «Представьте себе, Нейтен, я женюсь!» — «Очень жаль, милорд», — ответил я. «Почему, черт возьми?» — удивился он. «Потому, — отозвался я, — что вы, как мне кажется, не созданы для семейной жизни». По его лицу пробежала тень. Помолчав, он снова усмехнулся: «Наверное, вы правы. Но дамы (вероятно, его сестра, миссис Л.) иного мнения. Жребий брошен. Я уже имел честь получить благосклонное согласие папаши. Хотите знать, в чем выразился его интерес ко мне? Я был у них с визитом, и он вышел проводить меня. Когда я уже сидел в седле, сэр Ральф спохватился: «Ах да, милорд, как же произносится ваша фамилия: Бирон или Байрон?» — «Байрон, сэр, — ответил я, — во всем мире ее произносят именно так».

III. БРАК И РАЗРЫВ С ЖЕНОЙ

СИХЭМ

2 января 1815 г. Джон К. Хобхаус

[...] Во время церемонии мисс Милбэнк полностью сохраняла присутствие духа и, не спуская глаз с Байрона, громко и внятно повторяла вслед за священником брачный обет. Байрон, произнося: «Я, Джордж Гордон...» запнулся, а при словах «делиться с ней богатство и бедность» взглянул на меня и усмехнулся.

Вскоре после окончания церемонии она спустилась в гостиную, одетая в дорожное платье, и молча села. Байрон был спокоен и выглядел как обычно. У меня было чувство, будто я только что похоронил друга.

Около двенадцати я помог леди Байрон спуститься к карете. В глубокой печали я простился с моим дорогим другом. Он не хотел отпускать мою руку, да и я держал его, протянутую в окно, до тех пор, пока карета не тронулась.

[Место написания неизвестно.]

Январь 1815 г. Леди Байрон

[Со слов леди Анны Барнар.] Иногда он в пылу ссоры попрекал ее тем, что она, якобы, вышла за него замуж из одного только «тщеславия, тщеславия мисс Милбэнк, вознамерившейся наставить на путь истинный лорда Байрона! Это было ясно, как божий день! Ослепленная своей гордостью, она не щадила его самолюбия: он хотел бы составить свое состояние и избавиться от своих недостатков самостоятельно!» Обоиими овладевало какое-то безумие. «Она наверняка считает, что я женился на ней, богатой наследнице, из-за денег!» — кричал он. «О Байрон, Байрон, — вздыхала она, — как ты меня огорчаешь!» Тогда он, кляня себя, кидался к ее ногам, но ей казалось — за этим неистовством таятся сердечный холод и злость.

СИКС МАЙЛ БОТТОМ

Март 1815 г. Леди Байрон

[Собрано и процитировано Андре Моруа.] Находясь в Сикс Майл Боттом, Байрон узнал о возвращении Наполеона с Эльбы, о бегстве королевских солдат, о воспарении Орла! Известие привело его в восторг. Его «маленький кумир» возвращался на пьедестал. «Если он теперь не взгреев союзников, то останется без гроша. Как не преклоняться перед его волей, перед той славой, которой он достиг! Ведь он один может захватить Францию, пусть я попаду в пекло, если чье-то войско устоит против императорской гвардии!»

[Собрано и процитировано Э. К. Мейн]... По утрам он встречал Августу намеками, от которых она подчас готова была провалиться сквозь землю: упоминаниями о чем-то, известном только им двоим, комплиментами ее «огненному темпераменту» и проч., а если предметом разговора делалась Медора, он шел еще дальше. «Вам отлично известно, что это мой ребенок», — заявил он как-то в присутствии обеих женщин, указывая на Медору, и принялся высчитывать время отсутствия полковника Ли в год, когда родилась девочка, дабы доказать, что она не может быть его дочерью. [Дочь Августы, Медора, родилась 15 апреля 1814 года.]

[Приведено у лорда Лавлейса.] В одном из наших тогдашних разговоров речь зашла о его поэмах и (не для последующего приглашения) о том, как отразилась в них его собственная жизнь. О «Ларе» он, пряча глаза, сказал: «В ней — больше, чем во всех остальных». Я ответила, что она и впрямь его самая большая загадка и подобна «тьме, в которой боишься разглядеть призра-

ков». Это замечание натолкнуло его на мысль, что мне известно больше, чем я знала на самом деле, во всяком случае, я сделала такой вывод из скупой и таинственной похвалы, коей он меня удостоил. Он часто говорил, что «Лару» разгадать труднее всего. *31 марта 1815 г. Августа Ли*

[Из письма к Фрэнсису Ходжсону.] Во вторник Байрон и леди Байрон уехали в Лондон. По совету мистера Хобхауса, дела Байрона и все бумаги, которые находятся у мистера Хэнсона, будут переданы другому поверенному, фамилию которого я замятовала. Бумаги до сих пор у мистера Х., а следовательно, все остается неопределенным. Мне кажется, что Б. и леди Б. подозревают, что мистер Х. не все делал так, как надо, однако не следует спешить с суждениями, пока не получены доказательства. Многие свидетельствует против мистера Х.

Б., вероятно, скоро напишет Вам. Такое намерение возникло у него, когда я показывала ему Ваше последнее письмо. Боюсь, что душевно и физически он далек от состояния, которого можно было бы ему пожелать, но ни в коем случае не говорите ему этого. Причина тому — его расстроенные дела, я, по крайней мере, другой не вижу. Он щедро одарен всем, чего можно желать в нашем мире. Я смиренно надеюсь, что всевышний в своей безграничной милости ниспошлет его душе умиротворение и покой, которых ему сейчас, к несчастью, недостает. По моему мнению, леди Б. поступает в высшей степени разумно, не требуя от него решительных действий.

ЛОНДОН

7 апреля — 10 июня 1815 г. Сэр Вальтер Скотт

Весной 1815 года, находясь в Лондоне, я имел удовольствие познакомиться с лордом Байроном. Под влиянием молвы я ожидал найти в нем характер странный и вспыльчивый и сомневался, сойдемся ли мы. Но меня постигло приятное разочарование. Лорд Байрон оказался человеком чрезвычайно учтивым и даже сердечным. Почти ежедневно мы проводили час-другой в гостиной мистера Меррея, и всякий раз в увлекательнейшей беседе. Кроме того, мы часто виделись в свете, поётому в течение двух месяцев я имел удовольствие близко наблюдать эту выдающуюся личность. Взгляды наши были сходны во всем, исключая религию и политику, по которым, как я склонен был думать, лорд Байрон не имел твердых воззрений. Помнится, я сказал ему однажды, что он наверняка изменит свои убеждения, если проживет еще несколько лет. «Уж не из тех ли вы пророков, — насмешливо спросил он, — кто видит меня в будущем методистом?» — «Нет, — ответил я, — ваше превращение не бу-

дет столь заурядным. Скорее, вы обратитесь к католической вере и, дабы искупить грехи, подвергнете себя небывало суровому наказанию. Вас может привлечь лишь та религия, которая оказывает сильное воздействие на воображение». Он мрачно усмехнулся и не стал спорить.

В политике он рьяно придерживался направления, получившего сейчас название «либерализм», но мне казалось, что в основе его образа мыслей лежало желание выставлять сильных мира сего в сатирическом виде (что было для него самым большим удовольствием), а не искренняя приверженность политическим принципам, о которых он толковал. Он, несомненно, гордился своим положением в обществе и древностью своего рода и в этом отношении был аристократом — в той мере, которую диктуют здравый смысл и хорошее воспитание. Некоторые предубеждения, корни которых мне неизвестны, сообщили его уму своеобразию и, я бы сказал, противоречивость. Но у меня нет сомнений, что в глубине души лорд Байрон был убежденным патрицием.

Я обнаружил, что лорд Байрон был не очень начитан в поэзии и в истории, а поскольку я обладал в этом отношении определенным преимуществом, почерпнув такого рода знания из немногих прочитанных мною книг, то подчас сообщал ему нечто, имевшее для него интерес новизны. Особенно запомнилось мне, как он впервые слушал замечательное стихотворение «Хардикнут», подражание старинной шотландской балладе. Оно произвело на него столь сильное впечатление, что кто-то, находившийся в том же доме, подошел ко мне с вопросом, чем я так взволновал лорда Байрона.

Помню еще, как мы смеялись над нами же выдуманскими изречениями читающей публики об угрюмой и зловещей природе наших дарований. Он часто бывал печален, почти мрачен, и когда его настигало такое настроение, я либо ждал, когда оно пройдет само по себе, либо искал способ исподволь втянуть его в беседу, и тогда тени у него не лице рассеивались, как туман на лугу: он чрезвычайно оживлялся при разговоре.

Замечал я и то, что временами его охватывала подозрительность и он замирал, раздумывая, нет ли в невзначай оброненных при нем словах тайного или же оскорбительного смысла. В подобных случаях я также предпочитал переждать минуту или две, пока мысль его сама не переставала колебаться подобно потревоженной пружине. Я был, как известно, намного старше моего благородного друга и никогда не боялся, что он неправильно истолкует мое к себе отношение, как никогда не сомневался и в его ответном искреннем расположении. Если же я, не без досады, наблюдал, как тускнеет его гений в светской суете, то уте-

шался мыслью, что в моей голове царят абсолютная гармония и порядок.

[Со слов капитана Бэзила Холла.] [...] Сэр Вальтер отзывался о лорде Байроне как о человеке добром, с открытой душой и светлыми помыслами, которые сводились на нет его неразумным пренебрежением к общественному мнению. «Я провел в его обществе много прекрасных часов,— говорил сэр Вальтер,— и могу сказать, что не знал человека более благородного. Однако он не снискал всеобщей любви и уважения, и только лишь потому, что имел несчастье вести себя неосмотрительно. Тот, кто всегда на виду, беззащитен перед тысячами глаз, которые на него лишь и смотрят, а следовательно, и счастье его сильнее зависит от его поведения, в отличие от людей безвестных. Более того, только поведением он и может, независимо от сословия, обеспечить свое влияние на окружающих. Но мне не удалось убедить в этом Байрона, о чем я сожалею, ибо к нему несправедливы». *7 апреля—10 июня 1815 г. Исаак Нейтен*

[...] Его светлость с восторгом вспоминал доблести греческих и римских воинов— Ганнибала, Цезаря, Александра Великого— и даже героев Ветхого завета, но под конец, разумеется, заговорил о Наполеоне Бонапарте. «Если б не его честолюбие,— сказал лорд Байрон,— он без труда сохранил бы за собой трон и стал бы одним из величайших людей нашего века». Я заметил, что мнения относительно его поведения в битве при Ватерлоо [18 июня 1815 г.] расходятся: одни, за то что он оставил поле боя, клеймят его позором, другие видят в этом хладнокровный расчет и отвагу. Мне казалось, что лорд Байрон, судя по его последнему стихотворению, принадлежал к первым [«Ода к Наполеону Бонапарту», где Наполеону брошен упрек в том, что он «не умер с честью», была опубликована 16 апреля 1814 г., то есть до битвы при Ватерлоо]. Лорд Байрон ответил, что «смерть Наполеона в бою была бы достойным концом предыдущей его славной судьбы». Я предположил, что он уклонился от гибели потому, что надеялся вновь завоевать французский престол. «Как трогательно вы печетесь о репутации великого человека, Нейтен,— усмехнулся лорд Байрон,— но я убежден, что его исторический престиж был бы неизмеримо выше, если бы он, подобно Саулу на горе Гелвие или же Катону, павшим на собственные мечи, кончил жизненный путь при Ватерлоо».

Начало июня 1815 г. Эдвард Эверетт

[...] Политическая обстановка была в то время напряженной. Наполеон, недавно бежавший с Эльбы, быстро продвигался в Бельгию навстречу прусским и английским войскам. Лорд Байрон, разумеется, был непременным участником жарких дебатов о том, чем кончится столкновение между ними. «Прежде

всего,— заявлял он,— Наполеон прогонит герцога Веллингтона. Жаль! Не люблю видеть соотечественников побежденными. Но как славно было бы дожить до того дня, когда мимо моих окон пронесут на шесте голову лорда Каслри» [тогдашнего министра иностранных дел]. Казалось, лорду Байрону нравилось будоражить себя этой кровожадной мыслью. Ее же он высказывал несколькими днями позже в беседе с мистером Тикнором, когда битва при Ватерлоо была уже позади.

В ту пору лорд Байрон был доволен положением первого поэта на британском Парнасе и совершенно отказался от мизантропии и эксцентричности, свойственных ему по приезде с Востока. В обществе его встречал самый восторженный прием, и судя по всему, он был счастлив в семье. Я неизменно видел в нем человека любезного, умного и светского, чье поведение и разговор были лишены какой-либо аффектации или эксцентричности.

ЛОНДОН

Июль — сентябрь 1815 г. Джон Тэйлор

Я впервые увидел лорда Байрона в артистическом фойе театра Друри-Лейн, где он был членом комитета. Внешность его была настолько обыкновенной, что я даже принял его за одного из юристов, ведущих дела театра, или за клерка. Очень скоро, однако, мне сказали, кто он, и я был поражен его отменной учтивостью.

Встреча наша в фойе Друри-Лейн была мимолетной, и когда спустя несколько дней в театре Хеймаркет ко мне обратился господин, сидящий в соседней ложе, я не узнал его. Он назвался лордом Байроном. Я был очень польщен тем, что он запомнил меня, и досадовал на себя за свою оплошность. Стоит ли говорить, что я более смотрел на него, чем на сцену. Мы шептались, стараясь не мешать сидящим вокруг, причем, к моей радости, высказывался в основном он, а я ограничивался односложными ответами, стараясь не пропустить ни единого его слова.

Я был завсегдаем обоих театров, но после этого случая зачастил в Друри-Лейн, чтобы поддержать знакомство с лордом Байроном, который неизменно бывал ко мне расположен. Однажды, вернувшись с какого-то званого обеда, я застал его в артистическом фойе, и хотя я был трезв, ему показалось, что я несколько разгорячен и хочу пить, поэтому он вручил мне стакан воды, чтобы, как он выразился, «разбавить меня».

Октябрь 1815 г. Леди Байрон

[Из письма к Августе Ли.] Можете судить, что у нас творится, хотя бы по тому, что прошлой ночью в доме ночевал судебный пристав. одному богу известно, что я выстрадала вчера

и как продолжаю страдать от этих ужасных приступов бешенства! Он выбежал из дома с криком, что волен предаваться любым безрассудствам. Он без конца попрекает меня тем, что я женила его на себе, и утверждает, что он свободен от всех обязательств по отношению ко мне и что я одна буду виновата во всех греховных поступках, на которые его толкнет отчаяние. Он просто обезумел вчера, я, по его словам, ему нестерпима. Трудно понять, действительно ли он относится к нам с Вами по-разному, ибо он любит (или ненавидит) нас обеих. Положение никогда еще не было таким серьезным.

25 ноября 1815 г. Дж. К. Хобхаус

Заезжал к Байрону. В семье у него неладно. Заклинает меня никогда не жениться. Говорит о поездке за границу.

[Ноябрь — декабрь 1815 г.] Через несколько дней после того, как леди Байрон родила дочь, миссис Клермонт говорила мистеру Хобхаусу, что она не видела отца более счастливого и заботливого, чем лорд Байрон. Сама леди Байрон часто говорила мужу, что он любит ребенка больше, чем она, прибавляя также и то, чего лучше было бы не высказывать.

Мысль, что после рождения ребенка ему лучше было бы поменьше видаться со своими домашними, возникла у лорда Байрона в конце ноября, когда он поделился ею с одним из своих друзей. [...]

Исаак Нейтен. [Дата неизвестна.]

[...] Лорд Байрон восхищался неукротимым нравом русской императрицы Екатерины. «Никто из современных женщин,— говорил он,— не может сравниться отвагой с Екатериной. Вся Европа поражалась ее уму и политической дальновидности. Она всегда боролась, время было не властно над ней, и ей удалось спасти свою страну от тех, кто совсем уж было поработил ее. Но при всей своей мужской дальновидности,— продолжал он,— Екатерина не была лишена недостатков. Она была великодушным политиком и военным стратегом, однако ее отношение к полякам шло вразрез с ее смелостью, интуицией и здравомыслием».

«Зверства Французской революции,— говорил лорд Байрон,— ее вечно бесчестье, несмываемое пятно на истории страны. Это было время, когда открыто попирались все естественные порывы, время убийств, грабежа и бесчинств. Даже кровные, семейные узы были порваны, и отец с сыном бились насмерть».

[...]

14 января 1816 г. Леди Байрон

[В изложении Г. Бичер Стоу.] Она вошла в комнату, где сидели Байрон и его распутный друг и, протянув руку, сказала: «Байрон, я пришла проститься».

Спрятав руку за спину, лорд Байрон отошел к камину и, саркастически оглядев стоявших перед ним, произнес: «Интересно, когда мы вновь встретимся втроем?» — «Вероятно, когда будем на небе», — отозвалась леди Байрон, и это было последнее, что он услышал от нее на земле.

[Из записей, сделанных в 1851 г.] Как он ни старался, ему не удалось поколебать ее веру в Добро и Зло.

Она простилась с ним спокойно и нежно, он же был холоден, как лед. Но едва он добился того, к чему стремился, по собственному признанию, с самого начала, то есть разрыва, в котором обвинял ее, то стал сожалеть о содеянном.

Февраль 1816 г. Джон К. Хобхаус

[Из «Воспоминаний».] Она не могла себе представить, что у людей, не исповедующих определенных взглядов, могут быть убеждения, особенно у тех, кто подвержен пагубным заблуждениям, и таковым, как ей казалось, прежде всего был ее собственный муж. Свое мнение она основывала на тех характерных для него шуточных парадоксах, в изобилии уснащавших его речь, иронию и юмор которых она совершенно не чувствовала, а следовательно, и не могла верно оценить. Разумеется, после того как лорд Байрон увидел, что жена понимает его много хуже старых друзей, ему следовало бы воздержаться от сумасбродств, которые веселили его давних знакомых, прекрасно знавших, чем они вызваны и чем кончатся, но повергали в полное замешательство его жену, давая ей повод считать его не вполне нормальным и способным на любую крайность.

К тому же лорд Байрон имел обычай подкреплять самые фантастические свои домыслы ссылками на авторитеты и, еще чаще, на друзей, так что жена, воспринимавшая происходящее вокруг с величавой грустью, наверняка считала их современными копиями с Макиавелли.

22 марта 1816 г. Джон К. Хобхаус

[Из записи в дневнике.] Заезжал к Байрону. Он в восторге от возможности уехать в ближайшем будущем за границу. В Ньюстедде землетрясение.

Июль 1816 г. Сэмюел Роджерс

[Из письма к сэру Вальтеру Скотту.] Событие, о котором вы упоминаете, явилось для меня полной неожиданностью. Летом и осенью [1815 г.] я не замечал ничего необычного, хотя и подозревал, что они не были счастливы. После ее отъезда я виделся с ним ежедневно и свидетельствую, что он более всего боялся обидеть ее чем-нибудь. «Зла много, но ее оно не коснулось, — говорил он. — Она — совершенство, и в мыслях, и в словах, и в поступках». А если с чьих-то губ слетало хотя бы одно

слово, таящее в себе нелюбезный для нее намек, он немедленно останавливал говорящего.

Апрель 1816 г. Клэр Клермонт

[Из писем к Байрону.] Вы велели писать кратко, а мне нужно так много Вам сказать. Еще Вы говорили, что я лелею свое чувство к Вам из прихоти.

Я знаю, Вы — великий человек, но на мое счастье в Вашем сердце до сих пор живы чувства, о которых я поначалу не смела и мечтать. Неужто я утрачу свое счастье?

Когда Вы прочтете это письмо, скажите нежно-нежно: «бедняжка». И не улыбайтесь так самодовольно, не называйте меня «дурочкой», когда я говорю, что плачу при мысли о Вашем отъезде. Ведь Вы не станете, как в Лондоне, утверждать, будто у Вас столько романов, что Вам некогда подумать о себе?

Вчера Вы огорчили меня, но, быть может, мы увидимся сегодня? Ах, как мне хочется писать Вам бесконечно, но я воздержусь, помня Ваше желание [чтобы она писала коротко] и ту усмешку, которая скользнула по Вашим губам, когда Вы его выражали. Пожалуйста, не отсылайте меня прочь словами: «А теперь уходите» или «Прошу вас, уйдите». Это будет наша самая последняя встреча, ибо я сама уезжаю, и Вы никогда не догадаетесь куда. Я хочу показать Вам одно письмо и изложить свой план, а Вы дадите мне совет, которого я буду неукоснительно придерживаться, каким бы он ни был.

Клянусь, что не приеду в Женеву, поскольку Вы против, и уеду совсем, как только обрету защиту, против которой Вы не будете возражать.

22 апреля 1816 г. Исаак Нейтен

[...] Я почти не покидал дома лорда Байрона на Пиккадили последние три дня перед тем, как он оставил Англию. Выразив сожаление по поводу его отъезда, я спросил, правда ли, будто он не собирается возвращаться. Лорд Байрон, пристально взглянув на меня, воскликнул: «Бог свидетель, у меня и в мыслях не было обречь себя на ссылку! Откуда у вас эта идея?» Я ответил, что всего лишь повторяю распространившийся по Лондону слух. «Разумеется, я собираюсь вернуться, — продолжал он, — если только угрюмый тиран не вздумает подшутить надо мной». [...]

IV. СТРАННИК

ЖЕНЕВСКОЕ ОЗЕРО

Июнь 1816 г. Морис (лодочник, возивший Байрона)

[Из письма Бенджамина Дизраэли к отцу от 1 августа 1826 г.] Каждый вечер я катаюсь по озеру с Морисом, тем са-

мым лодочником, услугами которого пользовался лорд Байрон. Он очень красив и очень тщеславен, а испортили его англичане, души в нем не чающие. Говорит он только о лорде Байроне, особенно если почувствует хоть малейший интерес слушателя. По его словам, если бы в ту ночь, когда разыгрался знаменитый шторм, описанный в третьей песне «Чайльд-Гарольда», они пробыли на озере еще пять минут, лодка непременно потонула бы. Едва отплыв, Морис стал уговаривать лорда Байрона вернуться, понимая, какая им грозит опасность, но в ответ тот разделся донага, чтобы легче было плыть, если лодка пойдет ко дну, и, завернувшись в длинный *robe de chambre*¹, просидел так всю ночь, даже без чулок, как уверяет Морис, и почти все время по колени в воде. Я спросил, говорил ли он что-нибудь. Морис отвечал, что он редко вступал в разговор с ним или с кем-либо еще.

Однажды Байрон послал за ним, а сев в лодку, положил по обе стороны от себя пистолеты, дал ему 300 наполеондоров и велел грести к Шильонскому замку. В темнице по его приказанию были зажжены два факела, и при их свете он писал более двух часов. Явился *gendarme*, охранявший замок, и робко спросил *quelque chose à boire*². «Дай ему наполеондор»,— сказал его светлость. «*De trop, milor*»³,— отозвался Морис, хоть и недавно взятый в услужение, но зорко приглядывавший за хозяйскими деньгами. «Ты знаешь, кто я?— возразил хозяин.— Дай ему наполеондор да скажи, что он получил его от лорда Байрона».

Однажды они отправились купаться очень рано. Байрон захватил с собой завтрак, состоявший из холодной утки и проч., а также из трех-четырех бутылок вина. Он почти ничего не ел, однако выпил все вино и затем, пока они плыли к намеченному месту, забавы ради стал бросать еду в воду. Глядя на это, честный Морис позволил себе намекнуть, что не успел позавтракать и что он греб бы намного лучше, если бы часть хозяйского изобилия перепала и ему. «Друг мой, Морис,— укоризненно заметил Б.,— настоящий христианин не думает о себе. От меня ты ничего не получишь. Я, как видишь, не ем завтрака, следовательно, и тебе лучше воздержаться в пользу рыб». После чего скормил щукам остатки еды. «Так-то оно так,— заключил Морис,— но в одном его светлость был не прав: у него аппетита не было, а у меня был».

Июль 1816 г. Томас Мур

[Отчасти, вероятно, со слов Мэри Шелли.] Высказывания мистера Шелли, великолепно знавшего поэзию и имевшего сме-

¹ Халат (*франц.*).

² Чего-нибудь выпить (*франц.*).

³ Многовато, милорд (*франц.*).

лую, глубоко мистическую систему философских взглядов, чрезвычайно занимали лорда Байрона и влекли его прочь от будничных забот и привычных ассоциаций к более абстрактным, еще не исхоженным путям мысли. И коль скоро контраст есть живительная сила взаимоотношений, то трудно было найти двух людей, более созданных для интереснейшего спора, ибо мнения их почти во всем были различны.

Ни в чем противоречия двух друзей (устоявшиеся мнения и «само собой разумеется» одного и фантастические порывы другого) не проявлялись с такой очевидностью, как в беседах на философские темы. Байрон, как и большинство других людей, верил в существование материи и зла. Шелли же так далеко развивал теорию Беркли, что все Сущее сводил к духу, причем к этой нематериальной системе добавлял некий всеобъемлющий принцип, некую абстракцию Любви и Красоты, о которых (как о замене божественного начала, по крайней мере) философски настроенный епископ никогда не помышлял. Вокруг таких тем, а также поэзии, и вращались обычно их споры, и зная восприимчивость лорда Байрона к новым впечатлениям, можно предположить, что мнения его собеседника оказывали на него известное влияние.

Июнь 1816 г. Мэри Шелли

[Из предисловия к «Франкенштейну».] Лето выдалось на редкость сырым и ненастным. Из-за нескончаемых дождей мы по нескольку дней кряду не выходили из дому. Однажды на глаза нам попались несколько книг. В них были готические истории с привидениями, переведенные с немецкого на французский. «Пусть каждый из нас сочинит что-нибудь подобное», — предложил лорд Байрон. Мы согласились. «Готова ли ваша история?» — слышала я каждое утро и каждое утро со стыдом отвечала «нет».

Тем временем лорд Байрон и Шелли продолжали свои нескончаемые споры, внимательным и молчаливым слушателем которых была я. Как-то раз они разговорились о природе самой жизненной основы: их занимал вопрос, возможно ли будет когда-нибудь управлять ею. [...]

Лето 1816 г. Томас Мур

[Вероятно, со слов Мэри Шелли.] Байрон любил вспоминать диалог, состоявшийся между ним и Полидори во время их путешествия по Рейну, очень характерный для обоих. «Вы в самом деле убеждены, что способны совершить поступок, который будет не под силу мне?» — спросил раздосадованный Полидори. «Вот вам целых три поступка, которые мне под силу, а вам нет, — отвечал лорд Байрон. — Я могу переплыть эту реку, я могу потушить свечу выстрелом из пистолета с двадцати шагов и

я написал поэму, 14 000 экземпляров которой были распроданы в один день». [В первый день продажи «Корсара» было раскуплено 10 000 экземпляров.]

Лето 1816 г. Перси Биши Шелли.

[...] Мой попутчик [лорд Байрон] заметил, что опасность во время шторма грозила нам на том самом месте, где едва не перевернулась лодка с Жюли и ее возлюбленным [герои романа Руссо «Новая Элоиза»], и где Сен-Пре с трудом поборол искушение броситься с нею в озеро. «Красиво было бы пойти ко дну именно там,— добавил он,— но не слишком приятно».

Июль 1816 г. [Источник неизвестен.]

[Со слов Томаса Мура] В июле он ездил в Коппэ, прославленная хозяйка которого [мадам де Сталь] принимала его с теплотой, на которую он, при тогдашней враждебности к нему общества, не смел и надеяться. Со своей обычной прямоотой она потребовала, чтобы он подчинился мнению света и уладил отношения с женой, то есть помирился с нею. Тщетно он напоминал ей ее же собственный эпитаф к «Дельфине»: *Un homme peut braver, une femme doit se succomber aux opinions du monde*.¹ Писать можно что угодно, отвечала она, а в жизни долг и необходимость уступить распространяются и на мужчину тоже. Короче говоря, он уступил и написал приятелю в Англию, что вновь готов искать примирения с леди Байрон, несколько удивив этим тех, кто столь часто слышал от него прежде, что он «сделал все, дабы убедить ее вернуться, оттягивая поэтому сколь было возможно подписание бумаг о раздельном жительстве». Подписав бумаги, супруги расставались навсегда.

Известно, тем не менее, что, живя в Швейцарии, он вспоминал о жене с неизменной добротой и сожалением, обвиняя в их разрыве не ее, а других, и полагал — с полным на то основанием — что леди Байрон всего лишь не понимала его (если это вообще можно было поставить ей в упрек). «У меня нет сомнений,— говорил он,— что она и впрямь считала меня сумасшедшим».

В то же самое время он принял еще одно решение, касающееся его семейных дел: никогда не прикасаться к деньгам жены.

Август 1816 г. Клэр Клермонт.

[Из письма к Э. Трелоуни, ок. 1870 г.] Прежде чем мы расстались в Женеве, он, обсуждая со мной наше будущее, предложил ребенка, по его рождению, передать под опеку миссис Ли. Я возразила, поскольку мне казалось, что по крайней мере до семи лет ребенок нуждается в родительской заботе. Он согласился

¹ Мужчина может бравировать мнением света, женщина должна подчиниться ему (*франц.*).

и сказал, что в таком случае ребенку лучше будет жить с ним, пообещав не отдавать его под чужую опеку до семи лет. Мы решили, что ребенку лучше считать меня тетей, тогда я могла бы навещать его и видаться с ним без ущерба для чьей-либо репутации.

[Из письма к Байрону от 26 августа 1816 г.] Полагаю, что мы уедем через два дня. Вы довольны? Мне передали, что вчера вечером Вы наотрез отказались встретиться со мной на Диодати.

[Из письма к Байрону от 28—29 августа 1816 г.] Любимый, Вы обещали мне написать. Я жду и умоляю Вас, будьте великодушны! Я умираю от страха при мысли, что Вы меня забудете.

[Из письма Байрону от 27 сентября 1816 г.] С каждым днем я люблю Вас все сильнее, потому что когда Вы далеко, я не вижу надменного взгляда, не слышу сердитых, язвительных слов, с которыми Вы обычно ко мне обращались.

Август 1816 г. Мэри Шелли

[Из дневниковой записи от 28 мая 1817 г.] Прочла третью песнь «Чайльд-Гарольда» и загрустила. Как мощный ум возвеличивает прошлое и воспоминания! О, этот мощный ум, всегда повергающий меня в восторг и грусть одновременно! Я возвращаюсь к нашим поездкам по озеру. Вижу, как он спускается к нам или идет навстречу с добродушной, веселой улыбкой. Как ясно каждая строфа поэмы будит в памяти такую или ей подобную картину! Кажется, что мы снова вместе, снова рады друг другу, но пройдет время, и то, что сейчас всего лишь предчувствие, обратится в память. Потом придет Смерть, и в последнюю минуту все станет сном.

29—30 августа 1816 г. Джон К. Хобхаус

В гостинице по дороге [в Шамони] нам дали книгу постояльцев, и лорд Байрон, записав свое имя, указал мне на имя мистера Шелли, против которого кто-то греческими буквами вывел: атеист и филантроп. «Мне кажется, я сослужу Шелли неплохую службу, если уберу это», — сказал лорд Байрон и аккуратно соскоблил надпись.

ВЕНЕЦИЯ

Осень 1816 г. Стендаль

Я теперь могу говорить, так как все друзья, которых я сейчас назову, умерли или закованы в цепи. Слова мои не повредят узникам, да, в сущности, никакая истина не может повредить этим благородным и отважным душам.

Не боюсь я и упреков со стороны моих умерших друзей. Давно пребывая под жестоким гнетом забвения, следующего за смертью, они из столь естественного для человека желания

остаться в памяти «мира живых» с удовольствием услышали бы голос друга, называющий их имена. Чтобы быть достойными их, уста этого друга не произнесут ничего лживого, ничего хоть сколько-нибудь уклоняющегося от истины.

Маркиз ди Бреме, пьемонтский вельможа, очень богатый и очень знатный,— может быть, он жив еще до сих пор,— был министром внутренних дел в Милане в то время, когда Наполеон был королем Италии. После 1814 года г-н ди Бреме решил, что быть флюгером недостойно его происхождения; он удалился в свои поместья, оставив свой миланский дворец одному из младших своих сыновей, *монсеньору* Лодовико ди Бреме.

Это был молодой человек, очень высокий и очень худой, уже тогда страдавший грудной болезнью, которая через несколько лет свела его в могилу. Его называли *monsignore*, потому что он был дворцовым священником короля Италии, у которого отец его был министром внутренних дел; он отказался от епископства Мантуанского в то время, когда семья его еще пользовалась влиянием. Г-н Лодовико ди Бреме был очень высокомерен, образован и вежлив. Его стройная и печальная фигура походила на мраморные статуи, которые можно видеть в Италии на гробницах XI века. До сих пор вижу, как он поднимается по широкой лестнице мрачного и великолепного старого палаццо, которое оставил ему во владение его отец.

Однажды монсеньор ди Бреме пожелал навестить меня в сопровождении г-на Гуаско, молодого умного либерала, так как, не имея ни палаццо, ни титула, я не захотел сам идти к г-ну ди Бреме. Мне так понравился благородный и вежливый тон, который устанавливался в его присутствии, что через несколько дней мы познакомились ближе. Г-н ди Бреме был восторженным другом г-жи де Сталь, и позднее мы с ним поссорились из-за того, что как-то вечером, в театре Ла Скала, в ложе его отца, я утверждал, что «Размышления о Французской революции» г-жи де Сталь кишат ошибками. Каждый вечер в ложе г-на ди Бреме собирались восемь или десять замечательных людей; мы едва слушали выдающиеся места оперы, и разговор не прекращался.

Однажды вечером, осенью 1816 года, возвращаясь с прогулки на озеро Комо, я вошел в ложу г-на ди Бреме; я почувствовал в обществе что-то торжественное и натянутое; все молчали; я слушал музыку, когда г-н ди Бреме сказал мне, указывая на моего соседа: «Господин Бейль, вот лорд Байрон». Он повторил ту же фразу в обратном порядке лорду Байрону. Я увидел молодого человека с изумительными глазами, в которых было нечто великодушное; он был невелик ростом. Я тогда сходил с ума от «Лары». Со второго взгляда я уже видел лорда Байрона не таким, каков он был в действительности, но таким, каким, мне ка-

залось, должен был быть автор «Лары». Так как беседа не клеилась, г-н ди Бреме старался заставить меня говорить; но это было для меня невозможно; я был полон робости и нежности. Если бы я посмел, я поцеловал бы руку лорду Байрону, заливаясь слезами. Побуждаемый вопросами г-на ди Бреме, я решил заговорить, но высказывал только банальные мысли, не рассеявшие молчания, которое в этот вечер царило в обществе. Наконец лорд Байрон попросил меня, так как один только я знал английский язык, указать улицы, по которым ему нужно было пройти, чтобы вернуться в свою гостиницу; она находилась на другом конце города, неподалеку от крепости. Я знал, что он непременно заблудится: в этой части Милана в полночь все лавки уже закрыты; ему пришлось бы блуждать по пустынным, плохо освещенным улицам, к тому же совершенно не зная языка. Из заботливости я имел глупость посоветовать ему нанять фиакр. Тотчас же его лицо приняло несколько высокомерное выражение; он дал мне понять с должной вежливостью, что он просил меня указать улицы, а не советовать, каким способом добраться до места. Он вышел из ложи, и я понял, почему с его приходом воцарилось молчание.

Надменная и вполне джентльменская натура хозяина ложи нашла себе подобную. В присутствии лорда Байрона никто не хотел подвергаться опасности, которая угрожает тому, кто предлагает тему для разговора в обществе семи или восьми молчаливых людей.

Лорд Байрон увлекся, как ребенок, обрушившись на высшее английское общество, всемогущую, неумолимую, страшную в своей мести аристократию, которая делает из стольких богатых глупцов людей «вполне почтенных», но не может, не губя самое себя, позволить смеяться над собой одному из своих сыновей. Страх, распространенный в Европе великим народом, вождями которого в то время были Дантон и Карно, сделал английскую аристократию такой, какова она теперь, — могущественной, угрюмой, полной лицемерия кастой.

Насмешки лорда Байрона в «Чайльд-Гарольде» полны горечи, — это гнев юности; в «Беппо» и в «Дон Жуане» насмешки его смягчились до иронии. Но не следует принимать всерьез эту иронию; в основе ее лежат не веселье и беспечность, а ненависть и несчастье. Лорд Байрон умел изображать только одного человека: самого себя. К тому же он был и считал себя большим вельможей; таким он и хотел быть в свете, а в то же время он был великим поэтом и хотел, чтобы им восхищались, — несовместимые требования, источник великих несчастий.

Никогда ни в одной стране класс богатых и хорошо воспитанных людей, уважающих друг друга за титулы, унаследован-

ные от предков, или ордена, добытые личными заслугами, не в состоянии будет хладнокровно переносить человека, окруженного восхищением публики и достигшего в салонах всеобщей благосклонности тем, что он написал двести прекрасных стихов. За благосклонный прием, оказываемый другим поэтам, аристократия мстит, восклицая: «Какой тон! Какие манеры!» Эти два кратких восклицания по отношению к лорду Байрону были невозможны. Они камнем легли на сердце аристократам и превратились в ненависть. Ненависть эта началась с большой поэмы г-на Саути, до того времени известного только одами, которые он посвящал английскому королю (впрочем, королю образцовому) в день его рождения. Этот г-н Саути, покровительствуемый «Ежеквартальником», обрушился с жестокими оскорблениями на лорда Байрона, который однажды едва не почтил Саути пистолетным выстрелом.

В обычные, повседневные минуты жизни лорд Байрон считал себя вельможей; это была броня, в которую облакалась эта тонкая и глубоко чувствительная к оскорблениям душа, защищаясь от бесконечной грубости черни. *Odi profanum vulgus et arceo*.¹ Надо признать, что в Англии чернь, обладая сплином по праву рождения, более жестока, чем где бы то ни было.

В дни, когда лорд Байрон бывал смелее по отношению к грубым речам и грубым поступкам, то есть когда он бывал не так чувствителен, на сцену выступало щегольство красотой и хорошим тоном. Наконец, два, или, может быть, три раза в неделю у него бывали приступы (длившиеся по пять или шесть часов), когда он был разумным человеком и великим поэтом.

Чрезмерное увлечение библией придает английскому народу какой-то оттенок древнееврейской жестокости; аристократизм, который проникает даже в семейные отношения, воспитывает в нем большую серьезность. Лорд Байрон заметил этот недостаток, и в «Дон Жуане» он одновременно весел, остроумен, возвышен и патетичен; он приписывал эту перемену своему пребыванию в Венеции.

Венецианская аристократия, беспечная и ставшая аристократией на пятьсот или шестьсот лет раньше, чем аристократия остальной Европы, а потому в глазах лорда Байрона достойная большего уважения, в 1797 году имела своими вождями людей, совершенно неспособных к делам, но зато чрезвычайно нахальных. Этим последним из людей противостояла маленькая армия, довольно потрепанная; они не ставили ее ни во что: они были слишком глупы для того, чтобы понять и бояться командовавшего ею гения, двадцатипятилетнего молодого человека. Венециан-

¹ Ненавижу непросвещенную чернь и избегаю ее (*лат.*).

ское правительство приказало или позволило убить больных солдат из армии Бонапарта: вот истинная причина падения Венеции. Никогда еще аристократия не бывала столь несчастной, но никто не переносил большего несчастья с таким весельем.

Лорда Байрона глубоко поразила веселость, беспечность графа Брагадина и многих приятных людей, более благородных и более несчастных, чем он сам. Он имел счастье наблюдать, какое глубокое, искреннее и непрерывное восхищение возбуждали в венецианском хорошем обществе стихи г-на Буратти. С этих пор легкая ирония «Дон Жуана» сменила горькие сарказмы «Чайльд-Гарольда»; перемена в характере благородного поэта была менее заметна, но столь же реальна.

Позднее, около 1820 года, помимо других нелепых сумасбродств, ему пришла в голову мысль издавать газету. Он взял к себе в компанию одного весьма образованного литератора (г-на Ханта, который оставил нам очень схожий портрет лорда Байрона). Этот литератор принадлежал, как и лорд Байрон, к партии, которую в Англии называют либеральной. Другой член этой так называемой либеральной партии написал лорду Байрону от имени всех либералов хорошего общества письмо, в котором указывал ему, какой непоправимый вред он наносит себе, публично вступая для издания газеты в компанию с человеком недворянского происхождения и никоим образом не принадлежащего к high life.¹

Стоит ли удивляться тому, что г-н Мур сжег мемуары, которые ему доверил его друг? [...]

* * *

Было ли у лорда Байрона на душе какое-нибудь убийство, как у Отелло? Теперь вопрос этот не может повредить никому, кроме того, кто задает его. Как может он повредить великому человеку, уже шесть лет покоящемуся в своей могиле, откуда он до сих пор грозит всяческому лицемерию, царящему в гордой Англии?

Сначала я не хотел возбуждать этих подозрений. Что может быть ужаснее, чем прослыть льстецом презренного и отвратительного лицемерия (Sant), которое называет лорда Байрона главой сатанинской школы или нападает на него более искусно, делая вид, что сострадает его великим заблуждениям?

Эта глубокая ненависть — ненависть политическая. Всякий, кто прочтет путешествие г-на де Кюстина или посетит Англию,

¹ Зд.: высшему свету (англ.).

вскоре убедится, что эта страна управляется только в интересах и ради славы тысячи или полутора тысяч семей. Младшие братья лордов и воспитывавшие их учителя находят в духовном звании благосостояние и большие доходы. За это они должны морочить голову *рабочему люду* и учить его уважать, чуть ли не любить, аристократов, которые делят между собой всю десятину и добрую треть удушающих его налогов. Несколько лет тому назад кто-то решился напечатать любопытный список количества фунтов стерлингов, которые под тем или иным предлогом — в виде вознаграждения за отправление должности, пенсий, бенефиций, синекур, и т. д.; и т. д. — получают из государственных доходов родня каждого лорда и он сам. Согласно этому списку, мать лорда Байрона и его родные получают тысячу семьсот фунтов стерлингов ¹. Нужно ли говорить, что автор и типограф были объявлены негодьями и лжецами?

Отдадим должное безупречной любезности и личным добродетелям многих членов английской аристократии. Мне досадно, что я принужден выступать против политического положения людей, с которыми так приятно встречаться; но аристократия эта ненавидит лорда Байрона, и я должен пояснить, почему ее взгляды не могут претендовать ни на бескорыстие, ни на беспристрастие. В английской государственной системе все связано одно с другим: если церковь учит народ почитать аристократию, то аристократы поддерживают притязания церкви. Богатый человек наедине признается вам, что смотрит на церковные истины совершенно так же, как и Юм; через четверть часа в обществе десяти человек он будет клеймить самыми презрительными именами низких людей, которые смеют высказывать сомнения в чудесах или в божественной миссии Иисуса Христа. С тех пор как сухопутная армия вошла в моду, а занятие торговлей стало смешным, лицемерие сделало такие быстрые успехи, что каждый день узнаешь об обращении какого-нибудь философа, который в молодости насмеялся над эгоизмом, чревоугодием или безграничным раболепием английских священников.

От тесного союза пэров и священников родился тиран, угрюмый и жестокий, так как он чувствует страх, — тот, которого в Лондоне называют общественным мнением. Эта принятая высшим обществом точка зрения терзает Англию больше, чем солдаты г-на Меттерниха терзают Италию. В конце концов, я сказал бы, что в Италии больше свободы. Из тридцати или сорока

¹ Лорд Грей и его родня — 5600 ф. ст.
Лорд Бьют и его родня — 64 891 ф. ст.
Лорд Уэстморленд — 50 650 ф. ст.
Лорд Уотерфорд — 53 265 ф. ст.

мелких поступков, заполнивших ваш и мой вчерашний день, два или три были бы невозможны в Италии из-за австрийских сборов; все без исключения встретили бы помехи в Англии. Невероятная и печальная вещь! В этой стране, когда-то столь самобытной, нет больше оригиналов.

Взгляды высшего английского общества *нельзя исправить разумом, так как они порождены выгодой.*

Роковой удел человечества! Неужели свобода, первая потребность человека, невозможна на земле? В странах, стонущих под владычеством полиции мелких деспотов Турина, Модены или Касселя, вздыхают по свободе Нью-Йорка, а в Нью-Йорке человек не так свободен в своих действиях, как в Венеции или в Риме. Пресса, освобожденная от предварительной цензуры, обеспечивает политическую свободу; но как только она начинает, в угоду чопорному обществу, печатать на следующий день обо всем, что вы сделали накануне, она лишает свободы ту сотню мелких поступков, которые, плохо ли, хорошо ли, заполняют день всякого человека. Неужели действительно Париж 1830 года — самый свободный город в мире?

Мнение высшего английского общества (*high life*), давно уже раздраженное откровенными речами лорда Байрона, резко выступило против него через год после его брака, когда жена оставила его. Он был в отчаянии от этого; он говорил о философии, как Цицерон, но сам отнюдь не был философом, и тем лучше: иначе он не был бы великим поэтом. Лорд Байрон был единственным предметом его собственного внимания. Благодаря этой дурной привычке (это язва современной цивилизации) он преувеличивал свои несчастья, как Ж.-Ж. Руссо, сравнение с которым вызывало у него такой гнев.

Глубоко страдая от потока карикатур, сатир, памфлетов, всякого рода оскорблений, приводивших в исполнение страшный приговор, вынесенный ему высшим обществом его родины, Байрон утешался одной мыслью: он надеялся, что его оправдают после смерти; он написал свои мемуары и доверил их своему другу, который бросил их в огонь. Кому хотел тот угодить? И за какое вознаграждение?

После такого поступка (подобного которому, к счастью, не найти в столь *безнравственной* Франции) этот друг смеет упрекать лорда Байрона за некоторые легкомысленные поступки юности. Поэт преувеличивал их, так как, подобно регенту, герцогу Орлеанскому, он похвалялся теми маленькими пороками, которыми наделила его природа или, вернее, воспитание в Кембридже.

В 1817 году монсеньор Лодовико ди Бреме, бывший придворный священник, собирал в Милане, в своей ложе театра Ла Скала, общество в двенадцать или пятнадцать молодых людей.

Следуя итальянскому обычаю, которого слишком мало придерживаются во Франции, эти друзья встречались каждый вечер. Можно ли жеманиться перед человеком, с которым видишься триста раз в году? *Аффектация*, этот великий *охладитель* французских салонов, совершенно исключается в обществе, устроенном так, как милацское.

В 1830 году почти все друзья монсиньора Лодовико ди Бреме или уже умерли или были приговорены к смерти; могу утверждать, что я никогда не встречал людей, более честных и менее помышлявших о заговорах.

Однажды мы увидели, как в ложу театра Ла Скала вошел молодой человек довольно маленького роста, с изумительными глазами; он направился к барьеру ложи, и мы заметили, что он слегка прихрамывает. Монсиньор ди Бреме сказал нам: «Господа, лорд Байрон!» — и затем назвал нас его милости; все это было сделано с важностью, на которую был способен дед монсиньора ди Бреме, бывший посланником герцога Савойского при Людовике XIV.

Так как мы уже были немного знакомы с характером англичан, избегающих тех, кто ищет с ними сближения, мы не позволили себе заговорить с лордом Байроном и даже смотреть на него. В ложе находился один очень красивый человек с военной выправкой. Ради него лорд Байрон, казалось, слегка изменил своей британской холодности.

Впоследствии мы, кажется, угадали, что лорд Байрон одновременно и восхищался Наполеоном Бонапартом и завидовал ему. Он говорил: «Только мы одни, он и я, подписываемся Н. Б.». (Ноэл Байрон). В тот день, когда лорд Байрон вошел в ложу монсиньора ди Бреме, ему сказали, что он там встретит человека, участвовавшего в походе на Москву. В 1816 году это событие еще имело очарование новизны; еще не было напечатано ни одного из тех романов, которые отбили у нас интерес к нему. Лорд Байрон принял за беглеца из Москвы того из нас, у которого были усы.

На следующий день лорд Байрон узнал, что он ошибся; он оказал мне честь заговорить со мной о России. Я преклонялся перед Наполеоном; я ответил ему как члену той законодательной палаты, которая недавно отдала этого великого человека палачу со св. Елены. Ясность рассказа обязывает писателя вывести себя на сцену; конечно, не гордость, а скромность побуждает меня говорить о себе на той же странице, на которой был назван лорд Байрон. Я провел ночь за чтением «Корсара», однако я твердо обещал себе сохранить ту же холодность с коллегой лорда Батерста.

Моя верность этой клятве в ледяной холодности объясняет

заметное расположение, которое через несколько дней проявил ко мне лорд Байрон. Но однажды вечером он неожиданно заговорил со мной о безнравственности французского характера. Я дал ему суровый ответ: я заговорил о понтонах, где мучили французских военнопленных; о смерти русских императоров, случающейся так кстати для интересов Англии; об адской машине, и т. д., и т. д. В ложе решили, что после этого очень вежливого и с моей стороны даже почтительного спора лорд Байрон больше не заговорит со мной. На следующий день он взял меня под руку, и мы целый час прогуливались в огромных и пустынных фойе театра Ла Скала. Я был очарован этой любезностью, но я ошибся. Лорд Байрон хотел подробно расспросить о походе в Россию живого его свидетеля; он хотел добиться правды и пытался запутать меня; действительно, я испытал *cross examination*¹. Я не заметил этого; в следующую ночь я с безумным восторгом перечел «Чайльд-Гарольда». Я любил лорда Байрона.

Он не понравился двенадцати или пятнадцати итальянцам, собиравшимся каждый вечер в ложе монсиньора ди Бреме. Нужно признаться, что однажды он дал нам понять, что он был прав в каком-то споре, так как он пэр и большой вельможа. Эта наглость не прошла незамеченной. Монсиньор ди Бреме напомнил известный анекдот о том, как генерал де Кастри, возмущенный тем уважением, с которым слушали Даламбера, воскликнул: «Этот человек хочет рассуждать, не имея и тысячи экю дохода!»

Моим итальянским друзьям лорд Байрон показался надменным, чудаковатым и даже немного сумасбродным.

Однажды вечером он был очень смешон, гневно отрицая всяческое свое сходство с Ж.-Ж. Руссо, с которым его сравнивали в каком-то журнале. Главным доводом его, который, однако, он не хотел высказать, но который приводил его в бешенство, было то, что Ж.-Ж. Руссо был когда-то лакеем. Кроме того, он был сыном часовщика. Мы засмеялись от чистого сердца, когда по окончании спора он попросил у г-на ди Бреме, принадлежавшего к высшей туринской аристократии, подробностей о фамилии Говонов, у которых Жан-Жак служил лакеем (см. «Исповедь»).

Душа лорда Байрона была очень похожа на душу Ж.-Ж. Руссо в том отношении, что он вечно был занят собой и впечатлением, которое он производит на других. Это был наименее драматический поэт, какой когда-либо существовал; он не мог перевоплотиться в другого человека. Этим объясняется его явная ненависть

¹ Перекрестный допрос (англ.).

к Шекспиру; к тому же, мне кажется, он презирал его за то, что тот сумел перевоплотиться в Шейлока, низкого венецианского еврея, и в Джона Кеда, презренного демагога.

Лорд Байрон ужасно боялся потолстеть. Это была его навязчивая идея.

Г-н Полидори, молодой врач, путешествовавший вместе с ним, сообщил нам, что мать лорда Байрона была маленькой и очень полной. Исследуя характер лорда Байрона (а мы, признаюсь, занялись этим, когда он нас покинул; меня изумили эти пронизательные итальянские натуры; их не обманет видимость), рассматривая в микроскоп характер великого поэта, упавшего, как бомба, в нашу среду, друзья г-на ди Бреме решили, что одну треть дня лорд Байрон был *дэнди*: он боялся пополнеть, прятал свою правую ступню, немного вывернутую внутрь, и хотел нравиться женщинам. Но тщеславие его в этом отношении было так велико и болезненно, что он ради средства забывал о цели. Любовь могла помешать его верховым прогулкам, — он пожертвовал любовью. В Милане, а особенно через несколько месяцев после этого в Венеции, его красивые глаза, прекрасные лошади и слава чуть не пробудили страсть в нескольких очень молодых, очень знатных и, несомненно, очень интересных женщинах. Одна из них сделала больше ста миль, чтобы присутствовать на бале-маскараде, где он должен был появиться. Он узнал об этом, но из гордости или застенчивости не соблаговолил заговорить с ней. «Это грубиян!» — воскликнула она, уходя. Потерпев неудачу у светской женщины, лорд Байрон умер бы от оскорбленного тщеславия. Вследствие мелочности английской цивилизации он обращал внимание на таких женщин, в глазах которых богатство любовника составляет величайшее его достоинство.

Не удовлетворяясь тем, что он был самым красивым человеком в Англии, лорд Байрон хотел быть также самым модным человеком. Когда он был *дэнди*, то произносил имя *Бреммеля* с трепетом восхищения и зависти; то был король моды от 1796 до 1810 года; то было самое курьезное существо, какое породил XVIII век в Англии и, может быть, в Европе. Этот развенчанный король доживает свои дни в Кале.

Когда лорд Байрон забывал о своей красоте, он предавался мыслям о своем высоком происхождении. Молодые миланцы с весьма забавной миной простодушия спорили при нем, имеет ли основание Генрих IV претендовать на прозвище «Милостивого», после того как он отрубил голову своему бывшему другу герцогу Бирону. «Наполеон не сделал бы этого», — ответил лорд Байрон. Комизм заключался в том, что он явно считал себя более благородным, чем герцог де Бирон, и в то же время чувствовал

зависть к славе этого имени. Действительно, мало фамилий в Англии дали более длинный ряд храбрых воинов, чем фамилия Биронов.

Когда лорд Байрон переставал тщеславиться своим происхождением или красотой, он сразу становился великим поэтом и *разумным человеком*. Никогда он не *говорил фраз*, как, например, г-жа де Сталь, недавно встреченная им в Коппé и в скором времени приехавшая к нам в Милан. Когда разговор заходил о литературе, лорд Байрон меньше всего походил на академика: всегда больше мысли, чем слов, и никакого стремления к изяществу выражений. Чаще всего к полуночи, в те дни, когда он бывал взволнован музыкой оперы, он отдавался своему чувству, как южанин, не думая о том, чтобы произвести своими словами впечатление на других.

Особенно странно то, что в своей прозе он всегда ищет остроумия, и притом последнего сорта — *намеков* на какое-нибудь место из классического автора. Могу утверждать, что когда он не был фатом или безумцем, его очаровательная беседа меньше всего походила на его скучную прозу, достойную архидиакона Грюбле. Нужно признаться — и для великого человека это скорее оправдание, чем обвинение, — он казался нам безумцем не меньше двух раз в неделю. Некоторые утверждали, что вид у него был такой, словно он сходит с ума от *угрызений совести*. Быть может, говорили мы, в припадке аристократической гордости или гордости денди он застрелил какую-нибудь красивую рабыню-гречанку, неверную его ложу?

Я не удивлюсь, если английские журналы будут утверждать, что «сатанический» лорд Байрон виновен в убийстве, пока парламентская реформа или другое какое-либо событие не свергнут тирании высшего лондонского общества, которое при помощи магического слова *improperly*¹ властвует над умами девятнадцати англичан из двадцати. Заметьте, что эти жалкие журналы могут жить и процветать, только если их покупает *high life*. Живя на континенте, нельзя себе представить, насколько высшие общественные круги Англии аристократичнее наших самых знаменитых ультрароялистов. Английский лорд, например, *никогда не может быть смешным*, что бы он ни сделал. Завидная участь! Один академический поэт, по имени Саути, пользовался покровительством высшего общества, ибо осыпал лорда Байрона такими жестокими оскорблениями, что однажды в Пизе этот великий человек едва не взял почтовых лошадей, чтобы поехать в Англию и стреляться с ним из пистолетов. «Берегитесь, — сказал ему один из друзей, — аристократия подкупит всех плохих поэтов,

¹ Неприлично (англ.).

приобретя их произведения, если у нее явится хоть какая-нибудь надежда, что она смутит этим душевный покой автора «Дон Жуана».

По-моему, английская аристократия не прогадала бы, если бы, пожертвовав десятью тысячами франков, она добилась уничтожения «Дон Жуана». В своей слепой ярости эта аристократия воспротивилась тому, чтобы лорд-канцлер разрешил издателю «Дон Жуана» преследовать контрафакцию. В результате этой причуды Англия наводнена изданиями «Дон Жуана» в два шиллинга (два франка пятьдесят сантимов) вместо пятнадцати или двадцати франков. Эта дивная поэма является жестоким противником теологии Пали.

Разве не забавно видеть взбешенных людей, которые от избытка ярости и слепоты *вредят самим себе*? Не знаю, что мешает хорошему обществу объявить лорда Байрона убийцей. Вот обвинительный акт, напечатанный в мемуарах лорда Байрона, недавно проданных г-ном Муром издателю Меррею за полтораста тысяч франков.

Лорд Байрон в своем дневнике намекает на событие, воспоминание о котором смущает его сон и вызывает у него ужасное волнение. «Я написал «Абидосскую невесту» в четыре ночи,— говорит он,— чтобы заглушить в себе мысли о N. Если бы я не предпринял этого труда, я бы сошел с ума, растравляя свое сердце». И дальше: «Я проснулся после сновидения. Ну что же, разве другие не видят снов? Какой сон! Но она не властна надо мной. Неужели мертвые не могут успокоиться? О, вся кровь во мне застыла! Я не мог проснуться! И...

Клянусь, что эти тени нынче ночью
Сильнее ужас Ричарду внушили,
Чем десять тысяч воинов живых,
Которых поведет предатель.

Мне тягостен этот сон! Я ненавижу давно уже наступившее заключение его. Неужели я позволю призракам испугать меня? Ах, когда они напоминают нам... Что ж такого? Но если я еще раз увижу такой сон, я проверю, бывают ли во время другого сна, самого глубокого из всех, такие же видения».

Он прибавляет: «Хобхаус передавал мне удивительный слух, будто я подлинный Конрад, настоящий Корсар моей поэмы; предполагают, что эта часть моего путешествия осталась тайной... Гм... Люди иногда бывают близки к истине, но никогда не отгадывают ее целиком. Он не знает, каким я был в тот год, когда он покинул Левант. Никто не знает этого; ни..., ни...,

ни... Значит, это ложь! Но меня пугает это плутовство злого духа, который своей ложью обнаруживает истину».

Г-н Мур не прибавляет к этому никаких пояснений. Должно быть, этот умный человек не заметил, что эти несколько строк станут текстом для проповедей всех священников Англии и Америки.

Не все ли равно лорду Байрону? Высшее общество может задушить великого человека; но если он приобрел известность, то отчет в своих поступках он дает только будущему. Греция скоро вступит на путь цивилизации; может быть, в 1811 году лорд Байрон разыграл роль Отелло. В Афинах в 1811 году во францисканском монастыре у него бывали приступы безумия. Вспомните слова его одному монаху. Если в этом есть нечто реальное, то в случае надобности найдутся сотни свидетелей, и рано или поздно потомство узнает, испытывал ли лорд Байрон подлинные угрызения совести или *это была еще одна из его поз*.

Достоин ли презрения Отелло, раз в жизни поддавшийся жестоким мучениям ревности?

Все же душа лорда Байрона в те мгновения, когда он не был денди, очень легко поддавалась возбуждению, и вполне возможно, что, мучимый угрызениями совести, он придавал слишком большое значение проступку, совершенному в юности. По мнению двенадцати присяжных, собравшихся по воле случая в ложе г-на ди Бреме, жертвой проступка, придававшего иногда дикое и смятенное выражение прекрасным глазам лорда Байрона, была женщина. Как-то вечером разговор зашел об одной хорошенькой миланке, которая пыталась драться на дуэли с покинувшим ее возлюбленным; заговорили об одном князе, убившем без дальних рассуждений женщину из простонародья, которая с ним жила и изменила ему. Лорд Байрон не раскрыл рта; одно мгновение он попытался сдержать себя, затем в бешенстве вышел из ложи. Если это было бешенство, то оно было направлено против него самого и в наших глазах, конечно, было его искуплением.

Это преступление, каково бы оно ни было, я сравниваю с кражей ленты, совершенной Ж.-Ж. Руссо во время пребывания его в Турине. Кто из людей с некоторым жизненным опытом, не придающих значения салонным фразам, на основании этого случая объявит Руссо менее достойным уважения, чем огромное большинство порядочных людей? Правда, в 1815 году один современный писатель самовольно заменил кусочек украденной им ленты *серебряным прибором*. Это важное для благонамеренной партии открытие, конечно, не осталось без награды. Вот пример того, какого доверия должны заслуживать пошлые историки, пока живет могущественная партия, преследующая своей нена-

вистью императора Юлиана, Ж.-Ж. Руссо, лорда Байрона, словом, всех тех, кто не без некоторого успеха смеялся над лицемерием.

Не прошло и нескольких недель, как лорду Байрону явно стало очень нравиться миланское общество, в XIX веке единственное, которое допускает *благодущие*. Часто по окончании спектакля мы задерживались в вестибюле театра, чтобы посмотреть на проходящих мимо хорошеньких женщин. Мало найдется городов, где можно было бы наблюдать такой подбор красавиц, какой случайно оказался в Милане в 1817 году. Многие ожидали, что лорд Байрон захочет быть представлен им. Гордость, застенчивость или, скорее, желание денди делать как раз *обратное* тому, чего от тебя ожидают, заставляли его упорно отклонять эту честь. Он предпочитал проводить вечер в разговорах о поэзии или философии. Помню, мы высказывали свои мнения так бурно, что часто возмущенный партер заставлял нас замолкать.

Однажды вечером, в самый разгар философического спора о принципе «полезности», г-н Сильвио Пеллико, очаровательный поэт, умерший впоследствии в австрийской тюрьме, пришел сообщить лорду Байрону, что его врач, г-н Полидори, арестован.

Мы поспешили в кордегардию. Г-н Полидори, очень рослый и очень красивый мужчина, возмутился в партере меховой шапкой дежурного офицера, которая, по его словам, мешала ему видеть певца, и попросил офицера снять ее. Дело в том, что, несмотря на свою итальянскую фамилию, г-н Полидори родился в Англии, а следовательно, часто испытывал потребность *vent his spleen on somebody* — «сорвать свое дурное настроение на ком-нибудь или на чем-нибудь».

Вместе с нами в кордегардию Ла Скала спустился и великий поэт Монти. Мы, человек пятнадцать или двадцать, окружили пленника. Все говорили зараз; г-н Полидори был вне себя и красен, как рак. Лорд Байрон, наоборот, был очень бледен и едва сдерживал свой гнев. Его патрицианское сердце было жестоко уязвлено тем, что он не пользовался ни влиянием, ни значением. Именно в эту минуту он горько сожалел о том, что он не ультра-роялист и не бывает на обедах и интимных вечерах у эрцгерцога, вице-короля Милана. Таково было наше мнение. Как бы то ни было, австрийский офицер, вероятно, решил, что это — начало возмущения; если он был человек ученый, то ему, может быть, вспомнилось восстание в Генуе в 1740 году. Во всяком случае Монти заметил, как он выбежал из кордегардии и кликнул солдат, схвативших свои сложенные за дверями ружья. Тогда Монти пришла в голову отличная мысль: «*Sortiamo tutti; restino*

solamente i titolari» — «Вернемся в зал; пусть в кордегардии останутся только те из нас, кто имеет титул».

Монсиньор ди Бреме остался со своим братом маркизом де Сартирана, графом Конфалоньери и лордом Байроном. Эти господа записали свои имена. Увидев титулы, дежурный офицер забыл оскорбление, нанесенное его меховой шапке, и отпустил г-на Полидори. Как только этот офицер проявил свое великодушие, мы вполне отдали ему должное. Действительно он был очень добродушен. Без своей меховой шапки, которая была вышиной, может быть, в тридцать дюймов, австрийский офицер ростом меньше пяти футов являл жалкое зрелище рядом с г-ном Полидори, красавцем в пять футов шесть дюймов; другой офицер на его месте из одного тщеславия не отпустил бы своего пленника. В тот же день, в полночь, г-н Полидори получил приказ покинуть Милан в двадцать четыре часа; он был в ярости и клялся рано или поздно вернуться в Милан и дать пощечину изгнавшему его губернатору. Пощечины ему он не дал, а через два года отравился, выпив целую бутылку прусской кислоты. (По крайней мере, sic dicitur¹).

На следующий день после отъезда г-на Полидори лорд Байрон, с которым я остался наедине в огромном мрачном фойе театра Ла Скала, стал серьезно жаловаться на то, что его преследуют. «В Коппé, - воскликнул он, стиснув зубы, словно говоря с самим собой и kloкоча от гнева, - когда я входил в одну дверь салона, все эти английские и женевские дуры выходили через другую». Эти слова не были произнесены явственно. Из уважения к горю лорда Байрона или опасаясь крайнего его возбуждения, собеседник его отошел на несколько шагов. Когда он вновь приблизился, лорд Байрон снова стал жаловаться, но в более сдержанных и общих выражениях. Его собеседник так плохо знал i titolari, употребляя выражение Монти, что наивно ответил лорду: «Раздобудьте четыреста или пятьсот тысяч франков, распустите слух о вашей смерти; два или три верных друга похоронят какой-нибудь чурбан в каком-нибудь захолустье, например, на острове Эльбе. Официальное известие о вашей смерти распространится в Англии, а вы тем временем, приняв имя Смита или Дюбуа, будете счастливо и спокойно жить в Лиме. Вдобавок ничто не помешает г-ну Смигу, когда он посидит, вернуться в Европу и купить у какого-нибудь книгопродавца в Риме или в Париже тридцатое издание «Чайльд-Гарольда» или «Лары». А в тот момент, когда г-н Смит будет действительно умирать, он сможет, если пожелает, доставить себе замечательное и редкостное удовольствие, заявив: «Лорд Байрон, которого считают

¹ Так говорят (лат.).

умершим тридцать лет тому назад, это я. Английское общество показалось мне таким глупым, что я покинул его».

«Моему кузену, наследующему мой титул, следовало бы написать вам благодарственное письмо», — холодно сказал лорд Байрон.

Собеседник, проявивший, быть может, некоторую нескромность, воздержался от колкого ответа. Очевидно, лорд Байрон страдал болезнью, нередко встречающейся у людей, с которыми судьба обращается как с избалованными детьми: он питал два противоречивых желания — великий и верный источник несчастья. Не хотел ли он одновременно, чтобы его принимали в высшем обществе как вельможу и восхищались им как великим поэтом?

Но высший свет никогда не прощает человеку пишущему. Может быть, во времена великого Корнеля было не так; но великий Корнель был просто «славным малым» в глазах *вельможи* Данжо (см. его «Мсмуары»). В этот вечер я случайно похвалил великого герцога Тосканского, который, несомненно, того заслуживал. Лорд Байрон, на которого тогда нашел стих «лояльности», был чрезвычайно этим доволен.

В то время в Милане играли «Елену» старика Майра, в которой ссть великолепный *sestetto*. Публика терпеливо слушала два посредственных действия, чтобы дожидаться этого *sestetto*. Однажды, когда его пели еще лучше, чем обычно, меня поразили глаза лорда Байрона: никогда я не видел ничего, столь прекрасного. Если бы какая-нибудь женщина в такую минуту увидела его, она вспыхнула бы к нему страстью. Я дал себе обещание никогда не огорчать такую прекрасную душу какой-нибудь осторожной фразой, которой охраняют гордость национальную или личную. Помню, в этот вечер заговорили о замечательном сонете Тассо, в котором он проявляет свое неверие:

Odi, Filli, che tuona...
Ma che curar dobbiam che faccia Giove?
Godiam noi qui, s'egli è turbato in cielo.
Tema il volgo i suoi tuoni...
Pera il mondo, e rovini! A me non cale
Se non di quei che più piace e diletta;
Che se terra saró, terra ancor fui.¹

¹ Слушай, Филида, как гремит гром... Но к чему нам беспокоиться о том, что делает Юпитер? Будем веселиться здесь, если он тревожится на небе. Чернь боится его грома... Пусть гибнет и рушится мир! Что мне за дело? Мне важно в нем только то, что отраднее и сладостнее всего. Ведь прахом я был и прахом буду (*итал.*).

«Стихи эти выражают настроение минуты, не более,— сказал лорд Байрон.— Нежная душа и прихотливое воображение Тассо равно нуждались в понятии бога как в своей опоре. Голова его была слишком забита платонизмом, чтобы связать вместе два или три сложных рассуждения... Когда Тассо писал этот сонет, он чувствовал свой гений, но у него не было, может быть, ни хлеба, ни любовницы».

Кончая эти слова, лорд Байрон постучался в дверь своей гостиницы, и мы принуждены были покинуть его, к нашему великому сожалению; мы все, даже столь недоверчивые итальянцы, были очарованы. Гостиница лорда Байрона находилась в полумиле от театра Ла Скала, в конце пустынного квартала. Там было много воров; ему приходилось идти одному в два часа ночи по узким и мрачным улицам.

Все это окружало поэзией убежище лорда. Не понимаю, каким образом он не подвергся нападению; он почувствовал бы себя униженным, если бы его ограбили, так как воры разыгрывали забавнейшие шутки с бедными прохожими. Было холодно, и, выходя, приходилось кутаться в плащ; вор тихонько подкрадывался сзади, набрасывал на вас через голову обруч от бочки, который он вам опускал на руки, и затем спокойно грабил вас.

Г-н Полидори рассказывал нам, что лорд Байрон часто писал за одно утро сотню стихов. Вечером, возвращаясь из театра, взволнованный спорами или музыкой, он снова брался за бумагу и работал иногда до рассвета, сокращая эти сто стихов до двадцати или тридцати; когда набиралось четыреста или пятьсот строк, он отсылал их г-ну Меррею, лондонскому издателю. Работая ночью, он пил нечто вроде грога, приготовленного из можжевелевой водки и воды. Надо сказать, что, когда мысль его не работала, он выпивал немало этого грога; но и этот порок он преувеличивал, обвиняя самого себя. Он никогда не пил чрезмерно. Нередко, чтобы не пополнеть, он не обедал или съедал только одно овощное блюдо с небольшим количеством хлеба. Такой обед стоил не больше одного или двух франков; в таких случаях лорд Байрон, пользуясь тем, что это было похоже на другой порок, хвалился своей скупостью.

Г-н Полидори сообщил нам немало подробностей о его браке. Молодая наследница, на которой он женился, отличалась тщеславием и некоторой глупостью, обычной для единственной дочери. Она собиралась вести блестящую жизнь очень знатной дамы; она нашла только гениального человека, не желавшего ни управлять домом, ни находиться под чьим-либо управлением. Миледи Байрон была этим раздражена; злая служанка, которую пугали странности лорда Байрона, разожгла гнев своей молодой госпожи; она оставила мужа. Высшее общество восполь-

зовалось удобным случаем, чтобы отлучить от себя великого человека, и жизнь его была навсегда отравлена.

Этим постоянным и гневным мыслям о своих несчастьях он, быть может, обязан был своей чувствительностью к музыке, которая смягчала его печаль, вызывая у него слезы. Лорд Байрон чувствовал хорошую музыку, но чувствовал ее как диллант. Если бы он послушал новые оперы в течение года или двух, он был бы в восторге от того, что в 1816 году не доставляло ему никакого удовольствия и даже вызывало его порицание как незначительное или вычурное.

Я только что узнал, что леди Байрон или какой-то священник от ее имени собираются отвечать на книгу г-на Мура. Тем лучше. Если между сжигателями подлинных мемуаров возникнут раздоры, то обнаружится, в среду каких людей попал лорд Байрон.

Лорд Байрон был очарователен, как веселый и шаловливый ребенок, в день, когда мы отправились за две мили от Милана посетить прославленное «Энциклопедией» эхо Симонетты, повторяющее пистолетный выстрел тридцать или сорок раз.

Зато на следующий день, придя на торжественный обед, который дал в его честь монсиньор ди Бремсе, он был мрачен, как Тальма в роли Нерона из «Британика». Он пришел последним и должен был пройти со своей немного вывернутой ногой через огромную гостиную под устремленными на него взорами. Лорд Байрон далеко не был человеком равнодушным и пресыщенным, как того требовала его роль денди; он постоянно бывал охвачен какой-нибудь страстью. Когда молчали более благородные страсти, его начинало терзать безумное, по всякому поводу оскорблявшееся тщеславие. Но когда в нем пробуждался гений, все забывалось, поэт взлетал к небесам и увлекал нас за собой. Какую дивную поэму рассказал он нам как-то ночью о жизни Каструччо Кастракани, Наполсона средних веков. Перед этим мы повели его посмотреть при лунном свете белые мраморные иглы Миланского собора.

У него была одна слабость, свойственная писателям, — крайняя чувствительность к осуждению или похвале, особенно если последняя исходила от людей того же ремесла. Он не замечал, что все эти суждения внушены аффектацией и что лучшие из них могут служить только *свидетельством* о сходстве.

Мои итальянские друзья, беспощадные к лорду Байрону, заметили, что он гордится, как ребенок, числом языков, на которых, как ему казалось, он умел говорить. Один настоящий знаток греческого языка и ничуть не шарлатан, бывавший иногда в ложе монсиньора ди Бремсе, говорил нам, что лорд Байрон очень плохо знал оба греческих языка, древний и новый. То же

и относительно истории, хотя он претендовал на большие познания в этой области.

Я чуть не забыл о том, какое поразительное впечатление произвела на лорда Байрона картина Даниэле Кресспи, изображающая каноника, который лежит в гробу среди церкви и во время отпевания вдруг откидывает покров, встает из гроба и восклицает: «*Justo judico damnatus sum*» — «Я осужден, и суд божий справедлив».

Мы не могли оторвать лорда Байрона от этой картины; мы видели, что он взволнован до ужаса; из уважения к гению мы молча сели на лошадей и подождали его, кажется, в одной миле от чертозы Кастеллаццо, где Кресспи написал *al fresco* жизнь святого Бруно¹.

Лорд Байрон стал смеяться над нами, когда мы впервые сказали ему, что существует не один, а десять итальянских языков; что, например, на миланском языке писали два великих современных поэта, Томмазо Гросси и Карлино Порта, и что, кроме того, существует очень хороший *миланско-итальянский* словарь; что из девятнадцати миллионов итальянцев говорят на почти литературном языке только те, кто живет в Риме, Сьене и Флоренции. Г-н Сильвио Пеллико, очаровательный поэт, сказал однажды лорду Байрону: «Самый красивый из этих десяти или двенадцати языков, о существовании которых ничего не знают по ту сторону Альп, венецианский. Венецианцы — это французы Италии». — «Значит, у них есть какой-нибудь современный комический поэт?» — «Да, — отвечал г-н Пеллико, и превосходный; но он не имеет возможности ставить на сцене свои комедии и потому пишет их в виде сатир. Имя этого очаровательного поэта — Буратти, и каждые полгода губернатор Венеции сажает его в тюрьму».

Эти слова Сильвио Пеллико, по моему мнению, определили дальнейшее направление поэзии лорда Байрона. Я думал, что в глубине души он страстно желал посетить Париж, он хотел, чтобы его там приняли так же, как некогда в кругу энциклопедистов принимали Юма (1765). Лорд Байрон тотчас же спросил имя книгопродавца, у которого продавались произведения г-на Буратти. Так как лорд Байрон был уже приучен к миланскому простодушию, все рассмеялись ему в лицо; ему объяснили, что

¹ В письме, которым почтил меня лорд Байрон в 1823 году, чтобы оправдать сэра Вальтера Скотта от упрека в крайнем раболепии, он вспоминает большую часть столь же милых, сколь и несчастных молодых людей, которых мы знали в Милане в 1816 году. Я нашел в письме лорда Байрона оттенок *can't* а и, чтобы не писать неприятностей человеку, которого я любил, уважал и почитал, я не ответил ему.

если бы Буратти захотел провести всю жизнь в тюрьме, он располагал для этого верным средством: ему стоило только что-нибудь напечатать; а кроме того, где найти такого дерзкого типографа?¹ Очень неполные списки стихов Буратти стоили три или четыре цехина. На следующий день очаровательная контессина Н. благоволила одолжить одному из нас свой сборник. Лорд Байрон, которому казалось, что он знает язык Данте и Ариосто, сперва ничего не понял в этих стихах. Мы прочли с ним несколько комедий Гольдони, и только тогда он принялся за прелестные шутки «Ото», «Strofe» и т. д. Кто-то даже позволил себе непристойность одолжить ему экземпляр сонетов «Vaffo». Какое преступление в глазах Саути! Жаль, что он раньше не знал об этом ужасном поступке!

По моему мнению, лорд Байрон написал «Беспо» и поднялся до «Дон Жуана» только потому, что он читал Буратти и видел, какое чудесное наслаждение доставляли его стихи венецианскому обществу. Страна эта — особый мир, о котором хмурая Европа не имеет понятия. Там не думают об огорчениях. Стихи г-на Буратти опьяняют сердца. Никогда я не видел, чтобы «черное по белому», как говорят венецианцы, производило такое впечатление. Но здесь я перестал наблюдать и потому должен перестать писать.

ВЕНЕЦИЯ

Зима 1816 г. Отец Паскаль Ошер

[Со слов Джорджа Э. Маккся.] В бумагах армянского монастыря сохранились записи о том, что наш герой гостил там. В первый раз он пробыл в монастыре весь день и уехал после захода солнца, пообещав вернуться следующим утром. Своё обещание он сдержал и во второй приезд получил разрешение жить в монастыре, покуда будет изучать армянский язык. Тогда же он приступил к занятиям с отцом Паскалем, который рассказывал ему о древней истории, географии и литературе Армении.

Байрон замыслил написать историю мхитаристов со времён Мхитара, основавшего монастырь в 1717 году, до Акопа [аббата, с которым Байрон был знаком], показав роль армян в становлении Венеции, однако его могучий, но слишком живой ум недолго мог сопротивляться натиску Любви на Прилежание. Любовь победила.

Лорд Байрон видел два письма на армянском языке [по пре-

¹ Лишь много времени спустя один швейцарец решился напечатать самые невинные из стихотворений Буратти.

данию — переписку между Христом и армянским королем Абгаром] и говорил о них с отцом Паскалем. Байрон был твердо убежден в подлинности этих писем, что подтверждают его беседы с монахами монастыря.

ЛА МИРА

20 октября 1817 г. Джордж Тикнор

[...] Тогда же лорд Байрон рассказал мне, что М. Г. Льюис переводил ему с листа гётевского «Фауста», и я понял то, чего не мог взять в толк прежде: почему «Манфред» схож с «Фаустом» (ибо я был уверен, что Байрон не знает немецкого языка). Об Италии он отозвался с восторгом, а о путешествии в Грецию — весьма равнодушно, заметив, что в ней не осталось и шестой части ее прославленных памятников. [...]

Услышав, что у Гёте много врагов в Германии, лорд Байрон оживился и попросил меня рассказать об этом подробнее, чем напомнил мне Шейлока, находившего удовлетворение в том, что «другим тоже не везет». Он внимательно слушал меня, и более всего его взволновала история перевода на немецкий пресловутого «Эдинбургского обозрения» — в Йене, под носом у Гёте! Тут лорд Байрон даже прервал меня, воскликнув полушутя-полусерьезно: «Поскольку я тоже обиженный автор, то искренне ему сочувствую». Тем не менее, я не сомневаюсь, что он испытывал к Гёте нечто большее, чем простое сочувствие. [...]

ВЕНЕЦИЯ

Январь 1818 г. Ричард Б. Хопшиер (английский консул в Венеции)

Тотчас же после отъезда мистера Хобхауса лорд Байрон предложил мне сопровождать его в прогулках на Лидо, один из длинных, узких островов, отделяющих лагуну, в которой расположена Венеция, от Адриатического моря.

Там, неподалеку от форта, лежал межевой камень, за которым начинались чьи-то владения. Лорд Байрон много раз просил меня похоронить его под этим камнем, если он умрет в Венеции или ее окрестностях, когда я еще буду там служить. Поскольку он не был католиком, то не предполагал, что власти будут против того, чтобы его похоронили в неосвященной земле на берегу моря, а кроме того он верил, что я смогу уладить любые трудности. Более всего он боялся, что в похороны могут вмешаться его родственники, и заклинал меня не дать им перевезти его тело в Англию.

Ничто не доставляло мне такого удовольствия, как эти наши

совместные поездки! Путешествие в гондоле, в продолжение которого он обыкновенно занимал меня остроумной и увлекательной беседой, длилось не более получаса. Порой он брал с собой какую-нибудь недавно присланную книгу и читал вслух отрывки, особенно поразившие его. Но чаще он читал написанные накануне стихи, и это было захватывающе интересно, потому что я слышал в них то отголосок мысли, возникшей у него при нашем вчерашнем разговоре, то замечание, сделанное им тогда же, и которое теперь он на мне «опробовал». Порой он говорил о себе, заставляя меня пересказывать все ходившие о нем слухи, причем просил, не щадя, рассказывать даже самое плохое.

Я не перестаю сожалеть, что не записывал бесед, которые мы ввели во время прогулок верхом или по морю. Никто не мог сравниться с ним в остроумии, в блеске и разнообразии разговора! Его суждения об окружающих предметах всегда были оригинальны, но особенно поражала меня его способность мгновенно оценивать любое, самое пустячное, другими, разумеемся, упущенное обстоятельство, которым он наповал разил в споре. Он тонко чувствовал красоту природы и с интересом выслушивал мои дилетантские замечания об игре света и тени или об изменении красок под влиянием атмосферных явлений.

Наш обычный маршрут пролегал вдоль берега до места, где мы садились на лошадей, и дальше, до кладбища, на котором мы спешивались. Нетрудно представить, как осторожно приходилось ехать меж разрушенных надгробий. Однажды, когда мы медленно возвращались назад, лорд Байрон, не сказав ни слова, прищипил вдруг свою лошадь и во весь опор помчался к берегу. Не сразу различил я на противоположной стороне нескольких мужчин, бегущих параллельно ему к нашей гондоле в надежде поспеть к ней раньше лорда Байрона и увидеть его или, во всяком случае, не позже. Я был свидетелем настоящего состязания, развернувшегося между ним и этими господами, из которого лорд Байрон вышел победителем. Опередив их, он поспешно соскочил на землю, прыгнул в гондолу и затворил ставни, не дав преследователям увидеть себя. Я застал его крайне возбужденным этой победой, и хотя он в весьма крепких выражениях отозвался об их, как он считал, наглости, я от души хохотал и над ним и над незадачливыми преследователями, чье страстное желание взглянуть на него казалось мне лестным. Когда я сказал ему об этом, он возразил, что все зависит от чувства, которое руководствовало ими, а он не был настолько тщеславен, чтобы полагать, будто они восхищаются его стихами. Скорее всего, они поступили так из вульгарного любопытства. Он был прав, вероятно, но я полагаю, что если бы его преследователи принадлежали к противоположному полу, он вряд ли бежал бы от них

столь же быстро. Бьюсь об заклад, что он смотрел бы на них с таким же удовольствием, как они на него.

23 августа 1818 г. Перси Б. Шелли

[Из письма к Мэри Шелли от 24 августа 1818 г.] Поразмыслив, мы решили скрыть, что Клэр здесь, поскольку мистер Х[оппнер] в ужасе: он считает, что ее приезд повлечет за собой немедленный отзыв его из Венеции.

К Альбе я приехал в три часа. Он встретил меня весьма радушно, и первый наш разговор, разумеется, был посвящен цели моей поездки [устроить встречу Клэр с Аллегррой]. В успехе я пока еще не уверен, хотя сочувствие, с которым он отнесся к просьбе Клэр, и готовность помочь нам и ей, явились для меня неожиданностью. Он не хочет, чтобы Аллегра надолго уезжала во Флоренцию, поскольку венецианцы могут подумать, что она ему надосла и он отослал ее, у него ведь репутация человека капризного. Он считает, что Клэр будет так же тяжело расставаться с ней после, как и сносить разлуку сейчас. Она вновь успеет к ней привязаться и вновь вынуждена будет уехать. Но если ты не возражаешь, он (полагая, что ты с семьей в Падуе) готов отпустить туда Аллегру дней на семь. Да и вообще, заключил он, у меня нет никаких прав на этого ребенка. Если Клэр захочет увезти ее, пусть увозит, я от двочки не отрещусь и по-прежнему буду содержать ее, хотя многие на моем месте поступили бы иначе. Надеюсь, Клэр сама понимает, насколько это было бы неблагоразумно.

Потом, милая Мэри, он заговорил о другом, и я решил, что навряд ли добьюсь сейчас от него чего-нибудь еще, тем более, что он выразил и свое доброе расположение, и сочувствие, а это главное. Первое сражение было выиграно. Я собрался было уходить, торопясь известить обо всем Клэр, которая ждала меня у миссис Хоппнер, но не тут-то было! Он посадил меня в гондолу и отвез на какой-то вытянутый песчаный остров [Лидо]. Там уже стояли оседланные лошади, и мы поскакали по песку вдоль моря. Он говорил о своем раненом сердце и уязвленных чувствах, впрочем, и меня расспрашивал о моих делах и клялся в дружбе и преданности. Если бы он во время суда был в Англии, то обрушил бы небо на землю, но не допустил бы такого решения [согласно которому у Шелли отобрали детей от первого брака]. Дошел черед и до литературы, до четвертой песни «Чайльд-Гарольда», по его мнению, она очень хороша. И впрямь, строфы, которые он мне прочитал, полны огромной силы [...]

V. CAVALIER SERVENTE¹

ЧИЧИСБЕЙ, ВЕНЕЦИЯ

Начало апреля 1819 г. Графиня Тереза Гвичьоли

Этой встречей судьба, как печатью, скрепила их сердца. Таинство единения душ родилось из случайного взгляда. Лорд Байрон показался юной женщине небожителем.

Из-за позднего времени (было около часа ночи) и волнения в Лагуне гостей съехалось меньше обычного. Они скучали, и обеспокоенная хозяйка, графиня Бенцони, подошла к Байрону и попросила разрешения представить его молодой замужней даме. Лорд Байрон отказался. «Вы ведь знаете, — сказал он, — что я не ищу знакомств с женщинами. Уродливых сторонюсь, потому что они уродливы, красивых — потому что красивы». Напрасно сидевший рядом мистер Скотт уговаривал его сделать исключение для этой молодой дамы в салоне, где далеко не все женщины блистали красотой. Байрон не соглашался. Однако, уступая милой настойчивости мадам Бенцони, он поднялся и, только чтобы не обидеть ее, проследовал за ней к молодой даме, которой был представлен как английский пэр и вслчайший английский поэт. Взглянув на нее, он улыбнулся той чудесной улыбкой, которую восхищенный Колридж называл «вратами рая». Колдовство первого взгляда коснулось и его голоса, одушевило прекрасное лицо. Он сел подле нее, они разговорились, и оказалось, что однажды они уже встречались. Это произошло на вечере у графини Альбрицци; он предложил ей пройти с ним в соседнюю комнату, где был выставлен для обозрения бюст Елены, изваянный Кановой. Но тогда только что прибывшая в Венецию после трех дней замужества, два из которых она провела в дороге (карета, доставившая новобрачную в Венецию, ждала ее у дверей собора в Равенне, где происходило венчание), графиня еще не пришла в себя, робела и так устала, что не разглядела ни своего красивого собеседника, ни прекрасной Елены. Когда по дороге домой граф осведомился о молодом лорде, подхлдившем к ней, она искренне ответила, что не запомнила его лица.

Несколько месяцев замужества сильно изменили ее. Узнав, что она родом из Равенны, Байрон сказал, что хотел бы поехать туда на могилы Данте и Франчески да Римини. Они заговорили о Данте и Петрарке, и лорд Байрон не без удивления заметил, что графиня прекрасно знает их сочинения (графиня, боготво-

¹ Кавалер-поклонник (*итал.*).

рившая великих поэтов, получила классическое образование в монастыре Фаэнцы, близ Равенны). Но им уже неважно было, о чем говорить. Главное было — говорить, ощущая то таинственное, инстинктивное притяжение, которое росло с каждой секундой, отгораживая их от окружающего мира. Они до такой степени увлеклись, что когда кто-то из гостей, подойдя к ним, пошутил, что пять минут, отпущенные для приличной беседы, давно истекли, графиня Гвичьоли встала как во сне. От спокойствия, с которым она несколькими часами раньше вошла в дворец графини Бенцони, не осталось и следа. Это таинственное притяжение настолько смутило ее душу, что она испугалась. На следующий вечер она, как обычно, поехала в оперу. Давали «Отелло». Музыка еще более усилила ее смятение, поэтому после спектакля она отказалась ехать к графине Бенцони и настояла на возвращении домой. Но дольше она не имела сил сопротивляться. Еще через день, после оперы, она в сопровождении графа появилась у мадам Бенцони. Лорд Байрон тотчас же подошел к ней и, сев рядом, осведомился, почему ее не было накануне. Ее волнение и отказ отвечать были красноречивее любого ответа.

ВЕНЕЦИЯ

15 сентября 1819 г. Тереза Гвичьоли

[Из письма к мужу.] Я приехала в Венецию вчера вечером. Чувствую себя превосходно — двухдневное путешествие исцелило меня лучше всяких лекарств. Сегодня утром заходил Альетти и, справившись о моем здоровье, ничего не прописал, а посоветовал вновь отправиться путешествовать — для перемены воздуха. Дсла, разумеется, не позволят Вам ехать со мной, поэтому Байрон предложил сопровождать меня на озера Гарда и Комо. Сезон для поездки туда сейчас самый подходящий. Байрон поедет непременно. Венеция ему понравилась. Итак, я прошу Вашего разрешения ехать и жду его с величайшим волнением.

Байрон кланяется Вам и просит передать, что его английский друг, которому он писал о вице-консульстве и проч., ответил, что немедленно подаст прошение и сделает все, что в его силах.

ЛА МИРА

7 — 11 октября 1819 г. Т. Мур

[Из дневниковой записи от 7 октября 1819 г.] В два часа полудни был у загородного дома Байрона в Ла Мира, близ Фузины. Он только что встал и принимал ванну. Вскоре он спу-

стился ко мне. Мы не виделись пять лет. Похоже, что графиня Гвичьоли, за которой он последовал в Равенну, вернулась с ним в Венецию с ведома мужа. Застал его в прекрасном расположении духа, веселого и озорного, как встарь. Он настоял, чтобы я жил в Венеции у него дома, хотя сам должен был остаться в Ла Мире, с Гвичьоли. Он оделся, и мы отправились в Венецию. Восхитительный закат, когда мы садились у Фузины в гондолу, и великолепный вид на Венецию. Вдалеке — Альпы с красным, предзакатным снегом на склонах. Однако настроение, навеянное было этим пейзажем, быстро улетучилось под воздействием веселых и отнюдь не романтических высказываний моего друга. Приплыли в его палатцо на Большом Канале (сделав крюк, дабы я мог полюбоваться Пьяцетто), где мне был оказан радушный и заботливый прием, а несколько слуг тут же отправились на поиски laquais de place¹ и друга Б. мистера Скотта, которому Б. хочет препоручить заботы обо мне. Затем из соседнего traiteur's² принесли обед. Чрезвычайно любопытный разговор о жене Б. (до прихода Скотта). Б. написал мемуары и собирается их продолжать. Подумывает, не купить ли землю в Южной Америке. Много говорили о «Дон Жуане». Он пишет третью песнь. Герцог Веллингтон (взял слишком много денег). Вспоминал бессребреников, от Эпамимонд до Питта, который, «будучи премьером, страну бесплатно погубил».

[Из книги Т. Мура «Жизнь Байрона».] [...] Главным предметом наших бесед наедине был его брак и тот поток злословия, который ему сопутствовал. Б. настаивал, чтобы я перечислил ему все, что ставили ему в упрек, и поскольку мне впервые пришлось говорить с ним об этом, я без колебаний подверг его искренность серьезному испытанию, не только передав ему обвинения, выдвинутые против него другими, но и выделив те, которым склонен был верить сам. Он терпеливо выслушал меня и отвечал с безыскусной прямоотой. Сплетни о противоестественном пороке, которому он якобы предавался, вызвали у него презрительный смех, но в то же время он с грустью признал, что многие другие упреки ему не лишены оснований, и припомнил один или два случая из своей семейной жизни, когда в запальчивости он «дал волю горечи словам», — словам, продиктованным скорее раздражением, нежели истинным чувством. Возможно, боль и сожаление, с которыми он повторял эти слова потом, сотрут их из людской памяти.

Тогда же я отметил, что хотя Б. сам винит себя во многом, несоизмеримость содеянного им с жестокостью наказания тяжело

¹ Камердинера (*франц.*).

² Трактира (*франц.*).

отозвалась в его душе и, как обыкновенно бывает в таких случаях, ожесточила его. Он был убежден, что лица, в которых он склонен был видеть источник всех своих бед, питают к нему такую ненависть, что не успокоятся даже после его смерти и будут так же отравлять память о нем, как отравляли его жизнь. Настолько тверда была в нем эта уверенность, что в одном из редких меж нами серьезных разговоров он говорил, что если мне, как он чувствовал и надеялся, доведется пережить его, то он заклинает меня нашей дружбой оградить его имя от незаслуженных наветов и осуждая его за то, в чем он был не прав, отомстить тем, кто его оболгал.

Насколько беспочвенны и несправедливы были его предположения, стало ясно слишком скоро, после безвременной смерти, которую он столь часто со вздохом предрекал себе.

[...] Незадолго до обеда он вышел из комнаты и вскоре вернулся, неся в руках белый кожаный портфель. «Взгляните, — сказал он, высоко подняв его, — Меррей бы от этого не отказался, а вы, конечно, не дали бы ни гроша». «Что это?» — спросил я. «Моя жизнь и приключения», — ответил он. Я в удивлении вскинул руки. «Пока я жив, этого нельзя печатать, — продолжал он, — но если хотите, забирайте портфель сейчас же и распорядьтесь им по своему усмотрению». Взяв портфель, я растроганно поблагодарил его, добавив: «Отличное наследство для моего Тома. Представляю, как поразит он им читателей в конце века». — «Можете показывать это всем, кого сочтете достойным», — заключил он.

[...] Мне приходилось слышать, что характер, подобный байроновскому, то есть сочетающий такое множество противоречивых начал, совершенно не поддается пониманию. По размышлении, однако, нетрудно заметить, что само это многообразие, которое столь трудно запечатлеть, ибо оно «непрерывно меняется», сами нити, из которых соткана ткань характера, и составляют ключ к их хитросплетениям. Именно они помогают увидеть истоки его удивительной мощи и ошеломляющего безрассудства, которые более всего привлекают и отталкивают и в жизни его, и в гении. Множество сил, почти безграничных, и гордость, не менее многоликая в проявлении их, впечатлительность и импульсивность, поразительные даже для гения, безоглядное потакание им, которое диктовалось привычками и темпераментом, — вот главные источники невероятного сцепления событий, составивших его жизнь, высот, достигнутых его гением, чего бы он ни коснулся, и всех причуд, какие только могли проистекать из необузданности чувств и всеподчиняющего своеволия.

Любовь и способность к многообразию проявлялись не толь-

ко в поэзии, губительнейшая его страсть имеет то же происхождение. Как мы уже убедились, привычка давать волю любому настроению, как хорошему так и дурному, во многом определяла его цели и, ничуть не меньше, поведение. Мрачные отзвуки пережитых страстей питали его поэтическое воображение, а воображение, в свою очередь, сообщало его поведению и мыслям тот темный ореол, под которым он скрывал свою подлинную сущность. Страсть к самоуничтожению достигала в нем болезненной силы, и если он действительно был предрасположен к душевной болезни (о чем твердил в минуты отчаяния), то в ней одной можно было бы найти тому подтверждение. В начале нашего знакомства он был особенно подвержен подобным настроениям (заметьте смягчившимся позднее, когда все стали осуждать его не менее рьяно, чем он сам) и часто в послепобедной беседе (боюсь, что под влиянием винных паров) пускался в скорбные воспоминания о прошлом, сплошь состоявшие из вздохов и таинственных недомолвок. Вероятно, он полагал таким образом возбудить к себе любопытство и интерес. Однако, живо улавливая иронию, он скоро заметил, что серьезность, с которой ему внимают собеседники, стоит тому больших усилий и продиктована одной только всжливостью, поэтому он оставил романтические мистификации. Из того же, что я знаю от более впечатлительных слушателей, следует, что не было такого страшного преступления, в котором он не обвинил бы себя, единственно с целью поразить собеседника до глубины души, потрясти его воображение. Иногда мне кажется, что загадочная причина, побудившая его жену расстаться с ним (всё же леди Байрон и ее адвокаты окружили ее глубокой тайной), была следствием подобного рода выдумки, какого-нибудь туманного признания в чудовищных грехах, призванного удивить и ошеломить, но воспринятого не понимавшей его собеседницей совершенно серьезно.

Но и независимо от его стараний очернить собственное имя, даже и после того, как он на горьком опыте убедился, к чему приводит это безрассудство, его доверчивость, чрезмерная откровенность и несдержанность в проявлении скоропреходящих настроений (а иной раз и намеренная их демонстрация) продолжали выставлять его перед окружающими в самом невыгодном свете. Да иначе и не могло быть, такая участь постигла бы любого из нас, вздумай мы высказывать вслух не то чтоб все, а хотя бы самые невинные мысли из огромного числа тех, что мы предпочитаем держать при себе, ибо, по сути, многие из них нам не принадлежат и, раз мелькнув, тут же забываются.

Немудрено, что такое обилие самого разнообразного жиз-

ненного материала способствовало созданию двух портретов лорда Байрона, из которых один неполный, а другой злой, поскольку для первого отбирались одни лишь лучшие его черты, а для второго — только дурные. Разумеется, оба портрета так же отличаются друг от друга, как и от своего оригинала. [...]

Полагая, что в основе характера лорда Байрона и его творчества лежат два начала — уникальное многообразие сил и чувств и необузданность в их проявлении, — я ставил себе целью подробно исследовать его жизнь и поэзию как проявление этих природных свойств во всех формах, от прекрасных до уродливых. Говоря о людях с противоречивым складом ума, Каупер утверждал: «Они — лучшие из собеседников. Любое жизненное явление имеет две стороны: темную и светлую, и ум, равно подверженный меланхолии и веселости, более других способен видеть обе». Нетрудно доказать, что этой способности отражать все оттенки света и тени нашего изменчивого существования лорд Байрон был обязан не только силой поэтического дара, но и магией человеческого обаяния. Восприимчивость ко всему, что происходило вокруг, делало его неотразимым в общении, он настолько увлекался теми, кто в данную минуту его окружал, что какое-то время они занимали все его мысли и чувства, выявляя лучшее, что в нем было. Его порывистость, способность всецело попадать под влияние того, кто рядом, была настолько сильна, что он открывал душу даже случайным знакомым, и никто не мог поручиться, что они до конца своих дней будут хранить в тайне его пресловутые «секреты». В стремлении скорее очаровать окружающих он нередко забывал или, того хуже, приносил в жертву отсутствующих, что, увы, весьма характерно для людей такого темперамента, чья верность друзьям и возлюбленным отнюдь не всегда выдерживает испытания. Никто, впрочем, не станет отрицать, что подобное обхождение пленительно, и менее всего те, кто на себе испытал силу его обаяния. В то же время, нельзя свести все случаи, когда он опрометчиво открывал собеседникам, что о них говорили и писали третьи лица, к неодолимой общительности. Скорее, это было следствием его прямодушия и ненависти ко всякого рода притворству, чреватым, как легко догадаться, различными неприятностями, а иногда и опасностью. Он с удовольствием сводил обвиняемого и обвинителя не только в отместку за то, что оказался носителем слов, которые не принято говорить в лицо, но и из сохранившейся с детских лет страсти к озорству, вознаграждавшейся переполохом, который непременно следовал за подобными разоблачениями. Как я уже говорил ранее, это свойство было хорошо известно его друзьям, и они в его присутствии предпочи-

тали воздерживаться от двусмысленных и резких замечаний, дабы не усугубить сказанного последующим разглашением.

РАВЕННА

1820—1821 гг. Тереза Гвичьоли

[...] Темы вечерних бесед менялись в зависимости от обстоятельств и от того, с кем они велись. Музыка была их важной частью. Одной из черт лорда Байрона было постоянство вкусов. Ему нравилось то, что нравилось прежде, именно потому что нравилось прежде. От мрачных мыслей его легче всего было отвлечь музыкой. Графиня знала это и, заметив, что он не в духе, открывала фортепиано и играла ему простые мелодии, которые он очень любил. Если же она пробовала украсить тему вариациями, он просил повторить основной бесхитростный мотив. Когда появлялись граф Гамба с сыном, тон разговоров становился иным, и речь непременно заходила о политике. Воздух уже был напоен опасностью, угрозой, надеждами. Австрия готовила поход на Италию, стремясь потушить огонь независимости, который разгорался на полуострове. На устах у всех были слова *оружие, революция, война*. Иногда гости приносили хорошие вести, иногда — плохие. В отличие от мужчин из рода Гамба лорд Байрон не питал больших надежд. [...]

Трагедии Альфиери награждались в театрах бурями оваций. Концерты, торжественные обеды, где прославлялось свободолобие, сменяли друг друга. Лорд Байрон считал, что политическое рабство — вина тех, кто от него страдает. В поддержку своего мнения он указывал на Англию, Францию, Испанию, Португалию, Америку, Швейцарию, которые сами добыли себе свободу, и повторял, что упорная борьба против существующего государственного строя непременно венчается успехом. Он говорил, что, когда тирания терпит первое поражение и, подобно струсившему тигру, бежит с поля боя, ее нужно преследовать.

[Начало июля 1821 г.] «Дон Жуан» был для него работой серьезной и радостной, он писал его с наслаждением. Тем не менее лорд Байрон, неожиданно для всех, прервал работу над поэмой, и причиной тому была его чрезмерная доброта. Дело заключалось в том, что мадам Гвичьоли, прочитав две первые песни «Дон Жуана» (которые были к тому времени напечатаны), пришла в сильное волнение и заявила, что их автора возненавидят. Она еще более укрепилась в своем мнении, когда узнала, что против этой великолепной сатиры ополчились общественное лицемерие, эгоизм, национальная гордость и ревность, сделавшие своим рупором многие газеты и журналы. По неопытности она не понимала, как несостоятельны и раздуты их приговоры,

и видела лишь, что лорда Байрона из-за «Дон Жуана» подвергают ожесточенной травле, а ей хотелось, чтобы все восхищались им так же, как она, чтобы он не знал мучений, и поэтому она принялась упрашивать его оставить поэму. Сначала лорд Байрон подшучивал над страхами графини и отказывался бросить начатое. Но в то грозное время австрийцы не брезговали никакими средствами, чтобы уничтожить лорда Байрона, бывшего, по их мнению, выразителем итальянского свободомыслия. В миланской «Gazette» появилась злобная статья, критикующая две первые песни «Дон Жуана» с позиций пуританской морали и косности. В ней лорд Байрон обвинялся в вольнодумстве, святотатстве и отсутствии нравственных устоев. Эта статья так расстроила графиню, что она стала буквально умолять его не писать больше «Дон Жуана». Чтобы успокоить ее, лорд Байрон говорил, что миланское злословие — не более чем переспев старых английских небылиц, что падать в обморок от нескольких слов в сатирических стихах — притворство и лицемерие, что половина английской и вся классическая литература, беспрепятственно попадающая в руки совсем юных читателей, гораздо «безнравственнее», что поэзия безопасна, поскольку она не спорит, не убеждает и лишена вымученного оптимизма сентиментальных раздумий какого-нибудь Сен-Пре или мадемуазель Корины, что романы и комедии, которых не счесть, гораздо опаснее и натворили больше бед в женских сердцах, чем вся поэзия, вместе взятая. Он уверял ее, что три новые песни «Дон Жуана», которые уже были отданы в типографию, сильно отличаются от первых двух, написанных в Венеции, когда он, ожесточенный клеветой и несправедливостью, жаждал опалить огнем своей сатиры тех, кто подверг его незаслуженным страданиям. Новые же три песни создавались им в совсем ином, умиротворенном состоянии и часто в ее присутствии. Они были безупречны, и даже его врагам не в чем было бы его упрекнуть. Но все эти доводы не убедили графиню, опасавшуюся, что лорд Байрон, с его бесстрашием и независимостью, обидит множество людей и даже целые нации, высказав им в поэме те горькие истины, без которых сатиры не бывает. Кроме того, она знала, что ему доставляет огромное наслаждение смаковать словесные «перлы» глупых собеседников, которые под его пером (и в его устах) превращались в блестящие эпиграммы. Такие эпиграммы легко прощает сторонний слушатель, который видит улыбку, сопровождающую их, и знает, что они — плод ума, а не сердца. Жертвы их не прощают никогда. Мадам Гвичьони так отчаянно молила его не отказывать ей, что лорд Байрон, вняв голосу разума и сердца, сдался. «Что ж, — сказал он, — обещаю, что не примусь за «Дон Жуана» до тех пор, пока вновь не получу твоего

разрешения». На следующий день [6 июля] лорд Байрон написал Меррею и, чтобы убедить его в твердости своих намерений, приложил к письму записку графини, полученную им в то утро, которая начиналась словами: «Помни о своем обещании...»

Август 1821 г. Перси Биши Шелли

[Из письма к Мэри Шелли от 7 августа 1821 г.] Присхал вчера в десять часов вечера и проговорил с Байроном до пяти утра.

Байрон искренне обрадовался мне. Он в отличном настроении, совершенно здоров и ведет образ жизни, полностью противоположный венецианскому. У него постоянная связь с графиней Гвичьоли, которая сейчас во Флоренции. Судя по ее письмам, она добрая женщина. Графиня пробудет там до тех пор пока они не решат, эмигрировать ли им в Швейцарию или остаться в Италии. Оба пока колеблются. Она была вынуждена бежать с папской территории, когда ей стало достоверно известно, что ей грозит пожизненное заточение в монастыре.

В Венеции Байрон чуть было не погубил себя: он был так плох, что не усваивал никакой пищи, и страдал жесточайшей лихорадкой. Графиня положила конец тем необузданным порывам, которым он предавался скорее по легкомыслию и гордости, чем по естественным склонностям. Бедняга, сейчас он вполне здоров и с головой погрузился в политику и литературу. О первой он поведал мне много интересного, но это не для письма.

Прошлой ночью мы много говорили о поэзии, и мнения наши расходились даже более обычного. Ему нравится критика, снисходительная к бездарности, и я вижу губительные отголоски этого в «Доже венецианском» [«Марино Фальсерио»]. Я прочел только несколько частей, вернее, он мне их прочитал и рассказал общий замысел.

По его словам, Аллегра превратилась в красавицу, но, к сожалению, вспыльчивую и деспотичную. Он не хочет оставлять ее в Италии, хотя, по-моему, положение настолько скандальное, что его нигде нельзя будет изменить. Он говорит, что графиня Гвичьоли очень добра к ней.

Но помимо этого Байрон рассказал мне нечто такое, что едва меня не убило. Представь, Элиза сочинила ужасную историю, рассказала ее Хоппнерам, и они не сомневаются в ее правдивости! Раз они верят таким слухам и из такого источника, значит они готовы поверить любым гадостям. Мистер Хоппнер изложил все в письме к Байрону, дабы тому было понятно, почему они порывают с нами всякие отношения, и советовал ему поступить так же. Элиза сообщила, что Клэр была моей любовницей, что, как ты понимаешь, никого не могло удивить, поскольку об этом говорили все, кому не лень. Но она утверждает, что Клэр была от меня беременна и я дал ей какое-то страшное лекарство,

дабы вызвать выкидыш. Поскольку этого не произошло, ее отнесли в постель, где я вырвал младенца из ее чрева и немедленно отправил его в приют (цитирую мистера Хоппнера). Произошло это, якобы, той зимой, когда мы уехали из Эсте. Знала бы ты, как безобразно обращались с тобой мы с Клэр! Я, например, тебя бил, а Клэр непрерывно оскорбляла (по моему же наущению) ...

VI. ПИЗАНСКИЕ БЕСЕДЫ

1822 г. Перси Биши Шелли

[Из письма Т. А. Пикоку, 11 января 1822 г.]. Лорд Байрон устроился тут, и мы не расстанемся; это немалое облегчение после тоскливого одиночества первых лет нашего изгнания, когда ни в ком не встречалось нам ни способности понять, ни дара воображения.

1822 г. Э. Дж. Трелони

Назавтра пополудни я в обществе Шелли отправился через Понте Вецьо на Лунг-Арно, в palazzo Лафранки, который лорд Байрон избрал своей резиденцией. Нас встретили в просторном мраморном зале и по широченной лестнице через столь же просторный зал наверху провели в сравнительно скромные покои, где по стенам стояли книжные шкафы и находился стол для бильярда. Мрачного вида бульдог [Моретто] возвестил о нашем приходе рычанием, и тут же из боковой двери показался прославленный пилигрим, представший перед нами собственной персоной. Он весьма заметно хромот, но при этом движения его легки и порывисты; несмотря на бледность, выглядит он на удивление свежим, полным сил и живым необычайно. Свойственное ему чувство гордости и вдобавок то обстоятельство, что столько лет он провел в совершенном одиночестве, — вот, я думаю, причина стеснительности, которую он испытывал, встречаясь с незнакомыми людьми; он пытался ее скрыть, притворясь беспечным. После обмена обычными в таких случаях любезностями ему удалось овладеть собой, и, обернувшись к Шелли, он сказал: «Поскольку вы такой любитель поэзии, не угодно ли взглянуть на стишки, которые я накропал нынешней ночью, а верней, уже утром, — не знаю, правда, разберете ли вы мои каракули. Решительно не представляю себе, что у меня получилось. Надоели они мне смертельно. Да, вот письмо от Тома Мура — прочтите, он рассыпается в комплиментах вам, хотя не без лукавства».

[...] Шелли все уговаривал Байрона закончить какую-то начатую им вещь. Байрон ответил с улыбкой: «Мой патрон и ка-

значей Джон Меррей утверждает, что пьесы мои никто не поставит. Мне это безразлично, я их писал не для сцены, о чем ему и сообщаю, а он в ответ пишет, что и стихи тоже не разойдутся: вот это уже худо, по части стихов у меня ведь просто «зуд в пальцах». Он все требует, чтобы я вернулся «к старому стилю «Корсара», который так нравится дамам».

Шелли возмущен: «Это логика купца, художнику она не пристала, что ему за дело до коммерции, озабоченной лишь эфимерными потребностями нынешнего дня. Неужто вы, доверившись ему, откажетесь укрощать чудовище, «просунув в ноздри медное кольцо», чтобы оно не замышляло подлостей?»

Горячность Шелли вызвала улыбку Байрона, отвечавшего: «Джон Меррей прав, пусть он и несправедлив; все, что я сочинил, действительно написано для дам — но не отчаивайтесь, вот будет мне сорок лет, и тогда их влияние на меня отомрет естественной смертью, а я еще успею продемонстрировать мужчинам, на что гожусь».

Шелли ответил: «Сделайте это безотлагательно, не пишите ничего, кроме того, к чему побуждает вас сознание правды; вам определено наставлять мудрых, а не прислушиваться к мнениям глупцов. Время опровергнет суд, который вершит вульгарность.

Теперешняя критика свидетельствует лишь о том, какое невежество приходится одолевать таланту». [...]

1822 г. Томас Медвин

Мы с Шелли обычно приходили к Байрону в одно и то же время, между двумя и тремя часами; не припомнится и дня, чтобы мы не встретились в палатке Лафранки; друг с другом поэты разговаривали на выдуманном ими макароническом наречии, которое звучало очень забавно. [...]

Байрон-человек отличался от Байрона-поэта, как плоть от души. В нем жили две природы — земная и небесная.

Но и ограничиваясь лишь земной его природой — Байрон, каким он был в Англии и в Женеве, и Байрон итальянский или, по крайней мере, пизанский представлял собой два совершенно различных лица. В Пизе он даже говорил так, словно вслух сочинял письмо: сплошь ирония да каламбуры. Шелли не раз сравнивал его с Вольтером, находя в том величайший ему комплимент, ибо если и был писатель, которым Байрон безмерно восхищался, так это автор «Кандида». Вслед Вольтеру и Байрон считал беседу отдохновением, а не упражнением ума. Обоим им был присущ аналитический, а бы сказал, скептический склад ума; оба отличались даром незаметно переводить разговор с серьезных материй на веселые; оба умели неподражасмо толковать о возвышенном, патетичном, но и о комическом. От фернейского

философа Байрон, правда, отличался в одном отношении --- он никогда не глумился над религией.

Шелли часто жаловался, что просто невозможно заставить Байрона твердо придерживаться какой-то одной темы. Он был вроде блуждающего огня -- легко перепархивал с предмета на предмет, все их на миг озаряя обманчиво ярким светом, но, по сути, ни во что не вникая с должной глубиной. Что-то чудесное было в его манере держаться, в голосе, улыбке -- какое-то особенное очарование; но уходя, я всякий раз поражался тому, как мало вынес из общения с ним мыслей, достойных внимания; к тому же Байрон обожал мистификации, и никогда нельзя было пребывать в уверенности, что он рассуждает серьезно. В точности как у философов-греков -- подразумевается больше, чем говорится. Его не смущали материи грубые, неделикатные, те, от которых Шелли приходил в ужас, нередко испытывая едва скрытое отвращение. Впрочем, хотя подобные мгновенья были редки, словно бы над нами вдруг пролетал ангел, случалось, что он -- как, говорят, в свое время Рафаэль -- с плеснительным изяществом переходил от откровенного шутовства к вещам серьезным. Вовлечь его в спор оказывалось делом крайне затруднительным.

Свою неспособность на равных дискутировать [с Шелли] Байрон ощущал очень ясно, оттого стараясь избегать состязания в сильных и убедительных аргументах, которым он обычно предпочитал шутку или мимолетную насмешку; ведь Шелли представлял собою именно то, чем никогда не смог бы стать Байрон, -- строгий, логичный и утонченный интеллект.

...Уже много месяцев спустя после нашего знакомства он, толкуя о своей любви к Италии, а также ненависти к деспотизму курии и австрийцев, указал на какие-то валявшиеся по полу тюки, прибавив: «Вот вам взрывчатая смесь. Тут все секреты тайных обществ Романьи. А какие имена...» -- И оборвал себя, заговорив о чем-то другом.

Греков он не ставит ни во что, полагая, что они умсют только обезьянничать, в этом отношении он схож с Анастасием. Он находит греков «так низко павшими, что их уже нет смысла побуждать к возрождению. Все равно, что пытаться вдохнуть жизнь в труп». Ничего искреннего в его словах нет, ведь как раз в эту пору он с обычной своей страстью к мистификациям принял решение посвятить себя их делу. Я уже говорил, что в Байроне соединились две природы -- как человек и как поэт он представляет собою разные сущности. Эта несочетаемость чувств, испытываемых поэтом, и прозаических побуждений очень в нем заметна. В греческом деле верх взяла поэт. Шелли не раз говаривал, что «в этих и подобных начинаниях не просто распознать

истинные его намерения, пробившись сквозь туман, которым он так любит себя окутывать». [...]

1822 г. *Вашингтон Ирвинг*

[Из дневника, 1 февраля 1824 г.] Долгая беседа [с Медвином] о лорде Байроне. Если настроен писать, усаживается за стол в любое время суток, а если он в это время не один, пишет, не прерывая разговора; к уединению, к замкнутости не имеет склонностей. Ни разу не отозвался плохо о леди Б. По случаю кончины ее отца послал ей исключительно теплое и трогательное письмо, выразил желание примириться, но в ответ не получил ничего, кроме нескольких холодных слов, переданных через его сестру. Обедая в одиночестве, почти не пьет вина, а если собралось общество — перестает себя сдерживать. Не выносит незнакомцев, жаждущих его увидеть, говорит, что от него ждут чего-нибудь исключительного, а он самый обычный человек, по крайней мере, в том, что касается разговоров.

1822 г. *Перси Биши Шелли*

[Из письма Ли Ханту 2 марта 1822 г.] ...Некоторые обстоятельства, верней, некоторые свойства характера лорда Б. делают для меня просто непереносимым близкое, всепоглощающее общение, которое у нас с ним установилось. Разумеется, мои чувства никоим образом не помешают мне позаботиться о Ваших интересах, и я постараюсь сохранить то малое влияние, которое еще способен оказывать на этого Протея, соединившего в себе столь необычные крайности. [...]

24 марта 1822 г. *Мэри Шелли*

[Из письма Марии Гисборн, 6 апреля 1822 г.] Лорд Байрон, Шелли, Трелоуни, капитан Хей, граф Гамба и Таафе возвращались с обычной своей вечерней прогулки верхом, когда поблизости от Порта дель Пьяца их обогнал скакавший галопом солдат, который, врзавшись в кавалькаду, столкнулся с Таафе. Сей славный джентльмен воскликнул: «Простим ли наглеца?» — «Ни в коем случае, — ответил лорд Байрон, — мы заставим его объясниться».

Пришпорив лошадей, сравнялись с незнакомцем и узнали, что это офицер, после чего, осведомившись о его имени и адресе, вручили ему свои визитные карточки. Офицер ограничился оскорбительной бранью. Под конец он заявил: «При желании мне ничего не стоило бы всех вас нанизать на шпагу, но довольно и того, что я подвергну вас аресту», и кликнул охрану ворот: «Arrestategli»¹. Это насмешило лорда Байрона, и со словами «Arrestateci pure»² он, взнуздав коня, промчался мимо стражни-

¹ Арестовать их! (*итал.*)

² Пусть арестуют (*итал.*).

ков, а за ним все остальные. Приехав домой, лорд Байрон принял от слуги трость с вкладной шпагой и возвратился к месту происшествия, но по пути, на Лунг-Арно, встретил того офицера; тот протянул руку: «Siete contento?»¹ — «Никоим образом, — отвечал лорд Байрон. — Я должен узнать ваше имя, поскольку требую сатисфакции». Пока они таким образом беседовали, подоспевший слуга Байрона взял под уздцы лошадь того сержанта. Лорд Байрон велел ему отпустить поводок, всадник тронулся с места галопом, но, когда он скакал мимо палатцо Лафранки, другой слуга, решив, что этот незнакомец убил его хозяина и пытается скрыться, вздумал покарать его и, схватив вилы, нанес ему рану.

Март — апрель 1822 г. Эдвард Э. Уильямс

[Из дневника, 27 марта 1822 г.] В девять вечера заходили Трелоуни и Ш[ल्ली]; все вместе мы направились прямо к лорду Б. и застали его сочиняющим письмо британскому посланнику. Слуги его Тита и Винченцо были подвергнуты допросу, Винченцо отпустили, но этот дурак решил сопровождать Титу в суд, где тот намеревался привести доводы в свое оправдание; он ни в чем не виноват, но у него достало ума явиться в суд вооруженным кинжалом и пистолетами. Их, нечего и говорить, тут же арестовали и держат в камерах порознь друг от друга. Расстался с лордом Б. в одиннадцать ночи; пока я [у него] находился, присылали из полиции за его секретарем, допрашивали, однако ничего толком не установили.

[1 апреля]. Заходил к лорду Б. Драгун быстро поправляется, но грозит отмищением, как только будет на ногах.

Перси Биши Шелли

[Из письма Ли Ханту от 10 апреля 1822 г.] Лорд Байрон ожидает Вас с величайшим нетерпением и все время просит меня поторопить Ваш отъезд из Англии. Относительно лорда Байрона я высказал Вам то, что думаю, и никому больше я бы не доверил, даже отдаленно, чувства, им во мне вызываемые. Видимо, я становлюсь мизантропичен и подозрителен. Если от подобных болезней излечивает дружба, мне остается заключить, что в моем случае средство не действует уже давно, а какие глубокие следы оставила сама болезнь, Вы частью знаете, частью догадываетесь. Одно несомненно — что лорд Байрон заставил меня с горечью ощутить несоответствие, видимо, predetermined самою природой и создаваемое не тем, что у нас по-разному сложилась жизнь, но несоответствием таланта, не от нас самих, но лишь от Природы зависящего, — или несоответствием нашего положе-

¹ Вы удовлетворены? (*итал.*).

ния, опять-таки создаваемого не нами самими, но Судьбой. [...]

[Из письма Хорейсу Смигу 11 апреля 1822 г.] Лорд Байрон показал мне одно-два письма Мура, ему адресованных; Мур в них отзывается обо мне с отменной любезностью. Среди прочего, однако же, Мур, разумно наставляя лорда Б. насчет истинной цены общественного мнения и т. д., кажется, весьма твердо рекомендует ему не поддаваться влиянию, исходящему от *меня*, в том, что касается религии, и приписывает общению со мной тот пафос, какой отличает «Каина». Уговаривая его не поддаваться моему влиянию, Мур вкладывает в эти слова весь пыл искренней дружбы, и становится ясно, что он преисполнен желания сослужить добрую службу лорду Б., при этом не унижая меня. Вы, кажется, знакомы с Муром. Прошу Вас, заверьте его в том, что я не оказываю на лорда Байрона ни малейшего влияния, и тем паче в делах, о коих речь; ежели бы я и вправду мог повлиять, я бы без колебаний воспользовался этим для того, чтобы освободить могучий его разум от обольщений христианства, к которым он периодически склоняется при всей своей проницательности, так что в часы невзгод и болезней эти обольщения его подстерегают, словно затаясь в засаде. «Каин» был *им самим задуман* много лет назад и начат еще до нашей прошлогодней встречи в Равенне.

МОНТЕНЕРО, НЕПОДАЛЕКУ ОТ ЛИВОРНО

21—22 мая 1822 г. Джордж Бэнкрофт

[Из воспоминаний] [...] Байрон спросил меня, встречался ли я с Гёте. Мне выпала честь многократно видеть великого эпикурейца, поэта, философа, критика, не схожего с Байроном положительно ни в чем, умеющего безропотно мириться со всем, кроме одного — он не выносит, когда прерывают его рабочие часы; даже в любовных увлечениях он сохраняет ясный ум, а сердце его чисто, как кристалл, и столь же холодно; он друг принца и его министр, однако это человек скорее созерцательного характера, нежели деятельного: он словно бы в стороне и обитает в неких горных краях, вознесясь над суетою тескущего времени; его не назвать наставником душ человеческих — вернее сказать, что для современников он истинное божество; в незамутненном зеркале его разума отразился весь наш век, и скептицизм, этим вском пробужденный, излился в его стихотворениях; он одарен утонченностью чувств, бросающей вызов законам индуктивного познания, и вместе с тем пристально наблюдает природу, различая связь явлений, лежащих очень далеко друг от друга, и угадывая ответ на священные ее загадки; в хоре цветов удастся ему

расслышать слова, которые составляют закон, побуждающий их к изменениям форм; он не напоминает мученика, дух мученичества чужд ему бесконечно; страдания, кои выпало пережить на его вкусу народам, никогда его глубоко не трогали; с одинаковым мудрым спокойствием наблюдал он за бурными переворотами в жизни близких ему людей и теми, которые сотрясали государства Америки и Европы. Дважды я был у него в Веймаре, а как-то солнечным осенним утром Гёте принимал меня в саду за домом, занимаемым им в Иене. Он вышел ко мне в халате, неподпоясанный, и его белье не сверкало небесной чистотой; по дорожке сада он шел твердой поступью, с тем величественным выражением, что, если верить поэтам, отличало олимпийца Юпитера. Час или чуть более я сопровождал его в прогулке; он говорил со мной о многом, но главным образом о Байроне, заметив, что с жадным интересом читает все Байроном сочиненное; «Манфред» привел его в восторг — тем больший, что, по его мнению, это подражание собственному его «Фаусту»; что касается «Дон Жуана», из которого тогда были напечатаны лишь первые две песни, он сверкает жизненностью и талантом, а характер изложения превосходно соответствует предмету; заговорив о стиле этого произведения, который он, видимо, мог оценить, достаточно владея английским языком, мой собеседник заметил, что находит прообраз многослоговой рифмы в сатирах и шуточных стихотворениях Свифта.

Выслушав мой рассказ, Байрон сказал, что такая популярность его сочинения в Германии ему в новость и что она послужит ему утешением, когда, как водится, на него вновь обрушатся с нападками на родине; одно из последних своих произведений он посвятил Гёте и очень жалеет, что издатель, даже не уведомив его об этом, посвящение не поместил; ну что ж, он с особой тщательностью проследит за тем, чтобы посвящение Гёте осталось в поэме, которую он теперь намеревается печатать. Относительно «Манфреда» для него большая честь уже то, что он упоминается рядом с «Фаустом», но сам он не читал «Фауста», когда принялся за это произведение, даже не знал об этой поэме, и лишь незадолго до того, как план «Манфреда» у него сложился, монах Льюис перевел ему несколько отрывков из Гёте, и это помогло ему яснее выразить свою идею.

Тут он добавил, что «Фауста» переводит Шелли, и тотчас стал защищать Шелли, едва произнес его имя.

«Вы, вероятно, слышали, что он человек без принципов, атеист и прочее — какой вздор! — сказал Байрон. — На самом деле ничего подобного». И объяснил, что взгляды Шелли, почтаемые атеизмом, на самом деле суть лишь утонченный метафизический идеализм.

Затем он принялся защищать себя самого. Он откровенно признался, что многие его друзья и в Италии, и в Англии побуждают его отказаться от продолжения «Дон Жуана». Просил прощения за некоторую фривольность, оправдываясь примером Филдинга, а также тем, что у Смоллета попадают страницы куда более озорные, чем самые игривые эпизоды его поэмы. Стал, между прочим, размышлять о том, что бы сказали искатели пороков, прочитав у Гёте вступление к «Фаусту».

Коснулся он затем поношений, отовсюду на него сыплющихся в Англии. С видом полного безразличия заметил, что Джеффри, кажется, вскоре опять учинит ему свирепый разнос в «Эдинбургском обозрении» и что его издатель получает письма с протестами; «мне они не пишут, видимо, уверившись, что я неисправим». Перечисляя врагов, Байрон помянул и короля (Георга IV), твердо вознамерившегося преследовать его со всей беспощадностью.

«Я никогда не был при дворе, — сказал он, — но однажды на балу меня представили королю (в то время принцу-регенту) по собственной его просьбе, ибо я этой чести не добивался. Меня вовсе не прельщала его беседа, но вот теперь король сетует, что после того, как он столь любезно со мною обошелся, я напечатал восемь строк, направленных против него. А эти строки написаны еще до того, как я был ему представлен». Строки, о которых идет речь, — это стихи «плачущей даме», адресованные принцессе Шарлотте.

[...] Об Италии Байрон говорит со страстью и живым интересом. Его гнетут успехи австрийцев, подавивших неаполитанскую революцию, начавшуюся во время его пребывания в Равенне. «Прояви неаполитанцы больше храбрости, — сказал он, — и мы были бы готовы подняться против австрийцев у них в тылу». Лишь жалкое зрелище разгрома восставших, по его мнению, воспрепятствовало тому, чтобы революция охватила всю Романию; самому же ему пришлось покинуть Равенну, поскольку все его друзья один за другим отправлялись в изгнание, а паписты выпустили некую прокламацию, содержащую угрозы в его адрес, хотя он и не представляет себе, по какой именно причине. Тем не менее касательно будущего Италии Байрон полон надежд.

«Юноши этой страны, — сказал он, — на верном пути, их воодушевляет идея свободы, — пусть они ее обретут, а уж потом примутся штудировать законы политики и науку управлять».

[...]

Июль — июль 1822 г. Эдвард Уэст

[...] Обилие безотлагательных дел не давало мне возможности как следует понаблюдать распорядок, принятый для себя

лордом Байроном. Могу только сказать, что в бухте Ливорно была у него яхта, названная им «Боливар» и постоянно доставлявшая ему много хлопот. Полицию раздражало столь недвусмысленное изъяснение республиканских взглядов, и оттого яхте не разрешалось покидать бухту, пока она не пройдет карантина, хотя рыбацьи фелюги беспрепятственно сновали по морю. Байрон же утверждал, что не отступится от дразнившего полицию имени Боливар, потому что оно звучит не менее достойно, чем Вашингтон, и кроме того, человек, которому оно принадлежит, исполнен ненависти к Священному союзу. [...]

Я уже заканчивал оба бюста, когда в студию, где находилась мадам Гвичьоли, сопровождаемая лордом Байроном и графом Гамба, вбсжал бледный от ужаса слуга, который кричал, что N (имени я не помню) гонится за ним с намерением его убить. Сочли, что дело идет всего лишь о пустячной ссоре между лакеями, и граф Гамба отправился взглянуть своими глазами, что случилось. Вскоре послышался женский вскрик; поспешив в прихожую, мы увидели графа Гамба, державшего в каждой руке по пистолету и перепачканного кровью. Мадам Гвичьоли пришла в сильнейшее волнение, умоляя меня не оставлять их, иначе все они погибнут. Страх ее легко понять, ибо они много раз получали анонимные письма, полные угроз расправиться с ними, и *похоже* было, что теперь враги решились от угроз перейти к делу.

Нам с немалым трудом удалось удержать лорда Байрона, который, также вооружившись пистолетом, приготовился к самым решительным действиям. «Вы же видите, я совершенно спокоен, --- повторял он, --- я всего лишь намерен защититься». Было наконец решено, что мы приведем в готовность все оружие, какого в доме было с избытком, и, забаррикадившись, подождем возможной подмоги из города. Однако ничего серьезного не произошло вплоть до следующего дня, когда явился солдат с приказом семейству Гамба покинуть пределы Тосканы. [...]

11 июля 1822 г. Э. Дж. Трелоуни

На трстий день [после исчезновения Шелли] с утра я отправился верхом в Пизу. Своими опасениями я поделился с Хантом, и мы вместе поднялись к Байрону. Я честно сказал ему обо всем --- на лице его явилось выражение ужаса и голос его светлости дрожал, когда он принял меня спрашивать.

Июль 1822 г. Мэри Шелли

[Письмо Марии Гибсон от 15 августа 1822 г.] По прибытии в Пизу я подумала о том, что встречу с Хантом впервые за последние четыре года --- и при каких обстоятельствах! и о чем придется мне с ним говорить! Мысль эта так меня поразила, что лишь с величайшим трудом смогла я унять волнение, грозившее

обмороком; страдала я ужасно; постучали, и чей-то голос отозвался: «Chi è?»¹ То была горничная мадам Гвичьоли. Лорд Б. находился в Пизе. Хант уже отправился спать, так что вместо него мне предстояло говорить с его светлостью. Это было для меня большим облегчением; с грехом пополам я взобралась наверх, и ко мне вышла улыбающаяся мадам Гвичьоли, я же только и могла, что еле выговорить: «Где он... Sapete alcuna cosa² о Шелли?» Они ничего не знали, из Пизы он уехал в воскресенье [7 июля], а в понедельник отплыл на яхте; к полудню в понедельник погода испортилась — вот все, что им известно. Позднее и лорд Б. и мадам говорили мне, что в тот страшный вечер я выглядела совершенным призраком, от меня словно исходил какой-то свет, а лицо было смертельно бледным и казалось высе-ченным из мрамора.

[Капитана] Робертса мы нашли в «Глобусе». Нам сказали, что почти все утро Шелли провел в Пизе, устраивая дела Хантов и с упорством добиваясь от лорда Б. решения не терпящих отлагательства дел по журналу. Уговаривать Байрона было нелегко, но в конце концов Шелли добился согласия и в том, и в другом, покинув его светлость со спокойным сердцем.

Ли Хант

[Из книги «Лорд Байрон и некоторые его современники», 1828 г.] [Байрон и Шелли] расходились и во многих других отношениях; этого следовало ожидать. Лорд Байрон находил философию Шелли не в меру вдохновенной и романтической. Шелли считал, что взгляды его светлости чересчур скованы понятиями материальными и внушающими безнадежность. Достойный лорд часто выражал самое высокое мнение относительно прекрасных качеств своего друга и полной его свободы от своскорыстия. В той стычке, которая произошла на улице в Пизе с погорячившимся драгуном, Шелли выказал столь исключительное мужество и заботу обо всех, кроме самого себя, что лорд Байрон поразился его верности собственным принципам, требовавшим в делах, небезопасных для жизни, думать прежде всего не о себе, но о других.

Не кто иной, как лорд Байрон, в ту пору живший в Италии с ее изобилием вина и солнца, спрашивал меня, что означает [у Кита] фиал, «где теплый юг благоухает». Споткнулся он не на слове «фиал», ведь Кембридж не мог его не приучить к подобной лексике. Просто та поэзия, где он блистал звездой первой величины, не ведаст столь изысканных метафор. К тому же он

¹ Кто там? (*итал.*).

² Известно ли вам что-нибудь? (*итал.*).

тогда у всех искал какие-нибудь изъяны и не признавал достоинств, если они оказывались ему самому чужеродны. Когда я сообщил ему восторженный отзыв Китса о его «Дон Жуане», он был удивлен и польщен, оттого впоследствии и упомянул имя Китса в одной из песен. Впрочем, и тут он не удержался от соблазна саркастически прокомментировать одну из причин ранней его кончины. Ну как же было ему отказать от такой богатой рифмы: «огонь души тревожной» — «статьи ничтожной». Я прямо сказал ему, что винить критиков в смерти Китса несправедливо, хотя можно допустить, что они эту смерть приблизили и, во всяком случае, доставили много горьких минут поэту; он обещал изменить строфу, да так этого и не сделал — еще бы, всдь в ней и отменная рифма, и злая ирония! Итальянцы лишь пожмут плечами, и вот вам все извинения, равно как и сожаления, каков бы ни был вызвавший их повод, — привычка, какой, надюсь, мы от них не вздумаем перенять; но в данном случае мне не остается ничего иного, как воспользоваться итальянским обычаем.

17—20 сентября 1822 г. Джон Кэм Хобхаус

[Дневник, 16 мая 1824 г.] Не знаю никого, кто мог бы похвастаться на столь преданных друзей. Мне ни разу в жизни не встречался человек, обладавший такой способностью силой собственной личности притягивать к себе всех, кто оказывался рядом. Эту магическую его силу испытывал всякий, кто хотя бы однажды с ним встречался. Было в самой его манере держаться нечто властительное, хотя я бы не сказал, что она внушала благоговение. Не помню, чтобы он выказал неподобающую ситуации серьезность, как и бессель; всегда казалось, что он словно создан для того общества, в котором ему довелось очутиться. В том, как он говорил, даже в том, как обращался к собеседнику, была изысканность, соединившаяся с твердостью, — качества, редко сочетающиеся в одном человеке. Возникало впечатление, что он всдет себя не в меру свободно, легкомысленно, несдержанно, кто бы ни находился рядом с ним, однако при любых обстоятельствах он умел сохранить достаточную отстраненность, так что даже самые близкие к нему люди испытывали в его присутствии некую почтительность и, живя бок о бок с ним, лишь в исключительных случаях становились, если такое вообще бывало, свидетелями слабости его характера или такого поведения, которое могло бы как-то его уронить в их глазах.

Он был натурой тонко чувствующей, но никогда не позволял, чтобы эта чувствительность поставила его в нелесное положение. Не было человека, который всем своим видом, манерой, создаваемым им вокруг себя ореолом умел бы до такой степени внушить другим, что он принадлежит к элите и по рождению,

и по воспитанию. Киннэрд верно назвал его «самой галантностью».

Э. Дж. Трелони

Байрону вечно не терпелось предпринять что-нибудь новое и необычное; он доводил себя до изнеможения, строя планы и проекты, которых было множество, но, когда предстояло дать им практический ход, свойственная ему физическая инертность вкупе с его хромотою удерживали от всяких действий, и даже среди поэтов не припомнить другого, кто так много свершал в своем воображении и так ничтожно мало в реальной жизни. Когда требовалось объяснить, для чего он копит деньги, один из его резонов был тот, что со временем он намерен приобрести землю в Чили или в Перу, причем не без лукавства прибавлял: «Там, само собой, должны быть золотые или серебряные рудники, чтобы дело окупилось». Потом те же разговоры шли о Мексике с ее медью; а случалось, охваченный негодованием против англичан, он грозился переехать в Соединенные Штаты и принять американское подданство; как-то он даже попросил меня вступить по этому поводу в переговоры с американским консулом в Ливорно, а коммодор Джонс, командовавший стоявшей там на рейде американской эскадрой, предложил ему свои услуги в качестве перевозчика. Байрон отправился на флагманский корабль и был удовлетворен оказанным ему приемом — дело вроде бы пошло полным ходом, но ни продолжения, ни завершения не последовало. Душа все время влекла его на Восток, даже если сам он не отдавал себе в том отчета; он завидовал той свободе от суждений общества, какую выказала леди Эстер Стенхоуп, поселившись в Сирии, и часто поминал ее имя в беседах. Говорил, что и он бы туда перебрался, если бы она его не опередила.

Вскоре мыслью его овладели греческие острова, давняя его любовь, и революция, которая охватила Грецию. До того, как она началась, ему и в голову не приходило посвятить себя служению Марсу, хотя Шелли при всем своем отвращении к войне подумывал о такой возможности, да и мне она представлялась замечательной. Он попросил меня подробно разузнать у моих друзей в Ливорно о положении греческих дел; я, впрочем, не придал его словам особого значения, поскольку ему было свойственно собирать такого рода сведения без какого-либо серьезного намерения.

VII. ГЕНУЭЗСКИЕ БЕСЕДЫ

АЛЬБАРО, НЕПОДАЛЕКУ ОТ ГЕНУИ

19 октября 1822 г. Мэри Шелли

Жизнь моя все так же влачится сонной рекой среди голых бесплодных берегов, однако глубокое течение смущает покой вод и предметы, отразившиеся на водной глади, искажаются, подобно тому как перестают быть простыми отражениями события, осмысленные человеческим разумом, который сам становится их изобразителем и творцом. Ни минуты не прекращающая своего действия, сила эта постоянно изменяет будничныи облик жизни, тескущей до предела монотонно, и когда нечто понастоящему значительное вносит в сию монотонность некое разнообразие, кажется, что жизнь одушевлена дыханием гроз и ураганов. Вот и нынче вечером несколько тактов известной мне арии прозвучали как звуки ветра, поднимающего из тайников моей души глубоко в ней затаившиеся чувства. Я бы все на свете отдала за то, чтобы, закрыв глаза, просто слушать и слушать эти звуки много лет. Душевное мое состояние явилось причиной того, что чувства эти быстро исчезли, сам же разговор [с Байроном], пусть он касался самых обыденных вещей, возбудил во мне двойственное переживание и, затронув какую-то звучащую во мне ноту, тоже сделался музыкой, хотя мой собеседник почти не догадывался об этом. Кажется, голос Альбе — единственный, который обладает такой способностью вызывать во мне меланхолию. Я привыкла почти ни к чему не прислушиваться и сама почти не говорить, когда раздается этот голос; отвечал ему другой, не мне принадлежащий, — тот, чьи звуки угасли. Альбе умолкает — и я жду, что прозвучит тот, *другой голос*, но звучат совсем иные струны, и они пробуждают во мне ассоциации, странно соединяющиеся одна с другой. Со времени нашего пребывания в Швейцарии я очень редко виделась с Альбе, тогда как там мы встречались каждый день, и голос его — такой особенный — в памяти моей запечатлелся накрепко, соединившись со многими иными звуками, иными впечатлениями, так что теперь все это уже нераздельно. Робость и неуверенность всегда препятствовали мне самой участвовать в вечерних беседах на вилле Диодати, и оттого беседы эти запомнились так, словно их с глазу на глаз вели только двое — Альбе и Шелли; теперь же, когда я слышу слова Альбе, но Шелли безмолвствует, чувство такое, словно бы за раскатом грома не начинается дождь, или ослепительно сияет, никого не согревая и не рассеивая тьмы, солнце — все вокруг знакомо, привычно, но предметы вдруг лишились самых выразительных своих свойств; и я вслушиваюсь

с невыразимой тоской, к которой, однако же, примешивается и что-то другое.

Пишу об этом с целью объяснить нечто, в противном случае оставшееся бы загадкой, — отчего Альбе владеет даром пробуждать во мне столь глубокие и разноречивые чувства уже одним своим присутствием и буквально несколькими словами, которые он вымолвит. Чувства эти никак не объясняются ни моими мнениями об этом человеке, ни предметом нашего с ним разговора. С кем угодно другим я могу беседовать, ни на миг не возвращаясь мыслью к Шелли (пока он был жив, так происходило все время) или, по меньшей мере, не испытывая при этом ощущения его самой живой близости, обычного, когда я одна; но стоит появиться Альбе, и тут же Шелли завладевает и сердцем моим, и разумом, возникая передо мной с отчетливостью, какая недоступна в реальной жизни, словно заставляя задуматься, что же мы называем истинной реальностью, — ведь он стоит передо мною совершенно живой, он здесь, рядом, во всей полноте своего существования; и это ощущение не проходит до тех пор, пока не нахлынут слезы, ставшие моим спасеньем, и не начнется тот приступ болезненного возбуждения, какие со мною случаются на берегу моря, чей шум давит на меня и вызывает во мне боль.

Впервые за последний месяц я провела в обществе Альбе два часа, и пишу все это сразу по возвращении от него — до того мне важно выразить словами силу переживаний, мною испытываемых.

Э. Дж. Трелопти

[...] Смерть Шелли, неудачная затея с изданием «Либерала» угнетающе поддействовали на Байрона; настроение его отнюдь не улучшилось оттого, что друзья, как заведенные, повторяли одно и то же: «я ведь вас предупреждал», а враги злорадствовали, стараясь накаркать новые беды. Находясь в таком состоянии, он упорно размышлял, как из него выпутаться. Свое намерение скопить изрядную сумму наличностью объяснял он тем, что она нужна на случай крайней необходимости, поскольку, как он заметил, «дсныги единственная твердая и неизменная опора, на которую следует полагаться умному человеку. Мне теперь по силам собрать девять — десять тысяч, а этого достаточно, чтобы приобрести остров в греческом архипелаге или участок земли с золотом где-нибудь в Чили, в Перу. Образ жизни леди Эстер Стенхоуп в Сирии — именно то, что отвечает моим желаниям». Я поддерживал такие его мысли, поскольку сам обожаю путешествия и готов был направиться куда угодно. Как жаль, что дело у него так и не шло дальше планов, сборов, намерений, пожеланий, забытых еще до того, как приступили к первым приготовлениям. Затем шли сожаления, что ничего не получится,

и вновь воцарялось бездействие; тем, кто всерьез ни к чему не готов, искать себе оправданий долго не придется, у Байрона же всегда находятся извиняющие его обстоятельства, так что я просто махнул рукой на его затси.

Начало 1823 г. Неизвестное духовное лицо, друг Ли Ханга

Едва мы вошли, из двери, всдушной в соседнее помещение, появился лорд Байрон, который не спеша приблизился к камину, обратившись ко мне с доброжелательной, любезной улыбкой, так что я сразу же почувствовал себя нескованно — вопреки всем своим опасениям. За те два часа, которые мы провели за весьма оживленной беседой, я имел возможность присмотреться к его быстро сменявшимся выражениям и ко всему его облику так, как мне еще не случалось прежде, и вынужден признать, что мои лафатеровские понятия пошатнулись, ибо я почти не уловил указаний на бурный темперамент, склоняющий к категоричности суждения — положительного либо отрицательного. Приметы, которые я искал, почти отсутствовали, и мне пришлось заключить, что он, видимо, умест твердо подчинять своей воле каждый мускул лица и выражение глаз, либо же темперамент у него вовсе не такой огненный, как принято думать.

Неловкость первых минут исчезла, едва мистер [Хант] коснулся предмета, сразу же побудившего лорда Байрона заговорить со всей страстью, — я и не мечтал, что он окажется в моем присутствии так словоохотлив; он рассуждал о манифесте, принятом испанскими кортесами в ответ на декларацию Священного союза, и у них с Хантом возник живой обмен мнениями, а я старался помалкивать, ибо мне было крайне любопытно узнать, каковы взгляды лорда Байрона.

Среди прочего, лорд Байрон заметил, что его особенно привлекает в манифесте суховатый сервантесовский юмор, весьма в нем заметный. «Мне припомнился ответ Леонида на требования Ксеркса сложить оружие: «Попробуй взять его у нас», — сказал он. Было очевидно, что он полагается на мужество испанцев, а также их волю к сопротивлению больше, чем позволял реальный ход событий; с немалым воодушевлением и убедительными подробностями живописал он характер страны, который врагам предстоит сломить, прежде чем Испании будет нанесен решительный удар. «Испания, — говорил он, — не плоская равнина, по которой удобно маршировать русским полкам, тут не провести от пункта до пункта прямой линии, геометрия тут не годится».

Наш благородный поэт и дальше прибегал в своих речах к таким вот, скажем так, уловкам, но, пытаясь углубиться в свой предмет, каждый раз испытывал очевидную нехватку аргументов, которые бы убеждали, и приходил в смущение. Создавалось

впечатление, что ему нелегко следовать за собственной мыслью, тем более, что он в собственном лице объединял апологета излагаемой идеи с ее противником, как бы представляя нам диспут, ею вызванный.

С Испании разговор перешел на греческое дело, и сразу вспомнили официальное заявление, сделанное на сей счет Священным союзом. Как лорд Байрон, так и мистер [Хант] находили смехотворным выраженное в сем документе, представляющем собой превосходный образец имперской логики, суждение, что восточные мятежники (как там принято именовать благороднейших людей, которые явили невиданную в истории волю к борьбе против навязанного им рабства) находятся в прямой связи с подстрекателями революций в Западной Европе и что все реформаторы, где бы они о себе ни заявляли, одного поля ягода. Обращаясь к мистеру [Ханту], лорд Байрон сказал с улыбкой: «Коли бы и вправду существовал столь замечательный заговор, двум таким радикалам, как вы и я, следовало бы почитать себя оскорбленными за то, что нам не позволили к нему примкнуть». Упомянули о Коббете, и поэт-аристократ сделал замечание, которого я не могу забыть, настолько оно меня поразило своей пронизательностью: «Страшно подумать, что Коббет оказался бы в председательском кресле революционного трибунала, заседающего за покрытым зелеными сукнами столом, а мне пришлось бы держать ответ; даже допуская, что на девять пунктов я бы ответил, как полагается, и ошибся только в десятом, он все равно всел бы повесить меня на фонарь». [...]

1 апреля 1823 г. Леди Блессингтон

Как ни влечет меня к себе «величественная Генуя» с ее роскошными дворцами и хранящимися в них сокровищами искусства, признаюсь, что всего более она притягивает тем, что стала резиденцией лорда Байрона. Его творения возбудили во мне столь горячий интерес, а все, что о нем рассказывают, настолько этот интерес усилило, что я в нетерпении ожидала знакомства с ним. Если он откажет нам в присме, как случилось с некоторыми моими знакомыми, я буду весьма разочарована; не хотелось, впрочем, думать о таком неприятном повороте дела. Не терпится узнать, отвечает ли он тому beau idéal¹, который составил в моих представлениях, и насколько справедливы были люди, его мне описывавшие.

И вот я в городе, где живет Байрон. Подумать только, завтра я, быть может, его увижу! Никогда еще меня не охватывало такое желание самой взглянуть на человека, которого я знаю лишь по его писаниям. Надеюсь, он вовсе не так толст, как, по словам

¹ Высокому идеалу (*франц.*).

Мура, был в Венеции; *толстый поэт* — мне кажется, это какая-то аномалия. Но к чему эти рассуждения, всего день — и я, вероятно, все увижу сама.

Я видела лорда Байрона; я разочарована! Но ведь так бывает всегда, если мы насыщались о человеке всевозможных рассказов с их преувеличениями, тем более — когда для нас он стал beau idéal. Полагаю, большинство людей остались бы вполне удовлетворены тем, как он держится в обществе, и очарованы его манерами: он весьма к себе располагает, а в разговоре изящен, оживлен и искренен. Отчего же в таком случае мои ожидания оказались обманутыми, отчего, вспоминая те его страницы, которые приводили меня в такой восторг, я никак не могу их соотнести с человеком, которого теперь узнала? Право же, блистательные пассажи в «Чайльд-Гарольде» и в «Манфреде» никак не сочетаются для меня с представшим передо мною сегодня любителем изысканной, чарующей беседы. Те пассажи для меня по-прежнему принадлежат личности более серьезной и достойной, какой я себе представляла их автора. А человек, с которым я познакомилась, мог написать разве что «Беппо» и «Дон Жуана». Он остроумен, саркастичен, наблюдателен — и все это есть в тех поэмах, однако же он решительно несхож с меланхолическим поэтом, каким я его себе вообразила. Правда, случаются минуты, когда «глубокой мысли бледность на челе» передается ему самому, и в эти минуты он послужил бы идеальной моделью скульптору, ваяющему фигуру поэта; но задумчивость тут же уступает место шаловливой усмешке, и какое-нибудь либо желчное, либо шуточное замечание гонит прочь едва появившееся печальное, возвышенное выражение, которое так бы ему подошло. [..]

Мы провели у него больше времени, чем предполагали, поскольку всякий раз, как мы намеревались более не отрывать его от занятий, он с неподдельной искренностью и настойчивостью просил побыть еще немного — так интересовало его все связанное с давно знакомыми и любимыми им местами; время летело незаметно. У него удивительно цепкая память — такой я не встречала ни в ком; он не забывает ни мелких происшествий, ни лиц, к которым, я убеждена, испытывает полное безразличие. Когда мы уходили, он с живостью говорил о том, какое удовольствие доставил ему наш визит; в искренности его у меня нет причин сомневаться, и не оттого, что я склонна приписывать себе какие-то пленившие его достоинства, но лишь по той причине, что видно было, до чего ему приятно узнать что-то новое о прежних своих знакомцах и вообще о родных краях, причем ему доставляет наслаждение говорить обо всем этом en revue¹, выска-

¹ Походя (*франц.*).

зывая по ходу беседы мнения, в которых больше иронии, а порой и недоброго сарказма, нежели доброжелательства. Тем не менее у меня не возникло мысли, что это человек непривлекательный и злой, как бы ни сыпал он замечаниями, склоняющими именно к подобному выводу. Мне представляется, что все это просто результат некоторого легкомыслия, помноженного на увлеченность, не позволяющую ему остановиться и сдержаться в своих выпадах — саркастичных, хотя и *spirituels*¹; необыкновенная его наблюдательность в сочетании с еще более редкостным скептическим умом делает такие эскапады неизбежными; к тому же видя, как забавляет он своих слушателей, он не в силах противиться искушению и дальше предаться этому занятию, пусть даже наносящему ущерб людям, которых он, по собственным словам, любит. Завтра он нанесет нам ответный визит в гостиницу, он спрашивал, какой час нам будет удобен.

Тереза Гвичьоли

[...] Превосходно изучив свою очаровательную соотечественницу, он воспользовался ею в качестве прототипа для литературного персонажа, выведенного им под именем Аделины; ему нужны были реальные обстоятельства, чтобы, изменив в них кое-что, показать в поэме, какой опасности подвергает себя очаровательная женщина, взявшаяся наставлять плененного ею молодого человека. Если бы поэма была завершена и характер получил полное свое развитие, леди Аделина, невзирая на свою чопорность, должна была под конец влюбиться в Дон Жуана и даже скомпрометировать себя, не добившись ответной любви, поскольку его сердце навеки отдано другой. [...]

Мэри Шелли

[Из письма Джэйн Уильямс от 10 апреля 1823 г.] [...] Представитель лондонского Греческого комитета и сами греки просят его отправиться в Элладу, чтобы на месте удостовериться, каково положение тамошних дел и состояние страны — быть может, его присутствие оказалось бы благотворным. Он отвечал, что поедет непременно, но при условии, что правительство греческих провинций сочтет его приезд желательным, и ему общались в ближайшие три месяца добиться официального приглашения. Полагаю, он действительно поедет, поскольку Генуя ему смертельно надоела, и к тому же Греция обдадет для него особенной притягательностью, поскольку там будет удивительно его самолюбие, а кроме того, Пьериню просто без ума от этой идеи. Он просил меня передать Трелоуни, что был бы рад его обществу (в случае, если поездка состоится). Вам любопытно будет узнать, что пока что он занялся приобретением оружия, вслеп от-

¹ Зд.: отточенных, метких (*франц.*).

ливать пушки, и обещал предоставить «Боливара» в распоряжение греков; все эти занятия приводят его в состояние душевного подъема.

Апрель — май 1823 г. Леди Блессингтон

[12 апреля 1823 г.] [...] Байрон, кажется, твердо вознамерился ехать в Грецию; правда, он говорит об этом так, словно повелевает ему ехать не столько желание, сколько долг. По его словам, он недостаточно служит человечеству, оставаясь только поэтом, и *собственным примером* должен доказать, что поэт способен сделаться и солдатом. Что Байрон исполнит эту им самим для себя выдуманную обязанность, у меня почти нет сомнений, как и в том, что он ее исполнит с безупречным мужеством; однако же, если я правильно угадала его натуру, он, мне кажется, более расположен к жизни созерцательной, нежели деятельной, а стало быть, те мелочные заботы и сложности, которые неминуемо воспоследуют ввиду ожидающего его в Греции положения, быстро истощат терпение и могут пагубно сказаться на его здоровье.

[1 мая]. Долгая прогулка на лошадях с лордом Байроном и графом Пьетро Гамба. Последний обещал показать мне «Бронзовый век», только что отпечатанный и полученный Байроном, однако вселел не заводить разговора об этой поэме, так как, по его словам, Байрон не любит о ней упоминать. Что за странность делать тайну из существования книги, о которой вот уже несколько недель в Англии говорят все и каждый! Вероятно, запрет толковать о ней последовал в минуту раздражения, которому так подвержен ее автор. Зато он не прочь поговорить о том, что пишет в настоящее время, — это продолжение «Дон Жуана», и говорит он без конца. Нынче он заметил, что, поскольку принято видеть в созданных им персонажах его самого и спрашивать с автора за совершаемые ими грехи, свою поэму он закончит тем, что сделает Дон Жуана добрым прихожанином; по его мнению, подобная метаморфоза должна, наконец, успокоить благонамеренных английских читателей, которые так усердствуют в поношениях автора.

[3 мая]. Байрон просил меня воспользоваться влиянием, которое я имею на полковника М., чтобы с помощью его сестры, являющейся близкой подругой леди Байрон, добыть копию портрета последней — это давнее желание его светлости. Поскольку разговор коснулся этих материй, я не упустила случая заметить Байрону, что леди Байрон тревожат его вероятные притязания на их дочь или, по меньшей мере, на какое-то участие в ее воспитании. Байрон был глубоко задет; молчание, вызванное нахлынувшими на него переживаниями, длилось несколько минут, а затем он сказал, что ни при каких обстоятельствах не предпри-

мет шагов, которые могли бы оскорбить чувства леди Байрон.

«Она уж столько лет наслаждается счастьем каждодневного, ежечасного общения с нашим ребенком,— сказал он,— и любое вмешательство в эти отношения для нее будет болезненным; тогда как я,— продолжал он с видом столь удрученным, каким мне не приходилось видеть прежде,— никогда этого счастья не знал, ибо мне не довелось ни разу в жизни услышать лепет Ады, увидеть ее улыбку, почувствовать прикосновение ее губ... Тут его голос задрожал.— И оттого мне надлежит отказать себе в благе, о коем так часто мечтают и которым так редко умеют дорожить».

Он дал мне обещание письменно изложить все сказанное, с тем чтобы была исключена возможность ошибок или кривотолков. Только что мне принесли его письмо, которое следует показать полковнику М. Надеюсь, оно поможет умиротворить леди Байрон и она отправит супругу портрет, которым он так желает владеть. В беседе он постоянно возвращается к леди Байрон и говорит о ней с уважением, нередко с весьма нежным чувством, из чего следует, что он еще не привык вспоминать ее безразлично, хотя долгая разлука, как правило, порождает именно такое настроение. Сердце Байрона менее всего можно назвать бесчувственным, душе его ведомы страсти тонкие и благородные, однако воображение столь стремительно в нем воспламеняется и рисует до того ослепительные картины, что в лучах этого непереносимого огня меркнут будничные реальности жизни, внушающие ему лишь разочарование и отвращение, которое заставляет умолкнуть иные, не столь бурно развившиеся начала характера.

[16 мая]. Долго каталась верхом в сопровождении Байрона. Он подавлен и мрачно взирает на свое будущее. Я старалась воодушевить его, говоря о том, что, быть может, из Греции он возвратится в ореоле блистательной славы, и тогда соотечественники приспокоятся гордости за него — поборника свободы так же, как гордились им — поэтом, внушавшим гордость до той поры, пока некоторые его произведения не показались в Англии оскорбительными. Кажется, мои слова на время подняли его настроение, но только на время; он усмехнулся и сказал, что уверен — из Греции ему не вернуться. Ему много раз снилось, как там подстерегает его смерть, и предчувствие, что так и произойдет, не покидает его.

— Зачем же вы едете? — спросила я.

— Как раз затем, чтобы отдаться велениям неотвратимой судьбы и обрести вечный покой в земле, священной для меня по юношеским воспоминаниям и тем мечтам о счастье, которые не

сбылись. Пусть так! Простая могила в Греции, простой надгробный камень мне желанней, чем мраморная плита в Вестминстерском аббатстве; честь, в которой мне, вероятно, не отказали бы, случись мне окончить свои дни в Англии. Мои соотечественники — о, эти благородные души! — сделали все, чтобы воспрепятствовать мне жить в стране отцов, однако они не стали бы возражать против того, чтобы мой прах покоился там, где лежат останки наших поэтов.

В словах его чувствовалась глубокая обида, и не приходится удивляться этому, коль вспомнить, что о нем говорилось в Англии перед тем, как он в последний раз ее покинул. Мне думается, он все же не совсем понимает, какая зависть, какая неприязнь к нему двигали людьми, воспользовавшимися разрывом с леди Байрон в качестве предлога для бесконечных унижений, с какими они на него обрушились; храня неколебимое молчание относительно причин случившегося, леди Байрон лишь способствовала этой кампании. Байрон полагает, что оскорбления, коим он тогда подвергался — плод ложных моральных понятий, принятых в английском обществе, обличавшем его, не позаботясь о доказательствах, и вторгавшемся в домашние раздоры, которые не должны были обсуждаться даже близкими друзьями. Однако истинную причину следовало искать в другом, а именно в той зависти, какую возбуждал его талант и тем более успех, этому гению сопутствовавший. В свете известны были примеры подобных же разрывов, когда никто не очернял ни супруга, ни супругу; отчего же все эти толки про распутство, какие пришлось выслушивать Байрону? Думаю, лишь оттого, что зависть ухватила за предоставившийся шанс пустить по ветру семена своей злобной клеветы.

[29 мая]. Сегодня у нас обедал Байрон — в последний раз; бог весть, когда мы теперь соберемся за столом — и соберемся ли! — все вместе. Настроение у нас было довольно унылое, у Байрона в особенности. Без малейшего воодушевления говорил он, что отправляется в Грецию, сожалел о том, что обременил себя таким обязательством, но тут же прибавил, что, дав обещание, считает делом чести его исполнить. Здоровье его со всей очевидностью не столь крепко, чтобы предпринимать такого рода затеи, которые, вне сомнения, потребуют немалых лишений. С нашей первой встречи он исхудал, лицо стало еще бледнее, а нервы его явно расстроены, о чем говорит стремительность, с какой глубокая мрачность сменяется у него приступами безудержного веселья, затем снова — и столь же внезапно — переходящего в тоску. Оборвать нити, связующие его с Италией, он не может, не испытывая чувства горького сожаления, и очень заметно, что об этом он думает постоянно, даже находясь в об-

ществе. Необходимость расстаться с графиней Гвичьоли будет для него тяжелым испытанием; былая страсть, возможно, и остыла, но тем не менее выказанные этой дамой преданность ему и полное ее бескорыстие породили привязанность, которая никогда не изгладится из его сердца, делая столь болезненной предстоящую разлуку. Байрон сказал, что посетит нас в Неаполе, если сумеет закончить свои дела в Греции до того, как мы покинем этот город. Ему хотелось бы увидеть Помпею и окрестности, он слышал о красоте этих мест и представляет их себе чем-то необыкновенным; а кроме того, какое наслаждение доставит прогулка по заливу на «Боливаре»!

[2 июня]. Вчера вечером заходил Байрон, чтобы проститься с нами,— до чего печальное событие! По всей видимости, он убежден, что больше мы не встретимся; не в силах противиться меланхолии, которую навевают его предчувствия, он и не пытался сдерживать слезы, потоками лившиеся из глаз. Он воплощенное благородство в эти минуты самоотречения, которого от него требует живущая высокой страстью душа, и по-моему, никогда еще он не был столь прекрасен; все мы глубоко тронуты. Каждому из нас он оставил вещицу на память о себе, прося о таких же залогах дружбы, какие мы были рады ему дать. Он снова пожурил меня за то, что я покидаю Геную, не дождавшись, пока он отправится в Грецию; мне вспомнилось, с какой досадой говорил он о том, отчего мы не хотим здесь задержаться; утерев слезы, он саркастически заметил, что сделался чересчур чувствительным,— собственной слабости он откровенно стыдится, но голос его при этом все так же нетверд, а губы дрожат. Кто знает, не сбудутся ли его опасения, но, если нам и не суждено больше увидаться, я всегда буду вспоминать о нем с добрым чувством; самая мысль, что мы беседовали последний раз в жизни, наполняет душу горечью, заставив позабыть, как часто многочисленными своими пороками он вынуждал меня испытать разочарование в нем. Бедный Байрон! Я гоню прочь предположения, что это последняя наша встреча, хотя мрачными своими предощущениями он заразил всех нас.

Полковник Дет Штриц (вестфалец на греческой службе; запись Луизы С. Беллок)

Как только лорд Байрон узнал о том, что полковник [Штриц] находится в Генуе, он поспешил с ним познакомиться, и, поскольку в обществе им встретиться не доводилось, написал ему письмо с приглашением посетить его на вилле. Господин Дет Штриц отправился туда на следующий день и нашел лорда Байрона рассматривающим карту Греции, разложенную на столе, который был завален книгами и бумагами. Его светлость, поднявшись навстречу гостю, выказал знаки самого дружеского

расположения. Велев слуге никого не принимать, он обратился к офицеру с просьбой подробнейшим образом рассказать о положении дел в Греции, об успехах, достигнутых патриотами, и о том, что можно было бы сделать в помощь им. Полковник вспоминает: «Говорил он с необыкновенным воодушевлением, и подчас было нелегко следовать за нитью его речи, улавливая логику мыслей, им излагаемых. Тем не менее я постарался предоставить ему все те сведения, какие требовались». Байрон, впрочем, остался неудовлетворен услышанным, попросив полковника набросать план сражений, в которых тому выпало принимать участие. Расчистив на столе место и вручив своему посетителю перо, он следил за каждым появлявшимся на бумаге штрихом, облокотившись сзади на кресло, занимаемое гостем, требуя пространных пояснений, любая мелочь вызывала его живейшие вопросы. Сведения, которые ему удалось собрать еще до поездки, помогли Байрону без труда представить себе положение греческой армии. Вслед за тем он долго расспрашивал полковника о различных нуждах, испытываемых греками, и о расходах, которые влечет за собой война. Он заставил господина Штрица остаться обедать; за столом он горячо и гневно говорил о постыдной позиции европейских держав, хранящих безразличие к достойнейшему делу, которому посвятил себя самый благородный из народов. «Поразившая меня поначалу бледность, — вспоминает полковник, — совсем исчезла. Лицо его пылало воодушевлением, глаза блистали, а на щеках выступил румянец. После десерта мы гуляли по парку. Вид был восхитительный. Я пришел в восторг от этого очаровательного пейзажа, но лорд Байрон его как будто не замечал вовсе. Мы дошли до конца аллеи, и, остановившись, он обратился ко мне с вопросом: «Как вы считаете, принесет ли грекам пользу мое присутствие? Рады ли они мне будут?» Хотя было видно, сколь живой интерес возбуждает в нем дело, которому я себя посвятил, вопрос его оказался неожиданным, и ответить положительно я был не готов. Мне не верилось, что он действительно хочет сменить свое царственное бестревожное существование на жизнь, полную лишений, тревог и опасностей; впрочем, я не колеблясь сказал, что его присутствие окажется для греков истинным благословением, вдохнет в их надежды новую энергию и придаст им особенное мужество, ибо его призывы к Греции покончить с унижением в огромной степени способствовали пробудившейся у этого народа любви к свободе, и поистине достойно его дара еще более послужить тому возрождению Эллады, которое отчасти и началось благодаря лире поэта. «О, как бы мне хотелось в это поверить, — услышал я в ответ, — но боюсь, что средства мои слишком скромны, чтобы достойно исполнить такое назначение.

Впрочем, все, что мне по силам, я сделаю». Он пояснил, что намеревается пожертвовать 8000 фунтов (примерно 192 000 франков), и спросил, как может быть употреблена эта сумма. Я заверил его, что пожертвование как нельзя более своевременно, поскольку нехватка денег парализует все начинания греков. «Я этим не ограничусь. Надеюсь, у меня появятся возможности пойти дальше; однако для этого необходимо, чтобы я сам удостоверился в положении вещей и поспособствовал наиболее разумному использованию денег для пользы дела. Мысль отправиться в Грецию родилась у меня не вчера. Я ее давно вынашиваю. Никаких колебаний относительно предстоящей поездки у меня нет, важно только устроить все так, чтобы она увенчалась хорошим результатом».

Байрон не отпустил господина Штрица в Геную, упросив его переночевать на вилле, где тот оставался в общей сложности три дня, почти не расставаясь с ее владельцем и ведя с ним длительные беседы о героизме греков, об охватившем их священном воодушевлении и о подвигах, которые они совершают. Такого рода рассказы так сильно поддействовали на воображение Байрона, что как-то утром он сказал господину Штрицу: «Нынче я беспокойно спал. Все время снилось, что я иду в атаку во главе отряда сулиотов или где-то рядом с их бесшабашным командиром и меня сжигает ненависть к туркам, не всдающая никакой жалости, как знать, не сбудется ли однажды этот мой сон, ведь в Грецию я еду не затем, чтобы бездельничать. Оружие должно быть готово еще до отплытия, таково мое желание».

Прощаясь с господином Штрицем, он задержал в пожатие его руку и сказал, что надеется на новую встречу уже в Греции. Несколько месяцев спустя этот офицер действительно встретился с Байроном — это произошло в Миссолонги.

Чарльз Ф. Барри

[Из письма Дугласу Киннэрд] Вас не раздосадует упоминание о весьма странной просьбе, с какой ко мне обратился лорд Байрон накануне отплытия. У него долгое время жили три самых обычных гуся, к которым, по его словам, он сильно привязался, отчего он и просил меня взять на себя заботы о них, ибо ему бы хотелось когда-нибудь в будущем вновь их забрать, — он намерен их держать до естественного конца: их ли, а возможно, его собственного. Если Вы не против, я отправлю птиц в Англию.

15 июля 1823 г. Э. Дж. Трелоуни

К ночи на море поднялся бриз. Нашу старую посудину сильно раскачивало, и шумные итальянцы поспешили забиться в щели, будучи явно напуганными. Я сказал Байрону, что следовало бы держаться ближе к берегу, не то могут пострадать лошади.

«Поступайте, как знаете», — сказал он. Взошло солнце, ветер улегся, и наши сугубо сухопутные пассажиры один за другим стали появляться из укрытий. Байрон, который оставался на палубе всю ночь, посмеивался над их жалким видом.

16 июля 1823 г. Граф Пьетро Гамба

Всю ночь я едва приходил в себя от приступов тошноты. Когда мне наконец удалось подняться на ноги, он [Байрон] сказал мне: «Ты упустил зрелище, роскошнее которого мне редко приходилось видеть. Опасность для нас одно время была серьезной, но капитан и матросы творили чудеса. Я не покидал палубы. Такое случалось мне наблюдать и прежде, однако шторм всегда остается для меня едва ли не самым грандиозным из свершений природы». Говорил он задумчиво и, между прочим, заметил, что находит скверное начало добрым предзнаменованием на будущее.

Весь день мы чинились после урагана. Его светлость выразил желание съездить на свою виллу Альбаро, оставленную заботам его банкира Бэрри; я его сопровождал. Пока мы ехали, разговор его был нерадостен — он вспоминал былое и говорил о неопределенности будущего. «Где-то окажемся мы с тобой год спустя?» — сказал он. Потом сообщил мне, что хотел бы уединиться на три-четыре часа.

VIII. НА СЛУЖБЕ ГРЕЦИИ

НА БОРТУ «ГЕРКУЛЕСА»

Джеймс Хэмилтон Браун

Почти всю ночь лорд Байрон не ложился, разглядывая вулкан Стромболи; вершина, однако же, была закрыта тучами, и кратер не выбрасывал пламени. Это выглядело странно, поскольку говорили, что вулкан всегда активен и камни низвергаются постоянно. Его светлость рассказал мне странную историю о матросах с английского судна, которые под присягой показали, что видели призрак хорошо им знакомого человека, влекомого двумя другими людьми по воздуху и брошенного в кратер Стромболи. Начался долгий спор относительно предрассудков и историй с призраками; свои аргументы нашлись и у верящих в эти рассказы, и у сомневающихся в их истинности; лорд Байрон высказался так, словно он доверяет подобным историям, — впрочем, он нас, возможно, разыгрывал.

Мы посетили прославленную Харибду, внушавшую такой

ужас древним; оказалось, что под ней кипит мощный водоворот, создаваемый сталкивающимися здесь течениями. Яростный рев морских потоков, разбивающихся об изъеденный крутой выступ Сциллы, разносится на много миль вокруг.

Говорят, в шторм Харибда и по сей день внушает трепет. Пролив скорее всего стал теперь шире, чем был в седую старину; полагаю, страшные вещи, которые рассказывали про эти места наши далекие предки, нужно отнести за счет поэтической вольности, склоняющей к большим преувеличениям. Лорд Байрон удручен тем, что ему предстало зрелище почти безмятежного покоя, и тщетно взывал к небу, чтобы оно послало крепкий бриз.

Э. Дж. Трелоуни

Байрон читал в «Ежеквартальнике» разбор книги О'Меара «Наполеон на Св. Елене». Он заметил: «Если все, что тут сказано, правда, это говорит только о личности критика. Ни одно из приводимых в книге свидетельств не опровергают — обычная их манера. Автора стараются уязвить, нанося ему удары исподтишка, — так было и со мной, да и чему удивляться: довольно того, что в книге найдется что-то интересное для человека, открывшего ее год спустя по ее появлении, и вот критика уже в неистовстве; ну кто читает статьи годичной давности? Пока литературой нашей командуют все эти озлобленные фанатики и злопыхатные поборники благоприличия, нечего ждать, что явятся творения высокие и оригинальные. Естественно ли, чтобы настоятели руководили талантами? А если кто-нибудь из этой мерзкой толпы решится думать собственной головой, его либо заклюют, либо заставят умолкнуть — вспомните о Стерне, о Свифте. Где эти великие барды и творцы, которым журналы сулили назначения левиафанов нашей словесности? Вымерли, как видно; может быть, в будущем их кости, уже окаменевшие, кто-то подберет и соединит в музейной витрине с костями рептилий, угодничавших перед ними при жизни. Коли наш век и создал нечто достойное — а я в этом отнюдь не убежден — произошло это лишь вопреки всевозможным поношениям.

Говорят, что в своих писаниях я рассказываю об одном себе, но пусть укажут хоть какое-то событие моей жизни, о котором повествует стихотворение, хоть одну собственную мою мысль, запечатлевшуюся в нем, — я ведь редко пишу то, что на самом деле думаю. Все написанное обо мне сплошной вздор, и в этом еще убедятся, прочитав после моей смерти записки, которые будут напечатаны, ибо в них-то и содержится правда. Я был мрачно настроен, когда в первый раз уезжал из Англии. И об этом я написал в первой песне «Чайльд-Гарольда». Я в ту пору был пылко влюблен, а возлюбленная, моя кузина (Тирза — ее настоя-

щее имя он никогда не называет), умирала. А когда я покидал Англию в последний раз, мною владела ярость, для которой было куда как достаточно причин. Правда обо мне — это кое-какие подробности, которые содержит «Сон» и еще несколько мелких стихотворений. Что до моей женитьбы, насчет которой выдумывают столько нелепостей, ее устроили леди Джерси и еще некоторые лица. Мне все связанное с нею было безразлично; я считал, что лучше порешить это дело невозможно, и они думали точно так же. Мне нужны были деньги. Мой брак представлял собой эксперимент, который не удался. В записках моих все рассказано так, как было на самом деле. Я сказал Меррею, что леди Байрон должна иметь возможность познакомиться с записками, коли на то будет ее желание, и предоставил ей право добавлять, опускать и пояснять, как ей представится необходимым, либо прямо сейчас в рукописи, либо перед тем, как печатать».

Странно, что Байрон, склонный никому на свете не доверять, не испытывает ни малейших тревог относительно судьбы своих мемуаров и рад, что Мур отослал их Меррею, — ему кажется, что тем самым обеспечена их публикация. Он считает делом своей чести, чтобы истина, которую невозможно сделать достоянием публики, пока он жив, стала известна всем по его смерти. Тщеславие Мура, гордящегося тем, что его принимают в самых аристократических домах, о чем он спешит сообщить первому встречному, для Байрона не тайна, как и то, что этот поэт ставит высшей целью своей жизни наслаждение любой ценою. Касательно мемуаров Байрон заметил, что в них «надо будет опустить несколько сцен и упоминания некоторых имен — это необходимо, поскольку в них содержится вся правда. Мур и Меррей в этом деле должны руководиться чувством такта». И прибавил: «Самое главное, чтобы по моей смерти узнали наконец правду и предали забвению всю клевету».

Пока мы плыли к Греции, Байрон часто вспоминал об Англии, о совершенных им ошибках, и сказал, среди прочего: «А вспомните Шелли, самого добросердечного из людей; его выгнали из родного дома, словно взбесившегося пса, а все за то, что он усомнился в догме. Человек и поныне тот же дикий зверь, каким был во дни творенья, и явись в мир Христос, которому будто бы поклоняются, его бы снова распяли». [...]

Джеймс Хэмилтон Браун

[...] Как-то я, набравшись духу, спросил лорда Байрона, отчего он не принялся за эпическое произведение или иной прекрасный и впечатляющий замысел. Он отвечал, что трудно подыскать соответствующий предмет, почему он и не берется за подобный труд, даже допуская мысль о способности его испол-

нить. «К тому же, — заметил он, — даже Мильтона теперь мало читают, истинных же знатоков и ценителей этого великого поэта совсем немного. Я, — продолжал он, — не гнева бога, стараюсь приспособить свой дар ко вкусам нашего времени и, насколько удастся, к понятиям читателей моего поколения; если созданное мною меня переживет, tanto meglio¹, ну, а в противном случае мне все равно». Я позволил себе заметить, что Тассо и Ариосто знают все итальянцы, независимо от образованности, на что он возразил: «Ну, так то Италия, совсем иное дело, чем Англия, тут и сравнивать нечего; и кроме того, любой итальянец, если не ошибаюсь, от природы наделен поэтическим чувством — в большей или меньшей степени». Удивляет, сколь мало дорожит он славой, которую уже принесли ему бессмертные литературные свершения; он, похоже, верит, что намного более скромные его подвиги в Греции, какими бы они ни оказались, сохранят в веках его имя надежнее, хотя о них будут помнить только по той причине, что принадлежат они человеку, отмеченному печатью великого поэтического дарования.

Живое и пламенное воображение превращало будничные занятия, которым он предавался, в события необычайные и обладающие огромной важностью для последующей его судьбы; причудливая и мрачная фантазия побуждала его выводить из самых простых вещей унылые, безотрадные умозаключения, какие обычному человеку и в голову бы не пришли; впадая в такого рода настроения — а надо заметить, ему присущ поразительный дар изводить себя, — он тут же подыскивал повод для того, чтобы приняться за горестные сетования, касающиеся его участи, которая представляла ужасающе несчастливой, а также свойственной всему человечеству злобы. Это настроение у него стало чем-то вроде второй природы, и осмелюсь сказать, для него не было худшей горести, нежели лишиться причин, чтобы упрекать весь мир в своих истинных или измышленных невзгодах.

Лорд Байрон был исключительно высокого мнения о свойственной ему независимости суждений и поступков, однако, если можно так выразиться, он был и пленником этой свободы, так часто ставивший его в положение весьма неловкое, ибо, выказывая свой вольный нрав, он вынужден был раз за разом высказываться или действовать таким образом, что по размышлению начинал сам же об этом сожалеть от всей души, удостоверясь в собственной ошибке. Кроме того, он легко поддавался влиянию, в особенности со стороны тех, кто умел воспользоваться его податливостью незаметно и тактично, создавая видимость, будто он сам принимает решение, которому другие подчи-

¹ Тем лучше (итал.).

няются, тогда как на самом деле все обстояло как раз наоборот. Скажи ему кто-нибудь об этом, и он пришел бы в негодование и, полагаю, в будущем просто не допустил бы, чтобы личность, способная к столь каверзным действиям, находилась в его окружении. Не раз в беседе он излагал свое намерение, на случай, если услуги его окажутся Греции бесполезными, предпринять все необходимое с целью покупки острова где-нибудь в южных морях, куда, посетив по пути Англию, он мог бы удалиться до конца своих дней; совершенно серьезно он спрашивал Трелоуни, согласится ли тот его сопровождать, на что последний ответил утвердительно. [...]

2 августа 1823 г. Э. Дж. Трелоуни

Второго августа на горизонте показались острова Кефалония и Зант, а Байрон, указывая на Морею, сказал: «Не знаю отчего, но чувство такое, словно те долгие одиннадцать лет унынья, что пронеслись с тех пор, как я здесь побывал, больше не давят на меня тяжким бременем, и я вновь несусь под парусами к греческому архипелагу вместе со старым Бэтхерстом на его фрегате». В тот же вечер мы бросили якорь на рейде; наутро мы вошли в Аргостоли, как именуется бухта на Кефалонии, и остановились у самого города. Капитан Кеннеди, служащий секретарем в британской миссии, поднялся на борт, сообщив нам последние новости с театра войны, а также упомянув об отъезда Блэкиера в Англию, что сильно раздосадовало Байрона. Он, видимо, начал догадываться, что комитет использует его просто в качестве приманки. «Теперь, когда меня заставили так далеко зайти, полагают, что остановиться я уже не сумею, а о деле им нет заботы. Но они заблуждаются: я и шагу не сделаю, прежде чем не пойму, как мне следует дальше поступать; мы остаемся здесь, а если станут возражать, я куплю островок либо у греков, либо у турок — их наверняка продается сколько угодно».

Джеймс Хэмилтон Браун

Вспоминая о давнем своем путешествии по Албании, лорд Байрон часто упоминал об арнауцах и сулиотах, которых считал старыми своими приятелями — *няньками*, как он говаривал; в несчастье ли, в болезни услуги их бесценны, хотя люди эти крутого нрава. Ему припомнилось, как албанские его слуги пригрозили казнить врача, если он не выздоровеет; их заботами он, похоже, и пошел на поправку, потому что пользовавшийся его врач, будучи неплохим хирургом, мало что умел, когда отпадала нужда в скальпеле.

Вот отчего такая радость охватила его, едва на Кефалонии он увидел своих сулиотов. Когда в бухте Аргостоли они поднялись на борт, он, не скрывая бурной радости, скакал по палубе и лицо его сияло восторгом; обратившись к ним с приветствен-

ными словами, он тут же завербовал нескольких в качестве собственных телохранителей на все то время, что будет находиться в Греции, и обещал принять на службу еще многих. Но приятные самообольщения начали быстро развеиваться, как только они принялись торговаться с ним на предмет оплаты оказываемых ими услуг; к тому же деньги требовали вперед. Мне случайно довелось быть свидетелем торгов и споров, которые привели лорда Байрона в крайнее раздражение, не удивительное при его расстроенных нервах; впрочем, виноват был он сам, так как проявил свою обычную расточительность.

[...] Первоначально лорд Байрон предполагал направить «Геркулеса» к берегам острова Зант, но когда ему сказали, что тамошний британский представитель отнюдь не настолько расположен к грекам, как мой друг полковник Нэпиер, исполнявший ту же должность на Кефалонии, его светлость распорядился, чтобы капитан Скотт держал курс к кефалонийскому побережью. Не было причин сожалеть о принятом решении, поскольку полковник Нэпиер оказал ему самое радушное гостеприимство, а когда они познакомились поближе, лорд Байрон не раз восхищался им как офицером, наделенным первоклассным воинским дарованием, незаурядными знаниями и рыцарским понятием о чести, причем все эти отменные качества мой друг соединял с разумным служением греческому делу и непоказной верой в его успех — таковы были следствия долгого его пребывания на Ионических островах и превосходного изучения народа, с которым лорд Байрон намеревался связать собственную судьбу.

[Август 1823 г.] *Джеймс Хэмилтон Браун*

Проведя на Кефалонии всего несколько дней, лорд Байрон загорелся мыслью посетить Итаку, воспетую Гомером. Мы отплыли из Аргостоли еще до рассвета [11 августа] и к полудню добрались до резиденции мистера Тула [на острове Санта Эвфемия], попутно осмотрев на Самосе развалины киклопических строений, которые оставили Байрона довольно равнодушным, поскольку его более привлекало настоящее, нежели далекая древность. Немного передохнув, мы вновь тронулись в путь и достигли противоположного побережья Итаки, когда длинные тени уже предвещали закат.

Томас Смит

На Итаке в августе 1823 года я обедал у нашего консула [Нокса]; в столовой я застал лорда Байрона, графа Гамба, господина Бруно, мистера Трелоуни и мистера Хэмилтона Брауна, а также нескольких английских офицеров и других англичан, живших на острове. Меня не покидало чувство восхищения оттого, что я нахожусь рядом с человеком, возбуждавшим во мне

такое любопытство, и непринужденно беседую с ним, хотя обошлось без церемонии формальных представлений.

Он брал книги с незастекленных полок маленького шкафа, кратко о них высказываясь с той непринужденностью, которая обязывала поддерживать беседу, чтобы не выглядеть невоспитанным. «Поуповская “Одиссея” — о да, здесь самое для нее место; эссе Юма, «Рассказы моего хозяина», ба, да вот и вы, сэр Вальтер! А вы давно из Англии, сэр?» Я отвечал, что не был дома вот уж два года. «Стало быть, ничего нового о греческом комитете вы нам не сообщите. А мы все ждем от них каких-нибудь распоряжений, только никаких распоряжений не поступит, да, видно, и не поступит, ха-ха». Этот несвязный разговор продолжался довольно долго, причем было такое чувство, что мы давным-давно знакомы, и никто из присутствующих не подозревал, что его светлость раньше понятия не имел о моем существовании. А ведь прежде я только и слышал о его недоступности, высокомерии, желчности (в особенности при встречах с «англичанами-путешественниками») — полная противоположность тому, что оказалось в действительности; я был ошеломлен, и, кажется, это заметили. Мало-помалу мне удалось овладеть собой; его светлость говорил о том, что его безмерно раздражает греческий комитет и что собственные его действия в большей степени продиктованы жаждой нового душевного опыта, нежели особым энтузиазмом или верой, вызываемыми самим греческим делом.

«О греках я держусь все того же мнения, — сказал он. — Мне они известны не хуже, чем другим (эту фразу он часто повторял), да и не следует с чрезмерной дотошностью изучать народ, который мы намерены облагодетельствовать, решаясь послужить славному делу, не то — бог свидетель — мы ничего доброго в этом мире не совершим. Вот Трелоуни смотрит на князя Маврокодато как на ангела, а наш милейший Бруно с готовностью отдаст жизнь в *священной борьбе*, как он это называет. Должен сказать, искренность свою Бруно доказал уже тем, что согласился принять участие в нашей затее, хотя кому какое дело до моих недугов, которые он пытается исцелить». Я решился заметить, что, по всей вероятности, для всякого, кто не питает иллюзий относительно собственной значимости, само сознание, что он находится рядом с его светлостью, достаточный стимул, чтобы посвящать себя какому угодно начинанию. Мой комплимент был удостоен лишь мимолетной улыбки. «С тех пор, как я сюда прибыл, — продолжал лорд Байрон, — я со всех сторон только и слышу о том, что для этих жалких греков невозможно ровным счетом ничего сделать и чтобы я не обольщался, ибо меня ждет разочарование, отвращение и пр. Возможно, и так; однако я приехал, главным образом, именно с целью удостовериться,

что это не пустые разговоры. Я готов ко всему, меня не удивят ни жулики, ни проходимцы, и все же я надеюсь принести какую-то пользу». — «Вы читали что-нибудь о Греции перед отъездом?» — спросил я. — «Никогда не читаю о стране, куда сам собрался ехать», — отвечал он. — «Комитет посылает мне кое-что из своих протоколов, но из них ничего понять нельзя».

Будучи знакомым с капитаном Блэкиером, за несколько дней до того встретившись с ним на Корфу, я воспользовался случаем расспросить его о последних новостях, касающихся греческого дела. Этими сведениями я поспешил поделиться, но тут выяснилось, что среди сопровождавших его светлость был человек, которого я давно знал. Он любезно взял на себя труд по всей форме представить меня лорду Байрону. Тон, в каком шла наша беседа, впрочем, ничуть не переменился, просто я избавился от ощущения неловкости, и наш разговор продолжался все так же. Ко все большому моему изумлению, лорд Байрон откровенно заговорил о собственных произведениях, о леди Байрон, о своей дочери. Поводом послужил томик «Чайльд-Гарольда», лежавший на столике; это была скверно переплетенная маленькая книжка немецкого издания, которое я позволил себе назвать чудовищным. Он полистал томик, закрыв его со словами: «Да, издание плохое, но оно все-таки лучше, чем французский перевод в прозе, выпущенный швейцарцами. Не знаю, что по этому поводу скажет мой друг Меррей. Киннэрд пишет мне, что он то и дело гневается; а впрочем, пусть поступают с книжкой как заблагорассудится — довольно тех оскорблений, которые нанесли ее автору. Правда, «Ежеквартальник» пытается как-то смягчить свои прегрешения предо мной, а в «Блэквуде» никому не уступят свою исключительную привилегию набрасываться на меня первыми. Кажется, эту честь присвоил себе Милмэн, который... Тут он высказался столь резко, что я не нахожу возможным привести его фразу. Ну, да куда им всем вместе до того американского критика, который изобразил меня гисной, написав, что душа моя уродлива не менее, чем тело, и утешает лишь, что это очевидно всем и каждому». В этот момент появилась миссис Н[окс] и его светлость обратился к ней, улыбаясь: «Не закипает ли в вас кровь Гордонов, когда вот так поносят наш с вами клан? Честолюбивые Гордоны «упрека не снесут». Вы ведь храните традиции нашего рода, не правда ли, миссис Нокс?» Миледи решительно заявила, что оскорбления, в последнее время сыплющиеся на благородного ее гостя, нетерпимы, изъявив полную готовность вместе с ним постоять за престиж клана. «Вам легко было бы поладить с леди Байрон, — заметил он со смехом, — но что до меня, я, по вашему мнению, постоять за себя не умею; что ж, можете сказать об этом кому хотите, я не шучу. Воз-

можно, с моей стороны поступать таким образом и не следует, однако же я всегда твердо отдаю себе отчет в любом своем решении». У меня не хватило смелости вступать в разговор на столь деликатную тему, да и миссис Н[окс], видимо, желала бы, чтобы обсуждение велось не при посторонних. О своей дочери Аде он говорил в точности так, как и должен любящий родитель говорить о ребенке, которого давно уже не видел, не выказав ни следа смущения или неудовольствия тем, что коснулись столь большого для него предмета.

Я узнал, что на Итаку он прибыл с Кефалонии лишь нынче утром и что целью его, как и моей, было посещение достопримечательностей острова, прославленного с древности. На следующий день намеревались прогуляться верхом к источнику Аретузы, и мне выпало счастье получить приглашение на эту прогулку. Вновь достали с полки поуповского Гомера, чтобы перечитать описания Итаки, и лорд Байрон по сему поводу заметил, что «это в самом деле лучший из всех переводов и превзойден никогда не будет, его просто не с чем и сравнить в целом свете. Замечательно, что о Поупе снова начали вспоминать; за это я прощаю Гиффорду все его грехи. Пусть он пуританин, все же у него достало смысла понять, что Поуп, даже окажись истиной всякие рассказы о нем, был достойнейшим из литераторов. Теперь таких уж вовсе нет, разве что за исключением сэра Вальтера, человека столь безукоризненного, сколько возможно».

[...] Остаток вечера мы провели, обсуждая маршрут нашей завтрашней экскурсии; время от времени его светлость дарил нас каким-нибудь шутивным замечанием, при этом проявляя такую пленительную непосредственность и столько искреннего дружелюбия в отношении всех нас, что хорошо известные мне измышления газет, изображающих лорда Байрона замкнутым, надменным и крайне неприятным в общении субъектом, предстали для меня сущей клеветой.

Доктор Джеймс Кеннеди

[Возможно, со слов полковника Джона Даффи]

— Должно быть, когда вы ездили на Итаку, вас пленили памятники древности и воспоминания, ими пробуждаемые, — сказал полковник Д[аффи].

— Вы совершенно неверного обо мне мнения, — отвечал лорд Байрон. — Мне решительно несвойственно поэтическое позерство, я для него слишком стар. Такого рода настроения естественны только для рифмоплетов. У нас вообще держатся абсурдных понятий насчет греков, полагая, будто это все те же греки, воспетые Гомером. А я и раньше бывал в этих краях и знаю, что на деле все как раз наоборот. И я пытаюсь развеять этот самообман.

Он говорил, что сделает для греков все возможное, но не потерпит, чтобы им кто-то командовал. Потом он сказал: «Вот слово турка — надежное слово, а на греков полагаться нельзя, особенно если прямо затронуты их интересы». Прибыв из Генуи, он обещал семьям греческих пленников отправиться в Константинополь и выкупить их кормильцев; полковник Д[аффи] отговаривал его от этой затеи, утверждая, что опасность слишком велика.

— Ну что за риск, — возражал Байрон, — на крайний случай меня просто заключат в замок с семьей башнями, и [лорд] Стрэнгфорд меня уж наверняка не вызволит — он ведь поэт, а вы знаете, два барда...

Заговорили о Муре; его светлость заметил:

— Теперь вся литературная братия принялась за патриотические гимны испанцам или грекам, и он тоже; последнее свое творенье он посвятил мне.

Потом сказал, что охотно поведает миру о своих странствиях в Морее, но, добавил он с улыбкой, самое главное, как отнесутся к его повести, а тут все зависит от того, напишет ли он ее на манер «Чайльд-Гарольда» или предпочтет стиль «Дон Жуана». Стоило кому-нибудь проявить тонкое наблюдение, как он тут же заявлял, что воспользуется им в своих стихах. Он говорит, что не имеет представления, существовал ли в действительности Гомер, «но тем не менее мы, поэты, должны клясться его именем». [...]

Э. Дж. Трелоуни

[Из письма Мэри Шелли, первоначально предназначавшегося Джону Кэму Хобхаусу]. Вы знаете, до чего пристрастен он к Греции; по его словам, те два года, что он провел в здешних краях, когда был молод, доставили ему больше наслаждений, чем вся последующая жизнь, и он все равно сюда бы возвратился, чтобы провести остаток дней. Часто он заводит речь о том, что осталось жить ему совсем немного и что умрет он в Греции. На Кефалонии он говорил мне это много раз. При этом ни разу я не замечал в нем сожалений — напротив, полное равнодушие. А насчет смерти у него лишь одно опасение — он, по его словам, не способен переносить боль. На корабле по пути сюда мы с большим увлечением читали биографию и письма Свифта, изданные Скоттом, обсуждая прочитанное долгие часы, порою за полночь; он все толковал о том, какой ужас вести подобное существование; и страшился, что его самого может ожидать та же участь. Говорил, что телом стал слаб, что у всех в его семье неважные желудки, а у него так и вовсе скверный, и уже многие годы он живет исключительно на лекарствах, без которых не сумел бы обойтись и недели. [...]

[Из воспоминаний]. Из Морси что ни день поступали про-

тиворечивые сведения, и чтобы установить истинное положение вещей, я предложил отправиться туда самому. Байрон просил меня дожидаться его, чтобы съехать вместе; прошло несколько дней, он решил перебраться с корабля на берег и приобрести дом, и мне стало ясно, что отправляться надо в одиночку.

Я не сомневался, что, съехав на берег, Байрон тут же вернется к привычной своей лени, отдавшись замыслам, прожектам, колебаниям и бездействию. Не он ли говорил, что «если задержится где-нибудь на шесть дней, потом его не сдвинуть с места полгода».

Со мною вызвался съехать Хэмилтон Браун — бесценный помощник. В спешке сборов я рвал, швыряя за борт, разные бумаги и письма. Байрон остановил меня, сказав:

— Придет день, и вы об этом пожалуете, ведь это часть вашей жизни. Я сохраняю каждый листок, когда бы то ни было полученный — письма, записки, даже приглашения на присмы. У Хэнсона, у Дугласа Киннэрда, у Бэрри в Генуе ими битком набиты целые шкафы. То-то порадуются мои душеприказчики.

— А вам не кажется, что стоило бы спросить ваших корреспондентов, желают ли они, чтобы кто-то все это читал? — осведомился я.

— Наверное; у них ведь хранятся мои ответы, которые легко использовать против меня. Пока я жив, этого не осмелятся сделать, я располагаю возможностью быстро призвать их к порядку. Ну, а после смерти напечатают мои мемуары и душеприказчики смогут, заглянув в письма, подтвердить истинность всего, о чем в них говорится.

Байрон вручил нам письма к греческому правительству на случай, если мы найдем его представителей; в них сказано, что он готов служить Греции, просит разъяснений, каким образом он мог бы исполнить эту миссию, и пр. Когда мы с ним прощались [6 сентября], он сказал напоследок:

— Давайте о себе знать почаще и как можно быстрее возвращайтесь. Если окажется, что тут сплошной фарс, выйдет дополнение к «Дон Жуану», если героика — вы получите еще одну песнь «Чайльд-Гарольда».

Доктор Джеймс Кеннеди

[...] Я сказал, что просматривал «Эдинбургское обозрение». «Вам попались в последних номерах какие-нибудь критические отклики?» — поинтересовался лорд Байрон. Я отвечал, что там есть отклик на трагедии его светлости.

— А, этот жанр оказался мне не по силам; я, верно, не напишу больше ни одной трагедии.

— А вы сами читали этот разбор?

Он ответил, что да, просмотрел.

— Там какие-то намски,— продолжал я.— Или это в «Литерари газет», где удивляются вашим натянутым шуткам: отчего в «Дон Жуане» вы утверждаете, что охотней всего распили бы бутылочку портера с Джеффри, раз уж не судьба насладиться обществом Вальтера Скотта?

— Никаких шуток, они просто ничего не поняли,— сказал лорд Байрон.— Джеффри поначалу сделал грубый промах, но затем сумел его исправить, а с тех пор, как осознал свою ошибку, он куда последовательнее в своей справедливой и достойной критике, нежели многие из тех, кто решительно объявляют себя моими приверженцами. Право же, он сделал для меня даже больше, чем можно было бы ожидать от человека, прежде открыто объявлявшего себя моим врагом; ну, а вражда не должна же длиться вечно.

— Но ведь Джеффри, если не ошибаюсь, порицает вашу светлость,— заметил я,— или, по меньшей мере, сожалеет о многом; отдавая вам должное, он вместе с тем надеется, что вы не станете в дальнейшем касаться таких предметов, как Каин.

— Заметьте,— возразил лорд Байрон,— никто не понял, с какой целью сочинил я «Каина». Неужели я не вправе придать своим персонажам достоверность, истинность, цельность, установленную за ними историей и традицией? Судите сами, абсурдно ведь ожидать от Каина изъяснений набожной покорности, он же братоубийца и бунтарь против Творца своего.

Справедливо, ответил я, однако вас порицают не за то, что в уста Каина вы вложили подобные мысли, а оттого, что достойными чувствами вы не надсдили Авеля и Адама, что послужило бы противодействием разрушительным последствиям, которыми чреваты речи Каина. Мы знаем, что за последствия они за собой способны повлечь.

По крайней мере, повлечь для меня, — сказал лорд Байрон, — коль вспомним, какие вопли раздались со всех сторон от лицесмеров в облачении и без такового; меня не обинуюсь называли вероотступником, а о милосердии и помину не было; и все же я никак не возьму в толк, что уж такого зловердного в моей трагедии.

— Могу указать вам совершенно конкретный пример пагубных ее последствий — мне о нем намеренно рассказал полковник Д[аффи].

— И в чем же дело?

— Полковник читал в газете об одном отчаявшемся, который явился как-то вечером к своему приятелю с вашим «Каином» в руках и декламировал из него пассажи, где ставится под сомнение загробная жизнь и возможность справедливости на зе-

мле, причем просил уделить этим пассажирам особое внимание. А на следующий день этот человек застрелился.

Лорд Байрон помрачнел.

— И где это напечатано?

— В какой-то газете. За истинность рассказа я, впрочем, не поручусь.

— Что ж, — сказал он, — мне очень жаль, даже если все это выдумка. Знай я, что таковы могут оказаться следствия, я бы ни за что не писал свою драму. Надо взглянуть самому, я попрошу Даффи показать мне газету. Уж разумеется, мне менее всего приходило в голову, что сочиненное мною способно причинять зло; а что до Каина, я следовал тому, что сказано о нем в Писании, — он не верует и смело об этом говорит, он кощунствует и совершает подлое убийство; но не могу понять, отчего обо мне самом и о моих чувствах вечно судят по тому, каковы мои персонажи, ведь поэт располагает правом создавать их такими, как он их видит.

— Да, в этом отношении вашей светлости приходится тяжело.

— Но это несправедливо, — воскликнул он, — и так не поступали ни с кем из поэтов.

— Допускаю, — заметил я, — что в нападках на вас заходят слишком далеко, и все же нет ли для них, скажем, некоего внешнего повода? Добродетель, набожность — понятия чрезмерно обыденные, чтобы возбудить живой интерес у большинства людей. В «Дон Жуане» тоже отсутствует какой бы то ни было противовес — не в том смысле, что надлежало покарать скверных персонажей, а в том, что персонажи достойные и добродетельные почти не заметны; ваш герой удачлив, он предается одному пороку за другим, и никто его не поставит на место, когда он издевается над человечеством, погрязшим в грехах и преступлениях.

— Даже и это мое произведение не поняли точно так же, как все прочие, — отвечал лорд Байрон. — Я изображаю человека развратного и беспринципного, я заставляю его возвращаться в общество, прикрывающем своим обманчивым блеском втайне ему присущие и глубоко укоренившиеся пороки, я показываю, к чему по логике вещей приводит засилье подобных проходимцев, которые, кстати, показаны у меня далеко не столь красочно, как следовало бы, если оставаться верным истинам жизни.

— Возможно, вы и правы, однако остается вопрос, какими побуждениями руководствуетесь вы, изображая одни только пороки и безумства.

— Я стремлюсь лишь сорвать тот покров, которым для общества сделались принятые в нем приличия и нормы, скрывающие свойственную ему греховность, и показать это общество таким, как оно есть. Вы не вращались в свете так, как выпало мне;

если бы вам довелось узнать его как следует, если бы вы убедились в том, сколь низменно оно, вы бы тоже пришли к мысли, что необходимо разоблачить это добродетельное лицемерие, явив миру зрелище истинной его природы.

На это я возразил, что и до появления его книги люди, принадлежащие к низшим общественным кругам, вовсе не почитали свет образцом набожности и добродетели; напротив, нам, кому не надо наблюдать блестящее общество непосредственно, кажется, что оно еще более испорчено, нежели на деле.

— Не могу допустить, чтобы ваши понятия о высшем свете Англии, Франции или Италии оказались излишне критическими, ибо нет слов, чтобы передать всю низменность, в нем восторжествовавшую.

— Пусть так, и все-таки, милорд, каким образом ваша книга будет способствовать совершенствованию подобных нравов, как сами вы будете этому способствовать, есть ли у вас на то право, и в каком качестве вы тут намерены выступать?

— У меня те же права, что и у всякого, кому отвратителен порок, заключивший союз с ханжеством, — ответил он.

— Судя по тем песням «Дон Жуана», что я прочел, мораль там отнюдь не очевидна, и мне нелегко заключить, что вы действительно обличаете порок в союзе с ханжеством. Напротив, это откровенное и недвусмысленное воспевание порочности, а повествуете вы так, что ваш Жуан уж вовсе не одиозен.

— Мысль моя в том, — сказал его светлость, — чтобы герой узнал общество в самых разных его обличьях, а читатель увидел, что порок торжествует везде.

— Но мы и так это знаем; а кроме того, не припомнится случая, чтобы сатире удалось отвратить кого-нибудь от порока, приобщив к добродетели. Ваша сатира тоже бесполезна, и при этом она навлечет на вас упреки как со стороны людей нравственных, так и погрязших в грехе; первые примутся вас порицать за то, что не видят в вас истинного реформатора морали, вторые же будут, естественно, раздражены тем, что их пороки выставлены на обозрение.

— Как странно, — сказал он, — что меня обличают со всех сторон: теперь уж не только журнальные критики, но и проповедники. Меня клеймят как провозвестника безверья и аморальности, и получается, что я полностью обманулся в своих ожиданиях, поскольку мною недовольны решительно все. Нечему удивляться, когда заходятся негодованием те, кого я уличил в пороках, но жаль, что бранят меня и люди близких мне взглядов. Рассудите спокойно, — продолжал он с улыбкой, — я ведь как поэт по-своему вам помогаю, стараясь внушить людям мысль, что они не должны довольствоваться своим положением; если

я правильно понял, ваша доктрина в том, что сердце человеческое порочно, я же показываю, что это в самом деле так, даже если человек, на первый взгляд, ведет жизнь блестящую и изысканную; таких людей мне выпало наблюдать больше и лучше, чем большинству других поэтов; и разве написанное мною не сослужит вам добрую службу, убеждая подобную публику в том, что она обречена в грехах и тем самым способствуя вашей проповеди быстрее достичь своей цели?

— Ваша светлость, вы очень изобретательно направили беседу в нужное вам русло, однако меня вы не обманете. Душа человеческая испорчена больше, нежели вы при всех ваших дарованиях способны показать. Между тем вы не указываете несчастным путь к истинной жизни, не внушаете им должного образа мыслей. Вы подобны хирургу, который с дьявольским наслаждением срывает с покрытых язвами пациентов старые повязки, прикрывшие их бесчисленные раны, однако не может предложить им более действенных средств, чем бесполезные мази, а потому оставляет раны открытыми, чтобы они кровоточили, вызывая отвращение, насмешку и негодующие призывы убрать этих несчастных с глаз долой.

— Ну, я не настолько злобен, — возразил мне лорд Байрон. Вы еще увидите, какой неожиданный поворот ожидает читателей моей поэмы.

— Рад буду, если она начнет залечивать те ужасающие рубцы, которые остались после первых ее песен, — сказал я. [...] *Граф Пьетро Гамба*

[Из письма Джеймсу Кеннеди от 21 мая 1824 г.] Однажды в Метаксе он рассказал мне, что после долгого разговора с Вами спросил впрямую: «Так что же, по-вашему, должен я сделать, чтобы прослыть добрым христианином?» Вы ответили: «Преклонить колена и молиться». — «Нет, милый доктор, вы слишком многого хотите».

Леди Байрон

[Из письма Генри Крэббу Робинсону от 5 марта 1855 г.] Из книги доктора Кеннеди мне запомнились только страницы, на которых сообщаются суждения лорда Байрона. Как ни кажется странным, доктор Кеннеди всего увереннее пишет именно о том, что вызывает всего больше сомнений. Не только по тем или другим его высказываниям, но по всему характеру чувствований лорда Байрона я не могла не заключить, что он верует во вдохновляющий пример, явленный Библией, однако разделяет самые несносные кальвинистские представления. Несчастье, каким оказалась его жизнь, я всегда относила за счет этих ложных понятий об отношениях Творца и сотворенного... Мне кажется, довольно указать на то, что полагающий прегрешения свои не-

искупимыми (в глубине души он думал как раз так) обретает праведность, какая неведома грешнику, не помышляющему о собственной греховности, а возможно, и недоступна даже ступившему на путь покаяния. Можете себе представить, до чего ненавистна мне доктрина, заставившая его воспринимать Бога как Мстителя, но не как Отца! Тщетны были все попытки надолго отвлечь его от этих овладевших им мыслей, в которых виделось ему объяснение собственной физической ущербности, воспринятой как клеймо. Ничто истинно доброе не могло внушить ему радость, поскольку он был убежден, что любое благо для него «обернется проклятием». «И самое скверное, — повторял он, — что я ведь верю». Как все, кто близко с ним соприкасался, я ничего не могла подделать, наталкиваясь на эту непоколебимую убежденность в том, что судьба его предначертана. Да простится мне упоминание о том, что он часто повторял мне, будто я ниспослана ему лишь как напоминание о счастье, которого не дано вкушать.

Сентябрь — октябрь 1823 г. Граф Пьетро Гамба

Мы часто вели длительные беседы о положении Греции, и чем явственнее убеждался он в том, что его влияние будет бесполезно в борьбе за возрождение этой страны, тем большее удовлетворение испытывал, думая, что избрал верный образ действий. «Располагая определенной суммой, — говаривал он, — и не имея перед собой ясной задачи, можно ли разумнее распорядиться и временем, и средствами? Я мог бы бестревожно жить, вернее, вести растительное существование в какой-нибудь скучной европейской стране, да велика ли цена наслаждениям, обманывающим, едва страстное желание их удовлетворено? Дружбам хотелось вновь приветствовать меня в Англии, и не исключено, что я бы туда поехал, — возможно, еще и поспе, но лишь с визитом. После восьми лет разлуки меня не устроят ни тамошний климат, ни принятые там порядки». Часто он повторял, что решимость его не ослабнет, если только сами греки не откажутся от его услуг. «В том случае, если Греция погибнет, я погребу себя под ее руинами! — восклицал он. — Если же она обретет независимость, я выберу себе здесь место пребывания — наверно, в Аттике, где я прожил когда-то целых семь месяцев».

Он начал вести дневник (28 сентября), однако заполнял его нерегулярно. Не писал он ничего, кроме писем. «Поэзия, — слышал я от него, — должна оставаться занятием одних лишь праздных людей. Когда есть более серьезные дела, предаваться ей смешно и глупо».

Доктор Генри Мюр

[Из дневника, 10 октября 1823 г.] [...] Л[орд] Б[айрон] сообщил мне, что намеревается написать сто песен «Дон Жуана»,

не меньше, и нападки на него лишь укрепили эту мысль; поэма, в сущности, даже толком не начата, написанные им шестнадцать песен — это не более чем вступление. Отзывы о книге его крайне удивляют, ему-то представлялось, что он сочинил высокоморальное произведение; он, правда, ожидал, что дамам оно не понравится, поскольку в нем срывается *покроф* и показано, что их дьявольские жеманные уловки лишь прикрытие куда более низких страстей и что весь платонизм к одним этим страстям и сводится. Книга им отвратительна, ибо она показывает и клеймит их ханжество.

Заговорили о «Беппо», и он сказал, что поэма эта написана за два дня. Как-то ему случилось за обедом в Венеции услышать рассказываемую в «Беппо» историю, которая на самом деле произошла в соседнем палаццо. «Рассказывали эту историю с очаровательной наивностью, — продолжал он, — и мне она понравилась. Вернувшись к себе на Бренту, я в ту же ночь принялся писать, а два дня спустя вручил «Беппо» Хобхаусу, который тогда находился у меня». Кажется, эти воспоминания доставляют много радости лорду Б[айрону].

Начало ноября — 8 декабря 1823 г. Доктор Юлий Миллинген

Граф Гамба сообщил нам, что его светлость вернулся с загородной прогулки и желает нас видеть. Мы проследовали в наш небольшой лазарет, где он принял нас с величайшей учтивостью и утонченностью, возможно, несколько даже аффектированной, однако достойной самого искушенного царедворца. Выразив свое живейшее одобрение нашей готовности служить на благо Греции и желание помогать нам всеми доступными ему средствами, он добавил, что мы, как он хотел бы надеяться, не станем, в отличие от многих, приписывать его затянувшееся пребывание на Кефалонии тому, что его любовь к Греции начала ослабевать; задерживается же он здесь только оттого, что несмотря на постоянно им получаемые заверения в том, как важно его присутствие, невзирая на предложенный им греческому правительству займ в двадцать тысяч долларов, долгожданная эскадра греков, которой надлежит снять блокаду Миссолонги, все еще не явилась. Кроме того, он ожидает от греческого правительства назначения эмиссаров, которые должны вести переговоры о национальном займе в Англии, и желал бы обсудить с ними этот крайне важный шаг. С целью поторопить руководителей восстания, а также раздобыть надежные сведения о положении в Морее он направил в эту область мистера Хэмилтона Брауна, джентльмена, более всего пригодного, чтобы вести такие дела. Он льстит себя мыслью, что не мог сделать для блага Греции больше того, что к настоящему времени им сделано, сообразуясь с реальными обстоятельствами; по его словам, он твердо намере-

вадется покинуть страну, как только цели, о которых он нам говорил, будут полностью достигнуты.

[...] Чрезвычайно трогательно говорил он о том разочаровании, которое подстерегает каждого поборника греческой свободы, обрисовав крайне жалкое состояние, в каком наблюдал он тех, кто возвращается с полей сражений, где рисковали они самой своей жизнью, терпели жестокие страдания и теряли многих друзей по оружию. «Если вы, господа, позволите себе поддаться тем беспочвенным идеям, которые столь многих побудили сделать шаг, в коем они раскаялись, едва суровая действительность показала, сколь непрочное основание, питающее их надежды,— продолжал он,— вам уготована такая же участь, и ничего иного ожидать не приходится. Но вы сумеете достичь желаемой цели в том случае, если ощутите себя способными служить Греции, каковы бы ни были греки. Тем не менее хочу предостеречь вас: вы избрали себе кумира, отличающегося бесчувственностью; возможно, поклонение этому кумиру, обманывающему вас на каждом шагу, истощится,— пусть тогда чувство самосохранения повелит вам своевременно повернуть назад, не растрачивая попусту жар души».

Все мы горели высокими чувствами к Греции, в ту пору преобладавшими среди англичан, и не могли не пережить глубочайшего потрясения, услышав из его уст нечто столь противоречащее заветным нашим чаяниям, как и декларациям, которым привыкли верить без колебаний; самое ужасное, что исходили эти слова не от кого иного, как от лорда Байрона, которого мы почитали истинным рыцарем, посвятившим себя освобождению греков.

Впоследствии мне предоставилась не одна возможность удостовериться в том, что он, встречаясь с новыми для него людьми, неистово стремился их убедить в собственном благоразумии и холодной расчетливости, направлявшей его действия, которые отнюдь не диктовались романтическими порывами; беседуя же с теми, кого он считал близкими себе, его светлость предпочитал, чтобы замечали естественную его склонность к решениям небанальным и рискованным. Мне он сказал, что было бы желательно, если бы я задержался на Кефалонии, пока он сам не отправится в континентальную Грецию.

[...] Беседуя с ним, я нередко выражал удивление тем, насколько его понятия о греческом характере отличны от тех, что преобладают в Англии, и он как-то заметил: «Удивлять вас это не должно — ведь я постиг дух этого народа путем длительного и внимательного наблюдения, тогда как европейцы судят о нем, вдохновляясь высокими иллюзиями. Должно быть, нет в мире нации, до такой степени униженной и унизившейся, как греки,

к чьим собственным изъянам добавились пороки их угнетателей и те, которые возвращают рабство. Разрушив ненадежные заслоны, мешавшие в полной мере проявиться их аморальности, теперешняя революция предоставила все возможности для того, чтобы стал виден истинный характер греков, и понятно, что она должна была с наглядностью выявить грустное зрелище решительной их непригодности для столь серьезного дела. Даже при разумном правлении потребны огромный труд и время, чтобы вернуть народу его величие, а уж этот народ, поверьте, хуже других поддастся совершенствованию».

Я не скрывал, что меня поражает, каким образом он, держась столь невысокого мнения о греках, решился отринуть покой, дабы отдать делу их освобождения все свое время, свой талант, состояние, да что там, при необходимости и самую жизнь; после длительного молчания он ответил: «Меня бесконечно томило монотонное существование, которое я несколько последних лет вел в Италии; наслаждения прискучили мне; от писания я устал, наверно, больше, чем публика утомилась от чтения моих шедевров. Я испытывал неотступное чувство, что надобно переменить все направление моих мыслей и действий, и вот тогда фантазией моей овладели картины войны, а потребностям души отвестила жизнь бурная, опасная, но истинно величественная. Я направился в Геную; о том, чтобы ехать в Грецию, я тогда вовсе не думал, но едва не отплыл в Испанию, и лишь узнав о падении либерального правительства, о том, что положение там стало безнадежным, удержался от того, чтобы присоединиться к сэру Р. Уилсону, ибо было уже поздно. Однако воинский пыл во мне не поддавался усмирению, и, переменяя первоначальные свои планы, я решился отправиться сюда. В конце концов, даже если новое это служение не принесет мне желанного чувства, что долг мой исполнен, оно, по крайней мере, предоставит мне шанс громко хлопнув дверью, покинуть сей мир, где роль, мною для себя принятая, становилась все более невыразительной».

[...] Вовсе не походя на того погруженного в мрачное безмолвие мизантропа, каким его обычно воображают, лорд Байрон, как он мне запомнился, с охотою толковал о предметах самых легкомысленных и забавных, при этом старательно избегая споров и всего, что могло бы навести на невеселые размышления. Он поминутно острил и обладал даром постоянно менять тему беседы с беззаботностью, легкостью и изяществом поистине несравненными. Мы не уставали поражаться его разговорчивости, подчас граничившей с несдержанностью, когда он рассказывал нам всяческие случаи, приключившиеся с ним самим или с кем-то из друзей, включая дам, к которым он питал самые нежные чувства, кои подобало бы скрывать. Сказанное наверняка мно-

гим покажется измышлением; на это возражу, что свойственные его натуре крайние противоречия не становились менее реальными оттого, что не повторялись в других. Лишь те, кто провел с ним рядом достаточно долгое время, имели возможность удостовериться в том, что природа человеческая подобна Протею, принимающему столь несхожие обличья. Я, ничуть не преувеличивая, должен сказать, что за день он преображался по нескольку раз, словно в разные часы мы видели перед собой в его лице четырех и даже более людей, каждый из которых наделен решительно несовместными свойствами; от природы присущая ему импульсивность побуждала в каждой метаморфозе доходить до возможных предслов. Он становился то безмерно угрюм, то безудержно весел; глубокая меланхолия сменялась самой непридуманной шаловливостью; вслед царственной щедрости являлась прижимистость скряги; он умел быть и бесконечно жизнерадостным, и мизантропичным беспредельно, представлял воплощением мудрости или сущим дитя, демонстрировал высочайший полет утонченной мысли, но тут же впадал в фривольность, а то и пошлость, казался самым очаровательным из людей, чтобы затем ошеломить вспышкой крайнего раздражения. В написанном им отпечаток этого характера, и Чайльд-Гарольд очень точно говорит о нем, каким он был с утра, но Дон Жуан — столь же верно о том, каким становился к полудню.

Чарльз Хэткок

[Из письма доктору Генри Мьюру от 1 июня 1824 г.] Вы помните, как 29 декабря прошлого года после легкой трапезы мы с Вами отправились провожать его на лодке — он был оживлен, весел, он вновь ощущал себя в стихии, которую так любил; мы направлялись к кораблю, который должен был доставить его на Зант и в Миссолонги. Он говорил, что море всегда пробуждает в нем поэтическое чувство, подшучивал над Вашим насупленным, задумчивым выражением лица, а надо мной за то, что я так неумело правил нашим суденышком; дразнил доктора Бруно, но тут же добавил на английском, которого тот не знал: «Он самый простодушный итальянец, какого мне довелось встретить»; смеялся над Флетчером, промокшим до нитки, когда его окатила захлестнувшая лодку волна.

Корабль укрывался от ветра в устье речки, над которой высятся обитель Сан-Константино. Мы попрощались с ним — как выяснилось, навски.

IX. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ: МИССОЛОНГИ

МИССОЛОНГИ

Начало января 1824 г. Доктор Юлий Миллинген

Лорд Байрон сошел на берег 5 января, облаченный в военную форму. Надел он ее впервые, подчеркивая значительность момента и, вне сомнения, желая показать всем, что в Греции намерен предаться прежде всего трудам воина. В доме его все время толклись офицеры, приемная напоминала арсенал, а не уголок, где обитает поэт. По стенам висели пистолеты, мечи, ятаганы, кинжалы, винтовки, ружья, мушкеты, кортики, шлемы, босвые рожки — все это образовывало самые замысловатые фигуры; говорили тут едва ли не исключительно о диспозициях, маневрах, засадах, обходных марш-бросках, атаках, отступлениях, и все это захватывало его, заставляя проводить часы в беседах с местными воителями. Он бывал в местах, где они сражались, и, обладая удивительной памятью, знал тамошний рельеф, часто вызывая их восхищение тем, что с мельчайшими подробностями описывал какой-нибудь горный перевал, особо важный для военных действий, или указывал, сколько миль от одной деревни до другой, входя в такие детали, каких не упомянули бы и местные уроженцы. [...]

18 января 1824 г. Граф Пьетро Гамба

Дождь несколько подутых, однако дороги находились в столь плачевном состоянии, что просохать на лошадях было невозможно. Лорд Байрон и я решили воспользоваться моноксилой — лодкой наподобие каное; это был единственный способ подышать свежим воздухом. Байрон подробно говорил о задуманной им воснной экспедиции к Лепанто. Он признался, что не слишком полагается на своих солдат, однако делать нечего, придется обойтись теми, какие есть, а чтобы они лучше дрались, остается лишь одно — добиться их доверия, убсдив в том, что он на них рассчитывает. «Кроме того, — продолжал он, — у этих полуварваров не должно возникать и тени сомнения в моем личном мужестве». Ему не терпелось поскорее начать кампанию; титул *архистатига*, т. е. главнокомандующего, ему присвоенный, очень забавлял его, но в общем-то, как это ни было для меня неожиданно, романтика всего этого предприятия и заключенная в нем опасность притягивали его несодолимо. Он часто повторял, что не задумываясь рискнет собственной головой, и я, как многие, опасался, не подвергнет ли он себя ненужному риску.

Уильям Флетчер

[Запись Джона Кэма Хобхауса, 2 июля 1824 г.] Флетчер говорит, что лорд Байрон часто подшучивал, утверждая, что его,

наверное, убиты в задуманной экспедиции к Лепанто. Флетчер отвечал, что боится, как бы греки не разбежались, предоставив его господина самому себе. «Ну и что? — возражал Байрон. — Тогда тебе достанутся восемь тысяч долларов и все имущество». В другой раз он сказал: «Флетчер, если я умру в Греции, как ты поступишь?» — «Помилуйте, милорд, разумеется, доставлю ваши останки домой». — «А зачем, — спрашивал Байрон, — тащить жалкий мой труп в эту противную Англию?» Но, подумав, добавлял: «Все-таки, пожалуй, отправь на родину мой прах».

20—22 января 1824 г. Граф Пьетро Гамба

Сегодня утром на рейде не видно ни греческих, ни турецких кораблей. В полдень мы с лордом Байроном отправились на верховую прогулку. Он долго говорил со мной о своей экспедиции [на Лепанто]. Записываю общий смысл им сказанного: «Особых надежд на успех у меня нет, однако надо же что-то делать, хотя бы для того, чтобы найти занятие нам самим и солдатам, не то они обленятся и от праздности примутся учинять беспорядки. Со временем понятия, которые ныне возобладали в Греции, постепенно приведут к неизбежным последствиям не только здесь, но везде. Что до меня, мне никогда не внушала восторга механическая военная дисциплина, ибо она обращает солдата в раба капризных и своекорыстных тиранов. У меня в подчинении дикие воины, какими, должно быть, в старину бывали наши шотландские ратники, и вот таких я и предпочитаю, хотя бы как поэт. Но ехал я сюда не за приключениями, а затем, чтобы помочь возрождению этого народа, униженным своим положением еще более обязывающего каждого, кто не утратил чести, стать на его сторону. Без регулярных войск тут, конечно, не обойтись, но их нужно немного, ведь в такой стране, как Греция, регулярные войска бессильны; впрочем, необученные солдаты тоже хороши лишь оттого, что других нет. Самое главное — это добиться займа, а пока суд да дело, попытаемся установить сильное национальное правительство, которое сумеет разумно распорядиться деньгами, когда мы их получим, — организует армию, наведет порядок в собственной державе, наладит сейчас крепкую оборону, чтобы следующей зимой начать наступательные действия. Ничто так меня не бесит, как все эти будничные мелочи и бесконечные откладывания, однако надо набраться терпения, хотя это и трудно».

21 января. Началась блокада: десять турецких военных кораблей курсируют на рейде Миссолонги. Размышляем о том, как бы их прогнать. Пушек у нас нет, моряков, умевших обращаться с корабельной артиллерией, кажется, тоже. Нет и всего необходимого, чтобы построить судно с пушками. Нам подумалось, что можно напасть на них с лодок под покровом ночи

и хотя бы попортить оснастку, загнав их на отмели и скалы. Все находящиеся здесь свропейцы предлагают нам свои услуги. Лорд Байрон настаивает на том, что нападение возглавит он сам. Он столь решительно высказывается в пользу этого плана, что нам подумалось, не безумие ли сама идея подвергнуть угрозе жизнь такого человека, затеяв крайне рискованное предприятие; мы как могли убеждали его в необходимости отказаться от замышленного, и нам это наконец удалось, хотя с большим трудом, ибо он твердо вознамерился испытать себя настоящей опасностью; ему невыносимо допустить, что кто-нибудь проявит больше героизма, нежели он сам.

22 января. Утром, выйдя из спальни в апартаменты, где находились полковник Стенхоуп и еще несколько друзей, лорд Байрон промолвил с улыбкой: «Вы все сетовали, что я теперь не пишу стихов; нынче мое рождение, а я только что набросал несколько строф, которые, кажется, получились у меня лучше обычного». И он прочел свои прескрасные, полные чувства стихи по случаю дня рождения; оказалось, в дневнике его они записаны под заглавием «22 января. В день, когда мне исполнилось тридцать шесть лет».

Из этих стихов, как из бесед, которые у нас происходят ежедневно, явствует, что все его упования и надежды связаны с благородными побуждениями, заставившими его отправиться в Грецию, и что он решился, «свободной волею влском», либо вкусить здесь сладость победы, либо встретить свой конец. Он и мне не раз повторял: «Каждый волен поступать, как находит верным, — пусть уезжают, я же останусь здесь, и это *решено бесповоротно*». Та же решимость сквозит в его письмах друзьям, и ей сопутствует весьма естественное опасение, что из Греции живым ему не вернуться. Как-то он спросил верного своего слугу Титу, намерен ли тот возвратиться в Италию. «Да, милорд, — отвечал Тита, — если ваша светлость возвращается, я еду с вами». Лорд Байрон усмехнулся и сказал: «Увы, Тита, из Греции мне не вернуться — о том позаботятся либо турки, либо греки, либо здешний климат».

26 января 1824 г. Полковник Лейсестер Стенхоуп

[Из письма Джону Баурингу, от 28 января 1824 г.] Несколько дней назад прибыл десятипушечный бриг «Ретивый» и капитан Йорк, сойдя на берег, потребовал возместить стоимость греческого корабля, который был зафрахтован для доставки в пролив Лепанто провизии и амуниции, но захвачен турками. В настоящее время греческий флот, блокирующий Лепанто, насчитывает пять бригаов, тогда как в самом проливе находятся четырнадцать турецких военных кораблей. По словам капитана, британское правительство не будет считаться с фактом блокады, по-

ка она не приносит желаемых результатов, которые может обеспечить только превосходство в общем количестве пушек. По этим причинам требуют возмещения за понесенный материальный урон, не вникая в особенности положения. Князь Маврокодато отверг эти требования, заявив, что обратится с жалобой к британским уполномоченным; на это капитан в категорической форме потребовал, чтобы убытки были возмещены немедленно, дав срок в четыре часа. Ему выплатили сумму, равную 200 долларам. Лорд Байрон вел переговоры со стороны капитана. Вечером мы с ним обсуждали это дело. Я сказал, что это чистой воды шантаж, не имеющий ничего общего ни со справедливостью, ни с нормами международных отношений. Последовали бурные возражения его светлости. Он утверждает, что в политике несущественны ни законы, ни справедливость, ни право. Возможно, он и прав, однако я никогда не примирюсь с беззаконием. Затем его светлость, как случалось и прежде, принялся обличать господина Бентама. Я возражал, что недостойно поносить личные недостатки Бентама, беседуя с человеком, столь высоко его ценящим. Его светлость сказал, что речь идет только о воззрениях Бентама на общество, представляющих собой плод сухого, но небезопасного умствования, которое уже доказало свою тлетворность, коли вспомнить об Испании, и еще ее докажет здесь, в Греции. Нападки его светлости на теории Бентама я оставил без возражений, однако старался защитить достоинство этого мыслителя. Его светлость не называл ни одного из сочинений Бентама, но высмеивал их все. Я был вынужден задать ему вопрос, что именно его в них не устраивает. Лорд Байрон заметил, что бентамовский Паноптикон — «сухая химера». Но ведь опыты, предпринятые в Пенсильвании, в Милбэнке, о том вовсе не свидетельствуют, сказал я. У Бентама, продолжал я свою мысль, истинно английская душа, тогда как лорд Байрон, с детства исповедуя либеральные воззрения, выказывал себя просто-таки турком, как только дело доходило до практических шагов.

Лорд Байрон: А какие у вас на то доказательства?

Я: Вот вы отправились к князю Маврокодато и восстановили его против журналов; вообще ваше отношение к печати несовместно с либеральными понятиями.

Лорд Байрон сказал, что достаточно ему пошвелить пальцем, чтобы любой журнал утратил всякое влияние.

Я: Раз вы так всемогущи, хотя это, сказать по совести, ваше самообольщение, для чего понадобилось вам восстанавливать князя против печати?

Лорд Байрон резко отозвался обо всех известных ему либералах.

Я: Но каких либералов вы подразумеваете? Понимать ли так, что ваши представления о либерализме и свободном человеке сформировали итальянцы?

Лорд Байрон: Ничего подобного, я почерпнул их у Ханта, Картрайта и других.

Я: Однако это не помешало вам высказаться за картрайтовский билль о реформах и помогать Ханту, высоко отзываясь о его поэтических опытах да к тому же предоставив ему вести дела по продаже ваших сочинений.

Тут лорд Байрон с раздражением сказал, что я еще хуже Уилсона и что мне лучше бы покинуть его отряд. Я отвечал, что считаю себя простым солдатом, но от своих принципов не откажусь.

— Наши принципы диаметрально противоположны, так что лучше прекратим разговор.

— Если вы будете действовать согласно вашим публичным высказываниям, то предстанете величайшим из людей, если же решите поступать наперекор им — жалким ничтожеством.

На это его светлость сказал, что, как он надеется, о его поступках станут судить не по моим меркам.

Я: Уж это несомненно, ибо ваш гений обессмертил вас. Как бы вы ни пали, слава вам не изменит.

Лорд Байрон: Что ж, вы еще будете иметь возможность уверить в собственной неправоте; судите меня по моим деяниям.

Мы расстались; я хотел проводить его в спальню, держа в руках фонарь, потому что надо было пройти темным коридором, но он остановил меня словами: «Послушайте, к чему же указывать истинный путь турку!»

26 января 1824 г. Граф Пьетро Гамба

Мне очень жаль, что достойный полковник не помянул слов, которыми лорд Байрон завершил их спор. Стенхоуп обвинял лорда Байрона в презрении к свободе печати, на что его светлость заметил: «Скажите, что стало бы с греческими газетами без моих денег?» И заключил уже приведенной сентенцией: «*Судите меня по моим деяниям, а не по словам*».

Полковник не мог ни уловить, ни тем более оценить иронии лорда Байрона, особенно в том, что касалось политических теорий господина Бентама; чем насмешливей высказывался Байрон, тем более насупленным выглядел полковник, и споры их почти всегда кончались резкими упреками, на какое-то время выводящими лорда Байрона из себя. При этом мнение его о собеседнике, выказывающем такое чистосердечное стремление к истине, не только не изменялось к худшему, но даже вырастало. Расставаясь с ним как-то после подобного рода дискуссии, лорд Байрон подошел к своему оппоненту со словами: «Вашу

честную руку, противник». Эти два человека были достойны один другого.

[31 января]. Приезжал Маврокодато и провел несколько часов с Байроном. Не следует думать, будто они всегда беседуют лишь о политических вопросах; напротив, их разговор обычно касается общих предметов, и я хорошо помню, как однажды они устроили нечто вроде диспута с целью установить, кто из них лучше осведомлен в турецкой истории. Маврокодато, считающийся большим ее знатоком, требовал от Байрона сведений по генеалогии османских султанов. Когда возникал спор о том или другом событии, в конечном счете выяснялась правота Байрона; память его и вправду на удивление точна. Он вспоминает: «Турецкая история в детстве была одной из книг, доставлявших мне огромное наслаждение, и, видимо, она в сильной степени возбудила последующее мое стремление побывать в Леванте, а также, надо думать, придала восточный колорит, отмечаемый в моей поэзии».

Полковник Лейсестер Стенхоуп

[Из письма Джону Баурингу от 4 февраля 1824 г.] Как Вам известно, султанты не знают чувства родины; это лучшие солдаты в Греции,— но лишь при условии, чтобы им платили за несколько месяцев вперед. Обстоятельства наши таковы, что султанты все время отказываются выступить из Миссолонги [17 января они учинили в городе настоящий бунт] и даже покинуть сераль, где размещаются; впрочем, лорду Байрону удалось заставить их сделать и то, и другое. Аргументы его были вески: он сказал, что если они сию же минуту не выйдут из серала и останутся в Миссолонги вопреки его приказанию, то будут уволены им со службы. Байрона, а в особенности его деньги, султанты уважают. Они подчинились.

[Из письма Джону Баурингу от 7 февраля 1824 г.] Вчера комитет сообщил лорду Байрону, что греческое командование в Миссолонги не располагает силами для того, чтобы предпринять осаду Лепанто. Он полагает, что для этого требуется отряд в 2000 человек и артиллерийский дивизион; восемь пушек дает комитет. Следовало бы переправить сюда артиллерию из Коринфа, а заряды изготовлять непосредственно в Миссолонги.

7—9 февраля 1824 г. Уильям Перри

[...] К вечеру, вернувшись на квартиру, я вновь имел честь долго беседовать с лордом Байроном. Мысли его светлости, видимо, заняты исключительно Грецией и собственным его положением; оно внушает ему чувства, далекие от довольства, что же до ситуации в общем и целом, он на нее смотрит едва ли не с отчаянием.

Должен предупредить, что не пытаюсь передать точные слова

его светлости; речь его столь изысканна, что воспроизвести ее мне не по силам, однако выражаемые им чувства забыть невозможно, ибо на меня они произвели впечатление глубокое и нестираемое. С первого же взгляда он вызвал во мне огромное уважение, смешанное с чем-то наподобие жалости. Его снедало беспокойство, причины которого я не мог понять; иной раз казалось, что он устал и от себя, и от других. Словно бы ему постоянно приходилось иметь дело с разными трудностями, и не было рядом надежного друга, который мог бы сослужить ему добрую службу разумным советом. Иначе я не в силах объяснить, отчего он сразу же удостоил меня такого доверия. Мне было известно, что он любит и умеет командовать, но вдруг явилась нужда довериться незнакомому ему человеку, который не имел на то ни малейших прав, разве что заслужил подобную честь своими годами и страстным желанием служить делу, владевшему душою лорда Байрона безраздельно. Почтительность, мною к нему испытываемая, и проявленное им ко мне доброе расположение — вот причина, отчего он сразу же завладел всеми моими помыслами, как, видимо, удавалось овладевать помыслами солдат покойному императору Наполеону. Я со вниманием ловил каждое его слово, и хотя записаны эти слова у меня не вполне точно, чувства, их согревавшие, будут долго жить в моей памяти.

Разговор его светлость начал с того, что его крайне удивляет задержка с отправкой необходимых для армии припасов. Еще когда он находился в Италии, мистер Блэкиер заверял его, что все нужное будет доставлено в самые сжатые сроки; полагаясь на эти заверения, он отправился в путь, не дожидаясь, пока приготовления будут довершены, — в противном случае он бы так не торопился. Ему пришлось долгое время провести в тоскливом ожидании на Кефалонии; уже там начал он испытывать разочарование, еще более усилившееся, когда он добрался до континентальной Греции. Дошло до того, что ему пришлось нанять судно, отправив его на Кефалонию и Зант с целью разыскать меня и груз, который я должен был доставить, или хотя бы добыть какие-то сведения на сей счет. И он с горечью воскликнул: «Каким же образом попусту потратили столько времени? А теперь, когда вы здесь, — продолжал он, — выясняется, что вы не привезли обещанного. Где конгривские снаряды, о которых так много толковали грскам, обожающим ими стрелять, а ныне обманувшимся в пламенных своих ожиданиях? Зачем смеяться над упованиями, зачем обманывать надежды английского народа? К тому же я думал, что на складах в Миссолонги найдется куда больше, чем оказалось, да и людей, на которых можно положиться, я здесь тоже почти не встретил. Вот привезли печатные и гравировальные станки: еще прежде обнаружилось, что

нет недостатка в сигнальных рожках, равно как в искателях приключений, но такое ли оружие потребно, чтобы драться с турками? По счастью, наконец-то нашелся деловой человек, на которого можно рассчитывать». Я, разумеется, уверил его светлостью, что постараюсь не обмануть ожиданий, им со мною связываемых, со всем рвением и готовностью исполняя посильные мис обязанности, дабы споспешествовать греческому делу. Меж тем его светлость настоятельно просил меня по меньшей мере объяснить, в чем причина задержки. «Ведь комитет направил вас сюда в мое распоряжение, однако я вас ждал уже несколько месяцев назад, отчего вы так долго не сжали?»

Я откровенно рассказал его светлости, как затянулись сборы в Лондоне, а также о том, что комитет не последовал моим рекомендациям, которые могли бы ускорить отъезд на месяц. Упомянул я и о превосходном плане мистера Гордона, однако не смог объяснить, отчего это предложение не возымело в комитете иных последствий, кроме уже мною изложенных. Выслушав меня, он приметно изменился в лице, оно выражало и сильное волнение, и гнев; восторженно отозвавшись о мистере Гордоне, он осыпал остальных насмешками и упресками. «Ах, если бы я знал о его плане! — воскликнул он. — Какая жалость, что не нашлось *ни единого* человека, столь же преданного Греции, как сей джентльмен; я бы без колебаний встал на его сторону и добился, чтобы сюда прислали артиллерийский дивизион, он так тут необходим. Боюсь, помешали тому чьи-то своскорыстные интересы, не то прекрасную мысль этого джентльмена приняли бы единодушно». Затем его светлость указал, что мистер Блэкиер покинул Миссолонги, не дождавшись его, а оставленная им записка крайне невнятна и оскорбительна проявленной в ней небрежностью. «Как это похоже на образ действий очень многих, самозванно присвоивших себе право распоряжаться и греческими, и английскими делами».

Скоро мис стало ясно, что в Греции у лорда Байрона не только нет ни одного друга, но что окружают его люди, которых он не любит и не удостаивает доверием. Он не ведает ни безопасности, ни отдохновения за пределами своего дома, где существование скрашивают ему книги, а также Лев, его собака, и где он чувствует преданность слуг, в особенности заботливого Титы. Ему приходится усмирять и держать в узде строптивых сулитов. Он вынужден постоянно быть начеку, чтобы не стать жертвой интриг тех самых людей, которых одарил своей помощью; открыв для них свой кошелек, он теперь сделался в их глазах превосходной охотничьей дичью. Даже в отношении князя Маврокодато он не испытывает полного доверия. Юный его друг граф Гамба очень неопытен и является для него скорее еще од-

ной обузой, нежели опорой в каждодневных трудах. Офицеры-иностранцы и английские искатели фортуны, питая недовольство, то и дело обращаются к нему с просьбами улучшить их положение и докучают своими сетованиями. Не знаю, получил ли он из Англии уверения в более активной поддержке или сам рассудил, что все необходимое будет поступать бесперебойно, но с самого начала нашего знакомства я ясно видел, что он считает себя обманутым и брошенным на произвол судьбы, чтобы не сказать — преданным сторонниками. Не желая, чтобы в нем видели Дон Кихота и беспочвенного энтузиаста, в разговорах с разными лицами он старается сохранять бодрую мину, пытается подшучивать над собственными затруднениями, дабы прочим не вздумалось насмешничать над ним; иной раз это ему удается, однако в сердце его гнездится ощущение, что он всеми покинут и никому не нужен. Беседуя со мной, он почти всегда был очень озабочен, а когда дело касалось Греции, я чувствовал, что он на грани отчаяния. [...]

Доктор Юлий Миллинген

Сплин, о котором говорят, что обитель его «туманный Альбион», этой зимой нашел бы для себя еще более благодатный климат в Миссолонги. Что ни день идет проливной дождь, а если ненадолго выглянет солнце, ни проехать, ни пройти все равно нет возможности, потому что улицы и дороги затоплены жидкой грязью. Вынуждаемое такими обстоятельствами уединение сильно досаждало лорду Байрону. Многие годы он ежедневно предпринимал верховые прогулки, и привычка эта так в нем укоренилась, что нескольких дней, когда он не мог ее удовлетворить, довольно было, чтобы он ощутил себя несчастным, став раздражителем и замкнут со всеми. Впрочем, он предается другим физическим упражнениям — фехтует, боксирует, не расстается то с эспадроном, то с шотландским палашом, причем демонстрирует высокое искусство; о том, какой он превосходный пловец, знают все и каждый. Просто диву даешься, наблюдая его за этими занятиями. Я слышал, что однажды в Генуе он доплыл до стоявшего на рейде английского броненосца. Поздоровавшись с капитаном, он попросил чашку чая и выпил ее прямо в воде. Потом возвратил чашку и поплыл к берегу, до которого было добрых две мили.

Он похвалялся, что он самый меткий стрелок из пистолета во всей Англии. С оружием он и вправду обращается замечательно; хотя рука его постоянно подрагивает, но точность выстрелов поразительна. Однажды, по его словам, он предложил померяться силами джентльмену, считавшемуся самым метким из лондонских стрелков. Джентльмен выстрелил первым и точно в цель. Потом стрелял лорд Байрон, и его пуля прошла прямо в отвер-

стие, оставленное пулей соперника, вынужденного признать, что встретил по меньшей мере равного себе. Пистолеты были мантоновские — лучшие из лучших.

Уильям Перри

[...] В Греции у лорда Байрона был черный грум, уроженец Америки; его светлость был к нему весьма привязан. Обращаясь к этому слуге, он требовал, чтобы тот обязательно называл хозяина «масса». Однажды грум свел знакомство с двумя женщинами, такими же чернокожими, как он сам; они были рабынями в турецком доме, а когда началось греческое восстание, их освободили, но фактически оставили умирать от голода. Почувствовав в этих несчастных сестер по расе, грум обратился ко мне с просьбой отвести им местечко в казармах. Я разрешил и как-то сказал о том лорду Байрону, которого позабавила проявленная его грумом галантность; его светлость распорядился привести к нему этого слугу наутро в девять часов, чтобы тот объяснил, кто дал ему позволение обращаться ко мне с подобными просьбами.

[...] Меня радовало, что доверие его светлости ко мне день ото дня крепло. Удостоверившись, что я хорошо владею всем, что относится к средствам ведения войны, он попросил меня обучить его кое-каким приемам, необходимым при обращении с различным оружием. К счастью, у меня было с собой несколько книг по математике и достаточно таблиц, содержащих многообразные полезные сведения касательно армейского вооружения, в особенности артиллерии; я сказал, что с удовольствием поделюсь всем, что знаю, и его светлость сделался моим учеником. Он говорил мне, что теперь любая мелочь, касающаяся военного обихода, вызывает у него живой интерес, будь то искусство флотождения или знание законов, потребное, чтобы управлять пехотой; мне довелось сообщить его светлости немало полезного по части оружия.

О том, сколь глубоко ощущал лорд Байрон недовольство собственным положением, говорит постоянно преследовавшее его чувство, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы, глядя на него, другие обманывались насчет истинной природы происходящего в Греции. В наших разговорах он вновь и вновь повторял, что англичанам необходимо знать о греческих делах всю правду; вновь и вновь порицал тех, кто в своих статьях эту правду искажает. Авторы таких статей он именвал не иначе как лжецами и лицемерами, которые норовят ввести в заблуждение и англичан, и самих греков. Полная правда относительно Греции — об этом он со всем свойственным ему красноречием толковал постоянно. Он был того мнения, что без английской поддержки, в особенности денежной, греки не добьются ничего;

а поскольку, уже собрав для греков значительную сумму, англичане в дальнейшем едва ли будут оказывать серьезную помощь, Греции суждено либо возвратиться под турецкое иго, либо сделаться придатком еще какой-нибудь нецивилизованной державы, либо, наконец, на много лет превратиться в сонмище раздора и анархии. Пока шли переговоры о займе и после их завершения, он радовался, что не написал и строки, побуждающей соотечественников на этот заем подписаться. [...]

14 —15 февраля 1824 г. Граф Пьетро Гамба

Толпа недавно прибывших из Морей сулиотов потребовала, чтобы командование назначило им по два генерала, полковника, капитана и т. д. из их числа, так что на четыреста солдат придется не менее полтораста офицеров. Цель их, разумеется, та, чтобы повысилось жалованье. Лорд Байрон пришел в сильнейшее раздражение, заявив, что в дальнейшем отказывается иметь дело с таким народом. Впоследствии мы узнали, что сулиотов инспирировал Колокотрони, обещая им разные выгоды, если они перейдут к нему, покинув Маврокодато.

[15 февраля] Нынче утром за мной прислал Маврокодато; у него сидел Нота Боццари, беззащитно пытавшийся свалить всю вину за теперешние беспорядки на сулиотов, прибывших из Морей. Вскоре появились и другие командиры; по поручению лорда Байрона я со всей определенностью сообщил им, что его светлость удовлетворен, своевременно поняв невозможность преодолеть возникшие между ним и сулиотами раздоры, ибо даже самому неискусному интригану ничего не стоит спровоцировать их на нарушение обязанностей, ими на себя принятых, и отказ исполнить собственные обещания. Удостоверься его светлость в сказанном чуть позже, и не исключено, что могли бы оказаться скомпрометированными греческое дело и он сам. Он питал надежду, что сделанное им могло бы расположить сулиотов к доверию, он предпринимал всевозможные шаги с целью обеспечить им все условия. Однако отныне он не желает иметь с ними дела, впрочем, не раскаиваясь в былом и не прекращая помощи, которая оказывается их семействам. В заключение я как представитель лорда Байрона объявил, что все прежние его приглашения с ними следует рассматривать как не имеющие силы. Обсудив дело, мы пришли к решению, что нужно сформировать новый отряд — как прежде, в шестьсот человек, но не суть важно, к какому из племен они принадлежат; триста солдат поступают под командование Боццари, другие триста — в распоряжение капитана, которого назначит лорд Байрон; действиями всего этого войска будет руководить его светлость вместе со своим адъютантом.

Сказанное я довел до сведения лорда Байрона, который

счел, что при нынешних обстоятельствах это единственно верный выход; его, однако, безмерно удручает необходимость отложить разработанный план атаки Леспанто, хотя успех в настоящее время был бы весьма вероятен. Ввиду дождя вот уж который день ему не удастся покататься на лошади. Неприятности из-за сулиотов крайне его удручили, равно как бесконечные протесты, петиции, требования, с которыми к нему обращаются в любое время дня и ночи, не давая ни секунды покоя и отвлекая от занятий. В семь вечера я по какому-то делу поднялся к нему и застал его лежащим на софе. «Входи,— крикнул он мне,— я не сплю, просто неважно себя чувствую».

В восемь он спустился, чтобы принять полковника Стенхоупа. Заговорили о нашей газете. Всем ясно, что она не даст иноземцам никаких сведений о происходящем в Греции, поскольку печатается на новогреческом, а этот язык известен только очень немногим. Решено было приступить к изданию другой газеты, которая будет выходить на нескольких языках; статьи для нее, среди других, взялся писать сам лорд Байрон. Когда я уходил, он весело беседовал с господином Перри и с полковником, потягивая сидр.

15 февраля 1824 г. Полковник Лейсестер Стенхоуп

[Из письма Джону Баурингу от 18 февраля 1824 г.] Сидя у меня в комнате, его светлость шуточно пикировался с Перри, однако по блеску глаз можно было подчас уловить, что в нем бушуют накаленные чувства. Вдруг он стал жаловаться на боли в ноге, поднялся, но идти не смог и попросил помощи; тут же начались страшные нервные спазмы, и его перенесли на мою постель. Пока длился припадок, его светлость выказывал силу, достойную гиганта, и когда приступ миновал, держался с обычной своей твердостью. Видимо, причина случившегося в его перевозбуждении. Душа Байрона подобна вулкану, в ней бушует пламя, испепеляющее все и вся; достаточно какого-то сильного толчка, чтобы последовал ужасающий взрыв. Что именно так его воспламенило на сей раз, сказать не берусь, если все дело не сводится к очевидной причине, какой явилось провоцирующее поведение сулиотов. Лорд Байрон проявлял в отношении их сказочную щедрость, и как раз в тот момент, когда у него было полностью готов план штурма Леспанто, а из Западной Греции пришла добрая весть, что турецким набегам положен конец, эти неблагодарные потребовали еще болсе повысить им плату, отказываясь выступать и упорствуя в своих домогательствах. Подобная жадность способна остудить и самое энтузиастическое сердце, отданное на служение Греции.

Доктор Юлий Миллинген

Личный его врач доктор Бруно предложил отворить кровь, но,

не добившись согласия пациента, ограничился пиявками к вискам; отток крови был столь обильным, что едва не последовал обморок. Встревожившись, доктор Бруно пустил в ход все свое искусство, чтобы избежать кровоизлияния, однако удача не сопутствовала ему, и лорд Байрон послал за мной; я применил ляпис, и кровь перестала идти. Маленькая операция была весьма болезненной, сделав его раздражительнее обычного и побудив заметить, что «весь этот мир сплошная боль».

Нервы лорда Байрона, от природы несдержанного, что серьезно усугубляется чрезмерным пристрастием к зеленому чаю, а также злоупотреблением лекарствами и слишком беспорядочным образом жизни, уже не могут выдерживать такой встряски — она сразу же вызывает нежелательные последствия. Они подобны туго натянутой струне, которая лопается даже при легком прикосновении. Физическое и душевное его состояние отныне не может не внушать беспокойства. Удивительная выдержка, неиссякаемое остроумие, непринужденная ироничность, столь явственно его отличавшие, теперь дают себя почувствовать лишь изредка, обычно же он погружен в меланхолию, из которой его неспособны вывести никакие увещания. Он убежден, что непоправимо разрушил здоровье неумеренностью во всех своих привычках, что он человек конченный и что силы оставили его навсегда. Каждый час у него темнеет в глазах, начинается учащенное сердцебиение, он впадает в тревогу; иной раз им овладевает такая слабость, что, опасаясь судорог, он спешит послать за врачами. Нервная система постоянно возбуждена, и снять это состояние можно лишь с помощью прописанной ему диеты, требующей ограничений во всем. Как-то, задержавшись у его постели дольше, чем обычно, я попробовал убедить его в том, что, полностью изменив распорядок жизни и строго придерживаясь медицинских рекомендаций, он сможет вернуть себе былое отменное самочувствие, и в качестве примера сослался на знаменитого венецианца Корнаро, который был намного старше, чем он, и здоровья еще более слабого, однако с помощью правильного режима не только восстановил свои силы, но дожил до ста с лишним лет, оставаясь в силе как физически, так и умственно. «Так вы полагаете, — нетерпеливо перебил меня его светлость, — что мне хочется жить? Но я смертельно устал от жизни и рад буду часу, когда прощусь с нею. О чем мне в ней жалеть? Разве принесла она мне настоящее счастье, разве я ею не пресыщен? Немного найдется людей, которые торопились жить так, как я. Меня можно в буквальном смысле считать молодым стариком. Едва переступив порог зрелости, я уже достиг зенита славы. Наслаждение я испытал во всем разнообразии, достигнутом нам, смертным. Я много пострадал, насытив свою

любознательность; я распрощался со всеми иллюзиями; нектар, заключенный в чаше жизни, я выпил до последней капли — там теперь только осадок, пора его выплеснуть. Две картины ныне преследуют меня и мучат. Я вижу себя медленно угасающим на смертном одре, в тяжких страданиях, а то подумается, не кончу ли свои дни подобно Свифту — впад в слабоумие. Молю небо, чтобы оно послало мне возможность с мечом в руках врезаться в турецкий эскадрон и драться так, как способен лишь человек, уставший от жизни, — чтобы конец мой был мгновенным и безболезненным, ибо таково единственное мое желание».

Граф Пьетро Гамба

[Из письма Джеймсу Кеннеди от 24 февраля 1824 г.] На днях он приобрел двух турков-рабов, тут же их освободив; точно так он намерен поступить с двадцатью четырьмя женщинами и детьми, томящимися тут в рабстве с самого дня, когда началась революция. Восьмилетняя девочка не пожелала возвращаться к соотечественникам-туркам и живет теперь с нами. Она прехорошенькая и выказывает признаки отменной одаренности. Милорд предполагает отправить ее в Италию или к сестре в Англию, чтобы она имела возможность получить воспитание, какого не даст ей собственная ее варварская и бездушная страна, где будущее таких детей не внушает надежд. Правда, ему хотелось бы, чтобы несколько месяцев она отдохнула здесь, на островах, подучившись итальянскому и дождавшись весны, прежде чем двинуться в чужие ей края. Если Вы пока не уезжаете, он бы желал отправить ее к Вам на два месяца, доверив заботы о ней Вам и мадам Кеннеди; само собой разумеется, расходы по ее содержанию и воспитанию должны быть отнесены за счет милорда. Прошу Вас ответить поскорее.

Доктор Юлий Миллинген

Еще до отъезда в Грецию лорд Байрон был любимцем простого народа и солдат, а его обращение с ними после того, как он сюда прибыл, было таково, что ему поклонялись, как идолу. Здесь быстро убедились в том, что он друг этой страны не на словах, а на деле; постоянно же проявляемая им участливость и щедрость в отношении угнетенных и бедных, немалые суммы, которые он что ни день жертвовал на пользу самых разных начинаний, споспешствующих, в его глазах, благоденствию, — все это удостоверяло, что о каждом из людей он печется не менее, чем о преуспевании всего общества.

Маврокодато, от природы честолюбивый и завистливый, ощутил, что его авторитет пошатнулся. Начал он с того, что, довольно вяло выказывая одобрение действиям, предпринимаемым его потенциальным соперником, на деле старался, хотя и не афишируя этого, помешать. Его считали виновником конфликта

между лордом Байроном и сулиотами, ибо он опасался, что с такими солдатами тот станет слишком могущественным. При всей дипломатичности князя лорд Байрон хорошо чувствовал, что отношение к нему переменилось; оттого и сам он не высказывался о князе так доброжелательно, как прежде. Недвусмысленная определенность, с какой лорд Байрон дал это понять, и некоторое высокомерие с его стороны во время их встреч лишь еще более убедили Маврокодато, что его намереваются оттеснить на задний план.

Оскорбленный такого рода подозрениями и всем двусмысленным поведением генерал-губернатора, лорд Байрон искал случая показать ему, что не намерен сделаться жертвой его интриг. Как-то под вечер, когда по заведенному обычаю в доме Байрона собрались находившиеся в Миссолонги англичане, которых не переставало притягивать общество его светлости, на самом интересном месте беседу прервал своим появлением Маврокодато. Его светлость принял гостя очень холодно, говорил с ним довольно раздраженным тоном, и хотя Маврокодато затронул дело, представлявшее для лорда Байрона исключительный интерес, упорно старался перевести разговор на другое. Князь же возвращался к тому, с чего начал; лорд Байрон в досаде поднялся и принялся расхаживать по гостиной. Намек не был понят Маврокодато, и, видя это, лорд Байрон не сдержал своего нерасположения, сказав нам по-английски: «Неужели этот болван не чувствует, что сделал бы нам превеликое одолжение своим уходом? Что за доука это его упрямство, как у тех сынов Израиля, которые во дни юности вечно досаждали мне своими нежеланными визитами, выпрашивая денег». Маврокодато все это слышал и понимал каждое слово, впрочем, сочтя за благо сделать вид, будто не заметил эскапады хозяина; беседа продолжалась, словно ничего не произошло, и вскоре Маврокодато удалился, все так же улыбаясь и расточая любезности.

Я заметил лорду Байрону, что князь наверняка все расслышал и понял, на что последовал ответ: «Очень надюсь, что именно так».

Уильям Перри

Вскоре после первого приступа болезни лорда Байрона кто-то сообщил ему, что анатолийские сулиоты толкуют, будто князь Маврокодато отговаривал их наступать на Аспанто. С неизменно отличавшей его прямотой лорд Байрон передал этот слух князю, который поспешил его заверить, что все это измышления врагов. При тогдашнем скверном физическом состоянии лорда Байрона эта история привела его в чрезвычайное возбуждение и потребовались самые решительные старания как с моей сторо-

ны, так и со стороны людей, имевших наибольшее на него влияние, чтобы он успокоился.

17 февраля. Очень надеялись захватить сегодня турецкий бриг, узнав, что этот двадцатидвухпушечный корабль шел на мель всего в шести-семи милях от города. Такие вылазки исключительно по душе грекам, ибо сулят и отмщение, и грабеж; многие из них кинулись к своим лодкам, словно опасаясь, что не успеют к дележу добычи. Но предприятие оказалось не из легких: надо было основательно потрудиться, чтобы корабль попал в наши руки.

У нас было лишь два орудия, способных сразу вступить в действие, — трехфунтовая длинноствольная пушка и гаубица мистера Гордона. Еще были две турецкие пушки, однако постромки обтрепались до того, что пришлось их чинить, и к трем часам с этим еще не было покончено. Я отправился к лорду Байрону, чтобы объяснить, как обстоит дело; он одобрил мои распоряжения и велел все необходимые расходы покрывать из его средств, а когда мы будем готовы к нападению, непременно его известить, чтобы он при сем присутствовал.

Между прочим, его светлость, еще раз выказав свою заботу о том, чтобы соблюдались нормы гуманности, дал мне строгое указание в случае, если будут взяты пленные, позаботиться о сохранении их жизни. С этой целью он предлагает выплатить два доллара за каждого пленного, которого ему доставят живым, а за офицеров еще больше, и берет на себя расходы по их содержанию в Миссолонги, а также по доставке их в безопасное место. Кроме того, зная, как повсдуд себя греки с их любовью к грабежам, он твердо распорядился, чтобы я уберег от повреждений орудия, а также взял под свою защиту и покровительство каждого из захваченных пленных.

...Ранним утром 18 февраля мы начали готовиться к захвату брига. Тем временем еще три турецких военных брига подошли с Патраса и, видя наши приготовления к атаке, сочли за благо отойти подальше в море. С того корабля, который сидит на отмели, сняли матросов и все ценности, какие успели; потом корабль подожгли и отплыли обратно к Патрасу. Корабль сгорел до самой ватерлинии.

Лорд Байрон весьма доволен уничтожением этого судна и осведомляется, серьезный ли ущерб понес противник. Я сказал, что постройка такого корабля обходится примерно в двадцать тысяч долларов, и хотя небольшой бриг для столь могущественной империи, как Турция, не столь уж важно дело, все-таки при наших скромных возможностях это серьезное достижение.

[...] Все это происшествие еще раз свидетельствует, что для

обороны Миссолонги и Анатолики крайне нужны семь-восемь кораблей с пушками на борту. Располагай мы ими, и турецкий флот уже не мог бы, не подвергая себя серьезной опасности, блокировать наше побережье. Обо всем этом я докладывал лорду Байрону, однако его светлость сказал, что бессмысленно снова затевать разговор на такие темы с греками,— они, конечно, изъявят полное согласие и начнут кланчить у него деньги для постройки кораблей, чем все и закончится. Я предложил, если его светлость даст мне соответствующее поручение, представить дело на рассмотрение греческого комитета, прося их доставить нам остовы кораблей, пушки и снаряжение; я готов съездить на остров Гидра, где можно найти все нужное для постройки судов. Его светлость заявил, что не может меня отпустить, ибо в ближайшие три месяца следует ожидать начала кампании, в ходе которой нас ожидают трудности намного более серьезные, нежели в настоящее время.

В четверг 19 февраля снова приступили к работам в арсенале, но продвинулись не слишком далеко, поскольку разразилась ссора между одним из сулиотов и лейтенантом Сассом, пожалуй, лучшим из офицеров-иностранцев; кончилось это тем, что его убили.

Сулиот был арестован, однако тут же освобожден под обещание его капитана расследовать происшествие и учинить справедливый суд. Все случилось так внезапно, что вмешаться не было возможности. Когда о деле узнали в городе, началось всеобщее замешательство; местное население не любит сулиотов и опасается, что пойдут гребежи или, по меньшей мере, между сулиотами и нами вспыхнет настоящая война. В доме лорда Байрона стали готовиться к осаде. Привели в порядок оружие, нацелившись на ворота, все возможные предосторожности нами соблюдены, так что внезапное нападение исключено. Вокруг дома собралась толпа сулиотов, угрожая взять здание штурмом и перебить всех иностранцев. Вскипевшую в них ярость, надеюсь, умерило зрелище нашей готовности к обороне; постепенно страсти улеглись и явилась возможность уладить спор более мирным образом.

Я отправился в арсенал, чтобы расспросить о случившемся; тем временем лорд Байрон призвал к себе всех капитанов из числа сулиотов. Вернувшись, я увидел его облаченным в полную форму полковника, командующего бригадой: вожаки сулиотов тоже были в парадных мундирах, какие носят у них на родине. Выглядели они молодцами, а поскольку несчастливое происшествие способствовало всеобщему возбуждению, представшее мне зрелище впечатляло необыкновенно. Подготовленный мною отчет был зачитан вслух и обсужден обеими сторонами. Лорд Бай-

рон обратился к вожакам; стараниями толмача водворилась тишина, и вожаки дали клятву, что будет соблюдена справедливость. Поднимаясь и надевая сапоги, они отвешивали лорду Байрону глубокий поклон, прикладывали к сердцу обе руки и отправлялись умиротворять своих подчиненных. Было нечто величественное в столь миролюбивом завершении, увенчавшем это мерзкое дело; хотя лорд Байрон все еще чувствует себя нездоровым, немногие, думаю, сумели бы в сложных обстоятельствах проявить такую выдержку и столько достоинства.

Правда, происшествие это глубоко на него подействовало, и, выказав безупречное самообладание, когда необходимо было действовать со всей свойственной ему решительностью, он расплатился за нервную встряску и напряжение тем, что здоровье его ухудшилось. Последствием случившегося для него стала еще более заметная и растущая слабость.

21 февраля 1824 г. Граф Пьетро Гамба

[...] Новое разочарование подстерегало лорда Байрона: нынче утром шесть артиллеристов, прибывших с Перри, объявили о своем намерении возвратиться в Англию. По их словам, на родине им обещали службу в безопасном месте. Байрон пытался их уверить, что случившееся в арсенале — результат несчастливого стечения обстоятельств, что сулиоты уйдут и ничего подобного более не произойдет, да и опасности, по его мнению, вовсе не так уж велики. Аргументы его, однако, не возымели действия; они говорят, что не желают работать, слыша над головой свист ядер, им не хочется сложить здесь головы, так что возвращение на родину для них дело решенное.

Уильям Перри

23 февраля наши несчастья усугубились бунтом немецких офицеров, нанятых лондонским комитетом. Никто из них не желает подчиняться другому, все намерены командовать. Лорду Байрону ясно, что использовать в условиях Греции этих поборников субординации невозможно — сама подобная мысль смешна; он решил распустить отряд и, простившись с этими офицерами, сформировать его заново. Итак, отряд распущен; все — и офицеры, и солдаты — получили месячную плату и вольны уходить, если этого хотят.

Мне представляется, что лорд Байрон действует совершенно правильно. По его словам, как только у нас будет все необходимое для ведения войны — деньги, припасы, оружие и т. д., — можно обучить греков дисциплине, и тогда из них получатся солдаты куда более нам пригодные, нежели эти бароны и рыцари, отправившиеся в Грецию лишь с мечтой о полковничьих или генеральских эполтах. «К тому же, — говорит его светлость, — греки испытывают к этим чужеземцам неистребимое отвраще-

ние; греческому делу они нанесли куда больший урон, чем польза от скромной и неумело примененной помощи».

Джордж Финли

[Из письма полковнику Лейсестеру Стенхоупу от июня 1824 г.] В Миссолонги я прибыл к самому концу февраля, через несколько дней после Вашего отъезда. Лорд Байрон чуть не в первый же вечер рассказал мне о сильном припадке, который намерен с ним приключился у Вас на квартире; он полагал, что это эпилепсия, и был сильно встревожен. Мы с ним не раз возвращались к этому предмету, и весь тот месяц с небольшим, что я находился поблизости, мне постоянно приходилось слышать, как его напугал тот приступ. Наконец я заметил ему, что эпилепсия вовсе не такая уж серьезная болезнь и напомнил, что ею страдал Цезарь. Лорд Байрон с уныньем отвечал, что «если это эпилепсия, второй припадок окажется для меня последним, ибо я просто не смогу более ничего проглотить». Он обещал мне отправить к Одиссею то, в чем не нуждался из присланного комитетом, и, как мне показалось, очень стремился присутствовать на конгрессе в Салониках; целью моего визита как раз и являлось уговорить его и князя Маврокодато принять в этом конгрессе участие.

Пока я жил в Миссолонги, мы днем обычно катались с лордом Байроном на лошадях, а вечерами я навещал его в обществе мистера Фоука.

Обычной темой наших разговоров во время прогулок оставалось положение Греции; не раз он выражал пламенное желание вновь посетить Афины. Я упомянул о том, что недвижимость продается в Аттике за бесценок, и мне пришла мысль приобрести под Афинами несколько вилл. Он отвечал, что, если удастся подыскать что-нибудь подходящее, он бы тоже не прочь обзавестись в Греции собственностью и уполномочивает меня вести переговоры на сей счет от его имени. Я все советовал ему перенести свою штаб-квартиру в Коринф. Иной раз он вроде бы к этому склонялся, замечая, как странно, что, написав поэму о неудавшейся обороне Коринфа, сам он будет в нем обороняться вполне удачно. [...]

Уильям Перри

Я уже упоминал, что в разговорах со мною лорд Байрон держался уравновешенного и серьезного тона; в ином обществе он предпочитал разные выходки и шутки, нередко затрагивая — мне это в нем всегда не нравилось — сюжеты довольно-таки вольные; подобные беседы были пустой тратой времени и никак не способствовали общественному благу. Размовки между нами вызывались исключительно такими его эскападами. Касаясь тем легкомысленных, собеседники зачастую принимались спорить

со всей страстью, и лорд Байрон в таких случаях обнаруживал ту свою несдержанную, взрывчатую натуру, которая, к сожалению, была так для него характерна. Само собой, обходительность, доброта, острый ум ему не изменяли, однако он оказывался не в меру чувствителен к людской хвале и собственный его характер в немалой степени зависел от того, каким было окружение, накладывавшее свой след на облик его и манеры. Мне случалось наблюдать, как он часами расхаживает по кабинету, с жаром почти непрерывно что-то говоря мистеру Финли или мистеру Фоуку или другим господам, столь же склонным к легковесным и фривольным суждениям. Бывало, я попрекал его за подобное времяпрепровождение, но всегда слышал в ответ, что иной раз надо развеяться, предавшись какой-нибудь чепухе. В таких словопрениях было особенно на виду его желание покрасоваться, поразить собеседников циничной шуточкой, рассказать увлекательную, но пустую историю, и он становился излишне откровенен, не говоря уж о том, что многое выдумывал либо преувеличивал. Обстоятельства показали, что я не напрасно просил его быть более сдержанным. После его смерти широко разошлись, оказывая дурную услугу его памяти, именно те истории, которые рассказывались им во время таких вечеринок. Не припомню, чтобы слова, вырвавшиеся в минуту беспечного веселья и, вероятно, не значившие ровным счетом ничего, кроме столь свойственного тогдашним молодым людям шутовства пополам с бахвальством, до такой степени сказались бы на чьей-то репутации. Я очень часто слышал, как он баззаботно предается словесным играм вроде тех, что описаны мистером Медвином, и оттого не следует считать истиной подобным образом выраженные его признания — скорей, они должны бы предостеречь от опасностей, которые таит в себе праздный разговор.

Простые люди наподобие меня, скорей всего, согласятся с тем, что и мне представляется настоящей правдой, а именно, что величайшим несчастьем лорда Байрона явились аристократическое его происхождение и последующее небрежное моральное воспитание. Нелепые предрассудки и еще более нелепые привычки, которыми он обязан этому обстоятельству, так им и не были полностью искоренены. Он был не только поэтом; как все прочие молодые люди его круга, он некоторое время был, что называется, светским человеком, и мнения, в ту пору в нем воспитанные, сложившиеся тогда понятия и самый тон жизни продолжали чувствоваться до самого конца. В его манерах, в самом его обхождении это чувствовалось еще долго после того, как душа его исполнилась презрения к таким условностям. Естественно, что он, как личность, отмеченная печатью гения, являл собой

натуру созерцательную и предпочитающую уединение обществу. В наших с ним беседах его светлость, во всяком случае, представлял человеком глубоко думающим и серьезным, и в то же время наделенным удивительной живостью, остротой ума и проникательностью. С другими, как я уже говорил, он бывал поверхностным, банальным и мелочным. Принятые обычаи того или иного круга обладали над ним немалой властью. И мнения, каких он придерживался в молодые свои годы, и тогдашние привычки держали его в своем плену. На алтарь модной тогда фривольности приносились и его дарования прирожденного лидера, и великий поэтический талант, и редкие его душевные качества. Он знал, что люди, пресерьезно толкующие о пустяках, невыносимо скучны, а поскольку его окружение составляли те, кому не дано было понять высокие его мысли, предпочитал опуститься до их уровня, притворяясь беспечным и ни о чем всерьез не задумывающимся светским повесой.

Даже в той презрительной насмешливости, с какой он подчас отзывался о будничных заботах, равно как делах матримониальных и семейственных, он являлся не более как выразителем понятий того класса людей, к которому принадлежал сам, хотя люди эти, наделенные лицемерием, какое ему вовсе не столь уж было свойственно, обычно не выражали собственные суждения так откровенно. Ненависть его к ханжеству и лицемерию, не раз сквозившая в наших разговорах, была безмерной. Глубокое чувство, питаемое им к дочери и жене, убеждают меня, что он мог бы стать самым преданным из мужей и нежнейшим отцом, не скажи и тут своего слова те пороки, которые явились следствием общественного его положения и воспитания; ими и только ими надлежит объяснить презрение, не раз им выказанное относительно английских понятий о безукоризненной моральной чистоте наших дам. Он судил о том мире, какой представлял ему в салонах. Мне он рассказывал, что однажды его супругу посетили сразу пять дам, с которыми у него в свое время была связь, причем в свете их репутация оставалась блестящей — их никто не осуждал и не пытался закрыть перед ними двери общества; с чего бы ему после этого проникнуться высокими представлениями о женской добродетельности?

Приблизительно в те дни, о которых я веду рассказ, лорд Байрон получил с Ионических островов известие, что выходящая в Миссолонги газета отныне будет распространяться там лишь в очень ограниченном количестве, ибо последний номер содержал тираду, направленную против всех венценосцев. Весть эта привела лорда Байрона в сильное негодование. Его светлость, поначалу помогая наладить издание этого листка, отнюдь не предполагал, что дело дойдет до таких последствий; он менее

всего стремился вмешиваться в споры между греками, однако для него была решительно неприемлемой горстка авантюристов, старавшаяся использовать греческие дела для влияния на европейскую политику. Что касается Греции, он полагал, что надо видеть реально происходящее столкновение цивилизации и варварства, добиваясь, чтобы цивилизация укрепилась. Какое это имеет отношение к теориям государственного устройства, измышляемым людьми, которым не приходится опасаться за собственную жизнь и благополучие, лорд Байрон отказывался понимать; тем более велико оказалось его раздражение, когда он увидел, что его попытки наладить добрые отношения со властями Занта и привлечь на сторону греков внимание и симпатию Европы идут прахом из-за грубого вмешательства каких-то фанатиков теории. Газета, сказал он, издается для кого угодно, только не для греков, ибо из них не найдется и одного на тысячу, кто захочет или способен ее прочесть, а поскольку народу она бесполезна, издатели все усилия прилагали к тому, чтобы завязать обмен суждениями между правительством Ионических островов и властями в Греции, слабыми и не связанными друг с другом. Байрон повторял, что не в силах понять, отчего Греция, безразличная к соперничеству европейских политических партий, должна становиться ареной для потерпевших поражение у себя дома политических интриганов, озбоченных собственными интересами и жаждущих триумфа.

[Дата неизвестна]. Уильям Перри

Попытаюсь привести некоторые суждения лорда Байрона, мною слышанные. [...]

— До следующей зимы я не предполагаю писать, а там, вероятно, закончу еще одну песнь. В ней будет и смешное и трагическое: о первом позаботятся мои славные соотечественники, о втором — Греция. Целую неделю меня мучали припадки, да и удивительно ли — бунт в войсках, сгоревший турецкий бриг, убийство Сасса, землетрясение, гром, молнии, ливень, причем все это в несколько дней; и не припомнится столько событий сразу. Я постараюсь все их запечатлеть в проделках Жуана.

Не раз он повторял:

— Мое положение здесь непереносимо. Город, где на складах ничего нет, греческие вожди без гроша в кармане, да еще этот потоп, когда из дома носа не высунешь, да просители, для которых ничего невозможно сделать, — право, я бы давно сбегал из этой дыры, если бы не появились вы. Теперь я кое-что могу. Миссолонги, Анатолика — вот ключ к Западной Греции, они защищают Морею со стороны Албании. Ах, если бы приняли предложение мистера Гордона! Только так и надо было действовать, и вы бы тогда были здесь месяца на четыре раньше.

Его и моими стараниями можно было достичь всего и здесь укрепился бы союз, а друзья Греции у нас и в Европе ободрились бы надеждой. Но вместо этого нам присылают скудные припасы, да еще авантюристов из англичан или немцев и музыкальные инструменты. [...]

— Как воспринимают в Англии мою деятельность на политической ниве? — как-то спросил он меня. — Слышал, меня называют карбонарием. Что ж, они правы. Италии необходима перемена правительства. При Наполеоне люди там были счастливы, нежели при австрийцах; если я и порицаю карбонариев, то лишь за их просчеты, но не за стремления. Они неспособны питать к австрийцам той ненависти, какую те заслужили; если бы они ненавидели вдвое сильнее, этих угнетателей давно бы изгнали из страны. Я хочу увидеть Италию свободной, а итальянцев — воссоединившимся народом, и значит, я карбонарий.

Меня изображают левеллером и богоотступником, однако я ни то и ни другое: старающиеся меня унижить лучше обратили бы взор на себя самих. Мне они хорошо памятливы; говорят, почтенный джентльмен, любивший произносить филиппики по моему адресу, уличен в таких грехах, какие даже на меня не возводили. А послушали бы вы его гневные речи — о, как отвратительно лицемерие! Хуже нет ничего на свете. Никто не пострадал более меня от обманутой доверчивости, особенно во время несчастливой и так меня гнетущей истории с леди Байрон. Н. считали человеком вполне безукоризненным, а он меня обманывал, хотя в те годы я облекал его самым искренним доверием; впрочем, его уж нет, а я не настолько зол, чтобы мстить мертвым. Вспоминая об этом, я теперь нахожу душевное утешение в таких мыслях, ведь мое поведение было прямым, как полет стрелы, выпущенной из лука, а гонители мои напоминали змей, оставляющих извилистый след.

С самого начала нашего знакомства лорд Байрон в моем присутствии постоянно выказывал интерес ко всему, относящемуся до благоденствия рабочих, а в особенности тех, кто владеет собственными мастерскими.

— Недавно я читал, — сообщил он мне однажды, — что в Лондоне открыли школу, где обучают ремеслу механика. Очень это одобряю и хочу пожертвовать на нужды школы пятьдесят гиней, сопроводив свой дар письмом с пояснениями, какими представляются мне цели такого учреждения. Обычно начинания эти только плодят ложные представления у народа; надо, чтобы в школе действительно готовили механиков, не то для рабочих дело обернется сплошным обманом. Достаточно допустить к управлению школой людей, не имеющих понятия

о механике, и ученики сделаются просто игрушкой в их руках. Настоящих рабочих быстро выгонят, а их мнимые покровители и друзья воспользуются всей этой затеей со своекорыстными целями. Меня бесконечно радует мысль, что эти школы способны пробудить к активности тот природный разум, каким наделены множество людей; если же, как хочется думать, начинаниям такого рода будет сопутствовать успех, старая английская аристократия может надолго обеспечить себе бестревожное будущее. Самая деятельная и самая многочисленная часть населения получит возможность самостоятельно устроить свои дела, и, если ее правильно научить, суждения ее станут безошибочными. На свете нет людей более достойных, нежели те, кто принадлежит к старинному английскому дворянству, а британская конституция наилучшим образом защищает жизнь и собственность подданных трона.

Те механики, те рабочие, которые способны прокормить свои семьи, — это, по-моему, самый счастливый народ. Бедность отвратительна, и тем не менее она, наверное, лучше, чем бессердечный и бессмысленный образ жизни, какому предаются благоденствующие наши сородичи. Какое счастье, что у меня теперь нет с ними ничего общего, и я твердо рассчитываю держаться в стороне от них до самого конца отпущенных мне дней.

[...] — Скажите, Перри, что говорят в Англии о моих семейных делах? Должно быть, посудачили и забыли, как водится, — не такое уж огромное событие.

— Вы заблуждаетесь, — ответил я, — о вас все еще говорят, поскольку публика проявляет ко всему с вами связанному особый интерес. Считается, — продолжал я, — что публичный разрыв между вами и леди Байрон имел своей причиной расхождение в понятиях о вере.

— О нет, Перри, — услышал я в ответ. — Взгляды леди Байрон достаточно либеральны, особенно что касается религии; как жаль, что во дни, когда мы были женаты, я еще не выучился так владеть собою, как сейчас. Прояви я побольше благоразумия и выдержки, и мы бы могли быть счастливы друг с другом. Сразу после венчанья мне хотелось жить в деревне, во всяком случае, пока не устроятся мои денежные дела. Мне было хорошо известно лондонское общество, известно, что на самом деле представляют собой многие респектабельные дамы, с которыми леди Байрон по необходимости пришлось бы соприкоснуться, и я опасался такого общения; однако во мне слишком много материнского — я не терплю, чтобы мною командовали; мне необходимо чувствовать себя ничем не связанным, искусственные ограничения мне ненавистны, поведение мое всегда направлялось чувством — тогда как леди Байрон целиком и полностью при-

надлежит существующим нормам. Она отказывалась поехать верхом, не могла ни пройтись, ни пробежаться, если того не велел доктор. Она оставалась дома, когда меня влекло на природу; а дом был старый, словно облюбованный призраками — я их боюсь, они мне являлись по ночам. Подобное существование для меня было невыносимо. — Тут лорд Байрон резко оборвал собственный рассказ, прибавив только: — Терпеть не могу, когда находят воспоминания о моей семейной жизни; мне приходилось отдсылаться пустячными разговорами, когда этой темы касались случайные мои посетители, от которых я торопился поскорей избавиться, чего бы это ни стоило. Как бы я теперь хотел вновь очутиться в шотландских горах! Я люблю уединение, и поверьте, вы бы от меня не услышали никакого вздора, если бы мое общество всегда составляли люди серьезные и простые.

Лорд Байрон был подвержен яростным всплескам страсти, но то были лишь мимолетные порывы, и я ни разу не видел, чтобы он поддался им безоглядно, совершая какие-нибудь дурные поступки. Мне доводилось слышать из его уст угрозы некоторым лицам, и возможно, в двух-трех случаях они не остались бы только словами, если бы не мое вмешательство. В сильном раздражении он топал ногами, а раза два даже грозил прибегнуть к пистолетам. Но такое состояние было у него редкостью, и, как я говорил, нужно было совсем уж вывести его из равновесия, чтобы последовали подобного рода взрывы, не поддающиеся укрощению.

Очень любил он шутки и розыгрыши, говаривая, что они отвлекают его от неприятных мыслей. Мне не приходилось видеть человека, настолько изобретательного по части разных каламбуров и смешных речений; он превосходно владел языком и специфическими словечками матросов, солдат, торговцев и прочих людей того же разбора, а также так называемым *слэнгом*. Почти всю жизнь деля хлеб моряков и воинов, я сам знал множество подобных выражений, однако ему было известно не меньше этих профессиональных словечек, а к тому же он постиг и жаргон, свойственный людям иных занятий, вовсе мне незнакомый. В наших разговорах он то и дело вставлял морские термины, побуждая и меня поступать таким же образом. Когда я ему рассказывал о своих немудреных приключениях и об известных мне незамысловатых случаях из жизни, он настаивал на том, чтобы я все это излагал так, как их изложил бы профессиональный мореход; думаю, оттого он и находил в этих моих повествованиях больше удовольствия, нежели то, какое почерпнут обычные читатели.

Довольно пристрасно расспрашивал он меня, какие книги

я прочел, что из них понравилось, доставляют ли мне наслаждение стихи. Обычно я отвечал, что почти не располагаю временем для чтения, а если и выпадет свободный час, приходится читать первое, что подвернулось под руку, так как собственной библиотеки у меня никогда не было; мне нравился Шекспир — я называл его Билли Шекспир, и я считал, что никто из нынешних писателей с ним не сравнится. «Как ни много достигли вы, ваша светлость, и другие, до Билли всем вам далеко».

— В этом вы совершенно правы, старина. А все же читали вы кого-нибудь из современных авторов?

— Разумеется; я читал кое-что ваше, к примеру «Дон Жуана»; самое в нем лучшее для людей вроде меня, самое в нашей среде известное — это описание шторма, когда гибнет корабль, мы, механики, люди, добывающие пропитание собственными руками, можем это по-настоящему оценить. Как раз перед отъездом из Англии я прочел еще одну книгу, которая очень мне понравилась, она называется «Уот Тайлер».

— Это пьеса Саути, — сказал его светлость, — и она лучшее из им написанного. Ну, а романы сэра Вальтера Скотта вам попадались?

— Нет, милорд, до них не дошли руки.

— Я питаю глубокое уважение к сэру Вальтеру, однако читал я его так много, что легко могу отделить в этих книгах его собственное от заимствованного у других. Не знаю ни одного писателя, который умел бы так ловко присваивать себе чужие труды. Впрочем, все мы плагиаторы, так как слишком поздно родились. Меня громогласно обвиняли в литературных кражах, но право же, с сэром Вальтером мне по этой части не сравниться. И все равно я испытываю перед ним настоящий пиетет и всегда останусь самым дружеским образом к нему расположен. [...]

Март — апрель 1824 г. Уильям Перри

Едва улеглись волнения последних дней, вызванные слухами, что Маврокодато лично уговаривал сулиотов не выступать на Лепанто в середине февраля, как выяснилось, что затеваются новые интриги с целью склонить греков, которых я немного научил обращаться с орудиями, к выступлению из Миссолонги в Афины. Князь Маврокодато и полковник Стенхоуп не очень ладили друг с другом. Полковник настолько не скрывал своей неприязни к Маврокодато, что и у греков, и у англичан зародилось подозрение, которое поведением Стенхоупа только усиливалось, уж не задумал ли он бросить Миссолонги на произвол судьбы, переправив в Афины все присланное комитетом. Об этом, как было принято, донесли лорду Байрону, усугубив скверное его расположение духа, ибо он и без того простился с полковником, не испытывая к нему особенно дружеских чувств. Он и прежде

склонен был относить все наши незадачи за счет ошибок греческого комитета и его представителей, а когда ему рассказали про странный образ действий назначенного комитетом специального уполномоченного, он в порыве гнева расценил все происходящее как предательство с их стороны, наносящее ему глубокий ущерб. «Какие лицемсы все эти радетсли истинной веры, — восклицал он. — Сколько я уже от них натерпелся, и мне ли не знать, к чему приводит словоблудие мнимых филантропов и поборников прогресса».

К тому времени, т. е. к началу апреля, обстоятельства упорно поворачивались таким образом, что от природы чувствительный лорд Байрон раздражался все более и более, а его надежды на победоносный исход греческой войны слабели день ото дня. Если можно так выразиться, он в большей мере, чем кто бы то ни было, представлял собою человека, полностью погруженного в умственную жизнь. Мысль для него значила много больше, нежели хлеб насущный. Пламенные ожидания, связываемые им с освобождением Греции, не оправдывались, а ведь они были самой его заветной, самой последней мечтой, и оттого он делался все несдержаннее и, да позволено мне будет это сказать, все недальновиднее. Он терял надежды, а с нею угасал и его энтузиазм; создавшееся положение угнетало его, и он мрачнел на глазах. Не оставалось тех духовных стимулов, которые помогли бы ему совладать с собственными усугублявшимися слабостями и с разрушительными физическими последствиями, которые влек за собой скверный климат.

Приученный по многим причинам презрительно отвергать преобладавшие мнения, он, однако же, был целиком и полностью в их власти, когда они совпадали с собственными его чувствами и понятиями. Он понимал, что дело греков в опасности больше, нежели когда бы то ни было, но присущие ему гордость, самолюбие и упрямство побуждали отвергнуть самую мысль об отъезде из Миссолонги куда-нибудь, где опасности не столь велики, а климат не так вреден. Он боялся насмешки, какой встретят в обществе его бегство.

С начала апреля он постоянно жаловался на преследующие его сильные головные боли и растущую вялость. И то и другое не прекращалось еще с первого приступа болезни, но особенно мучительно стало после кровопускания. Когда головная боль отпустила, у него являлась вера, что летом здоровье его поправится. Мне он часто говорил, как утешает его надежда осуществить все задуманное относительно Греции, пожертвовав для этого своим состоянием, но не наделав долгов и сохранив в целости недвижимость. С нетерпением ожидал он, когда установится хорошая погода и начнутся боевые действия, рассчитывая самолично

принять в них участие и возглавить свою бригаду, а также войска, которые предоставит в его командование греческое правительство; ему верилось, что так восстановится нормальное физическое его и душевное состояние. «Не сомневаюсь,—повторял он снова и снова,—что здоровье мое полностью вернется, как только я смогу заняться упражнениями на свежем воздухе». Как жаждал он избавиться от собственной слабости; однако время шло, а обстоятельства не давали ему испытать подобного чувства, и еще до того, как началась кампания, его не стало.

9 апреля 1824 г. Граф Пьетро Гамба

Последние два дня состояние лорда Байрона приметно ухудшалось; недавние события вкуче с дурной погодой сделали его более чем всегда нервозным и угнетенным, однако сегодня утром он получил письма с Занта и из Англии, способствовавшие тому, что он явно ободрился. Ему сообщают, что займ, по всей вероятности, будет предоставлен, а это для всех нас большая радость; ему же особенно приятно было получить добрые вести о дочери и о сестре. Оказалось, что как раз в тот день, когда с ним приключился припадок, сестра его нешуточно занемогла, но теперь болезнь ее уже позади. Известие это привело его в восторг, и он говорит, что совпадение весьма знаменательно. Кажется, ему вообще свойственно придавать чрезмерное значение такого рода случайностям, которые, на его взгляд, ломают бытующие представления о порядке вещей. Из спальни он нынче вышел в ранний час, в руках у него был портрет дочери. Он о ней долго говорил, замечая, что, подобно ему самому в раннем детстве, она предпочитает сказки и разные истории, изложенные не стихами, а прозой; потом речь зашла о том, как странно, что сестра его захворала как раз в тот день, когда у него случился приступ.

Уже три или четыре дня он не катался верхом и решил, не обращая внимания на ужасную погоду, нынче проехаться. Мили за три от города хлынул ливень, мы промокли до нитки, и по возвращении пот катил с него градом. Обычно мы спешиваемся у городской стены и возвращаемся домой на лодке. Сегодня, однако, я умолял его досхать верхом до самого дома; было бы слишком опасно с полчаса мокнуть под ливнем в лодке—всдь на прогулке мы основательно прогрелись. Он, однако, меня не послушался, сказав: «Хорош я буду на поле боя, если начну придавать важность таким пустякам». И, как всегда, мы пересели в лодку.

Через два часа по возвращении его начала бить дрожь, он жаловался на лихорадку и на ревматические боли. Часов в восемь вечера я зашел к нему в спальню—он метался по софе и был настроен угрюмо. Мне он сказал следующее: «Я уже при-

терпелся к боли, и смерть мне не страшна, но не могу переносить эту агонию». Медики предложили отворить кровь, но он ответил отказом: «Неужели вы тем одним и лечите, что пускаете кровь? От ланцетов умирают чаще, чем от ландскнехтов».

14 апреля 1824 г. Граф Пьетро Гамба

Сегодня он спокойнее: лихорадка, с очевидностью, не так сильна, однако он совсем слаб и страдает от головной боли. Хотя погода по-прежнему отвратительная, ему хочется прогуляться верхом или хотя бы на лодке; врачи же это запрещают. Серьезной опасности он не подозревает и говорит, что рад своему недомоганию, поскольку оно, возможно, покончит с угрозой эпилепсии. Пришло много писем; он указал мне, на какие ответить.

Когда я присел к нему на постель, он сказал: «Боюсь, память начинает изменять мне; я попытался вспомнить латинские стихи и английские их переводы, которых не видел со школьных лет. Вспомнил все, кроме последнего слова в одном из гекзаметров».

Уильям Перри

Начиная с 14 апреля мне казалось, что время от времени он впадает в забытие; часто он начинал говорить, что очень хочет прогуляться верхом и сегодня обязательно проедется или совершит прогулку на лодке. Я заметил также, что в разговоре со мной он иногда вставляет итальянскую фразу, как будто беседует с Титой или графом Гамба.

15 апреля болезнь приняла серьезный и опасный характер; теперь я убежден, — не столько смыслом его слов, сколько интонацией, с которой они произносились, — что он отдавал себе отчет в угрозе, над ним нависшей.

Я пришел к нему в семь вечера и провел в его спальне три часа, сидя у постели на стуле. Он полулежал, опираясь о подушки; вид у него был сосредоточенный и спокойный. Мы говорили о многом, непосредственно касающемся до его семьи и его самого; он сообщил свои замыслы относительно Греции и предстоящей кампании, а также поведал мне, чего бы хотел в конечном счете достичь для этой страны. Говорили и о моих делах. Коснулись смерти — он оставался спокоен, словно не веря, что конец его так близок, но что-то в нем появилось особенно серьезное и отрешенное, такая твердость, прежде мною не замечавшаяся; мне не всегда удавалось с собою совладать, и я с трудом сдерживался, замечая, как быстро тают его силы.

— Перри, — сказал он в тот вечер, — мне сегодня очень хотелось вас видеть. Меня преследуют странные ощущения; впрочем, голова моя ясна и мрачные мысли оставили меня, хоть я и не верю в выздоровление. Я вполне собой владею, у меня нет сомне-

ния, что я нахожусь в твердой памяти, но подчас находит такая тоска!

Слово это точно бы вновь обратило его мысли к печальным предметам, и по некоторым его замечаниям можно было догадаться, какие настроения одолевают лорда Байрона, когда он остается в одиночестве.

— Жена моя... Моя Ада... Страна моя! И здесь все так скверно, а уйти мне невозможно, и дни мои, возможно, сочтены — как грустно обо всем этом думать. С тех пор, как болен, я постоянно занимаюсь тем, что размышляю над своими проектами. Прошу вас, доведите до конца постройку шхуны, а когда все будет сделано, мы увенчаем свои труды плаваньем в Америку. Какое наслаждение представить это воочию, прогнав невеселые мысли! Уезжая из Италии, я на палубе брига предавался размышлениям и воспоминаниям, которым ничто не препятствовало. Тогда-то и пришел я к мыслям, вам известным. Я почитаю покой домашнего очага. Нет на земле человека, который испытывал бы к истинно добродетельной женщине большее уважение, нежели я, и перспектива возвращения в Англию к жене и к Аде внушает мне чувство еще не испытанного счастья. Покой для меня значит так много, ведь по сию пору жизнь моя напоминала океан в штормовую погоду.

Затем, подразумевая ближайшее свое окружение, его светлость сказал:

— Сегодня я со вниманием присматривался к тем, кто рядом. Тито — добрейшая душа, но он уж несколько дней в отлучке. Бруно — тоже превосходный молодой человек и врач весьма искусный, но, боюсь, он чрезмерно волнуется. Прошу вас, будьте со мною как можно больше, тогда, глядишь, меня и не залечат до смерти, а если поправлюсь, верьте — жизнь моя переменится. Вас, должно быть, ввели в заблуждение, сказав, будто я сплю, я и глаз не смыкал, не знаю, что это им пришло на ум выдумывать несбыльщину.

Вам трудно вообразить, до чего несуразные мысли лезут в голову, когда начинается лихорадка. То я кажусь себе иудеем, то магомстанином, то каким-то сектантом, который носитя со своей дикой верой. Меня ждут вечность и космос — хвала всевышнему, в вере я тверд. Великое утешение знать, что жизнь никогда не кончится и что никто не исчезает бесследно. Христианство — самая чистая, самая человеческая религия в мире, и худшие ее враги — те бесчисленные доктринеры, которые так докучают человечеству своими придирадками. Я читал Писание куда внимательнее, чем половина из них, и я преклоняюсь перед истинно милосердными, великодушными заповедями Христовыми. Тут есть тайна, которая явлена только всемогущему. Время, беско-

нечность — кому дано это понять, кроме Бога, перед коим склоняюсь.

Если память не изменяет мне, в тот вечер я последний раз видел лорда Байрона спокойным и сосредоточенным. 16 апреля болезнь его стала намного заметнее, он почти весь день бредил. Говорил он то по-итальянски, то по-английски, и смысл его речей был невнятен.

Утром 17-го, когда я снова его увидел, он время от времени забывался тяжким сном. Как все больные, находящиеся в бреду, он горестно сетовал на то, что не может уснуть, и речь его была бессвязной. Он утверждал, что не спит уже больше недели, тогда как на моих глазах время от времени им овладевал беспокойный сон — пусть ненадолго. О смерти он уже не говорил и, вероятно, не задумывался; граф Гамба справедливо предположил, что он, по всей вероятности, не сознает, как близок конец, ибо чувства его слишком расстроены и ему трудно составить себе ясное представление о чем бы то ни было. И вот отрывочные его мысли, родившиеся, когда он был в подобном состоянии, некоторые друзья покойного пытались выдать за истинные воззрения лорда Байрона.[...]

17 апреля 1824 г. Граф Пьетро Гамба

Мне удалось проникнуть к нему в спальню. Вид его сразу же заставлял предположить самое худшее; он был беспредельно спокоен, говорил со мной самым любезным образом о моей опухшей ноге, но все это отсутствующим, замогильным тоном. «Будь осторожней, — сказал он, — я по опыту знаю, как это больно». Я не мог долго задерживаться у его постели — в глазах стояли слезы, и я поспешил уйти.

Сегодня впервые лекари, кажется, осознали всю серьезность положения. Дважды отворяли кровь — утром и в два пополудни; вышло почти два фунта. Впервые я услышал имя некоего доктора Томаса на Занте, к которому надо отправить нашего больного; Флетчер, однако, говорит, что уже предлагал это два или три дня назад, и милорд ответил отказом. Байрона страшно гнетет отсутствие сна; он сегодня сказал доктору Миллингену: «Я знаю, что, лишившись сна, умирают или сходят с ума: умереть в тысячу раз лучше». То же самое он повторил своему слуге Флетчеру.

... Решено поить больного смесью из кларета, коры и опиума, а к ступням приложить горчичники. Байрон выпил чашу охотно, но от горчичников отказался; меня послали его уговаривать, и я поспешил за господином Перри. Когда я вернулся, мне сказали, что он уснул, согласившись на горчичники, но при условии, что их приложат не к ступням.

Проснулся он полчаса спустя. Я хотел к нему подняться, но

недостало мужества. Пошел вместо меня господин Перри; Байрон узнал его, потрепал по руке и пытался высказать последние свои желания. Назывались какие-то имена и, как и прежде, денежные суммы; говорил он то по-итальянски, то по-английски. От тех, кто находился рядом с ним, я знаю, что моментами наступало просветление и можно было расслышать, как он шепчет: «Бедная Греция! Бедный город! Бедные мои слуги!» А потом еще вот что: «Отчего я не узнал обо всем этом раньше?» И: «Час мой пробил! Смерть не страшна мне, но отчего я не побывал на родине, прежде чем ехать сюда?» В другой раз он сказал: «В этом мире есть многое, отчего покидать его жалко; а впрочем, я рад, что умираю». И он опять помянул Грецию: «Ей отдал я свое время, и средства свои, и здоровье, теперь отдаю ей свою жизнь — чего еще можно от меня требовать?»

18 апреля 1824 г. Доктор Юлий Миллинген

С бесконечным сожалением должен сообщить, что, хотя я почти не покидал лорда Байрона в последние дни его болезни, я не помню ни единого хотя бы случайного его упоминания о таинствах религии. Как-то раз я услышал его шепот: «Надобно ли просить о прощеньи?» Вслед долгой паузе последовало: «Полно же, полно, прочь, слабость, мужайся до конца».

18-го он обратился ко мне со словами: «Вы напрасно стараетесь сохранить мне жизнь. Мне время умирать, я это чувствую. И не жалюсь о жизни, я ведь затем и сжал в Грецию, чтобы покончить с томительным своим существованием. Все, чем я располагал, все, что мог, я отдал во имя ее свободы. И вот отдаю жизнь. Прошу вас только об одном. Не нужно, чтобы с телом возились, отправляя в Англию. Пусть кости мои сгниют здесь. Похороните меня, где придется, и постарайтесь обойтись без всякого вздора».

Уильям Перри

В разговорах со мной Байрон не раз спрашивал: «Если вам придется протянуть здесь ноги, желаете ли вы, чтобы ваше тело отослали в Англию, а, старина?» Я отвечал: «Нет, милорд, я об этом не думал». — «Ну, зато подумал я, и давайте договоримся вот о чем. Если я умру в Греции, а вы меня переживете, прошу вас проследить, чтобы тело непременно отправили в Англию, если же наоборот, я беру на себя обязательство исполнить все, что вы перед смертью пожелаете, и позабочусь о ваших детях — они не будут знать нужды ни в чем».

Уильям Флетчер

[Журнал «Вестминстер ревью», июль 1824 г.]. Думаю, его светлость не предчувствовал ожидающей его судьбы вплоть до 18-го, когда он сказал: «Боюсь, тебе и Тите трудно сидеть со мной сутками напролет». 18-го его светлость часто подзывал

меня, выражая сильное неудовольствие тем, как его лечат. Тогда я сказал: «Позвольте мне послать за доктором Томасом», а он ответил: «Пошли, только побыстрее. Жаль, что не позволял тебе сделать это раньше, ибо боюсь, что болезнь мою определили неправильно; напиши ему сам, я ведь знаю, им не захочется, чтобы был еще один лекарь». Я немедля повиновался распоряжению моего господина, а когда сообщил об этом доктору Бруно и доктору Миллингену, они меня одобрили, потому что сами опасались за исход. Когда я вернулся в спальню моего господина, первые его слова были: «Ну что, послал?» — «Исполнено, милорд», — отвечал я, а потом он мне сказал: «Ты хорошо сделал, надо же знать, что со мной такое». Хотя его светлость, видимо, не предполагал, что конец близко, видно было, как он слабеет с каждым часом, и случалось, он даже впадал в забытие. Пробудившись, говорил: «Похоже, дело нешуточное, и если я вдруг умру, послушай, что ты должен непременно сделать». Я отвечал, что все, разумеется, будет сделано, однако я надеюсь, он еще будет долго жить, так что сам выполнит даваемые мне поручения лучше, чем сумел бы я. «Нет, все кончено», — сказал мой господин и добавил: «Нечего терять время, выслушай меня внимательно». Тогда я говорю: «Может быть, вашей светлости угодно, чтобы я принес перо, бумагу и чернильницу?» — «Боже мой, да нет же, к чему терять время, у меня его и так мало, почти уже не осталось». И тут мой господин говорит: «Слушай меня со всем вниманием. О твоём благе позаботятся». Я просил его подумать о вещах намного более важных, и он сказал: «О бедное мое ненаглядное дитя, моя Ада! Великий боже, если бы мне ее увидеть! Передай ей мое благословение, и дорогой моей сестре Августе, и ее детям, а потом ступай к леди Байрон и скажи ей... расскажи ей все, вы ведь в добрых с нею отношениях». В ту минуту его светлость испытывал прилив сильного чувства. Голос изменил ему, и доносились лишь отдельные слова, разделенные паузами, но он что-то продолжал с очень серьезным видом нащупывать, пока ему не удалось довольно громко произнести: «Флетчер, если ты не исполнишь сказанного со всей неукоснительностью, я тебе отомщу с того света, была бы только возможность». Я в замешательстве отвечал его светлости, что не вполне его понял, поскольку не мог разобрать ни слова, и он ответил: «Ах, господи, значит, все напрасно! Теперь уж поздно — но как же так ты ничего не понял?» Я сказал: «Прошу прощенья, милорд, умоляю вас, повторите и наставьте меня». Мой господин говорит: «Но как? Теперь уж поздно, все кончено». Я говорю: «Все во власти божией», а он в ответ: «О да, моя власть уже ничего не значит, а все-таки попробую». И его светлость на самом деле еще несколько раз пытался заговорить, но мог произнести

лишь несколько отрывочных слов вроде таких вот: «Жена моя! дитя мое! сестра моя! вы все знаете — вы все скажете — воля моя вам известна», больше ничего понять не было возможности. Он выразил желание вздремнуть. Я спросил, не позвать ли мистера Перри, и услышал: «Да, да, позови». Мистер Перри просил его собраться с силами. Мой господин был в слезах; вроде бы он начал задремывать. Мистер Перри вышел, надеясь найти его по возвращении окрепшим, но на самом деле то было забытье, предвещающее кончину. Последние слова моего господина довелось мне услышать в 6 часов вечера 18 апреля, когда он вымолвил: «А теперь надо спать», и повернулся к стене, чтобы уже не проснуться.

IV. Русский отклик

Я знаю: в рев балтийского прибоя
Уже проник могучий новый звук —
Неукротимой вольности дыханье!

Байрон. «Дон Жуан»

А. ПУШКИН

К МОРЮ

(отрывок)

Одна скала, гробница славы...
Там погружались в хладный сон
Воспоминая величавы:
Там угасал Наполеон.

Там он почил среди мучений.
И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум.

Исчез, оплаканный свободой,
Оставя миру свой венец.
Шуми, взволнуйся непогодой:
Он был, о море, твой певец.

Твой образ был на нем означен,
Он духом создан был твоим:
Как ты, могущ, глубок и мрачен.
Как ты, ничем неукротим.

Мир опустел...

БЕЙРОН

А. С. Пушкину

But I have lived and have not lived
in vain.¹

Среди Альбиона туманных холмов,
В долине, тиши обреченной,
В наследственном замке, под тенью дубов,
Певец возрастал вдохновенный.
И царская кровь в вдохновенном текла²,
И золота много судьбина дала;
Но юноша, гордый, прелестный,
Высокого сана светлее душой,
Казну его знают вдова с сиротой,
И звон его арфы чудесный.

И в бурных порывах всех чувств молодых
Всегда вольнолюбье дышало,
И острое пламя страстей роковых
В душе горделивой пылало.
Встревожен дух юный; без горя печаль
За призраком тайным влечет его вдаль —
И волны под ним зашумели!
Он арфу хватает дрожащей рукой,
Он жмет ее к сердцу с угрюмой тоской, —
Таинственно струны звенели.

Скитался он долго в восточных краях
И чудную славил природу;
Под радостным небом в душистых лесах
Он пел угнетенным свободу;
Страданий любви исступленной певец,
Он высказал сердцу все тайны сердец,
Все буйных страстей упоенья;
То радугой блещет, то в мраке ночном
Сзывает он тени волшебным жезлом —
И грозно-прелестны виденья.

И время задумчиво в песнях текло;
И дивные песни венчали

¹ Ну что ж? я жил, и жил недаром (англ.).

² Лорд Бейрон происходит от царей: шотландский король Иаков II был его предок по матери. (Прим. И. И. Козлова).

Лучами бессмертья младое чело,—
Но мрака с лица не согнали.
Уныло он смотрит на свет и людей;
Он бурно жизнь отжил весною свосй;
Надеждам он верить страшится;
Дум тяжких, глубоких в нем видны черты;
Кипучая бездна огня и мечты,
Душа его с горем дружится.

Но розы нежнее, свежее лилей
Мальвины красы молодые,
Пленительны взоры сапфирных очей
И кудри ее золотые;
Певец, изумленный, к ней сердцем летит,
Любви непорочной звезда им горит,—
Увядшей расцвел он душою;
Но злоба шипела, дышала бедой,—
И мгла, как ужасный покров гробовой,
Простерлась над юной четою.

Так светлые воды, красуясь, текут
И ясность небес отражают;
Но, встретя камня, мутятся, ревут
И шумно свой ток разделяют.
Певец раздражился, но мстить не хотел,
На рок непреклонный с презреньем смотрел;
Но в горести дикой, надменной
И в бешенстве страсти, в безумьи любви
Мученьем, отрадой ему на земли—
Лишь образ ее незабвенный!

И снова он мчится по грозным волнам;
Он бросил магнит путеводный,
С убитой душой по лесам, по горам
Скитаясь, как странник безродный.
Он смотрит, он внемлет, как вихри свистят,
Как молнии вьются, как громы гремят
И с гулом в горах умирают.
О вихри! о громы! скажите вы мне:
В какой же высокой, безвестной стране
Душевные бури стихают?

С полночной луною беседует он,
Минувшее горестно будит;
Желаньем взволнован, тоской угнетен,

Клянет, и прощаст, и любит.
«Безумцы искали меня погубить,
Все мысли, все чувства мои очернить;
Надежду, любовь отравили,
И ту, кто была мне небесной мечтой,
И радостью сердца, и жизни душой,—
Неправдой со мной разлучили.

И дочь не играла на сердце родном!
И очи ее лишь узрели...
О, спи за морями, спи ангельским сном
В далекой твоей колыбели!
Сердитые волны меж нами ревут,—
Но стон и молитвы отца донесут...
Свершится!... Из ранней могилы
Мой пепел поднимет свой глас неземной,
И с вечной любовью над ней, над тобой
Промчится мой призрак унылый!»

Страдалец, утешься!— быть может, в ту ночь,
Как грозная буря шумела,
Над той колыбелью, где спит твоя дочь,
Мальвина в раздумье сидела;
Быть может, лампы при бледных лучах,
Знакомого образа в милых чертах
Искала с тоскою мятежной,—
И, сходство заметя любимое в ней,
Мальвина, вздыхая, младенца нежней
Прижала к груди белоснежной!

Но брань за свободу, за веру, за честь
В Элладе его пламенует,
И слава воскресла, и вспыхнула месть,—
Кровавое зарево дует.
Он первый на звуки свободных мечей
С казною, и ратью, и арфой своей
Летит довершать избавленье;
Он там, он поддержит в борьбе роковой
Великое дело великой душой —
Святое Эллады спасенье.

И меч обнажился, и арфа звучит,
Пророчица дивной свободы;
И пламень священный ярче горит,
Дружнее разят воеводы.

О край песнопенья и доблестных дел,
Мужей несравненных заветный предел —
Эллада! Он в час твой кровавый
Сливает свой жребий с твоею судьбой!
Сияющий гений горит над тобой
Звездой возрожденья и славы.

Он там!.. он спасает!.. и смерть над певцом!
И в блеске увянет цвет юный!
И дел он прекрасных не будет творцом,
И смолкли чудесные струны!
И плач на Востоке... и весть пронеслась,
Что даже в последний таинственный час
Страдальцу бывшее мечталось:
Что будто он видит родную страну,
И сердце искало и дочь, и жену, —
И в небе с земным не рассталось!

Между маем и июлем 1824 г.

Д. ВЕНЕВИТИНОВ

**ЧЕТЫРЕ ОТРЫВКА
ИЗ НЕОКОНЧЕННОГО ПРОЛОГА
«СМЕРТЬ БАЙРОНА»**

I

Байрон

К тебе стремился я, страна очарований!
Ты в блеске снилась мне, и ясный образ твой,
В волшебные часы мечтаний,
На крыльях радужных летал передо мной.
Ты обещала мне отдать восторг целебной,
Насытить жадный дух добычею веков, —
И стройный хор твоих певцов,
Гремя гармонией волшебной,
Мне издали манил с полуденных берегов.
Здесь думал я поднять таинственный покров
С чела таинственной природы,
Узнать вблизи сокрытые черты
И в океане красоты
Забыть обман любви, забыть обман свободы.

II

Вождь греков

Сын севера! Взгляни на волны:
Их вражьи покрыли корабли,
Но час пройдет — и наши чолны
Им смерть навстречу понесли!
Они еще сокрыты за скалою,
Но скоро вылетят на произвол валов.
Сын севера! готовься к бою.

Байрон

Я умереть всегда готов.

Вождь

Да! Смерть сладка, когда цвет жизни
Приносишь в дань своей отчизне.
Я сам не раз ее встречал.
Средь нашей доблестной дружины,
И зыбкости морской пучины
Надежду, жизнь и все вверял.
Я помню славный берег Хио —
Он в памяти и у врагов.
Средь верной пристани ночуя,
Спокойные магометане
Не думали о шуме браней.
Покой лелеял их беспечность.
Но мы, мы, греки, не боимся
Тревожить сон своих врагов:
Летим на десяти ладьях;
Взвились молнии роковые,
И вмиг зажглись валы морские.
Громады кораблей взлетели, —
И все затихло в бездне вод.
Что ж озарил луч ясный утра? —
Лишь опустелый океан,
Где изредка обломок судна
К зеленым несся берегам
Иль труп холодный, и с чалмою
Качался тихо над волною.

III

Хор

Валы Архипелага
Кипят под злой ватагой;

Друзья! на кораблях
Вдали чалмы мелькают,
И месяцы сверкают
На белых парусах.
Плывут рабы султана,
Но заповедь Корана
Им не залог побед.
Пусть их несет отвага!
Сыны Архипелага
Им смерть пошлют вослед.

IV

Хор

Орел! Какой Перун враждебной
Полет твой смелый прекратил?
Чей голос силою волшебной
Тебя созвал во тьму могил?
О Эвр! вей вестью печальной!
Ревн уныло, бурный вал!
Пусть Альбиона берег дальней,
Трепеща, слышит, что он пал.
Стекайтесь, племена Эллады,
Сыны свободы и побед!
Пусть вместо лавров и награды
Над гробом грянет наш обет:
Сражаться с пламенной душою
За счастье Греции, за месть,
И в жертву падшему герою
Луну поблекшую принести!

(1825?)

П. ВЯЗЕМСКИЙ

БАЙРОН

(Отрывок)

Если я мог бы дать тело и выход из груди своей
тому, что наиболее во мне, если бы я мог извер-
нуть мысли свои на выражение и таким образом
душу, сердце, ум, страсти, чувство слабос или
мощнос, все, что я хотел бы искогда искать,
и все, что ищю, ношу, знаю, чувствую и выды-

хаю, еще бросить в одно слово, и будь это одно слово перун, то я высказал бы его; но, как оно, теперь живу и умираю, не расслушанный, с мыслью совершенно безголосною, влагая ее как меч в ножны...

(«Чайльд-Гарольд». Песнь 3,
строфа ХСУП)

Поэзия! твоё святилище природа!
Как древний Прометей с безоблачного свода
Похитил луч живой предвечного огня,
Так ты свой черпай огонь из тайных недр ея.
Природу заменить вотще труда усилья:
Наука водит нас, она даёт нам крылья
И чадам избранным указывает след
В безвестный для толпы и чудотворный свет.
Счастлив поэт, когда он внял от колыбели
Её таинственный призыв к заветной цели.
Счастлив, кто с первых дней приял, как лучший дар,
Волненье, смелый пыл, неуголимый жар;
Кто детских игр беглец, объятый дикой думой,
Любил паденью вод внимать с скалы угрюмой,
Прокладывал следы в заглохшие леса,
Взор вопрошающий вперял на небеса
И, тайною тоской и тайной негой полный,
Любил скалы, леса, и облака, и волны,
В младенческих глазах горит души рассвет,
И мысли на челе прорезан ранний след,
И чувствам чуждая душа, ещё молодая,
Живёт в предчувствии, грядущим обладая.
Счастлив он, сын небес, наследник высших благ!
Поведает ему о чуде каждый шаг.
Раскрыта перед ним природы дивной книга;
Воспитанник её, он чужд земного ига;
Пред ним отверстый мир; он мира властелин!
Чем далёк от людей, тем мене он один.
Везде он слышит глас, душе его знакомый:
О страшных таинствах ей возвещают громы,
Ей водопад ревет, ласкается ручей,
Ей шепчет ветерок и стонет соловей.
Но не молчит и он: певец, в пылу свободы,
Поэзию души с поэзией природы,
С гармонией земли гармонию небес
Сливает песнями он в звучный строй чудес,
И стих его тогда, как пламень окрыленный,

Взрывает юный дух, еще не пробужденный,
В нем зажигая жар возвышенных надежд;
Иль, как Перуна глас, казнит слепых невежд,
В которых, под ярмом презрительных желаний,
Ум без грядущего и сердце без преданий.
Таков, о Байрон, глас поэзии твоей!
Отважный исполин, Колумб новейших дней,
Как он предугадал мир юный, первобытный,
Так ты, снедаемый тоскою ненасытной
И презря рубежи боязненной толпы,
В полете смелом сшиб Иракловы столпы:
Их нет для гения в полете непреклонном!
Пусть их лобзает чернь в поработеньи сонном,
Но он, вдали прозрев заповедную грань,
Насильства памятник и суевья дань,
Он жадно чрез нее стремится в бесконечность!
Стихия высших дум — простор небес и вечность.
Так, Байрон, так и ты, за грань перескочив
И душу в пламенной стихии закалив,
Забыл и дольный мир, и суд надменной черни;
Стезей высоких благ и благодатных терний
Достиг ты таинства, ты мыслью их проник,
И чудно осветил ты ими свой язык.
Как страшно-сладостно в наречьи сердцу новом
Нас пробуждаешь ты молниеносным словом
И мыслью, как стрелой перуного огня,
Вдруг освещаешь ночь души и бытия!
Так вспыхнуть из тебя оно было готово —
На языке земном несбыточное слово,
То слово, где б вся жизнь, вся повесть благ и мук
Сосредоточились в единый полный звук;
То слово, где б слились, как в верный отголосок,
И жизни зрелый плод, и жизни недоносок,
Весь пыл надежд, страстей, желаний, знойных дум,
Что создали мечты и ниспровергнул ум,
Что намекает жизнь и не доскажет время,
То слово — тайное и роковое бремя,
Которое тебя тревожило и жгло,
Которым грудь твоя, как Зевсово чело,
Когда им овладел недуг необычайный,
Тягчилась под ярмом необычайной тайны!
И если персти сын, как баснословный бог,
Ту думу кровную осуществить не мог,
Утешься: из среды души твоей глубокой
Нам слышалась она, как гул грозы далекой,

Не грянувшей еще над нашею главой,
Но нам вещающей о тайне страшной той,
Пред коей гордый ум немсет боязливо,
Которую весь мир хранит красноречиво!
Мысль всемогуща в нас, но тот, кто мыслит, слаб;
Мысль независима, но времени он раб.
Как искра вечности, как пламень беспредельный,
С небес запавшая она в сосуд скудельный,
Иль гаснет без вести, или сожжет сосуд.
О Байрон! над тобой свершился грозный суд!
И лучших благ земли и поздних дней достойный,
Увы! не выдержал ты пыла мысли знойной,
Мучительно тебя снедавшей с юных пор.
И гроб, твой ранний гроб, как Фениксов костер,
Благоухающий и жертвой упраздненный,
Бессмертья светлого алтарь немой и тленный,
Свидетельствует нам весь подвиг бытия.
Гроб, сей Ираклов столп, один был грань твоя,
И жизнь твоя гласит, разбившись на могиле,
Чем смертный может быть, и чем он быть не в силе.

Между 1824 г. и 1827 г.

В. КЮХЕЛЬБЕКЕР

СМЕРТЬ БАЙРОНА

За небосклон скатило шар
Златое, дневное светило
И твердь, и море воспалило;
По рощам разлился пожар;
Зажженное зыбей зеркало,
Алмаз огромный, трепетало.

Вспылал далекий минарет;
Иман, над прахом возвышенный,
Триkrát провозгласил вселенной:
«Бог только бог — иного нет...»
Услышали; в мгновенье ока
Все пали ниц сыны пророка.

Но душен воздух; стадо туч
Парит над знойною землею;
Погас прощальный солнца луч;

Заснувший холм оделся мглою;
Простерлась всюду тишина;
Взошла багровая луна,

Взошла и посребрила скалы,
Звезда открылась за звездой;
Сеть собрал рыболов усталый,
Орадай поспешил домой;
С высот эфирных в дол и рощи
Толпой слетают духи ночи!

И кто же в сей священный час
Один не мыслит о покое?
Один в безмолвие ночное,
В прозрачный сумрак погружась,
Над морем и под звездным хором
Блуждает вдохновенным взором?

Певец, любимец россиян,
В стране Назонова изгнания,
Немым восторгом обуян,
С очами, полными мечтанья,
Сидит на крутизне один;
У ног его шумит Евксин —

Шумит и белыми рядами
За валом приближает вал;
Встал хладный ветер между скал.
Пронесся стон их над водами;
Скользя поперх свинцовых волн,
Качаясь, реет углый челн.

Змеятся быстрые зарницы;
Бегут и вдруг завесу тьмы
Срывают с мраморной чалмы,
С объятой розами гробницы;
И соловей, любовник роз,
Вспорхнул, слетел с надгробных лоз.

На крае неба город дальный
Чернеет в тусклой белизне:
Не звон ли звукнул погребальный,
Нежданный в общей тишине?
Земля содроглась; в блесках молний,
Дрожа, шатнулись колокольни!

Гром грянул; пышут небеса;
В селеньи стая псов завыла;
Расширив блещущие крыла,
Взревела дикая гроза:
Волк гладный бросил логовище,
Сошлись шакалы на кладбище!

Тогда (но страх объял меня!
Бледнею, трепещу, рыдаю;
Подавлен скорбию, стесня,
Испуган, лиру покидаю!) —
Я вижу — сладостный певец
Во прах повергнул свой венец.

Он зрит: от дальних стран полдневных,
Где возвышался Фебов храм,
Весь в пламени, средь вихрей гневных,
По мрачным, тяжким облакам
Шагает призрак исполина; —
Под ним сверкает вод равнина!

Он слышит: с горней высоты
Глагол раздался чародея!
Волшебный зов, над миром вся,
Созданья пламенной мечты
В лицо и тело облекает;
От Стикса мертвых вызывает!

Земля их кости выдает;
На зов того, кто их прославил,
Их сонм могильный прах оставил,
Взвился, слетелся в хоровод;
Со тьмой слились их одеянья;
О страх! их слышу завыванья!

Всех, всех воскресших вижу вас,
Героев, им воспетых, — тени!
Зловещий Дант, страдалец Тасс
Исходят из подземной сени;
Гяур воздвигся, встал Манфред:
Их озаряет грозный свет.

Стряся с веждей смертный сон,
Встал из бездонного вертепа
Нсистовый сздок Мазепа;

Смущенный вопрошает он:
«Или нас гонит рать Петрова?
Коня! за мной! — помчимся снова!»

Главу свою находит дож
Бессмертную и в гробном прахе;
Он жив, погибнувший на плахе;
Отец народа, страх вельмож:
И вновь за честь злосчастный мститель
Идет в бесчестную обитель,

Туда, где темные рабы,
Пылая жаждой кровопийства,
Готовят гибель и убийства
И цепи рвут с слепой толпы —
И вновь с бесстрашьем неизменным
Он предстоит судьям надменным.

О искры вечного отца!
Огонь святого песнопенья!
Глас вдохновенного певца!
Не мрут в веках твои творенья!
Ничтожен, тленен человек;
Но мысль живет из века в век!

Я зрю блестящее виденье:
Горé парящий великан
Раздвинул пред собой туман!
Сколь дерзостно его течение!
Он строг, величествен и дик!
Как полный мёсяц, бледный лик.

Шумя широкими крылами,
Летит — и скрылся дивный дух.
Так водопад между скалами
Ревет, пугает взор и слух;
Ярьсь, стремится в край надзвездный:
Вдруг исчезает в мраке бездны.

Или единая от звезд,
Отторгшись, мчитсь, льет сиянье
Чрез поле неизмерных мест,
Чрез сумрачных небес молчанье —
И око, зря ее полет,
За ней боязненно течет!

Упала дивная комета!
Потухнул среди туч перун!
Еще трепещет голос струн:
Но нет могущего поэта!
Он пал — и средь кровавых сеч
Свободный грек роняет меч!

Руками закрывает очи
Эллада, мать светлых чад!
Вражда и Зависть, дети Ночи
Ругаться славному спешат ...
Прочь, чернь презренная! — прочь, злоба!
Беги! — не смей касаться гроба

Того, чьи песни и дела
Почтит дальнейшее потомство!
Беги! умолкни вероломство!
Его бессмертью обрекла —
Душой блестящей поражена, —
Не ты, Британия, — вселенна!

Бард, живописец смелых душ,
Гремящий, радостный, нетленный,
Вовек пари — великий муж,
Там над Элладой обновленной!
Тиртей, союзник и покров
Свободой дышущих полков!

Ты взвесил ужас и страданья,
Ты погружался в глубь сердец
И средь волнений и терзанья
Рукой отважной взял венец,
Завидный, светлый, но кровавый,
Венец страдальчества и славы!

И се!.. из лона облаков
Твои божественные братья,
Певцы, наставники веков
Тебя зовут в свои объятия!
Утешься, горестная тень!
Тебе сияет вечный день!

Да мимо идет укоризна!
О! заглуши упреки, стон!
Изгнавшая его отчизна,

Рыдай, несчастный Альбион!
Он пал,— непримирен, в чужбине!
Плачь, сетуй по великом сыне!

Увы! ударит час судьбы!
Веков потоком поглощенный
Исчезнет твой народ надменный,
Или пришельцевы стопы
Лобзать, окован рабством, будет:
Но Байрона не позабудет

Тебя гнетущий властелин;
Он на тебя перстом укажет;
Друзьям, главой поникнув, скажет:
«Ужель родиться исполин
Мог в сей земле, судьбой забвенной?»
И смолкнет, в думу погруженный!

1824 г.

К. РЫЛЕЕВ

НА СМЕРТЬ БЕЙРОНА

О чем средь ужасов войны
Тоска и траур погребальный?
Куда бегут на зов печальный
Священной Греции сыны?
Давно от слез и крови взмокла
Эллада средь святой борьбы;
Какою ж вновь бедой судьбы
Грозят отчизне Фемистокла?

Чему на шатком троне рад
Тиран роскошного Востока,
За что благодарить пророка
Спешат в Стамбуле стар и млад?
Зрю: в Миссолонге гроб средь храма
Пред алтарем святым стоит,
Весь катафалк огнем блестит
В прозрачном дыме фимиама.

Рыдая, вокруг сго кипит
Толпа шумящего народа,—
Как будто в гробе том свобода

Воскресшей Греции лежит,
Как будто цепи вековые
Готовы вновь тягчить ее,
Как будто идут на нее
Султан и грозная Россия...

Царица гордая морей!
Гордись не силою гигантской,
Но прочной славою гражданской
И доблестью своих детей.
Парящий ум, светило века,
Твой сын, твой друг и твой поэт,
Увянул Бейрон в цвете лет
В святой борьбе за вольность грека.

Из океана своего
Тснут лета с чудесной силой:
Нет ничего уже, что было,
Что есть, не будет ничего.
Грядой возлягут на твердыни
Почить усталые века,
Их беспощадная рука
Преобразит поля в пустыни.

Исчезнут порты в тьме времен,
Падут и запустеют грады,
Погибнут страшные армады,
Возникнет новый Карфаген...
Но сердца подвиг благородный
Пребудет для души младой
В могиле Бейрона святой
Всегда звездой путеводной.

Британец дряхлый поздних лет
Придет, могильный холм укажет,
И гордым внукам гордо скажет:
«Здесь спит возвышенный поэт!
Он жил для Англии и мира,
Был, к удивленью вска, он
Умом Сократ, душой Катон
И победителем Шекспира.

Он все под солнцем разгадал;
К гоненьям рока равнодушен,
Он гению лишь был послушен,

Властей других не признавал.
С коварным смехом обнажила
Судьба пред ним людсей сердца,
Но пылкая душа певца
Презрительных не разлюбила.

Когда он кончил юный век
В стране, от родины далекой,
Убитый грустию жестокой,
О нем сказал Европе грек:
«Друзья свободы и Эллады
Везде в слезах в укор судьбы;
Одни тираны и рабы
Его внезапной смерти рады».

1824 г.

И. КЛЮШНИКОВ

ПО ПРОЧТЕНИИ БАЙРОНОВА «КАИНА»

Я здесь один: меня отвергли братья;
Им непонятна скорбь души моей;
Пугает их на мне печать проклятья,
А мне противны звуки их цепей.

Кляню их рай, подножный корм природы,
Кляню твой бич, безумная судьба,
Кляню мой ум — рычаг моей свободы,
Свободы жалкой беглого раба!

Кляню любовь мою, кляню святыню,
Слепой мечты бесчувственный кумир,
Кляню тебя, бесплодную пустыню,
В зачатии творцом проклятый мир!

Неизвестные годы

ИЗ СТАТЬИ «„ЦЫГАНЫ“». ПОЭМА ПУШКИНА»

Весело и поучительно следовать за ходом таланта, постепенно подвигающегося вперед; такое зрелище представляет нам творец поэм: «Руслан и Людмила» и ныне появившейся «Цыганы»; таков и должен быть ход истинного дарования в пору зреющего мужества. Движения жизни в даровании тщедушном могут быть только временны и, так сказать, случайны. Стремление к совершенству возможному, если оно не доля смертного, есть принадлежность избранных натур. Подобное стремление должно быть непрерывно. В поэме «Цыганы» узнаем творца «Кавказского пленника», «Бахчисарайского фонтана», но видим уже мужа в чертах, некогда обозначавших юношу. Видим в авторе более зрелости, более силы, свободы, развязности, и, к утешению нашему, видим еще залог новых сил. Ныне рассматриваемая поэма, или повесть, как хотите назвать ее, есть пока, без сомнения, лучшее создание Пушкина, по крайней мере из напечатанного, потому что мы не вправе говорить о трагедии его, еще не выпущенной в свет. Поэт переносит нас на сцену новую: природа, краски, явления, встречающиеся взорам нашим, незаимствованные; они возбуждают в нас ощущения, еще нам неизвестные, а не такие, которые мы уже давно знаем наизусть; ощущения эти свежи, девственны; впечатления глубоки и всеобъемлющи. Неужели нет здесь ни малейшего подражания? спросит сейчас злонамеренная недоверчивость. Кажется, решительно нет; по крайней мере, нет подражания уловимого, подлежащего уличке. Но нам лично, хотя для того, чтобы поддержать свое мнение, нельзя, впрочем, не признаться, что, вероятно, не будь Байрона, не было бы и поэмы «Цыганы» в настоящем ее виде. В самой форме, или, лучше сказать, в самом отсутствии, так сказать, условленной формы, по коему Пушкин начертил план создания своего, отзывается, может быть, чтение «Гяура». Байрон также, не из лени, не от неумения, не спаял отдельных частей целого, но скорее следовал он такому порядку, или беспорядку, по внутреннему мысли светлой и верного понятия о характере эпохи своей. Единство места и времени, спорная статья между классическими и романтическими драматургами, может быть заменено непрерывающимся единством действия в эпическом или в повествовательном творении. Нужны ли воображению и чувству, сим законным судиям поэтического творения, математическое последствие и прямолинейная выставка в предметах, подлежащих их зрению? Нужно ли, чтобы мысли нумерованные следовали

пред ними одна за другою, по очереди непрерывной, для сложения итога полного и безошибочного? Кажется, довольно отметить тысячи и сотни, а единицы подразумеваются. Путешественник, любясь с высоты окрестною картиною, минует низменные промежутки и объедает одни живописные выпуклости зрелища, пред ним раскинутого. Живописец, изображая оную картину на холсте, следует тому же закону и, повинувшись действиям перспективы, переносит в свой список одно то, что выдается из общей массы. Байрон следовал этому соображению в повестях своих. Из мира физического переходя в мир нравственный, он подвел к этому правилу и другое. Байрон, более всех других чуткий к голосам и требованиям эпохи своей, не мог не отразить в своих творениях и этой знаменательной приметы. Нельзя не согласиться, что в историческом отношении не успели бы мы пережить то, что пережили на своем веку, если происшествия современные развивались бы постепенно, как прежде, обтская заведенный круг старого циферблата; ныне и стрелка времени как-то перескакивает минуты и считает одними часами. В классической старине войска осаждали город десять лет, и песнопевцы в поэмах своих вели подневно военный журнал осады и дежний каждого воина в особенности. В новейшей эпохе, романтической, минуют крепости на военной дороге и прямо спешат к развязке, к результату войны; а поэты и того лучше: уже не поют ни осады, ни взятия городов. Вот одна из характеристических примет нашего времени: стремление к скорым заключениям. От нетерпения ли и ветренности, как думают старожилы, просто ли от благоразумия, как думаем мы, но на письме и на деле перескакиваем союзные частицы скучных подробностей и порываемся к результатам. Как в были, так и в сказке мы уже не приемлем младенца из купели и не провожаем его до поздней старости и, наконец, до гроба, со дня на день исправляя с ним рачительно ежедневные завтраки, обеды, полдни и ужины. Мы верим на слово автору, что герой его или героиня едят и пьют, как и мы, грешные, и требуем от него, чтобы он нам выказывал их только в решительные минуты, а впрочем, не хотим вмешиваться в домашние дела. Между тем заметим, что уже и в старину Буало, сей Магомет классического Корана и не менее того пророк в своем деле, чувствовал выгоду таких скачков; кажется, где-то он говорит про кого-то, что, свергнув иго обязательных переходов, освободился он от одной из величайших трудностей в искусстве писать.

СОЧИНЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА

Из статьи пятой

Итак, источник творческой деятельности поэта есть его дух, выражающийся в его личности, и первого объяснения духа и характера его произведений должно искать в его личности. А это возможно только при строгом соблюдении требования, которое желает Гёте от своего читателя. Всякая личность есть истина, в большем или меньшем объеме, а истина требует исследования спокойного и беспристрастного, требует, чтоб к ее исследованию приступали с уважением к ней, по крайней мере без принятого заранее решения найти ее ложью. Но, скажут, если всякая личность есть истина, то и всякий поэт, как бы ни был ничтожен, должен быть изучаем, по мысли Гёте? Ничуть не бывало! Во-первых, не всякий, кто пишет стихи, выражает свою личность: выражает ее тот, кто родился поэтом; во-вторых, не всякая личность, но только замечательная, стоит изучения; в-третьих, не всякий человек есть личность, но многие люди, по своей безличности, походят на плохо оттиснутую гравюру, в которой, как ни бейся, не отличишь дерева от копны сена, лошади от дома, а деревянного чурбана от человека. Природа ли производит, или воспитание и жизнь делают их такими — это не касается до предмета нашей статьи и далеко отвлекло бы нас, если б мы вздумали об этом рассуждать; нам довольно только сказать, что есть на свете безличные личности, что их, к несчастью, гораздо больше, чем личных, и что чем личность поэта глубже и сильнее, тем он более поэт. Приступить с такими важными сборами к суду над маленьким поэтом — все равно, что описать жизнь какого-нибудь столоначальника в земском суде слогом Плутарха, автора биографий Александра Македонского, Цезаря и других великих людей древности, или, сев в лодку, чтоб покататься по болоту, поставить перед собою компас и разложить морскую карту. Но тем более должно остерегаться приступать без особенного внимания к изучению великого поэта, в творениях которого отражается великая личность. Если вы изучили ее с строгим беспристрастием и поняли верно, вы уже не носитесь, по воле ветра, в воздушных пространствах своей прихотливой фантазии, но стоите твердою ногою на прочной почве; вы уже не требуете от поэта того, чего бы хотелось вам, но оцениваете то, что он сам вам дал; вы не смешиваете с ним себя или другие личности, но видите его самого таким, каким он есть; не навязываете ему своих убеждений или предубеждений, но взвешиваете его идеи, его понятия. Вы сроднились с ним, потому что изучили его; вы по-

любили его, потому что поняли. Вы знаете, почему он шел этим путем, а не другим; вы не объявите его ничтожным, потому что в нем нет ничего общего с Байроном или другим любимым вами поэтом; вы не скажете о нем, что он отстал от века, потому что не читает вашего журнала и не верит вашим заветным, но и сбивчивым, туманным и неопределенным предчувствиям, которые вы смело выдасте за идеи и высшие взгляды. Нет, вы будете судить о нем на основании его личности, будете от него требовать только того, что мог бы он сделать на основании уже сделанного им. Когда вы кончите его изучение, проникнете в сокровенный дух его поэзии, уловите тайну его личности,— тогда правило Гёте, что читатель поэта должен забыть читаемого им поэта, самого себя и весь мир, вы имете право откинуть прочь, как уже лишнее и ненужное. Ваша личность снова вступает в свои права, и вы из ученика делаетесь судьей. Вы требуете от поэта, чтоб он был верен не вами предписанному ему направлению, но своему собственному, чтоб он не противоречил себе самому, своей собственной натуре, не уклонялся от своего призвания (ибо вы поняли его призвание из его же собственных творений, а не навязали ему его от себя), словом, вы требуете от него той внутренней последовательности, которая составляет необходимое условие всякой разумной деятельности. И если вы находите, что он сделал меньше, чем бы мог сделать, меньше, нежели сколько сам дал право требовать от него, что он изменял стремлению собственного духа, вы смело изречете ему свой приговор, и это, однако ж, не помешает вам отдать ему полную справедливость в том, что составляет его неотъемлемую заслугу. Вы отличите в его творениях недостатки произвольные от недостатков, которые тесно соединены с достоинствами его поэзии и составляют их оборотную сторону. При этом вы строго вникнете в обстоятельства, которые, независимо от его воли, не могли не иметь большего или меньшего влияния на его деятельность, и больше всего на дух времени, в которое он явился, на нравственное состояние, в котором он застал общество, и покажете, шел ли он наравне с своим временем, был его хорегом¹ или только старался подпевать под его песни. Обстоятельства его частной жизни только тогда войдут в ваше рассмотрение, когда они будут в живой связи с его творениями. Есть поэты, чья жизнь тесно связала с их поэзией, и есть поэты, чья жизнь важна только нравственная жизнь. Этого различия, вытекающего из свойства личности, не должно терять из вида. Гёте так же нельзя мерить на мерку Байрона, как и Байрона нельзя мерить на мерку Гёте: это были натуры, диаметрально противоположные одна другой, и кто бы ни

¹ Х о р е г — предводитель, глава хора в состязаниях хоров в Древней Греции.

осудил Гёте, что он жил и писал не в таком духе, как Байрон, или наоборот, тот сказал бы величайшую нелепость. Это все равно, что от могучего слона требовать быстроты и ловкости тигра, или наоборот; и слон, и тигр каждый по-своему хорош и необходим в цепи природы. Натуры Гёте и Шиллера были диаметрально противоположны одна другой, и, однако ж, самая эта противоположность была причиною и основой взаимной дружбы и взаимного уважения обоих великих поэтов: каждый из них поклонялся в другом тому, чего не находил в себе. Задача критики состоит совсем не в том, чтоб решить, почему Гёте жил и писал не так, как жил и писал Шиллер; но в том, почему Гёте жил и писал как Гёте, а не как кто-нибудь другой...

Но каким же образом уловить тайну личности поэта в его творениях? Что должно делать для этого при изучении произведений его?

Изучить поэта значит не только ознакомиться, через усиленное и повторяемое чтение, с его произведениями, но и перечувствовать, пережить их. Всякий истинный поэт, на какой бы ступени художественного достоинства ни стоял, а тем более всякий великий поэт, никогда и ничего не выдумывает, но облекает в живые формы общечеловеческое. И потому в созданиях поэта люди, восхищающиеся ими, всегда находят что-то давно знакомое им, что-то *свое* собственное, что они сами чувствовали, или только смутно и неопределенно предощущали, или о чем мыслили, но чему не могли дать ясного образа, чему не могли найти слово, и что, следовательно, поэт умел только выразить. Чем выше поэт, тем есть чем общечеловеческое содержание его поэзии, тем проще его создания, так что читатель удивляется, как ему самому не вошло в голову создать что-нибудь подобное: ведь это так просто и легко! Сочинения, в которых люди ничего не узнают своего и в которых все принадлежит поэту, не заслуживают никакого внимания, как пустяки. На этой-то общности, по которой создание поэта столько же принадлежит всему человечеству, сколько и ему самому, — на этой-то общности и основывается возможность всем и каждому, в ком есть *человеческое* (то есть духовное, разумное), *переживать* произведения художника, изучая их. Пережить творения поэта значит переносить, перечувствовать в душе своей все богатство, всю глубину их содержания, переболеть их болезнями, перестрадать их скорбями, переблаженствовать их радостью, их торжеством, их надеждами. Нельзя понять поэта, не будучи некоторое время под его исключительным влиянием, не полюбив смотреть его глазами, слышать его слухом, говорить его языком. Нельзя изучить Байрона, не быв некоторое время байронистом в душе, Гёте — гётистом, Шиллера — шиллеристом и т. д. Конечно, такое добровольное

подчинение чуждому влиянию есть еще только экстатическое увлечение поэтом, а не спокойное, строгое и истинное его понимание, — и до этого понимания можно дойти только через переход их восторженного увлечения к хладнокровно спокойному созерцанию; но это увлечение поэтом есть первый и необходимый момент в процессе его изучения. И потому нельзя в одно время изучить более одного поэта, нельзя на это время не считать его выше всех других поэтов, нельзя не утратить своей способности понимать произведения других поэтов и восхищаться ими. Когда одна великая мысль до такой степени обоймет и наполнит собою человека, что делается костью от костей его, плотью от плоти его, — в душе человека уже нет места для другой мысли!

Общечеловеческое безгранично только в своей идее; но, осуществляясь, оно принимает известный характер, известный колорит, так сказать. Оттого, хотя все великие поэты выражали в своих созданиях общечеловеческое, однако ж творения каждого из них отличаются своим собственным характером. Велик Шекспир и велик Байрон; но резкая черта отличает творения одного от творений другого. Чем выше поэт, тем оригинальнее мир его творчества, — и не только великие, даже просто замечательные поэты тем и отличаются от обыкновенных, что их поэтическая деятельность ознаменована печатью самобытного и оригинального характера. В этой характерной особенности заключается тайна их личности и тайна их поэзии. Уловить и определить сущность этой особенности — значит найти ключ к тайне личности и поэзии поэта.

В. А. ЖУКОВСКИЙ

ИЗ ПИСЬМА К Н. В. ГОГОЛЮ

...Обратим взор на Байрона — дух высокий, могучий, но дух отрицания, гордости и презрения. Его гений имеет прелесть Мильтонова сатаны, столь поражающего своим помраченным величием; но у Мильтона эта прелесть не иное что, как поэтической образ, только увеселяющий воображение; а в Байроне она есть сила, стремительно влекущая нас в бездну сатанинского падения. Но Байрон сколь ни тревожит ум, ни повергает в безнадежность сердце, ни волнует чувственность, его гений все имеет высоту необычайную (может быть, от того еще и губительнее сила его поэзии): мы чувствуем, что рука судьбы опрокинула создание благородное и что он прямодушен в своей всеобъемлющей ненависти — перед нами титан Прометей, прикованный к скале Кавказа и гордо клянувший Зевеса, которого коршун рвет его внутренность.

Но что сказать о... (я не назову его, но тем для него хуже, если он будет тобою угадан в моем воображении), что сказать об этом хулители всякой святости, которой откровение так напрасно было ему ниспослано в его поэтическом даровании и в том чародейном могуществе слова, которого, может быть, ни один из писателей Германии не имел в такой силе! Это уже не судьба, разрушившая бедствиями душу высокую и произведшая в ней бунт против испытующего бога, это не падший ангел света, в упоении гордости отрицающий то, что знает и чему не может не верить — это свободный собиратель и провозгласитель всего низкого, отвратительного, это полное отсутствие чистоты, нахальное ругательство над поэтической красою и даже над собственным дарованием ее угадывать и выражать словом, это презрение всякой святости и циническое, бесстыдно-дерзкое противу нее богохульство, дабы, оскорбив всех, кому она драгоценна, угодить всем поклонникам разврата, это вызов на буйство, на неверие, на угождение чувственности, на разнуздание всех страстей, на отрицание всякой власти — это не падший ангел света, но темный демон, насмешливо являющийся в образе светлом, чтобы прелестью красоты заманить нас в свою грязную бездну. Не произнося анафемы над человеком, нельзя не предать проклятию такого злоупотребления лучших даров создателя. Сколько непорочных душ растлила эта демоническая поэзия, обезобразившая перед нами божий лик, напечатленный в творении, и загрязнившая в самом источнике жизнь их, предав ее одной грубой чувственности.

Из всего сказанного выше легко определить, что такое дело поэта — как в тесном, так и в обширном его значении. С одной стороны, то есть, в тесном смысле *художественного произведения*, оно состоит в одном *исполнении*, более или менее совершенном, *условии искусства*, с другой, то есть в обширном смысле самого *художества*, оно заключает в себе и *действие*, производимое духом поэта. Подтверждая здесь то, что так прекрасно и справедливо сказал ты в письме своем, назвав искусство *примирением с жизнью*, спрашиваю: поэзия в наше время соответствует ли этому определению? Нет! Поэзия нашего времени имеет и весь его характер — характер вулканической разрушительности в *корифеях* и материальной плоскости в их *последователях*. Уже нет той поэзии, которая некогда была возвеличением, убранством и утехой жизни, которая с одной стороны стремилась душу к высокому, идеальному и благородствовала жизнь, украшая ее строгою, часто печальную существенность лилейным венком надежды, а с другой беззаботно играла с жизнью, забавляя ее, как младенца, фантастическими созданиями, светлыми видениями, подобными в красоте своей минутным цветам луга, радующим взор

и претворяющим в благовоние воздух. Такое беззаботное наслаждение поэзисю теперь называется ребячеством. Меланхолическая разочарованность Байрона, столь очаровательная в его изображениях и столь пленяющая глубокою (хотя иногда и вымышленною) грустью поэта — истощившись в приторных подражаниях — уступила место равнодушию, которое уже не презрение и не богохульный бунт гордости (в них есть еще что-то поэтическое, потому что есть сила), а пошлая расслабленность души, произведенная не бурей страстей и не бедствиями жизни, а просто неспособностью верить, любить, постигать высокое, неспособностью предаваться какому бы то ни было очарованию. Это самодельное равнодушие, которым так кокетствуют в наше время поэты, относится к мрачной разочарованности Байрона, как мелкая, искусственная развалина небывалого замка к огромным обломкам Колизея, сокрушенного силою веков, набегами народов и молниями неба. Теперь поэзия служит мелкому эгоизму; она покинула свой идеальный мир и, вмешавшись в толпу, потворствует ее страстям, льстит ее деспотическому буйству и, променяв таинственное святилище своего храма (к которому доступ бывал отворен одним только посвященным) на шумную торговую площадь, пост возмутительные песни толпящимся на ней партиям.

Не должно ли, смотря с унынием и тревогою на то, что кругом нас происходит, терять веру в поэзию и в ее великое земное назначение? Нет! и посреди судорог нашего времени, не забываясь о славе, ныне уже несланной и даже невозможной (послику она раздастся всем и каждому, на площади, подкупными судьями в отрешьях), не думая о корысти, которая всех очумила, поэт, верный своему призванию, скрываясь от толпы, исповедует своему гению:

Не счастья, не славы здесь
Ищу я — быть хочу крылом могучим,
Подъсмлющим родные мне сердца
На высоту, — зарей, победу дня
Предвозвещающей, великих дум
Воспламенителем, глаголом правды,
Аскарством душ, безверием крушимых,
И сторожем нетленной той завесы,
Которою пред нами горний мир
Задернут, чтоб порой для смертных глаз
Ее приподымать и святость жизни
Являть во всей ее красе небесной —
Вот долг поэта, вот мое призванье!

Он не впадает в разочарованность, видя, как торжествуют разочарователи; он думает про себя:

Что мне до них,
Бесчувственных жильцов земли иль дерзких
Губителей всего святого! Мне
Они чужие. Для чего творец
Такой им жалкий жребий избрал, это
Известно одному ему; он благ
И справедлив; обителей есть много
В дому отца -- всем будет воздаянье.
Но для чего сюда он их послал --
О, это мне понятно. Здесь без них
Была ли бы для душ, покорных богу,
Возможна та святая брань, в которой
Мы на земле для неба созреваем?
Мы не за тем ли здесь, чтобы средь тяжких
Скорбей, гонений, видя торжество
Порока, силу зла, и слыша хохот
Бесстыдного разврата иль насмешку
Безверия, из этой бездны вынести
В душе неоскверненной веру в бога?..
Поэзия религии небесной
Сестра земная, светлоручезарный
Маяк, самим создателем зажженный,
Чтоб мы во тьме житейских бурь не сбились
С пути. Поэт, на пламени его
Свой факел зажигай! Твои все братья
С тобою заодно засветят каждый
Хранительный свой огонь, и будут здесь
Они во всех странах и временах
Для всех племен звездами путевыми;
При блеске их, что б труженик земной
Ни испытал -- душой он не падет,
И вера в лучшее в нем не погибнет.
И пусть разрушено земное счастье,
Обмануты ласкавшие надежды
И чистые обруганы мечты...
Об них ли сетовать? Таков удел
Всего, всего прекрасного земного!..
Но не умрет живая песнь твоя;
Во всех веках и поколениях будут
Ей отвечать возвышенные души...
Поэт! Будь тверд! Душою не дремли!
Поэзия есть Бог в святых мечтах земли.

О ПРАВДЕ И ИСКРЕННОСТИ В ИСКУССТВЕ

Раздел IV

Что касается до Байрона, то есть большая разница между понятием о Байроне его эпохи и нашей, между понятием о нем собственного отечества и понятиями французов, немцев и нашими, равно как и в самую эпоху его деятельности было различие между взглядом толпы и взглядом людей, стоявших с ним в урвень. Начну с последнего различия. Вы знаете, как Гёте смотрел на Байрона; вы помните, как поэтически, но вместе с тем свысока изобразил он его в Эйфорионе своего «Фауста»:

Icarus, Icarus,
Leiden genug!¹

Молодую, необузданно порывистую и отчасти неразумную, но ничем не удержимую силу видел он в нем, блестящий метеор, рассыпающийся прахом. Замечательнее же всего, что не Прометеем, а юношей, только что вышедшим из отрочества, представлял себе многодумный веймарский старец этого — в глазах толпы — мужа борьбы с людьми и с судьбою, этого мрачного скитальца, проклинавшего свою туманную родину, этого таинственного Лару, душа которого бездонна, как бездна. Для него, умевшего, однако, понимать борьбу прометеевскую, создавшего титанический образ, перед которым несколько призрачны кажутся мрачные корсары Байрона, — для него, вложившего в уста своего Прометея все энергическое, что человеческая гордость может сказать о себе:

Ich — Dich ehren? Wofür?
.
.
.
Da sitz ich,
Forme Menschen
Nach meinem Bilde...² —

¹ Икар, Икар, довольно страдать! (нем.).

² Мне тебя чтить? За что?

Здесь я творю людей
По своему подобию...
(Перевод А. Кочеткова.)

демонический дух Байрона был ясен, и ясен был сам поэт, яснее, может быть, чем был он, или просто сказать, чем хотел быть для самого себя,—хотел быть, потому что слишком хотел казаться таковым толпе.

Другой поэт,— не стану мерить сил его с силами Байрона, ибо всякому истинно великому поэту отпускается на долю равное количество сил, но не равна *мера* этих различных сил в нем самом,— другой поэт, которому дано было расти, то есть быть и отроком, и юношей, и мужем, который был бы, без сомнения, и мудрым старцем, если бы трагическое начало, тяготеющее над судьбою наших поэтов, не пересекло нити его течения в самую пору мужества,— поэт, подвергавшийся сильному влиянию Байрона,— в самую эпоху такого влияния представлял себе этого «властителя духа» своего поколения в виде моря, обращаясь к сему последнему:

Он был, о море! твой певец...
Твой образ был на нем означен,
Он духом создан был твоим,
Как ты, велик, могуч и мрачен,
Как ты, ничем не укротим.

В других случаях он называет его «поэтом гордости» («как Байрон, гордости поэт») и, разумея глубоко значение его поэзии, равно как и самый ее источник:

Лорд Байрон *прихотью удачной*
Облек в унылый романтизм
И *безнадешный эгоизм*,

ясно видит притом, каким веком эта поэзия вызвана:

Свидетелями быв вчерашнего паденья,
Едва опомнились молодые поколения.
Жестоких опытов собирая поздний плод,
Они торопятся с расходом свесть приход.
Им некогда шутить, обедать у Темиры
Иль спорить о стихах. Звук новой, чудной лиры,
Звук лиры Байрона *едва развлечь их мог*.

Только один поэт принял в Байроне все за чистую монету, поэт постоянного напряжения мысли и чувства, писатель наименее всего искренний, у которого своего, лично-заветного чрезвычайно мало и которому по этому самому ничего не стоило и доселе ничего не стоит поддаваться *какому угодно* энтузиастическому настрою,— я говорю о Ламартине, холодном энтузиасте,

которому доныне ничего не значит сегодня поэтизировать Максимилиана Робеспьера с компаниею, а завтра поэтизировать также Солиманов и Магометов с их деспотизмом. Ламартин один признал в Байроне то, чем Байрон хотел казаться,— поэтического сатану, и даже (несмотря на свои тогда *христианские* стремления) подверг, в угоду байроновскому обаянию, сомнению вопрос о том, точно ли зло есть зло и добро — добро?

Toi dont le monde encore ignore le vrai nom,
Esprit mystérieux, mortel ange ou démon,
Qui que tu sois, Byron, *bon ou fatal génie*,
J'aime de tes concerts la sauvage harmonie,
Comme j'aime le bruit de la foudre et des vents,
Se mêlant dans l'orage à la voix des torrents
La nuit est ton séjour, l'horreur est ton domaine,
L'aigle, roi des déserts, dédaigne ainsi la plaine,
Il ne veut, comme toi, que des rocs escarpés
Que l'hiver a blanchis, que la foudre a frappés...¹

Наконец, любопытно еще отношение к Байрону Жуковского и Козлова, поэтов, не равных между собою по силам их дарований, но, так сказать, однозвучных,— любопытно, как свидетельство могущественного влияния Байрона на природы, даже совершенно чуждые мрачного байроновского настроения, на природы кроткие и задумчивые; влияние это указывает на одну из существенных сторон Байронова таланта, одну из тех сторон, которыми он сам был отражением существенных сторон духа человеческого. Все, что есть мрачно-унылого, фантастически тревожного, безотрадно горестного в душе человеческой и что по существу своему составляет только крайнюю и сильнейшую степень грусти, меланхолии, суеверных предчувствий и суеверных обаяний, лежащих в основе поэзии Жуковского и в тоне таланта Козлова,— все это нашло для себя в Байроне самого глубокого и энергического выразителя: никто короче его не знаком

¹ Ты, чье настоящее имя пока еще не известно миру,
Таинственный слух, смертный, ангел или демон,
Кто бы ты ни был, Байрон, добрый или злой гений,
Я люблю дикую гармонию твоих концертов,
Как люблю шум молнии или ветров,
Смешивающийся в бурю с голосом потоков;
Ночь — твоё время, ужас — твоё царство,
Орел, король пустынь, так же презирает равнину,
Как ты, и не желает ничего, кроме крутых пиков,
Убеленных зимою и пораженных молнией (*франц.*).

с мрачным миром однообразно болезненных скорбей, в котором мелькают только

... образы без лиц,
Без протяженья и границ.

Никто не постиг так глубоко все, что есть величаво-унылого в развалинах, никто не знает так хорошо призрачной природы привидений, действия, производимого на организм прикосновением их длинных мраморно-белых и пронзительно-холодных перстов («Явление Франчески Альпу»), никто не подметил так верно и страшно судорожных движений пальцев, «нвольно бьющихся о чело»; никто не сумеет заставить, как он, страдать читателя вместе с его Ларой всеми ужасами бессонной и таинственной ночи... Байрон — великий виртуоз на этих струнах души, виртуоз, извлекающий из этих тревожных струн звуки, потрясающие природу человеческую вообще, и естественно, что он действовал магически на такие натуры, в которых особенно развита была чуткость этих струн.

Наконец, что касается до отношений толпы к Байрону, то едва ли не яснее всех усмотрел и поразительнее высказал всю неправильность, фальшь и смешную сторону сих отношений наш Грибоедов, заставивший своего Репетилова рассуждать с достойными членами его «секретнейшего союза по четвергам»

... о камерах, присяжных,
О Байронс... ну, об матерях важных.

В самом деле, для светской толпы, французской ли, нашей ли — та и другая равно невежественны, — тупоумной ли немецкой, Байрон равно принадлежал к числу «важных материй», о которых толпа любит *рассуждать* на досуге, то есть *пережевывать* взгляды людей высших, *не понимая их*.

Отношение к Байрону собственной его страны определялось все тем, что он был эксцентрик и как таковой не подлежал уже никакому дальнйшему суду; довольно того, что он вышел из условных орбит условнейшего существования; он мог быть хуже или лучше того, чем он был на самом деле, — это уже ничего не прибавило и не убавило бы в его эксцентрическом образе.

Таковы различные отношения собственно к Байрону и к его таланту. На всех он более действовал, так сказать, стихийными своими началами: Гёте видел нечто слепое в необузданной силе его таланта; Пушкин, поэтизируя эту слепую силу, проникал разумно в ее личные пружины; Жуковский и Козлов сочувствовали великому виртуозу на струнах души, им также, хотя и не в таком сильном строс, доступных... Ламартином только в послании, из которого приводил я отрывок, послании, в кото-

ром Байрон, каковым он хочет казаться, изображается, надобно отдать справедливость, весьма поэтически, — Ламартином только как выразителем в этом случае потребностей целой пресыщенной и вместе жадной эпохи, и притом им впервые узаконено слепое стихийное начало, *байронизм*, это особое поветрие, особый зловещий и фосфорический блеск, увенчавший сначала голову Байрона и перелетевший на несколько других голов; байронизм, которому не подчинялись, конечно, но тем не менее глубоко сочувствовали великие и равные Байрону поэты, Пушкин и Мицкевич; байронизм, которого печать легла и на даровитом немце Гейне, превратившись из иронии мрачной и сплинической в иронию болезненно-ядовитую и полунахальную, полусентиментальную, и на даровитом французе Альфреде де Мюссе, претворившись у него из безотрадного смеха в беззаботно-наглый и вместе наивный цинизм или в слезы тоски и стоны искреннего раскаяния в «Confessions d'un enfant du siècle»¹; байронизм, воплотившийся, наконец, и достигший крайних пределов своих в ярком и могучем таланте Лермонтова и в нем окончательно истощившийся, ибо дальнейшее отношение к байронизму самого Лермонтова, который был

...не Байрон, а другой,
Еще неведомый избранник,

было бы непременно комическое, а *лицо* Печорина и так уж одной ногою стоит в области комического, что и оказалось, когда писатель не без дарования вздумал после Лермонтова повторить этот образ в лице Тамарина.

Байронизм как некоторое поветрие выразил свое влияние двояким образом: или он пожирал страстные натуры, слепо и искренне ему отдававшиеся и искавшие в нем опрагматизования своих безобразий, и такое влияние ни на ком не отразилось так трагически, как на нашем безвременно и бесплодно погибшем даровитом Полсжаеве. Несколько напряженно, но искренне в основах и чрезвычайно сильно выразилось это влияние в таком, например, изображении:

Кто видел образ мертвеца,
Который, демонскою силой
Враждя с темною могилой,
Живет и страждет без конца?
В час полуночи молчаливой,
При свете сумрачной луны,
Из подземельной стороны

¹ «Исповедь сына века» (франц.).

Исходит призрак бояливый...

.
.
Вот мой удел!— Игра страстей,
Живой стою при дверях гроба,
И скоро, скоро месть и злоба
Навек уснут в груди моей!
Кумиры счастья и свободы
Не существуют для меня,
И, член ненужный бытия,
Не оскверню собой природы!

Нет никакого сомнения, что изображавший себя таким образом несчастный поэт, как ни падал он, но все-таки много клеветал на себя и в этой постоянной клевете на себя, в постоянном стремлении развивать напряженно мрачные стороны души заключалось все зло байронизма — зло страшное, когда оно оказывает свое влияние на натуры, подобные натуре Полежаева: найдя оправдание, так сказать, опoэтизирование своих внутренних тревог в слове вождя века, они с каким-то упоением отдавались стремительному потоку страстей, отдавались наслаждению страдания:

В моей тоске, в неволе безотрадной,
Я не страдал, как робкая жена:
Меня несла противная волна,
Несла на смерть — и гибель не страшна
Казалась мне в пучине беспощадной.
И мрак небес, и гром, и черный вал
Любил встречать я с думою суровой.
И свисту бурь, под молнией багровой,
Внимать, как муж отважный и готовый
Испить до дна губительный фиал.

Было, в самом деле, нечто обаятельное в этих самовольно развиваемых страданиях, что-то сладкое и вместе лихорадочно-болезненное в этом состоянии духа, что-то безвыходное в этой гордости, отвергающей даже живительный луч света:

Я трепетал, чтоб истина меня,
Как яркий луч, внезапно осеня,
Не извлекла из тьмы ожесточенья...

Но тяжела была расплата за это болезненное сладострастие сердца — и тяжесть расплаты, может быть, нигде не высказана с такою грустью и искренностью, как в следующих полежавших же стихах:

Я встречаю зарю
И печально смотрю,
Как кропинки дождя,
По эфиру слетя,
Благотворно живут
Попираемый прах,
И кипят и блещут
В серебристых звездах
На увядших листьях
Пожелтевших лугов.
Сила горней росы,
Как божественный зов,
Их молодые красы
И крепит и растит.
Что ж, кропинки дождя,
Ваш бальзам не живит
Моего бытия?
Что в вечерней тиши,
Как приятный обман,
Не исцелит он ран
Охладевшей души?
Ах, не цвет полевой
Жжет полднeвной порой
Разрушительный зной:
Сокрушает тоска
Молодого певца,
Как в земле мертвеца
Гробовая доска...
Я увял — и увял
Навсегда, навсегда!
И блаженства не знал
Никогда, никогда!
И я жил, но я жил
На погибель свою...
Буйной жизнью убил
Я надежду мою...
Не расцвел — и отцвел
В утре пасмурных дней;
Что любил, в том нашел

Гибель жизни моей.

.
.

Не кропите ж меня

Вы, росинки дождя...

С другой стороны, байронизм как повестрие выразался в толпе живыми пародиями, заставившими Пушкина спрашивать, даже несколько во вред своему герою:

Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел иль надменный бес,
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон,
Уж не пародия ли он?

В том и в другом случае байронизм, без малейшего сомнения, имел вредное, можно сказать, пагубное влияние. В нем была неправда, стало быть, и безнравственность постольку, поскольку неправда. Неправда же его заключалась в неправильном отношении к мрачным сторонам души, к темным слепым силам, которым байронизм подчинял человеческую натуру: все, что дотоле, то есть до байронизма, некоторым образом скрывалось или порицалось, порицалось даже и теми, которые не верили ни во что святое: безбожие, эгоизм, сухая гордость, злобная ирония в отношении к людям, бесстыдство отношений к женщинам — все то, одним словом, что прежде выступало под благопристойною маскою самой чинной нравственности в какой-нибудь *Sitten-Lehre*¹ барона фон-Книгте, в каком-либо из романов XVIII века, — все это явилось без маски в байронизме и прямо сказало миру: «Поклоняйся мне откровенному, как ты доселе кланялся мне прикрытому»; но между тем, так как сама по себе поэтическая натура Байрона не могла же принять спокойно обоготворения эгоизма, то оно и выразилось в ней тоской или иронией, что естественным образом окружило эгоизм поэтическим ореолом. Можно сказать, что самая крайность неправды была следствием правдивости и поэтичности натуры Байрона: ненавидя маску ханжества и лицемерия, под которою прятался до него эгоизм, сам развращенный учениями и опытами века, поэт, чем носить

¹ Этика (нем.).

маску, готов был лучше клеветать на самого себя: таков он, когда смеется своим сатаническим хохотом над тем, что матросы съели Дон-Жуанова учителя; таков он, поющий неистовый гимн чувственности по поводу любви Дон-Жуана и Гайде; таков он в анализе отношений леди Аделины к Жуану; все это неправда, все это напряжение, клевета на самого себя и на душу человеческую, клевета, проистекающая, с одной стороны, из прихоти человека, пресыщенного изображениями условной и истрепанной добродетели, изображениями в самом деле приторными, а с другой стороны, из правдивого негодования на ложь и лицемерие жизни.

Байрон есть пламенный поэтический протест личности против всего условного в окружавшем его общежитии и потому может быть судим только с высшей точки зрения христианского суда, но не с точки зрения нравственности того общежития, которого муза его была казнию; он ничего иного не сделал, как обнажил только то, что прикрывалось ветхим покровом условного, сорвал маску с обоготворенного втихомолку эгоизма и как истинный, глубокий поэт воспел торжество этого страшного начала с тоской и ядовитой иронией; в них-то, в этой тоске и иронии, — его великая сила, ибо они горестный плач об утраченных и необретаемых идеалах; в них-то, в этой же тоске и иронии, — его слабость, ибо с ними связаны у него шаткость основ мирозерцания, отсутствие нравственного, то есть целостного, взгляда, отсутствие возможности суда над жизнью и по этому самому отсутствие возможности быть поэтом эпическим или драматическим, вообще быть чем-либо, кроме поэта лирического или, лучше сказать, великого лирического виртуоза на известных, указанных мною струнах. Высшее обладание этими струнами есть *правда, красота и сила* его поэзии — и не безнравственностию, то есть не ложью, а правдою увлекал он и доселе увлекает поколения, увлекал даже мудрецов, каков был Гёте, даже людей ему равных, каковы были Пушкин и Мицкевич; ложь в поэзии блеснет, как метеор, как роман или драма Гюго, и, как метеор же, рассыплется прахом, но постоянное в известной степени действие имеет поэзия Байрона, ибо постоянно затрагивает она чувствования, живущие в глубине сердца; она не *сделана* искусственно, как сделана, например, поэзия, избравшая знаменем *le beau c'est le laid*¹, она порождена духом человеческим. Доколе человечество способно мучительно любить, глубоко чувствовать оскорбление и жажду мести, стенать посреди мук и гордо поднимать голову пред секирой палача, до тех пор оно будет жадно читать и «Гяура» и исповедь Уго пред казнию в «Паризине»; до-

¹ Прекрасное — это безобразное (*франц.*).

коле живет в духе человеческого необузданное стремление, готовое иногда ломать все преграды, полагаемые условным общежитием, дотоле обаятельно будут действовать на людей мрачные образы Корсара, Лары, Чайльд-Гарольда, Альпа и иных чад мятежной души поэта. Байрон есть поэтическое воплощение протеста, и в этом опять-таки его сила и его слабость: сила его в том, что протесту, вызываемому всегда более или менее неправдою, душа горячо сочувствует; слабость в том, что протест этот есть протест слепой, протест без идеала, протест сам по себе и сам от себя. Повторяю, что Байрон ничего иного не делает, как срывает благопристойную маску с дикого, по существу, эгоизма, венчает его не втихомолку уже, а прямо; но, как поэт истинный и глубокий, венчает с тоской и иронией.

В Байроне очевидна, стало быть, не безнравственность, а отсутствие нравственного идеала, протест против неправды без сознания правды. Байрон поэт отчаяния и сатанинского смеха потому только, что не имеет нравственного полномочия быть поэтом честного смеха, *комиком*, ибо комизм есть право отношение к неправде жизни во имя идеала, на прочных основах покоящегося, комизм есть праведный суд над уклонившеюся от идеала жизнью, казнь, совершаемая над нею *зрячим* художеством. Если же идеалы подорваны, и между тем душа не в силах помириться с неправдою жизни по своей высшей поэтической природе, но по отсутствию нравственной меры не может прямо назвать неправды неправдою, то единственным выходом для музы поэта будет беспощадно ироническая казнь над неправдою жизни, казнь, обращающаяся и на самого себя, поколику в его собственную натуру въелась эта неправда, проникла до мозга костей и поколику он сам, как поэт, сознает это искренней и глубже других. Возьмите самую вопиющую безнравственность в любой поэме Байрона, вы увидите, что она есть только казнь, совершенная поэтом над другой, прикрытою мишурною хламидой безнравственностью; безнравственно, например, отношение Уго и Паризины, но, в сущности, оно есть только казнь, совершаемая над герцогом Азо, казнь, в отношении к сему последнему совершенно справедливая; скиталец Гарольд исполнен порою столь справедливого негодования против мелочности и сушности светской толпы, что скитальчество его становится понятно. Везде, одним словом, муза Байрона есть Немезида жизни; Немезида, в свою очередь обращающая свой бич на самого поэта как далеко на не свободного от неправды, а, напротив, проникнутого ею до мозга костей и посылающая Прометея коршуна терзать его собственное сердце.

Но, снимая таким образом с Байрона единичную ответственность за отсутствие в поэзии его идеального созерцания, замес-

няемого тоскою и ирониею, созерцания, которого создать нельзя, а взять при совершенном разложении жизни неоткуда, тем не менее можно указать на него как на пример весьма печальный разъединения между поэтическим и нравственным созерцанием, разъединения вредного в отношении к искусству тем, что оно 1) лишило натуру поэта известной полноты и целости, вследствие чего он остался только лириком, со всеми своими стремлениями к эпосу и драме; 2) тем, что вследствие сего раздвоения вся поэзия Байрона есть не что иное, как гениальная импровизация или, лучше сказать, постоянная проба на некоторых, ею в особенности обладаемых струнах, именно на струнах ощущений мрачных, фантастических, тревожных и негодующих. Вследствие отсутствия поэтически-нравственного и гармонически целостного взгляда у Байрона нет суда над жизнью и над создаваемыми образами, того суда, который, например, даст возможность и полномочие Шекспиру, имевшему прямое и целостное воззрение на жизнь, казнить неумолимо и рассчитанно казнию своего Фальстафа, жирного, скверного, но остроумного, милого и гениально наглого Фальстафа, быть может, долго близкого его душе, как близок он был душе казнящего его своею холодностию Генриха, — того суда, который сурового Данта заставил обречь мукам ада Франческу да-Римини, несмотря на страстное к ней сочувствие, того суда, которого враждебное отношение к действительности, противоречащей ясно сознаваемому идеалу, не может быть иным, как казнящим, — трагически ли казнящим Макбета, Отелло, Лира и Гамлета, Уголино и Франческу, или комически казнящим Фальстафа, Сквозника-Дмухановского, Самсона Сильча Большова и Павла Ивановича Чичикова, того суда, при котором только и возможно в искусстве создание живых лиц и отношение к образам как к живым лицам — отношение Шекспира, Мольера, Данта, Сервантеса, Пушкина (начиная с его Онегина), Вальтера Скотта, Диккенса, Гоголя. Вследствие же односторонней своей виртуозности поэзия Байрона однообразна, а потому утомительно действует на душу. Байрона можно читать только, так сказать, присмами и притом в известные минуты душевного настроения, хотя правда, что тогда он кажется зато высшим из поэтов. В силе его именно что-то стихийно-слепое, так что пушкинское уподобление его морю остается едва ли не вернейшим определением его значения. Эта сила бунтует во имя самого бунта, без всяких других полномочий — поднятая эгоизмом, безобразием, безнравственностью общественных понятий — и в *неправде* этих понятий заключается оправдание для нее самой, хотя и лишенной света правды, — и судима она может быть не с точки зрения той общественной нравственности, которой она вызвана

как прямое последствие и вместе казнь. С этой точки зрения Гёте и Шиллер — поэты столь же, как и Байрон, безнравственные; но ведь есть же причина, почему, во-первых, высшие стремления духа в этих блистательнейших представителях жизни духа на Западе, в этих великих мировых силах всегда являлись чем-то враждебным условиям окружавшего их общежития и почему, с другой стороны, враждебное отношение к неправде жизни не имеет у них возможности возвыситься до комизма, — почему, например, Шиллер, вместо того чтобы, как наш Гоголь в «Ревизоре», смело кистью начертать картину вопиющих неправд жизни, предпочитает восстать на зло злом же, на безнравственность — безнравственностью же, на мещанство — страшную утопию «Разбойников». И заметьте, что тот же самый образ, который Шиллер явил сначала разбойником Моором, является потом в светлых призраках Позы, Иоанны и Телля; есть причина, почему Гёте, вместо того чтобы просто насмеяться в комической картине над мещанской немецкой семейностью, как, например, насмеялись над семейным безобразием наши комики во имя прочного идеала семейственности, — Гёте, говорю я, создает безнравственную утопию в своих «Wahlverwandschaften»¹ и в этой утопии посягает еще до Занда на святость и неизбежность семейных уз вообще. Комизм есть отношение высшего к низшему, отношение к неправде с смехом во имя оскорбляемой ею и твердо сознаваемой смеющимися правды. Когда Гоголь, например, казнит взяточничество, вы не боитесь за комика, чтобы у него с взяточничеством или развратом было что-либо общее; но Гёте, враждебно относящийся к мещанской нравственности, и сам часто впадает в нее в своем Вильгельме Мейстере, а Шиллер только на высоте отвлеченных утопий, не приложимых к жизни, убеждает себя от падения. Но Байрон, с сатанинским хохотом и с глубокою тоскою обоготворяющий эгоизм, тем не менее обоготворяет его, то есть не может подняться выше одного поэтическим созерцанием; велика еще заслуга его и в том, что, обоготворяя идол, он плачет о необходимости обоготворения, язвительно хохочет и над жизнью и над самим собою — обоготворителями идола. В нем все-таки глубоко чувство правды, чувство поэзии, и вот почему я с некоторою робостью и нерешительностью подходил к вопросу о его безнравственности. С этим вопросом связывался вопрос о возможности раздвоения между искусством и нравственностью, ибо того, что Байрон — великий поэт, отвергнуть никак нельзя; кроме того, то, что Гоголь говорит в письме своем об односторонности относительно Пушкина, может быть некоторым образом применено и к Байрону: не безде-

¹ «Избирательное сродство» (нем.).

лица, говоря гоголевскими словами, применяя их только вместо Пушкина к Байрону, «выставить безнравственным одного из наиумнейших людей нашего времени, человека, на которого целое умственное поколение смотрело как на вождя и на передового сравнительно пред другими людьми».

Не знаю, сумел ли я своим возможно осторожным исследованием привести вопрос о Байроне к желаемым результатам, то есть к той очевидности, которую имеют сии результаты для меня лично; но, во всяком случае, виновато будет только мое изложение, а результаты останутся правы. Результаты же суть:

1. Уже то самое, что целые поколения смотрели на поэта и отчасти смотрят еще на него как на вождя и передового, свергает часть ответственности с него и с его поэзии на поколения, для коих явился он передовым, на ту жизнь, которая отразилась в его поэзии.

2. Байрон увлекал и увлекает не ложью и безнравственностью, а правдою своей поэзии. Правда же его поэзии заключается, *во-первых*, в правде его протеста, хотя и слепого, *во-вторых*, в искренности, то есть правде казни, обращаемой им на себя как на носящего в себе разложение казнимой жизни, *в-третьих*, наконец, в ее особенной, сильной, хотя несколько односторонней виртуозности и полном обладании некоторыми струнами души человеческой, чем объясняется сочувствие к Байрону натур, которые не могли сочувствовать его разрушительному протесту.

3. Тем не менее отсутствие целостности нравственного и поэтического созерцания оставило свой след на поэзии Байрона во вред *художеству* и его высшему значению: 1) в односторонности, хотя и сильной, но утомляющей или удовлетворяющей душу только временами и только игрою на известных струнах; 2) в исключительности лиризма, ибо отсутствие суда над жизнью не дает поэту создать ни одного лица; 3) в напряженности, переходящей часто уже и в неправду, в насильствие себя, в эффекты сатанинским смехом и холодностью, в клевете на самого себя и на человеческую душу вообще.

4. Искусство в лице Байрона подтверждает и разъясняет мысль, мною высказанную, о том, что оно есть дело земное, что оно с высшими нравственными началами состоит в связи через посредство жизни, хотя не рабски повинуетея жизни, ибо из *земного* оно есть наилучшее, наивысшее, наиправейшее, наипровидящее. Где жизнь разложилась вся, там оно отражает всю правду этого разложения в его крайних результатах; но если оно искусство истинное, то есть дар божий, если средства его действия на душу истинны и не суть фальшивые эффекты, то хотя бы и все идеалы были подорваны, как подорваны они у Байрона,

но чутье скверности, духоты, тяжести жизни, которые правдивое искусство отражает в крайних результатах, это *чутье* никогда у него не отнимается, и оно-то при недостатке идеала, в том случае, когда взять его неоткуда, выразится тоскою о прекрасном и нравственном, отчаянием за жизнь и за человека, ирониею в увенчании принципов разложенного общежития, казнию над самим собою, искренними стонами сердца. Говорящим о безнравственности Байрона стоит только показать искусство истинно безнравственное и фальшивое — так называемую юную словесность Франции, представляющую тоже в фокусе разложение гниющего нравственного организма общества, но не возвышающуюся над ним этою скорбью, а извлекающую, напротив, эффекты из приготовления мертвечины, — различие будет очевидное; различие то же, как между орлом и вранами, питающимися всем дохлым, а между тем и это *слепое* искусство — если искусством только можно его назвать — явилось не само собою, а выросло из общежития, поднялось над ним, как гильотина казни; а между тем и оно, рабски угождавшее прихотям волнующегося и волнуемого гадами общественного болота, оно, обоготворившее мерзость, порок и мораль каторжника Вотрена, прибегавшее ко всем возможным чудовищным эффектам, способным пробудить притупленные развратом нервы, доходившее до лютого и зверского сладострастия и опять-таки в угоду отупелой и пресыщенной черни измельчавшее до пошлых и уже совершенно бессмысленных сказок, — и оно, я говорю, совершило, конечно без своего ведома и желания, великую задачу отрицательную. Если же мы возьмем жизнь, имеющую свои коренные основы, жизнь, не пережившую еще свои идеалы, не истощившую соков, из которых оные произрастают, то здесь и отношение искусства к неправде жизни будет такое же, как отношение идеала жизни к неправде жизни, в точности соразмерное объему идеала. Предоставляя себе право развить эту мысль в другом письме к вам по поводу того же вопроса, я только намекаю здесь об ней и обращаю ваше внимание на различие идеалов у художников, имеющих прочные идеальные основы, например у Диккенса, Теккерея, Гоголя. Наперед думаю, что рассмотрение этой стороны вопроса поведет к тому же заключению о *посредственном* отношении искусства к высшим нравственным началам, стоящим над жизнью, о *прозрении* искусства в корни и вершины жизни, то есть в начала, в жизни самой совершающиеся, и о *чутье* искусства, когда разложившаяся жизнь разобщается с началами высшими, — одним словом, к заключению о *хранительном* значении искусства в отношении к жизни и ее высшим нравственным началам.

ИЗ «ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ» ЗА 1877 г.

И во-первых, словом «байронист» браниться нельзя. Байронизм хоть и был моментальным, но великим, святым и необходимым явлением в жизни европейского человечества, да чуть ли не в жизни и всего человечества. Байронизм появился в минуту страшной тоски людей, разочарования их и почти отчаяния. После испуганных восторгов новой веры в новые идеалы, провозглашенной в конце прошлого столетия во Франции, в передовой тогда нации европейского человечества наступил исход, столь не похожий на то, чего ожидали, столь обманувший веру людей, что никогда, быть может, не было в истории Западной Европы столь грустной минуты. И не от одних только внешних (политических) причин пали вновь воздвигнутые на миг кумиры, но и от внутренней несостоятельности их, что ясно увидели все прозорливые сердца и передовые умы. Новый *исход* еще не обозначался, новый клапан не отворялся, и все задыхалось под страшно понизившимся и сузившимся над человечеством прежним его горизонтом. Старые кумиры лежали разбитые. И вот в эту-то минуту и явился великий и могучий гений, страстный поэт. В его звуках звучала тогдашняя тоска человечества и мрачное разочарование его в своем назначении и в обманувших его идеалах. Это была новая и неслыханная еще тогда муза мести и печали, проклятия и отчаяния. Дух байронизма вдруг пронесся как бы по всему человечеству, все оно откликнулось ему. Это именно был как бы отворенный клапан; по крайней мере, среди всеобщих и глухих стонов, даже большею частью бессознательных, это именно был тот могучий крик, в котором соединились и согласились все крики и стоны человечества. Как было не откликнуться на него и у нас, да еще такому великому, гениальному и руководящему уму, как Пушкин? Всякий сильный ум и всякое великодушное сердце не могли и у нас тогда миновать байронизма. Да и не по одному лишь сочувствию к Европе и к европейскому человечеству издали, а потому, что и у нас, и в России, как раз к тому времени, обозначилось слишком много новых, неразрешенных и мучительных тоже вопросов, и слишком много старых разочарований...

КОММЕНТАРИИ

В этом сборнике представлен Байрон-публицист: две его известные парламентские речи, затронувшие болезненные проблемы эпохи, и две поэмы, напрямую навеянные злободневной проблематикой времени. Публицистическое начало было органично свойственно лире Байрона — об этом могут судить читатели «Паломничества Чайльд-Гарольда», а в особенности «Дон Жуана», по страницам которого рассыпаны сотни откликов поэта на актуальные события тогдашней истории. «Ирландская аватара» и «Видение Суда» увенчивают собой эту тенденцию, просматривающуюся на всем протяжении творческого пути поэта.

Два других раздела книги содержат материалы, дополняющие представления о личности Байрона, его общественной позиции и творчестве. Полное издание дневников и писем Байрона, подготовленное крупнейшим исследователем его биографии Лесли Марчандом и вышедшее в 1973—1982 гг., охватывает двенадцать томов. Частично этот богатейший свод документов уже известен нашим читателям; на основе шеститомного издания дневников и писем поэта, еще в начале века предпринятого Р. Протеро, было подготовлено издание: Дж. Г. Байрон. Дневники. Письма, М., 1963 (серия «Литературные памятники»). В настоящем томе впервые вводятся в наш читательский обиход еще 64 письма Байрона, хронологически охватывающие 20 лет — с 1804 по 1824-й. Это как бы конспект биографии поэта, построенной на эпистолярных источниках. Несмотря на краткость, конспект этот включает важнейшие события жизни поэта.

В третьем разделе собраны свидетельства современников о Байроне. Мемуарная литература, касающаяся Байрона, практически необозрима, причем основной ее массив накоплен в первые годы после смерти поэта, потрясшей тогдашнюю Европу. Предлагаемый монтаж воспоминаний основывается на фундаментальной работе американского исследователя Дж. Лавелла «Истинные его лицо и голос» (1954), которая построена примерно по тем же принципам, что и известные книги В. В. Ве-

ресаева «Пушкин в жизни» и «Гоголь в жизни». Подборка включает отрывки из мемуаров, записи бесед первых биографов поэта с людьми, хорошо его знавшими, и фрагменты переписки лиц, оставивших свой след в судьбе Байрона.

Завершает книгу краткая хроника русских откликов, вызванных смертью Байрона в Греции, а также наиболее важных и характерных критических осмыслений личности и поэзии Байрона, сопровождаемых осмыслением байронизма как феномена духовной жизни XIX столетия. Огромный резонанс, который имела муза Байрона в России, известен; подробную картину творческого освоения его поэзии даёт, в частности, двуязычная антология: Байрон. Избранная лирика, М., 1988. Собранные в нашем издании стихотворения, посвященные памяти Байрона, и суждения о его творчестве, принадлежащие русским писателям от Вяземского до Достоевского, — только самая малая доля материала, относящегося к этой теме. Однако и по этой подборке можно почувствовать значение, которым обладало имя Байрона для русской культуры прошлого века.

При составлении комментариев использованы разыскания А. Н. Николюкина, подготовившего комментарий к изданию дневников и писем 1963 г., и Б. Г. Рязова как комментатора сочинений Стендаля, а также многочисленные английские и американские источники.

I

Речь, произнесенная в палате лордов 27 февраля 1812 года...

Об обстоятельствах и общественном резонансе речи см. вступительную статью. Законопроект, предусматривавший суровые меры (вплоть до смертной казни) против рабочих, ломавших фабричные машины, составлен и внесен на рассмотрение Парламента будущим премьер-министром Англии Р. Б. Ливерпулсом (1770—1828). Получил силу закона 5 марта 1812 г. Речь впервые вошла в состав сочинений Байрона, издаваемых для широкого читателя, в 1901 г.

27 *...Вопрос...не является новостью для страны.*— Хотя апогей движения луддитов пришелся на 1811—1812 гг., первые случаи, когда рабочие ломали станки, отмечены еще в 60-е годы XVIII века; движение получило свое название от имени ткача Неда Лудда, по преданию, жившего в то время.

...Я неизвестен ни палате в целом...— Ребенком унаследовав кресло в палате лордов, Байрон впервые выступил на ее заседании лишь в связи с обсуждением закона против луддитов в 1812 г.

Прискорбные события.— Волнения луддитов происходили главным образом в Ноттингемшире, неподалеку от родового гнезда Байронов — Ньюстедского аббатства.

29 *Затянувшейся...разорительной войной.*— Война с Францией

началась 1 февраля 1793 г. и шла непрерывно до падения Наполеона.

«Великие мужи, коих больше нет».— Подразумевается Уильям Питт Младший (1759—1806), непримиримый в отношении республиканской Франции.

- 30 ...*Воинские части.*— Войска посылались в Ноттингемшир с ноября 1811 г., однако их присутствие ничего не изменило, поскольку население поддерживало луддитов.

...*Взяли за образец мэра и городской совет...*— Намек на комедию Сэмюэла Фута (1720—1777) «Мэр Гаррата», высмеивающую ту-пых служаков.

- 32 *Дракон*— афинский законодатель (VII в. до н.э.), прославившийся жестокостью.

Сангrado— невежественный лекарь из романа Аллена Рене Лесажа (1668—1747) «Жиль Блаз»; все болезни он лечил кровопусканием.

В *Шервудском лесу*, где некогда было обиталище Робин Гуда, собирались отряды луддитов.

- 34 *Джеффрис*, Джордж (1640—1689)— лорд-канцлер, сторонник крайне суровых мер по отношению к преступившим закон.

Речь, произнесенная в палате лордов 27 апреля 1812 года...

В палате лордов обсуждалось предложение графа Дономора об учреждении комитета по рассмотрению притязаний прихожан римско-католической церкви, каковыми являлись прежде всего ирландцы. Колониальная политика Англии в отношении Ирландии предусматривала ограничение прав католической церкви, являвшейся средоточием патриотических сил. 1 июля предложение графа Дономора было отвергнуто большинством всего в один голос.

- 35 *Лорд Питерборо* (ок. 1658—1735)— активный противник короля Якова II во время Английской революции, организатор вторжения в Англию Вильгельма Оранского, ставшего королем после так называемой «славной революции», означавшей компромисс между Парламентом и тронем.

- 37 *Оранжеисты*— члены Ордена оранжистов (по имени короля Вильгельма III Оранского), учрежденного в 1795 г. и ставившего целью подавление антиколониальной борьбы ирландцев против Англии.

Майнутский колледж, основанный в 1795 г. в городе Майноте на севере Ирландии, был основным центром подготовки католического духовенства и в силу этого подвергался притеснениям со стороны английской колониальной администрации.

- 38 ...*Накануне Унии*.— Имеется в виду англо-ирландская Уния 1801 г., покончившая с остатками независимости Ирландии.

Прайор, Мэтью (1664—1721) — английский поэт.

...*Спаситель Португалии и гонитель делегатов*.— Имеется в виду Веллингтон, главнокомандующий английской армией в заключительный период борьбы против Наполеона. Высадившись в 1808 г. с девяти тысячным отрядом в Лиссабоне, он нанес два чувствительных поражения находившимся в Португалии французским войскам и вынудил их командующего подписать 30 августа 1808 г. в Синтре мир на выгодных для Англии условиях. В отношении Парламента Веллингтон проявлял полное пренебрежение.

- 39 *Фердинанд VII* (1784—1833) — король Испании; во время наполеоновской интервенции взят в плен в 1808 г.; возвращен на престол после падения Наполеона в 1814 г.

- 40 *Темпль-Бар* — старинные ворота в Лондоне на западной границе Сити.

В 1809 г. на острове *Вальхерен* у берегов Зеландии высадился корпус англичан под командованием адмирала Стречана и лорда Чэама; успешно начатую операцию пришлось, однако, прекратить ввиду разгрома австрийских войск, что позволило Наполеону освободить свои военные силы для борьбы с Англией.

Калигула, управлявший империей в 37—41 гг., согласно рассказу римского историка Светония, «войной и военными делами занялся один только раз», совершив грабительский набег на германские земли; по возвращении в Рим « всю свою ненависть он обратил на сенат » и вскоре был убит заговорщиками.

- 41 ...*Разрешил возобновление торговли*.— Континентальная блокада, объявленная Наполеоном в 1806 г., после поражения французов в России перестала соблюдаться большинством европейских стран, включая и Францию.

Обращение к неаполитанским повстанцам

- 41 Датируется июлем 1820 г., когда началась революция в Королевстве Общих Сицилий. Представитель неаполитанского правительства, приславший в Равенну к Байрону, был схвачен австрийской полицией на обратном пути; находившиеся при нем бумаги он уничтожил. Текст Байрона, сохранившийся в архиве Т. Гвичьоли, впервые опубликован в 1901 г.

Ирландская аватара

- 42 Памфлет навесной посылкой в Ирландию британского короля Георга IV в августе 1821 г. *Аватара*, по индийским мифам, божество, воплотившееся в образе человека.

Курран, Джон Филпот (1750—1817) — поэт и общественный деятель, поборник независимости Ирландии.

...*Умершая дочь*. — Каролина, дочь герцога Брауншвейгского, жена Георга IV, умерла в канун поездки короля, не изменившего своих планов из-за похорон.

...*Уничтожен сенат*. — Подразумевается Уния 1801 г., в результате которой был распущен ирландский парламент.

43 *Трилистник* — символ Ирландии (Эрина).

Граттан, Генри (1746—1820) — политический деятель, выступавший за независимость Ирландии.

44 *Фингал*, Артур Джеймс Планкетт, граф (ум. 1836), удостоен рыцарского звания Георгом IV; *О'Коннел, Дэниэл* (1775—1847) — политический деятель, инициатор сбора средств на постройку дворца в память о пребывании Георга IV в Ирландии.

Вителлий (I в.) — римский император, прославившийся чревоугодием.

45 *Кэстелфи* (Каслрей), Стюарт Роберт (1769—1822) — британский министр иностранных дел, реакционер, предмет постоянных нападок со стороны Байрона.

Видение Суда

46 По случаю смерти короля Георга III английский поэт Роберт Саути (1774—1843), начинавший свой творческий путь пьесой о вожде крестьянского восстания XIV в. Уоте Тайлере, но впоследствии перешедший на консервативные позиции, сочинил верноподданническое «Видение Суда», где прославляются мнимые добродетели усопшего монарха. Предисловие автора к этому произведению пестрит нападкамии на Французскую революцию, а также на Байрона и Шелли как ее духовных наследников, поэтов «сатанинской школы». Латинский псевдоним, под которым Байрон издал свою поэму, — Оживший Кеведо — напоминал о выдающемся испанском сатирикe Франсиско Кеведо (1580—1645). Псевдоним был вынужденной мерой; публикация поэмы в журнале «Либерал» вызвала гонения на его редактора Джона Ли Ханга, оштрафованного за оскорбление короны.

Поп (Поп), Александр (1688—1744) — крупнейший поэт английского классицизма, исключительно высоко ценимый Байроном.

47 *Скраб* — персонаж пьесы Джорджа Фаркера (1678—1707) «Уловки кавалеров».

«Уот Тайлер» Саути был напечатан лишь в 1817 г. без ведома автора. Он принес издателю солидный доход; Саути тщетно добивался в суде своей доли прибыли за произведение, написанное

двадцать два года назад: ему было отказано по той причине, что «сочинение по своему содержанию вредно для общества». *Поэтом-лауреатом* при дворе Саути стал в 1813 г.

“*Anti-Jacobin*”.— Реакционный еженедельник «Антиякобинец», выходявший в 1797—1798 гг., опубликовал пародию Джорджа Каннинга (1770—1827), будущего министра иностранных дел, на стихотворение Саути, проникнутое сочувствием царубийце Генри Мартину.

- 48 Фантастическая сатира Генри Филдинга (1707—1754) «*Путешествие в загробный мир*» (1743) и цикл памфлетов Кеведа «*Видения*» (1627), запрещенный инквизицией, использовали мотивы Страшного Суда.

«*Женщина из Бата*»... «*Morgante Maggiore*»... «*Сказка бочка*»...— Перечислены антиклерикальные произведения Джеффри Чосера (1340?—1400), Луиджи Пульчи (1432—1484; Байрону принадлежит перевод фрагмента его основного сочинения «*Морганте Маджоре*») и Джонатана Свифта (1667—1745).

Лендор, Уильям Севсдж (1775—1864) — английский поэт, писавший и на латыни. Его второе имя в буквальном переводе с английского означает «дикий».

- 51 ...*Георг скончался*.— Георг III умер в январе 1820 г., когда наметилась революционная ситуация в Испании, а затем и в Италии.

- 54 ...*Один тут был с обручком шеи*...— Имеется в виду Людовик XVI, казненный во время Французской революции.

...*Марионеткой праздно он болтался*.— С 1811 г. Англией фактически управлял принц-регент, будущий король Георг IV.

- 56 *Пэрри*, Уильям Эдуард (1790—1855) — морской офицер, исследователь Арктики.

Сауткот, Иоанна (Джоанна) (1750—1814) — прорицательница, объявившая, что носит во чреве нового Мессию; беременность оказалась водянкой.

- 57 Библейская Книга *Иова* трактовалась как достоверный источник по истории древности богословом Дж. М. Гудом (1764—1827).

- 60 Под *любимцем* подразумевается Джон Стюарт Бьют (1713—1792), консерватор, премьер-министр Англии в 1762—1769 гг.

- 61 ...*Обрушил гнев несправедливый*.— Речь идет о восстании 1798 г. в Ирландии, которое было подавлено с предельной жестокостью.

Гвельф — Георг III; был курфюрстом Ганноверским из рода Вельфов (Гвельфов).

- 65 *Уилкс*, Джек (1727—1797) — публицист, в 1763 г. подвергший критике тронную речь Георга III, за что был изгнан из Парламента (позднее восстановлен в нем).

67 *Грэфтон*, Август Генри (1735—1811) — политический деятель и писатель-моралист.

Фокс, Чарлз Джеймс (1749—1806) — глава радикального крыла партии вигов; о *Питте Младшем* см. прим. к с. 29.

Юшус — речь идет о «Письмах Юниуса», созданных неустановленным автором, который опубликовал за подписью *Nominis Umbra* (тень имени — лат.) в 1769—1771 гг. серию памфлетов, резко порицавших действия английского правительства.

69 *Миссис Малапро* — персонаж комедии Р. Б. Шеридана (1751—1816) «Соперники»; в буквальном переводе с французского ее имя означает «неуместная».

Среди предполагаемых авторов «Писем Юниуса» — публицисты и политические деятели Эдмунд *Барк* (Берк, 1729—1797) и Джон Хорн *Туж* (1736—1812), а также сэр Филип *Фрэнсис* (1740—1818).

70 *Скиддо* — гора в Камберленде, куда часто уезжал Саути.

72 *Пай*, Генри Джеймс (1745—1813) — плодовитый стихотворец, с 1790 г. поэт-лауреат, которого сменил в этом звании Саути.

73 *О Тайлере, Бленгейме, Ватерло*. — В «Бленгеймской битве» Саути чувствуются отголоски Французской революции; его «Паломничество поэта к Ватерло» пронизано апологетикой реакции.

Пантисократы — участники предполагаемой коммуны, которую молодые Саути и Колридж намеревались учредить в Америке на началах общности имущества; план не был осуществлен.

74 *Альфонс X Кастильский* (1221—1284) пользовался известностью и как ученый.

75 *Но в озере своем...* — Саути принадлежал к «озерной школе» английских поэтов-романтиков, представленной, помимо него, Уильямом Вордсвортом (1770—1850) и Сэмюэлом Тейлором Колриджем (1772—1834). Свое название школа получила от Озерного края, где подолгу жили все три поэта. Байрон, полемизируя с ними по общественным вопросам, отдавал должное их поэтической одаренности.

II

76 *Августа Байрон*, в замужестве Ли, — сводная сестра поэта по отцу; о ее роли в жизни Байрона см. вступительную статью.

Ньюстед — Ньюстедское аббатство; в 1803—1808 гг. было отдано в аренду лорду Грею де Рютину, с которым у Байрона, приезжавшего в родные пенаты из школы в Хэрроу на время каникул, сложились натянутые отношения. Биографы Байрона предполагают, что их причиной были эротические поплзновения со стороны лорда Грея.

- 78 ...*Выводит из себя мою матушку.*— Отношения Байрона с матерью, Кэтрин Гордон, всегда складывались не просто из-за сложности ее характера.
- 80 *Гордон*, Чарлз (ум. 1829) — один из близких школьных друзей Байрона.
...*Еще жив в моей памяти тот восторг...*— Эти впечатления отразились в стихотворении Байрона «Лакин-и-Гер» («Лох-на-Гар»), написанном в 1807 г.
- 81 В Кембридже (колледж «Тришети») Байрон учился с октября 1805 по декабрь 1807 г.
- 82 Адвокат *Джон Хэнсон* был поверенным семьи Байронов.
Пигот, Элизабет Бриджит, — сестра Джона Пигота, одного из друзей юности Байрона; Пиготы жили по соседству с поместьем леди Байрон Саутвелл.
Граита — прилегающий к Кембриджу район вдоль реки Кем; распространенное название Кембриджского университета.
...*Поситель халцедона.*— Имеется в виду Джон Эдлстон, отличавшийся необыкновенной красотой подросток-хорист, которому онскавший его Байрон подарил розтку с халцедоном.
- 83 *Лорд Хартшигтон*, Уильям Спенсер (1790—1858) и *герцог Ленстер* (1791—1865) — приятели Байрона по Кембриджу, представители светского круга, увлекавшиеся деизмом.
...*Продажа у Риджа.*— Фирма «С. и Дж. Ридж» издала три первых сборника стихов Байрона: «Беглые наброски» (1806), «Стихи по разным случаям» (1807), «Часы досуга» (1807); две первые книги были напечатаны без указания имени автора.
- 84 ...*Девушка, так похожая на М.*— Речь идет о Хэрриет Мальби, которой посвящены в «Часах досуга» стихотворения «К Хэрристу» и «К Мэрион».
...*Кросби разослал экземпляры.*— У лондонского книготорговца Бена Кросби продавались «Часы досуга».
Боцман — собака Байрона; в 1808 г. поэт распорядился захоронить своего умершего пса в Ньюстедском аббатстве, написав по этому поводу известное стихотворение.
«*Бужо*» — фешенебельный клуб, основанный в Лондоне в 1764 г.; на улице Арджайл располагался манеж для верховой езды.
- 85 *Батлер*, Джордж (1774—1853), стал в 1805 г. директором школы в Хэрроу.
В *Ньюмаркете*, поблизости от Кембриджа, находится знаменитый ипподром.
- 86 ...*Хочу взглянуть на морскую жизнь.*— Этот план не осуществился.
...*Я написал... 560 строк о Босуортском поле...*— В 1485 г. на поле

под Босуортом разыгралось решающее сражение войны Ллой и Белой розы, закончившаяся гибелью Ричарда III Йорка и воцарением Генриха VII Тюдора. Называемые Байроном произведения не сохранились; скорее всего они не были написаны.

...*Поэма, которую я собираюсь опубликовать*,— сатира.— Подразумеваются «Английские барды и шотландские обозреватели» (опубл. без подписи в марте 1809 г.) — резкий отклик Байрона на статью в «Эдинбургском обозрении», где подверглись разному сго «Часы досуга».

- 87 ...*Рад отделаться от своей ланкаширской собственности*.— В Ланкашире Байроном принадлежали угольные копи. Они были незаконно проданы одним из их родственников, из-за чего возник затянувшийся судебный процесс.

Весной я... отправляюсь за границу.— Байрон отправился в путешествие на Восток в июне 1809 г.; путешествие продолжалось более двух лет, однако до Индии он не добрался, ограничившись Албанией, Грецией и Константинополем.

- 88 *Миссис Спенсер Смит* — жена британского консула в Штутгарте; с нею связывают образ Флоренс в «Паломничестве Чайльд-Гарольда».

Али-паша Тепеленский (1741—1822) — правитель Эпира и Албании. Он сам и его резиденция в Янине описаны Байроном на страницах «Паломничества Чайльд-Гарольда».

- 89 *Друри, Генри* (1778—1841) — сын директора школы в Хэрроу; Байрон жил в доме Друри первые два года, проведенные им в школе.

Антилох — сын пилосского царя Нестора, друг Ахилла, убитый под Троей.

Сердечный тыл Леандра...— Греческий миф рассказывает о юноше из Абидоса Леандре, который, полюбив Геро, каждую ночь переплывал Геллеспонт, чтобы увидеться с нею на Сесте, противоположном берегу.

Лих, Уильям Мартин (1777—1860) — английский дипломат в Турции.

- 90 *Дардан* — прародитель троянцев.

Джеля, Уильям (1777—1836) — автор работ по топографии Трои, Итаки и других областей, описываемых Гомером; его книги «География Итаки» и «Путеводитель по Греции» Байрон рецензировал в 1811 г.

Хобхаус, Джон Кэм (1786—1869) — один из ближайших друзей Байрона, сопровождавший его в путешествии по Востоку. Описал это путешествие в большой статье, впервые опубликованной в 1824 г.

Алкивиад (ок. 450—404 до н. э.) — афинский стратег; прославился экспедицией против Сиракуз и победами на море.

91 *Ходжсон, Фрэнсис* (1781—1852) — поэт, друг юности Байрона.

Итак, вышла книга Хобхауса...— «Имитации и переводы из древних и современных классиков»; в этот сборник вошло девять переводов-имитаций, принадлежащих Байрону.

92 *Флетчер, Уильям* — слуга Байрона, сопровождавший Байрона и в последней поездке на Кефалонию; с его слов записаны воспоминания о последних днях поэта (наст. изд., с. 351—353).

93 ...*Хэнсон... хочет, чтоб я продал Ньюстедское аббатство.*— После того, как судебными проволочками был сорван процесс из-за ланкастерских копий, Байрону в 1813 г. все же пришлось начать дело по продаже Ньюстедского аббатства, проданного четыре года спустя.

Мэтьюз, Чарлз Скинер (1784—1811) — однокашник Байрона по Тринити-колледжу, утонул в реке Кем; *Дэйвис, Скроуп Бредмор* (1783—1852) — друг Байрона, посвятившего ему поэму «Паризина» (1816).

Даллас, Роберт Чарлз (1754—1824) — писатель, дальний родственник Байрона.

94 *Котори, Джеймс* — издатель; опубликовал «Английских бардов и шотландских обозревателей».

Блэкетт, Джозеф (1786—1811) — поэт-самоучка; его одно время опекала Аннабелла Милбэнк, будущая жена поэта.

95 ...*Мой лучший друг Уингфилд, мать... все ушли.*— Памяти школьного товарища Джона Уингфилда, умершего от лихорадки в Коимбре 24 мая 1811 г., в «Паломничестве Чайльд-Гарольда» посвящены строфы 91 и 92 первой песни; мать Байрона скончалась 1 августа 1811 г., через три дня после возвращения поэта с Востока.

96 *Гиффорд, Уильям* (1756—1826) — редактор «Антиякобинца», затем «Ежеквартального обозрения»; в издательстве Меррея читал рукописи молодых авторов, и при его содействии был напечатан «Чайльд-Гарольд».

Меррей, Джон (1778—1843) — издатель Байрона до конца его жизни.

Воксхолл — увеселительный сад в Лондоне.

...*Что можно... ожидать от автора Ногае Жописае.*— Речь идет об оде, сочиненной профессором новой истории в Кембридже У. Смитом по случаю назначения герцога Глаучестера канцлером университета; сохранилась пародия Байрона, по сей день не опубликованная.

98 *Я обрушился на Де Поу, Торнтона, лорда Эджина...*— См. «Паломничество Чайльд-Гарольда», песнь первая, 89—93; речь идет о богатых англичанах, живших в Греции; особое возмущение

Байрона вызвал лорд Эджин, вывозивший из Афин реликвии Парфенона и при этом разбиравший статуи.

99 ...*Посылаю тебе верстку.*— Верстка двух первых песен «Чайльд-Гарольда»; книга вышла в свет 10 марта 1812 г.

100 ...*Отчет о дебатах в палате общин.*— Дебаты были вызваны законом против луддитов.

Берк, Эдмунд (см. прим. к с. 69), считался блестящим публицистом и оратором.

Мельбурн, Элизабет— свекровь Каролины Лэм, тетка Аннабеллы Милбэнк, во многом способствовавшая ее сближению с Байроном.

Леди Б[ессборо]— мать Каролины Лэм; упоминаемая Байроном «драма» заключалась в том, что Каролина исчезла из дома, явившись в мужском костюме к Байрону с намерением вместе с ним бежать из Англии. Вопреки увещаниям Байрона, Каролина не возвращалась под свой кров еще несколько дней, а затем была увезена матерью в отдаленное ирландское поместье.

101 *Сириус*— персонаж романа Мадлен де Скюдери (1607—1701) «Артамэн, или Великий Кир» (1649—1653), представлявшего собой образец галантно-героического жанра; *Мэри Энн Кларк*— любовница герцога Йорка, главнокомандующего английской армией; в 1809 г. проходил наделавший много шума процесс из-за имущественных споров между ними. Интимные письма герцога фигурировали в качестве юридических доказательств, став предметом светских пересудов.

104 ...*Не желело о том, что произошло.*— При посредничестве леди Мельбурн Байрон сделал предложение мисс Милбэнк, которая ему отказала, оставив надежду при условии, что он «докажет неиспорченную чистоту своего морального чувства». Брак был заключен через два с небольшим года.

105 ...*Не стыжусь своего восхищения прелестным Математиком.*— Аннабелла посещала публичные лекции по математике и выказывала дарования к естественным наукам.

108 *Кларисса Харлоу*— героиня многотомного эпистолярного романа Сэмюэла Ричардсона (1689—1761) «Кларисса», образец добродетели.

109 ...*Ваша французская цитата...*— В письме Байрону Томас Мур цитировал Фонтенеля: «Если бы начать жизнь заново, я поступил бы так же, как поступал».

...*«Сам Ричард с нами слова»...*— цитата из трагедии Коллея Сиббера «Ричард III», акт V, сц. 3.

...*Нацапапал... турецкую вещь.*— Имется в виду «Гяур»; опубликованный еще в июне 1813 г., он был доработан Байроном, и в декабре того же года вышло новое издание, по объему превосходившее предыдущее вдвое.

Уорд, Джон Уильям (1781—1833) — журналист и критик.

- 110 *Кларк, Эдуард Дэниэл* (1769—1822) — профессор минералогии в Кембридже, много путешествовавший по Азии и Африке, автор шеститомного описания своих странствий; Байрон встречался с ним, работая над восточными эпизодами «Чайльд-Гарольда».

...*Насколько здесь... верты «одежья».*— Речь идет о поэме «Абидосская невеста», изданной в ноябре 1813 г.

Фрагками в магометанских странах называли всех свропейцев.

...*Великие примеры... побуждали меня к подражанию.*— Описываемая в «Абидосской невесте» страстная любовь брата к сестре послужила поводом для всевозможных кривотолков; оправдывая выбор сюжета, достаточно распространенного в мировой литературе, Байрон упоминает трагедию «Мирра» (1784) итальянского поэта и драматурга Витторио Альфисри (1749—1803), где волею рока героиня обречена любить собственного отца, пьесу Джона Форда (1586—ок. 1640) «Как жаль, что она беспутна» (1633), построенную на мотивах ищества, а также «Разбойников» Шиллера.

...*Наш Норд (нет, не Фредерик...).*— Норд (букв. Север), Фредерик (1766—1827) — знакомый Байрона по Афинам, эллинист, основавший университет на Корфу.

- 111 ...*Она не находилась со мной...*— Подразумевается Августа Ли; терзасмая ревностью Каролина Лэм проникла в дом Байрона с целью сбора порочащих его улики.

С Жерменой *де Сталь* (1766—1817) Байрон встречался в 1813 г. в Лондоне, а три года спустя — под Женевой.

Чаворт-Мастерс, Мэри — предмет самого пылкого юношеского увлечения Байрона, адресат многих его лирических стихотворений, вплоть до автобиографической поэмы «Сон» (1816). Неудачно выйдя замуж, искала встреч с прославившимся поклонником, однако Байрон от них уклонился.

- 113 *Кли, Эдмунд* (1787—1833) — выдающийся актер романтической школы. К 1814 г. относится страстное увлечение Байрона театром, побудившее поэта принять активное участие в делах лондонской труппы Друри-Лейн.

...*Газеты... пишут... об императорах.*— В июне 1814 г. Лондон посетили монархи держав антинаполеоновской коалиции во главе с Александром I.

- 114 *Дневник сохранил.*— Дневник Байрона 14 ноября 1813—19 апреля 1814 г.; опубликован в кн.: Дж. Г. Байрон. Дневники. Письма, М., 1963.

Пафос — дочь Пигмалиона и Галатеи, ожившей из его статуи волею Афродиты.

- 115 *Джеффри*, Фрэнсис (1773—1850) — издатель «Эдинбургского обозрения», подозревавшийся Байроном как автор оскорбительной для него статьи о «Часах досуга», хотя он им не являлся; впоследствии между Джеффри и Байроном установились почти дружеские отношения.

...По случаю похищения регентом... ее портрета. — В «Чемпионе», а затем в «Морнинг кроникл», издававшейся Джеймсом Перри, были помещены стихи, язвительно комментировавшие эпизод, участницей которого оказалась родственница Байрона, графиня Сара Джерси; одно время она была фавориткой принца-регента, который после разрыва вернул ей ее портрет, в свое время сделанный по его заказу придворной художницей Анной Ми. Стихи были опубликованы без ведома Байрона, по копии, ходившей в лондонском свете.

Роджерс, Сэмюэл (1763—1855) — поэт, автор дидактических стихотворений, высоко ценимых Байроном. Его «Жак» и байроновский «Лара» были напечатаны в одной книге.

Хогг, Джеймс (1770—1835) — шотландский поэт из народа, прозванный Эттрикским пастухом.

- 119 *Кингсд*, Дуглас Джеймс Уильям (1788—1830) — один из руководителей театра Друри-Лейн; по его предложению написаны «Еврейские мелодии» Байрона.

Стерхольд, Томас, и *Гопкинс*, Джон — английские версификаторы XVI в., несукложе перелавившие на английский язык псалмы.

...Встречался с Вальтером Скоттом. — Встреча Байрона с Вальтером Скоттом произошла 7 апреля 1815 г. (см. наст. изд. с. 234—236).

...Прочел мне большую часть Вашей поэмы. — Имеется в виду поэма Колриджа «Кристабель».

- 120 «*Репейшик*» — трагикомедия современников Шекспира Джона Флетчера и Филипа Мессинджера.

Сотби, Уильям (1757—1833) — английский драматург; в 1814 г. вышли его «Пять трагедий». Байрон был крайне низкого мнения о его творчестве. В Друри-Лейн была поставлена трагедия Колриджа «Раскаяние».

Нозл, Ральф — тесть Байрона, один из инициаторов разрыва Аннабеллы Милбэнк с поэтом.

Покидая Лондон, леди Байрон... — Отъезд Аннабеллы с новорожденной дочерью Августой Адой 15 января 1816 г. был, по видимому, несожиданностью для Байрона, тем более что в оставленной ею записке ничего не говорилось о мотивах этого поступка.

- 121 ...Я говорю о распространителях слухов... — О поводах для гонений на Байрона см. вступительную статью.

- 122 *Хант*, Джеймс Генри Ли (1784—1859) — поэт и литературный критик, близко связанный с Байроном, особенно в годы жизни поэта в Италии. Написал мемуары, порочащие Байрона.
- 123 *Элфинстоун*, Мерсер — приятельница леди Джерси; на светском рауте, проходившем после разрыва поэта с женой, была одной из немногих, выказавших ему сочувствие. В дар ей Байрон послал одну из своих книг. Письмо написано за две недели до отъезда поэта из Англии.
- 124 *Вилла зовется «Диодати»...* — Вилла, на которой Байрон жил в Швейцарии с мая по октябрь 1816 г., в свое время принадлежала теологу Жану Диодати (1576—1649); путешествуя с 1639 г. по Европе, у Диодати останавливался Мильтон.
- ...*Привези Павсания (издания Тейлора).* — Подразумевается «Описание Эллады» греческого географа Павсания (2 в.); эта книга находилась у Байрона в Миссолонги.
- ...*Глядеть места, описанные... в его «Элоизе».* — В «Новой Элоизе» (1761) Руссо описаны окрестности Клара на Женевском озере.
- «Гленарвон»* — роман, написанный Каролиной Лэм (издан анонимно); изображая заглавного героя пресыщенным и озлобленным циником, Каролина Лэм сводила счеты с бывшим возлюбленным.
- 125 *Я оставил доктора...* — Доктор Джон Уильям Полидори (1795—1821), предмет постоянных насмешек Байрона, находился на вилле Диодати как личный врач поэта и вел дневник, опубликованный в 1911 г.
- Путешествие по Бернским Альпам.* — Было предпринято в обществе Хобхауса; дневник опубликован в кн.: Дж. Г. Байрон. Дневники. Письма, М., 1963.
- 126 *Вся моя надежда на счастье... всё воплотилось... в Аде.* — Свою дочь *Августу Аду* (1815—1852) Байрон после разрыва с Аннабеллой не видел.
- ...*Никакая сила... не способна удержать меня от встречи с тобой.* — Последняя встреча Байрона с Августой Ли произошла накануне его отъезда из Англии.
- 127 *...Передал ли Вам... мистер Дэвис рукопись?..* — Поэма «Шильонский узник» вышла в свет в Лондоне на следующий день после того, как Байрон отослал это письмо.
- 129 *...Не изъяли ли Вы какой эпизод... из песни третьей?..* — Третья песнь «Паломничества Чайльд-Гарольда» опубликована в ноябре 1816 г.
- Марианна* Сегати — супруга венецианского торговца, возлюбленная Байрона.
- 133—134 *«Кристалль»* (опубл. 1816) — поэма Колриджа; *«Миссионер с Анд»* (1815) — поэма У. Л. Баулса *«Илдерим»*, сирийская по-

- весть» (1816), — поэма Генри Гэлли Найта (1786—1846), подражавшего «восточным повестям» Байрона; «*Маргарита Анжуйская*» — трагедия Маргарет Холфорд; «*Ватерлоо* и другие стихотворения» — сборник (1812) Джеймса Уэддерберна Уэбстера, знакомого Байрона по Кембриджу; «*Рилстон Доу*» — точнее «Белая лань Рилстона» (1815) — поэма Уильяма Вордсворта (1770—1850).
- 134 *Я создал нечто вроде мистерии...* — Речь идет о мистерии «Манфред», начатой в Швейцарии и оконченной в Венеции весной 1817 г.
- 135 *...Твой Дж. Л.* — Полковник Джордж Ли, муж Августы.
Джордж Энон Байрон, — двоюродный брат поэта и наследник его титула; весной 1816 г. занимал позицию, враждебную поэту.
Амалекитяне — древний бродячий народ, обитавший в к югу от Хаанаана.
Мидианиты — древнесарабское племя.
- 136 *Уилмот, Роберт Джон* (1784—1841) — двоюродный брат Байрона, оскорбленного его поведением во время событий весны 1816 г.
...Навестить свою «девушечку». — Незадолго до отъезда Байрона из Англии произошло сближение между ним и Клэр Клермонт (1798—1879), падчерицей писателя и философа Уильяма Годвина. Вопреки воле поэта она последовала за ним в Швейцарию, где вскоре между ними было все кончено. Аллегра Байрон родилась 12 января 1817 г. и, по настоянию поэта, воспитывалась в католическом монастыре, где пять с небольшим лет спустя умерла от эпидемии.
Благочестивая супруга пекаря... — *Маргарита Кюнь*, венецианская возлюбленная Байрона.
- 138 *...Но мы с тобой несчастней всех...* — Встреча с графиней *Терезой Гвичьоли* произошла в Венеции в апреле 1819 г. Восемнадцать лет от роду Тереза Гамба была выдана за престарелого графа Алессандро Гвичьоли. Брак просуществовал до июля 1820 г., поскольку в католических странах развод был фактически невозможен. Терезе и ее родственникам, однако, удалось добиться в Ватикане разрешения на развод при условии, что сю будут соблюдаться все правила внешнего благочестия; второй брак был для нее возможен только по смерти бывшего супруга.
- 139 *...Праха коего покоится в твоём городе...* — Чета Гвичьоли имела постоянную резиденцию в Равенне, городе, тесно связанном с именем Данте.
Думаю остаться здесь... — В Равенне.
- 143 *...Перебрался в Романью...* — Равенна в V в. стала резиденцией римских императоров; в сосновом лесу неподалеку от города нанес римлянам решающее поражение вождь германцев Одоакр. Боккаччо в «Декамероне» (восьмая новелла пятого дня) рассказывает о Настаджо дельи Онести, влюбленном в жестокосердную

красавицу; в лесу у Равенны он увидел, как всадник травит собаками обнаженную девушку, и убедился, что это месть ада за ее жестокость. Сюжет использован английским поэтом Джоном Драйденом (1631—1700) в поэме «Теодор и Гонория».

- 144 *Альберони, Джулио* (1664—1752) — итальянец, фактический правитель Испании при Филиппе I. Должность папского легата (посла) в Равенне занимал в 1734—1739 гг.

...*Пытался разыскать... следы Франчески.*— Данте, «Божественная Комедия», «Ад», песнь пятая, 88—142.

Бенвенуто Рамбалди да Имола (ум. ок. 1390) — гуманист из круга Боккаччо; латинский комментарий к Данте, составленный им, полностью опубликован лишь в 1887 г.

...*Включая жизнь Паризиты и Уго.*— Перелажается сюжет поэмы Байрона «Паризина» (1816), о которой высоко отозвался Пушкин; Уго, незаконнорожденный сын маркиза д'Эсте, любит Паризину, ставшую его мачехой, и не прощает отцу, что он отнял у него известу, одновременно опозорив имя матери.

- 145 *Майор Джон Картрайт* (1740—1824), известный общественный деятель того времени, сторонник парламентских реформ (третья, и последняя, парламентская речь Байрона, произнесенная в 1813 г., была связана с обсуждавшимся предложением Картрайта о праве каждого обращаться с петициями в Парламент), вызвал Хобхауса на дуэль весной 1819 г., обвинив его в непочтительности во время предвыборного диспута; ссору удалось погасить.

Генри Бикерстит — адвокат, участник движения за реформы и друг Хобхауса.

Майор Стерджен — персонаж комедии Сэмюэла Фута «Мэр Гаррата».

Донни Джотти — «Дон Жуан»; первые две песни опубликованы 15 июля 1819 г.

...*Человеке Дугл.*— Дуглас Киншэрд.

- 147 *Гиббон, Эдуард* (1737—1794) — историк Римской империи, один из любимых авторов Байрона.

Ломбардия — Венецианское королевство, включающее Ломбардию и Венецию; решением Венского конгресса 1815 г. была включена в Австрию на правах провинции.

- 148 *Вулси, Чарльз* (Линси) (1769—1846) — один из учредителей Хэмпден-клуба, центра радикалов; в 1820 г. привлечен к суду за свою политическую деятельность; *Бердетт, Фрэнсис* (1770—1844) — свидетель первых дней Французской революции, в дальнейшем лидер реформистской оппозиции правительству в Парламенте.

- 149 ...*Мантонская мишень.*— Мантон, тир в Лондоне, часто посещал Байрон.

У меня есть два плана...—Планы Байрона отправиться в Южную Америку были связаны с развертывавшейся в испанских колониях борьбой за независимость; в честь вождя освободительного движения Байрон назвал свою яхту «Боливар».

...Как прав был дед мой—Коммодор Джон Байрон, дед поэта, в дневнике плавания утверждал, что на берегах Магелланова пролива видел нагих туземцев гигантского роста. *Генерал Пэр*—видимо, генерал Паэз, руководитель освободительного движения в Венесуэле, первый президент этой страны.

...Сентябрь, 1819 г.—Тесно связанный с вентами карбонариев, Байрон хранил у себя многие важные документы об их деятельности; при необходимости они передавались Терезе Гвичьоли, поскольку угрозы обыска были всегда вероятными.

150 *...Не убежден... что королю не жилось лучше, чем швам из его подданных...*—См. комментарии к «Видению Суда».

Битти, Джеймс (1735—1803)—шотландский поэт, автор «Менестреля» (1771—1774), пейзажной поэмы, отмеченной простотой и выразительностью картин северной природы.

151 Ироикомическая поэма Пульчи *«Морганте Маджоре»* (1482) считается одним из образцов, которым следовал Байрон в «Дон Жуане»; *Уилкграфты*—комедийные персонажи поэмы Джона Хукса Фрира (1769—1846) «Прожскты и образцы предполагаемых национальных деяний»; Байрон отчасти следует ей в «Беппо».

152 В действительности *«Пророчество Данте»* (опубл. 1821)—не перевод, а монолог Данте, написанный терцинами; тема произведения—непереносимость гнета, под которым изнемогает Италия.

...Бюст был изготовлен...—Бюст Байрона работы датского скульптора Бертеля Торвальдсена (1770—1844) был сделан в 1817 г. для Хобхауса.

...Выставит свою кандидатуру в Вестминистер.—Т. е. Парламент, здание которого находится в центральном районе Лондона—Вестминстере. Хобхаус был избран в Парламент в 1821 г. Судебный процесс был вызван ссорой Хобхауса с майором Картрайтом (см. прим. к с. 145).

153 *Ньюгейт*—лондонская тюрьма; перед ее зданием казнили осужденных на повешение.

Уолворт, Уильям (ум. 1385)—лорд-мэр Лондона, схвативший Уота Тайлера, когда тот со своим отрядом занял город в 1381 г.

Лорд Джордж Гордон (1751—1793)—политический деятель, инициатор беспорядков 1774 г., имевших целью истребление католиков; об *Уилксе* см. коммент. к с. 65, о *Туже*—к с. 69, о *Бердетте*—к с. 148.

...*Даже ошибки, и те наивные.*— Байрон получил письмо от миссис Мэхони, вынужденной семейными обстоятельствами бежать в Париж; ей было послано 15 наполеондоров, которые она, однако, вернула, поскольку надеялась на более горячее участие Байрона, чьей неистовой поклонницей являлась.

154 *Дэви, Хамфри* (1778—1829) — выдающийся английский ученый-химик.

155 «*Миссис Шаффлтон*» — персонаж комедии Джорджа Коулмена-младшего (1762—1836) «Джон Булль, или Англичанин у своего очага».

«*Итальянские небыллицы*». — Байрон имеет в виду задуманное, но не осуществленное Муром продолжение эпистолярной сатиры «Семейство Хадж в Париже» (1818), показывающей светскую жизнь в годы реставрации. Новые главы должны были строиться на итальянском материале.

...*Встанет в один ряд с гневной «защитой» Поупа.* — Первые песни «Дон Жуана», опубликованные в Англии, вызвали бурю негодования по адресу автора, обвиненного в порочности, плотских пристрастиях, цинизме и т. п. Двумя открытыми письмами к своему издателю (при жизни поэта напечатано только первое) Байрон защищал свои творческие принципы, ссылаясь на опыт Поупа; эти письма направлены против поэта-пастора Уильяма Баулса, издавшего в 1806 г. собрание сочинений Поупа, содержащее комментарии, которыми принижалось значение его поэзии. Свои взгляды на литературу Поуп изложил в трактате «Опыт о критике» (1711).

156 ...*Пусть всякий порядочный человек прочтет мною написанное.* — Единственный экземпляр автобиографических записок Байрона, переданных на хранение Муру, был им после смерти поэта уничтожен под давлением леди Байрон и ее круга.

158 *В Неаполе революция.* — В июле 1820 г. неаполитанские карбонарии подняли восстание, вынудив короля Обеих Сицилий Фердинанда I провозгласить конституцию. Однако полгода спустя австрийские войска при попустительстве Ватикана оккупировали Неаполь; тогда же, в марте 1821 г., началось восстание в Пьемонте; также жестоко подавленнос австрийцами.

Джованни Галиньяни издавал в Париже журнал для англичан, живущих на Европейском континенте.

...*Привез мне вчера вечером П.* — Пьетро Гамба. Брат Терезы активно участвовал в движении карбонариев, а впоследствии сопровождал Байрона в его военной экспедиции в Грецию.

159 *Закончил свою трагедию...* — «*Марино Фальсро*». Издана в апреле 1821 г.

Лега — секретарь Байрона в Равенне; прежде служил у графа Гамбы.

- 183 *Когда станете править корректуру...*— Речь идет о «Марино Фальbero».
- 184 *Хоппнер, Ричард Белгрейв* (1786—1872) — английский консул в Венеции.
 Шилох — одно из прозвищ Перси Биши Шелли. Речь идет о его трагедии «Ченчи» (1819) и о брошюре «Необходимость атеизма» (1811), послужившей поводом для исключения автора из университета, а также о поэме «Восстание Ислама» (1818).
- 186 ...*Я бы с Ньюстедом никогда не расстался...*— Окончательно Ньюстедское аббатство было продано в 1817 г.
- 188 В *Троппау* осенью 1820 г. собрался конгресс Священного союза, на котором по инициативе Меттерниха было принято решение о вооруженном выступлении против революционного Неаполя.
- 191 ...*В моем письме Баулсу...*— См. прим. к с. 133—134.
 ...*Несмотря на все мои протесты...*— «Марино Фальbero», вопреки желанию Байрона, поставил в апреле 1821 г. театр Саррей; пьеса не имела успеха у публики.
- 192 Выдающийся поэт-романтик *Джон Китс* (1795—1821) скончался от туберкулеза в Риме; в последние месяцы перед кончиной подвергался нападкам критиков. Байрон откликнулся на смерть Китса стихами, опубликованными только в 1830 г.
 ...*Раздувание истории из всей этой ерунды...*— Стычка с драгуном, закончившаяся арестом двух слуг Байрона, явилась лишь поводом для удаления семейства Гамба из Равенны, где их политическая деятельность была слишком заметна.
- 194 «*Корина, или Италия*» (1807) — роман мадам де Сталь.
- 197 *Луcreция д'Имола* — имеется в виду сестра Пьетро Гамбы, графиня Джимнази д'Имола, не раз пытавшаяся вернуть Терезу в лоно семейства Гвичьоли.
 У меня точно такой образ в «Фоскари...»— Из книги Ричарда Талли «Десять лет при дворе в Триполи» позаимствованы некоторые подробности при описании дворца пирата Ламбро в третьей песне «Дон Жуана». Трагедия «Двос Фоскари» написана летом 1821 г.
- 198 «*Италия*» — книга *леди Морган* (1821). Байрон подразумевает случайность совпадения эпизода в трагедии «Двос Фоскари» (акт III, сц. 1) с рассказанным в этой книге. В 1821 г. Меррей издал мемуары графа Джеймса *Вальдгрейва*, воспитателя короля Георга III (1716—1763), а также воспоминания Хорейса Уолпола, графа *Орфборда* (1676—1745) «Последние десять лет царствования Георга II».

- ...*Весьма расстроена сообщением про королеву.*— Супруга Георга IV Каролина скончалась 7 августа 1821 г.
- 201 *Донна Инесса*— мать Дон Жуана; см. «Дон Жуан», песнь первая.
- ...*Пришлось покаяться, что продолжать не стану.*— Работа над «Дон Жуаном» была возобновлена с шестой песни после полугодового перерыва в июне 1822 г.
- ...*Киннэрд вручит Вам от меня послание.*— В послании, не переданном Киннэрдом, заключался вызов на дуэль, причиной которого явились нападки Саути на Байрона в авторском предисловии к «Видению Суда» и в критических заметках Саути.
- 203 Лорд *Холланд*, Генри Ричард (1773—1840), поддерживал Байрона в парламентских обсуждениях, связанных с луддитами и с положением ирландских католиков.
- «*Занятия литературой*»— четыре стихотворных диалога (1794—1797) Томаса Матиаса (1754?—1835), ученого, итальяниста и сатирика; написаны с антиякобинских позиций и высмеивают приверженцев Французской революции Годвина, Томаса Пейна, М. Г. Льюиса и других литераторов.
- Тело отправлено...*— Речь идет об Аллгре Байрон.
- 204 ...*Я б желал, чтобы на стене укрепили мраморную плиту с надписью...*— Из-за сопротивления викария в Хэрроу надпись на могиле Аллгры сделана не была.
- 205 *Барон Брэдурдайн*— персонаж романа Вальтера Скотта «Уэверли».
- ...*Гёте — мой покровитель и защитник.*— Не разделяя взглядов Байрона, Гёте высоко ценил его как поэта; см.: И. П. Эккерт и др. Разговоры с Гёте... М., 1981. Воспоминания американского историка Джорджа Бэнкрофта о встречах с Гёте и Байроном см. в наст. изд., с. 281—283.
- 206 *Тааффи*, Джон (1787?—1862)— ирландский литератор, с 1815 г. жил в Италии; комментатор Данте, оставил воспоминания о Байроне и Шелли.
- 207 «*Стихи Томаса Малетского*» (1801)— один из первых сборников Томаса Мура, эпикурейская лирика, достаточно откровенно воспеваящая плотские радости бытия.
- 208 ...*О предъявлении судебного иска...*— Судебный иск Джону Ханту, брату Ли Ханга, издателю «Либерала», где были напечатаны песни VI—XVI «Дон Жуана», был предъявлен за напечатание в № 1 (октябрь 1822 г.) «Видения Суда» и трех эпиграмм Байрона на Кэстелри. Дж. Меррей, отказавшийся публиковать эти произведения из страха перед преследованиями, в то же время заявил свои претензии Ханту как держатель всех рукописей Байрона.

Бедный Шелли! — Шелли утонул во время шторма 8 июля 1822 г., когда под Ливорно потерпела крушение его яхта «Дон Жуан».

- 209 *Мадам А. де Иосси* в 1815 г. опубликовала двухтомное сочинение «Швейцария, с описанием нравов и одеяний швейцарцев».

III

- 211 *Даммер Роджерс* — преподаватель латыни в начальной школе, познакомившейся Байроном.

- 212 *Протеро*, Роланд Э. — издатель и комментатор эпистолярного наследия Байрона.

Харнесс, Уильям (1790—1869) — товарищ Байрона по Хэрроу, впоследствии церковный деятель и издатель Шекспира.

Гордон, Прайс Локхарт — товарищ Байрона по Хэрроу; впоследствии Байрон встречался с ним в Италии.

- 214 *Даллас*, Роберт Чарлз (1754—1824) — писатель, дальний родственник Байрона, автор книги «Воспоминания о жизни лорда Байрона с 1808 по конец 1814 года» (1824).

Поговорим немного о Сатире... — «Английские барды и шотландские обозреватели».

Элдон, Джон Скотт (1751—1838) — политический деятель, отличавшийся консервативностью взглядов. Байрон резко критически отзывался о нем в «Оде авторам билля против разрушителей станков» (1812).

- 216 *Голт*, Джон (1779—1839) — писатель, сопровождал Байрона от Гибралтара до Мальты во время путешествия на Восток. Автор книги «Жизнь лорда Байрона» (1830).

- 220 *Маркиз Слиго* — Хоу, Питер Браун (1788—1845), унаследовавший свой титул в 1809 г.; афинский знакомый Байрона, позднее рассказавший о встречах с ним Т. Муру, готовившему первую биографию поэта.

- 221 *Леди Стэнхоуп*, Эстер Люси (1776—1839) — племянница английского премьер-министра Питта Младшего; в 1810 г. навсегда покинула Англию, поселившись в Ливане и переняв образ жизни арабских племен.

- 224 Премьер-министр Англии *Спенсер Персеваль* (1762—1812) был 11 мая 1812 г. убит в вестибюле палаты общин банкротом Беллингемом, тщетно добивавшимся от правительства пересмотра его судебного дела. Хотя у Беллингема обнаружались все признаки безумия, он по приговору присяжных был казнен.

- 227 *Бэнкс*, Уильям (ум. 1855) — товарищ Байрона по Хэрроу, много путешествовал, посетив ряд стран Востока.

Богослов, поэт и прозаик Томас *Спарт* (1635—1713) оставил ценные воспоминания о поэте Аврааме Каули (1618—1667) и его эпохе.

228 *Мадам де Сталь* присхала в Лондон 21 июня 1813 г.; Байрон вспоминал, что познакомился с нею у Хамфри Дэви в тот же вечер.

229 ...*Через два или три дня после случая...*— Сцена разыгралась из-за того, что Байрон запретил Каролинс Лэм принимать приглашения на вальс.

...*Она не Бёрк...*— Заняв непримиримо жесткую позицию по отношению к Французской революции, философ и политический деятель Э. Бёрк в палате общин требовал самых решительных мер против якобинства, при этом потрясая кинжалом.

230 Знакомство Байрона с *Робертом Саути* произошло 26 сентября 1813 г. Отношение Байрона к Наполеону в действительности было намного более сложным, о чем свидетельствует и упоминание «Оды», и цикл стихотворений, написанных в связи с Ватерлоо и падением императора. См. свидетельства леди Байрон, наст. изд., с. 233.

233 *Сикс Майл Боттом*— поместье, где жила Августа Ли. Чета Байрон гостила там в марте 1815 г.

Мейн, Этел Колберн — автор книги «Биография и переписка леди Байрон, урожденной Анны Изабеллы Милбэнк» (1929).

Лавлейс, Ральф Милбэнк — внук Байрона, автор книги «Астарта», где наиболее последовательно защищается версия, согласно которой Байрона и Августу Ли связывала преступная страсть.

235 «*Хардикнут*» — имитация средневековой шотландской баллады; принадлежит перу леди Элизабет Уордлоу и впервые напечатана в 1719 г. как средневексовый текст, впоследствии дополнялась другими авторами.

236 ...*Только поведением он и может... обеспечить свое влияние на окружающих.*— Сходное суждение Вальтера Скотта о Байроне приводит в своем дневнике Чарлз К. Шарп: «Он находил, что Байрон часто выдумывает о себе небылицы исключительно с целью шокировать публику».

...*Подобно Саулу...*— В Библии говорится о смерти царя Саула: «И сказал отрок, рассказывавший ему; я случайно пришел на гору Гелвуйскую, и вот, Саул пал на свое копье, колесницы же и всадники настигали его» (Вт. кн. царств, 1,6).

Катон Младший (Угичский; 95—46 до н. э.), противник Цезаря, после его победы над Помпеем при Тапсе покончивший с собой.

- Эверетт*, Эдвард (1794—1865) — американский общественный деятель, возглавлял Гарвардский университет.
- 237 *Тикнор*, Джордж (1791—1871) — американский филолог и историк, встречался с Байроном в июне 1815 г.
Тейлор, Джон — в ту пору издатель газеты «Сан», где в сентябре 1815 г. была опубликована анонимная сатирическая поэма, в которой Байрон изобличался как якобинец.
- 238 *Миссис Клермонт* — бывшая гувернантка Аннабеллы Милбэнк, служившая и в доме Байронов; сыграла заметную роль в их семейной драме, распространяя сведения, порочащие поэта.
- 239 Книга *Г. Бичер-Стоу* «Отмщеннная леди Байрон» (1870), написанная в результате бесед с женой поэта, возлагает всю вину за разрыв на Байрона, представленного олицетворением аморальности.
...«Когда мы вновь встретимся втроем?» — Парафраз реплики, которой открывается «Макбет».
- 242 *Со слов Мэри Шелли*. — Байрон и семья Шелли встретились 25 мая 1816 г., проводя лето на Женевском озере.
- 244 *Трелюпи, Эдвард Джон* (1792—1881) — знакомый Байрона по Италии. Автор «Воспоминаний о Байроне и Шелли» (1858).
- 245 Статья *Стендаля* «Воспоминания о лорде Байроне» выросла из письма Луизе Свантон-Беллок, переводчице книги Т. Мура «Лорд Байрон, его жизнь, письма и дневники»; письмо написано сразу после получения известия о смерти Байрона. Дата Стендаля под статьей — 24 августа 1829; в марте 1830 г. Стендаль опубликовал в «Ревю де Пари» статью «Лорд Байрон в Италии», продолжающую темы первого мемуарного очерка.
Маркиз де Бреме (1781—1820) — пьемонтский политический деятель, которого Наполеон назначил председателем итальянского сената.
Лодовико ди Бреме (1781—1820) — священник, затем миланский литератор.
«Размышления об основных событиях Французской революции» мадам де Сталь, изданное в 1818 г., содержит взгляд на события, свойственный эмиграции.
- 246 *Карно*, Лазар Никола (1753—1823) — французский математик, один из видных деятелей революции, организатор борьбы с роялистами и интервентами; министр внутренних дел во время Ста дней (1815).
- 247 «Непавижу непросвещенную чернь и избегаю ее» — Гораций. Ода «К хору мальчиков и девушек».
- 248 *Г-н Буратти* — поэт, писавший на венецианском диалекте.

- ...Одного образованного литератора...—Имеется в виду Джон Хаит; см. прим. к с. 208.
- ...Нападает на него...—Подразумеваются выпады Саути против Байрона; см. коммент. к «Видению Суда».
- Кюстиш*, Адольф де (1790—1857) — французский литератор, автор «Воспоминаний и путевых заметок во время путешествия по Швецарии, Калабрии, Англии и Шотландии», а также известной книги «Россия в 1839 году», которая содержит критический обзор николаевского царствования.
- 249 *Юм*, Дэвид (1711—1776) — английский философ и экономист; имеется в виду его «Опыт о чудесах».
- 250 ...Этот друг смеет упрекать лорда Байрона...— Речь идет о мемуарах Т. Мура, составивших часть его издания дневников и писем Байрона (1830).
Герцог Орлеанский был регентом в годы несовершеннолетия Людовика XV.
- 251 *Нозл Байрон* — Байрон прибавил к своему имени Нозл после женитьбы (сэр Нозл был его тестем).
Лорд Батерст (1762—1834) — английский министр, в компетенцию которого входили дела, связанные с заточением Наполеона на Св. Елене.
- 252 ...О смерти русских императоров...— В Европе существовали серьезные подозрения относительно причастности Англии к заговору, закончившемуся убийством Павла I.
...Об адской машине.— Стендаль имеет в виду покушение на жизнь Наполеона 24 декабря 1800 г.
Руссо был когда-то лакеем.— См. «Исповедь» Руссо (ч. I, кн. III).
- 253 *Джон (Джэк) Кед* — «бунтовщик», изображенный во второй части «Генриха VI».
Когда он был денди, то произносил имя Бреммеля...— Бреммель, Джордж (1778—1830) — английский щеголь, вошедший в историю как образцовый денди, положивший начало этому веянию. Разорившись, умер в Кале в сумасшедшем доме.
Герцог Бифон (1562—1602), приближенный французского короля Генриха IV, был казнен за связи с испанским двором. Байрон считал себя отдаленным потомком герцога.
- 254 *Трюбле* (1697—1770) — второстепенный французский литератор, приверженец академического стиля.
- 255 *Пали* — профессор богословия в Кембридже.
...В мемуарах лорда Байрона, недавно проданных 2-м Муром...—

В действительности Меррею были переданы не мемуары, которые Мур сжег; а отрывки из дневников Байрона.

«...Которых поведет предатель». — Стендаль цитирует запись в дневнике Байрона от 16 ноября 1813 г. и отрывок из шекспировского «Ричарда III».

- 256 «... Своей ложью обнаруживает истину». — Дневник Байрона, запись от 10 марта 1814 г., с реминисценцией из «Макбета» (акт V, сц. 5).

...Истязала ли лорд Байрон подлинные угрызения совести... — После публикации «Гяура» и «Корсара» упорно ходили слухи, что Байрон пережил на Востоке страстную любовь, трагически оборвавшуюся из-за его несдержанной ревности.

...Кражей лент, совершенной Ж. Ж. Руссо. — См. «Исповедь» Руссо, ч. I, кн. II.

- 257 *Пеллико, Сильвио* (1789—1854) — итальянский поэт, участник движения карбонариев.

Монти, Винченцо (1754—1828) — итальянский поэт и драматург, очень высоко ценимый Стендалем.

...Восстание в Генуе в 1740 году. — Генуэзское восстание, закончившееся изгнанием австрийцев, произошло в 1746 г.

- 260 ... Она оставила мужа. — Подразумевается миссис Клермонт (см. прим. к с. 218).

«Британик» (1669) — трагедия Жана Расина (1639—1699).

Каструччо Кастракаши — итальянский кондотьер XIV в., прославившийся своим коварством.

- 262 *Креспи, Даниэле* (1590—1630) — исторический живописец, известный историческими полотнами, лучшие из которых находятся в Милане.

Гросси, Томмазо (1791—1853) — поэт романтического направления; на миланском наречии написаны лишь его ранние вещи. *Порта, Карло* (1775—1821) — поэт-сатирик, писавший на миланском наречии.

Имя этого... поэта — Буратти. — Стихотворения Буратти, как правило, отличаются нескромным содержанием; первая его книга была напечатана в 1822 г., но в ней нет наиболее характерных для него произведений.

- 264 *Льюис, Мэтью Грегори* (1775—1818) — «Монах» Льюис, писатель, получивший свое прозвище после громкого успеха романа «Монах» (1796), представляющего собой образец литературы тайн и ужасов.

Услыхав, что у Гёте много врагов... — Тикнор встречался с Гёте

в свою европейскую поездку 1814 г.; он был первым американским переводчиком «Вертера».

266 ...*Мы решили скрыть, что Клэр здесь...*— После рождения Аллегри Байрон, заботясь о приличиях, потребовал, чтобы девочка не знала, что Клэр Клермонт ее мать, и противился их свиданиям.

Альбе — имя, которым Байрона называли в кругу Шелли.

...*У Шелли отобрали детей...*— В марте 1817 г. решением Канцлерского суда Шелли был лишен права воспитывать своих детей от первого брака с Харриет Вестбрук; поводом для этого послужил гражданский брак Шелли с Мэри Уолстонкрафт Годвин (церковный брак был заключен в декабре 1816 г., после самоубийства Харриет).

267 ...*Этой встречей судьба...скрепила их сердца.*— В мемуарах, написанных по-французски (частично опубликованы в 1869 г.), Т. Гвичьоли повествует о себе в третьем лице.

Мистер Скотт.— Александр Скотт, венецианский знакомый Байрона.

268 ...*Его английский друг...*— Алессандро Гвичьоли добивался места в английском консульстве в Равенне, используя для этого светские связи Байрона.

269 *Эпамимонд* (418?—362 до н. э.) — греческий полководец и государственный деятель, прославился в войнах Афин против Спарты.

272 *Кауфер*, Уильям (1731—1800) — английский поэт-сентименталист.

274 *Сен-Пре или мадемуазель Корина...*— Герои «Новой Элоизы» Руссо и романа мадам де Сталь «Корина, или Италия».

275 ...*Элиза сочинила ужасную историю.*— Элиза Фоджи, служанка в доме Шелли, вместе со своим мужем пыталась шантажировать хозяев, распространяя грязные сплетни о них.

277 *Медвиш*, Томас (1788—1869) — поэт, близкий друг Шелли, его биограф. Оставил воспоминания об итальянском периоде жизни Шелли и Байрона.

279 Американский писатель-романтик *Вашингтон Ирвинг* (1783—1859), хорошо знакомый с Муром, успел просмотреть мемуары Байрона до того, как они были преданы огню.

280 *Уильямс, Эдвард Эллеркер* (1793—1822) — знакомый Байрона и Шелли по Италии, автор дневника (1821—1822), содержащего ценные сведения о Шелли. Находился вместе с Шелли на борту «Дон Жуана» при катастрофе 8 июля 1822 г.

Лорд Байрон ожидает Вас с величайшим нетерпением...— Хант вместе с Шелли и Байроном намеревался издавать в Пизе журнал

«Либерал. Стихи и проза с Юга»; первый номер вышел в октябре 1822 г.

- 283 ...*Стихи «плачущей даме»*...— Стихотворение «Строки к плачущей леди», напечатанное без подписи 7 марта 1812 г., а затем воспроизведенное в издании «Корсара» (1814), было вызвано резкостью принца-регента по отношению к недавним его сторонникам-вигам и слезами принцессы Шарлотты, присутствовавшей при этой сцене.

Уэст, Уильям Эдуард (1788—1857)— американский художник и скульптор.

- 290 ...*Лафатеровские понятия пошатнулись*...— Лафатер, Иоганн Каспар (1741—1801)— швейцарский писатель; ему принадлежит трактат «Физиологические фрагменты» (1775—1778), обобщающий возможность угадывать характер человека по его внешности.

...*В ответ на декларацию Священного союза*.— В январе 1823 г. после конгресса Священного союза в Вероне испанскому правительству был направлен ультиматум с требованием подавить начавшуюся в стране революцию, вернув всю полноту власти королю Фердинанду VII. Кортесы отвергли это требование; 7 апреля 1823 г. началась французская интервенция против Испании, и революцию подавили.

Спартанский царь *Леонид*— герой греко-персидской войны 480 г.; погиб при Фермопилах.

- 291 *Кобет*, Уильям (1763—1835)— английский публицист и историк Реформации; остро критиковал британскую социальную систему.

Блессингтон, Маргерит (1789—1849)— писательница, автор книги «Бесцельные прогулки по Италии» (1839—1840), содержащей обширные воспоминания о Байроне.

- 295 *Простая могила в Греции... мне желанней*...— Байрона похоронили в Ньюстедском аббатстве.

- 299 *Сулиты*— албанские солдаты-наемники, служившие и в греческой, и в турецкой армии.

Барри, Чарлз Ф.— Генуэзский банкир, который вел дела Байрона.

- 300 *Браун*, Джеймс Хэмилтон— уполномоченный лондонского Греческого комитета, созданного в 1822 г.

- 304 *Блэкиер*, Эдуард— член Греческого комитета; встречался с Байроном в Генуе за год до отъезда поэта в Грецию.

- 305 *Нэпьер*, Чарлз (1782—1853)— английский консул на Кефалонии, сторонник греческого дела.

- Смит, Томас* — уполномоченный лондонской торговой фирмы, выполнявший поручения Греческого комитета.
- 306 *Маврокодато* (Маврокодатос), *Александрос* (1791—1865) — лидер умеренного крыла в греческом освободительном движении, президент Греции в 1822—1823 гг., затем премьер-министр.
- 308 В полемике вокруг наследия Поупа Уильям *Гиффорд* (см. прим. к с. 96) придерживался позиции, близкой к байроновской.
- Кеннеди, Джеймс* — врач армейского английского гарнизона на Кефалонии, автор книги «Разговоры о религии с лордом Байроном и другими лицами» (1830).
- 309 ...*Последнее свое творение...* — Имются в виду сатирические «Басни для Священного союза» (1823) Томаса Мура.
- ...*Письма Свифта, издаваемые Скоттом.* — Вальтер Скотт в 1810-е годы предпринял издание сочинений Свифта, впервые опубликовав значительную часть его эпистолярного наследия. Свифт закончил свои дни душевнобольным.
- 315 *Он начал вести дневник...* — Так называемый Кефалонский дневник Байрона велся с 28 сентября по 17 декабря 1823 г.; опубликован в кн.: Дж. Г. Байрон. Дневники. Письма, М., 1963 г.
- 316 *Миллинген, Юлий* — главный военный хирург в Западной Греции; автор книги «Воспоминания о Греции и о разных случаях из жизни лорда Байрона» (1831).
- 319 *Хэнкок, Чарлз* — представитель банкирского дома «Бафф и Хэнкок», субсидировавшего Греческий комитет.
- 322 *Спенхоуп, Лейсестер* (1784—1862) — член Греческого комитета; с декабря 1823 г. находился в Миссолонги. Автор книги «Греция в 1823 и 1824 году» (1825).
- Бауриг, Джон* (1792—1872) — писатель и журналист; секретарь Греческого комитета в Лондоне, позднее — переводчик русской поэзии.
- 323 *Бентам, Джереми* (1748—1832) — английский философ, создатель теории утилитаризма; *Паноптикон* — бентамовская утопия, строящаяся на фундаменте принципа полезности, распространенного на всю сферу человеческих отношений.
- 325 *Перри, Уильям* — офицер-артиллерист в отряде Байрона; прибыл в Миссолонги 7 февраля 1824 г. Автор книги «Последние дни лорда Байрона» (1825).
- 327 *Гордон, Томас* — член Греческого комитета, историк национально-освободительного движения в Греции. Предложение Гордона состояло в том, чтобы на пожертвования оснастить военный корабль, не дожидаясь, пока правительство Англии пошлет к гре-

ческим берегам свою эскадру, а также подготовить артиллерийский дивизион, который помог бы снять блокаду Миссолонги.

330 *Колокотрони* (Колокотронис), Теодорос (1770—1843)— главнокомандующий войсками Морей, политический противник князя Маврокодато.

333 ...*Томящимися тут в рабстве...*— Восстание в Греции часто сопровождалось жестокостями в отношении жителей, обращаемых в рабство.

338 *Фишли, Джордж*—уполномоченный Греческого комитета в Афинах, познакомился с Байроном в октябре 1827 г. на Кефалонии; воспоминания Фишли, написанные по просьбе Л. Стенхоупа, опубликованы в качестве приложения к его книге «Греция в 1823 и 1824 годах».

Одиссей (1785—1825)—один из руководителей греческого восстания; в конце 1824 г. перешел на сторону турок, но затем вернулся в ряды повстанцев и умер пленником.

342 *Левеллеры*—радикальное движение в период Английской революции XVII в.; выступали за республику и ограничение частной собственности.

IV

354 Об отношении *А. Пушкина* к поэзии и личности Байрона существует большая литература; наиболее полно вопрос освещен в кн.: В. М. Жирмунский. Пушкин и Байрон. Л., 1924.

355 *И. И. Козлов* (1779—1840) первым перевел несколько шедевров лирики Байрона («В альбом», «Решусь, пора освободиться...», «Подражание португальскому», «Прости»), а также «Абидосскую невесту». Считал Байрона своим наставником в поэзии.

Лорд Байрон происходит от царей...—Распространенная в XIX в. легенда, основывавшаяся на очень далеких родственных связях матери поэта Кэтрин Гордон.

356 *Мальвина*—подразумевается Аннабелла Милбэнк.

358 «*Смерть Байрона*» Д. Венсвитинова впервые опубликована в 1829 г.

359 *Хио* (Хиос)—остров в Эгейском море.

360 *Эвр*—восточный ветер.

П. А. Вяземский (1792—1878) в молодости принадлежал к числу самых страстных русских пропагандистов Байрона. Получив известие из Миссолонги, Вяземский писал Д. В. Дашкову: «После смерти Наполсона никакая смерть так глубоко в душу

мою не врезывалась, как его». Вяземским переведены стихотворения «В альбом» и «Подражание португальскому».

- 363 Отношение *В. К. Кюхельбекера* (1797—1846) к поэзии Байрона было в целом критическим, что не помешало ему восторженно воспринять гражданский подвиг английского поэта. Стихотворение представляет собой самый ранний русский поэтический отклик на смерть Байрона; написанное в апреле 1824 г., опубликовано в «Мнемозине», 1824, ч. 3, и в том же году напечатано отдельным изданием. Публикация в «Мнемозине» сопровождалась следующим авторским примечанием: «Видения, возвещающие певцу Руслана и Людмилы о смерти Байрона, суть олицетворенные произведения последнего, каковы Дант (см. пророчество Данта), Гяур, Тасс (см. сетования Тасса), Мазпа».
- 364 *Евксин* — Черное море; на западном берегу Черного моря находился в ссылке Овидий Назон.
...*Срывают с мраморной чалмы...* — К этому месту Кюхельбекер сделал пояснение: «На мусульманских гробницах обыкновенно находятся каменные чалмы, а кладбища всегда обсажены цветами».
- 367 *Тиртей* — афинский поэт VII в. до н. э., ставший олицетворением гражданственности.
- 368 Для *К. Ф. Рылеeva* (1795—1826), как для всех декабристов, Байрон воплощал свободолюбие, явив пример самопожертвования во имя высокого идеала. Стихотворение опубликовано (без имени автора и с цензурными правками) в альманахе «Альбом северных муз» (1827); по рукописи — в 1888 г.
- 370 *Клюшников И. П.* (1811—1895) — поэт кружка Н. В. Станкевича, один из представителей рефлектирующей романтической лирики 30-х годов.
- 371 Статья *П. А. Вяземского* «"Цыганы". Поэма Пушкина» впервые опубликована в «Московском телеграфе», 1827 г., ч. 14, отд. I.
- 372 *Буало... пророк в своем деле...* — Вяземский имеет в виду стихотворный трактат Никола́ Буало (1636—1711) «Поэтическое искусство» (1674), где сформулированы основополагающие принципы классицизма.
- 373 Пятая статья *В. Г. Белинского* из цикла «Сочинения Александра Пушкина» впервые опубликована в «Отечественных записках», 1844, т. XXXII, № 2, отд. V.
- 376 *В. А. Жуковский* (1783—1852) вошел в историю русской поэзии и как переводчик «Шильонского узника», имевшего громадный читательский отклик. Письмо Гоголю, написанное в конце января 1848 г., содержит заветные мысли Жуковского о поэзии, излагая взгляд на Байрона, типичный для былых энтузиастов, переживших его эпоху. Под заглавием «О поэте и современном его значении» письмо, представляющее собой ответ на

пространное послание Гоголя Жуковскому от 29 декабря 1847 г., было напечатано в «Москвитяние», 1848, № 4.

377 ... *Что сказать об этом хулителе всякой святыни...*— Речь идет о Гейне.

379 ... *Поэзия есть Бог в святых мечтах земли.*— Автоцитата Жуковского из драматического отрывка «Камюэнс» (1839).

380 В молодости А. А. Григорьев (1822—1864) был страстно увлечен Байроном и много переводил из него. Статья «О правде и искренности в искусстве» («Русская беседа», 1856, т. 3, отд. «Науки») представляет собой форму «расчета с прошлым», чем и объясняется ее пристрастность в оценках.

... *Мне тебя чтить? За что?*— Неточно цитируется стихотворение Гёте «Прометей».

381 «*Едва развlech их мог.*»— Из стихотворения А. Пушкина «К вельможе» (1830).

Влияние Байрона на Альфонса Луи Мари де Ламартина (1790—1869) всегда оставалось поверхностным, не затрагивая существа творчества этого французского романтика.

382 ... *И пораженных молнией.*— Цитируется поэма Ламартина «Человск» из сборника «Поэтические созерцания» (1839).

383 ... *Без протяжения и границ.*— Неточная цитата из «Шильонского узника» в переложении Жуковского.

... «*Явление Франчески Альпу*» — эпизод из «Осады Коринфа» (перевод И. Козлова): Альпу, бежавшему к туркам, чтобы возглавить их войско, является призрак Франчески, которая была его невестой.

384 «*Исповедь сына века*» (1836) — роман французского поэта и прозаика Альфреда де Мюссе (1810—1857), испытавшего сильное влияние байронизма.

Тамарин — герой одноименного романа М. В. Авдеева (1821—1876), вышедшего в 1849—1851 гг. и представляющего собой подражание «Герою нашего времени».

385 ... *Не оскверню собой природы!* — Из стихотворения А. И. Полежаева «Живой мертвец» (около 1827).

... *Испить до дна губительный фиал.* — Отрывок из стихотворения Полежаева «Черные глаза» (1834), как и следующая стихотворная цитата.

387 ... *Вы, росинки дождя...* — Из стихотворения Полежаева «Вечерняя заря» (около 1827).

Барон фон Книгге (1752—1796)— немецкий писатель, составитель сборника «Об обращении с людьми», содержавшего прописные правила морали.

388 ...*Поэзия, избравшая знаменем le beau c'est le laid.*— Григорьев говорит о французской романтической школе во главе с Гюго.

391 ...*Еще до Занда.*— Жорж Санд.

393 Бывший каторжник *Вотрен* — персонаж нескольких произведений, которые входят в «Человеческую комедию» Бальзака.

394 Из «*Дневника писателя*». — Раздел II («Пушкин, Лермонтов и Некрасов») главы второй декабрьского выпуска «Дневника писателя» за 1877 г. Достоевский также касался творчества Байрона в «Ряде статей о русской литературе» (1861). Отзыв Достоевского о Байроне полемически направлен против статьи Л. М. Скабичевского «Мысли по поводу текущей литературы» («Биржевые ведомости», 1878, 6 января), где Некрасов ставился выше Пушкина и Лермонтова, обвиняемых в пристрастии к байронизму.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Зверев. «Безде и злу противоборство...»	5
I. «Европа вся в кровавой вакханалии...»	
Речь, произнесенная в палате лордов 27 февраля 1812 года во время обсуждения Билля против разрушителей станков. <i>Пер. М. Богословской, С. Бобрва</i>	27
Речь, произнесенная в палате лордов 21 апреля 1812 года по поводу предложения лорда Дономора о назначении комиссии для рассмотрения претензий католиков.	34
Обращения к неаполитанским повстанцам. <i>Пер. М. Богословской, С. Бобрва</i>	42
Ирландская аватара. <i>Пер. В. Луговского</i>	42
Видение Суда. <i>Пер. Т. Гнедич</i>	46
II. «Изгнанник общества и света...» <i>Пер. О. Кириченко, Ю. Палиевской, Ф. Урнова*</i>	76
III. «Правда всякой выдумки странней...» <i>Пер. А. Бураховской, А. Зверева*</i>	
I. Детство, отрочество и ранние путешествия	211
II. Путь к славе	221
III. Брак и разрыв с женой	232
IV. Странник	241
V. Cavalier Servente	267
VI. Пизанские беседы	276
VII. Генуэзские беседы	287
VIII. На службе Греции	300
IX. Последние дни: Миссолонги	320
IV. Русский отклик	
А. Пушкин. К морю	354
И. Козлов. Бейрон	355

Д. Веневитинов. Четыре отрывка из неоконченного пролога «Смерть Байрона»	358
П. Вяземский. Байрон	360
В. Кюхельбекер. Смерть Байрона	363
К. Рылеев. На смерть Байрона	368
И. Ключников. По прочтении байронова «Каина»	370
П. А. Вяземский. Из статьи «“Цыганы”. Поэма Пушкина»	371
В. Г. Белинский. Сочинения Александра Пушкина. Из статьи пятой	373
В. А. Жуковский. Из письма к Н. В. Гоголю	376
А. А. Григорьев. О правде и искренности в искусстве. Раздел IV	380
Ф. М. Достоевский. Из «Дневника писателя» за 1877 г. .	394
Комментарии	395

ЗАРУБЕЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

ВЫШЛИ В СВЕТ:

- А. Р. Вильямс (США)
- А. Моруа (Франция)
- Я. Гашек (Чехословакия)
- Э. Хемингуэй (США)
- Ж. Р. Блок (Франция)
- Ф. С. Фицджеральд (США)
- Т. Кайко (Япония)
- Г. К. Честертон (Великобритания)
- М. Иванов (Чехословакия)
- А. Карпентьер (Куба)
- Ч. П. Сноу (Великобритания)
- Э. Э. Киш (Чехословакия)
- Н. Христов (Болгария)
- Л. Новомеский (Чехословакия)
- М. Твен (США)
- А. де Сент-Экзюпери (Франция)
- И. Рыбак (Чехословакия)
- Ф. Мориак (Франция)
- М. Фриш (Швейцария)
- Ф. Гарсия Лорка (Испания)
- Л. Мештерхази (Венгрия)
- Дж. Рид (США)
- Г. Гессе (Швейцария)
- К. Оэ (Япония)
- И. Тауфер (Чехословакия)
- Ж. Сименон (Франция)
- Ф. Вольф (ГДР)
- Г. Вальраф (ФРГ)
- Ж. Бернанос (Франция)
- Т. Вулф (США)
- Дж. Б. Пристли (Великобритания)

ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ

Г. Бёлль (ФРГ)

А. Мальро (Франция)

Г. Грин (Великобритания)

Байрон Дж. Г.

На перспутьях бытия: Пер. с англ./Сост., авт. предисл. и коммент. А. М. Зверев. М.: Прогресс, 1989. 432 с., [...] л. ил. (Зарубеж. худож. публицистика и док. проза).
ISBN—5—01—001019—4

В однотомник известного английского поэта Джорджа Ноэла Гордона Байрона (1788—1824), сыгравшего выдающуюся роль в общественной жизни Европы, пламенного борца за свободу, против политической и идеологической реакции, вошли его речи, выступления, дневниковые записи и письма, в основном не переведенные на русский язык. В сборник включены также мемуары Стендаля, П. Б. Шелли и других выдающихся писателей и общественных деятелей той эпохи о Байроне. Отдельный раздел посвящен документальным свидетельствам, откликам, рецензиям крупнейших русских литераторов, позволяющим проследить влияние поэзии Байрона на прогрессивную литературную и общественно-политическую мысль России XIX в.

Издается к 200-летию со дня рождения поэта.

Джордж Гордон Байрон
НА ПЕРЕПУТЬЯХ БЫТИЯ...

Составитель *Зверев Алексей Матвеевич*

Редактор *А. Н. Паткова*
Художник *В. И. Левинсон*
Художественный редактор *В. А. Пузанков*
Технические редакторы *М. Г. Акколаева,*
Е. В. Левина
Корректор *Г. А. Локшина*

ИБ № 15895

В книге использованы архивные фотографии
Сдано в набор 1.04.88. Подписано
в печать 25.01.89. Формат 84 × 108¹/₃₂.
Бумага офсетная № 1. Гарнитура баскервиль.
Печать офсетная. Условн. печ. л. 22,68.
Усл. кр.-отг. 45,77. Уч.-изд. л. 25,57.
Тираж 50 000 экз. Заказ № 587.
Цена 2 р. 60 к. Изд. № 44171.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Прогресс» Государственного
комитета СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной
торговли. 119841, ГСП, Москва,
Г-21, Zubovskiy bul'var, 17.

Можайский полиграфкомбинат В/О
«Совэкспорткнига» Государственного
комитета СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
143200, Можайск, ул. Мира, 93

Опечатка

стр.	строка	напечатано	следует читать
С. 149	5-я сверху	Фрнсис	Френсис
149	7-я сверху		первый – посетить весной Англию, второй – отправиться

Джордж Гордон БАЙРОН

Но он не лгал — гонимый, угнетенный,
Не унижал таланта, ибо тот,
Кто не клеветет, кто не льстит, не гнется,
Всю жизнь тираноборцем остается.

Байрон. "Дон Жуан"